А.С.СЕРАФИМОВИЧ

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

2

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
КЛАССИКА

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 2

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Г. Ершова

Составление
И. Попова

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича

РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

НА ЛЬДИНЕ

I

Мохнатые сизые тучи, словно разбитая стая испуганных птиц, низко несутся над морем. Пронзительный, резкий ветер с океана то сбивает их в темную сплошную массу, то, словно играя, разрывает и мечет, громоздя в причудливые очертания.

Побелело море, зашумело непогодой. Тяжко встают свинцовые воды и, клубясь клокочущей пеной, с глухим рокотом катятся в мглистую даль. Ветер злобно роется по их косматой поверхности, далеко разнося соленые брызги. А вдоль излучистого берега колоссальным хребтом массивно поднимаются белые зубчатые груды нагроможденного на отмелях льду. Точно титаны в тяжелой схватке накидали эти гигантские обломки.

Обрываясь крутыми уступами с прибрежных высот, к самому морю хмуро надвинулся дремучий лес. Ветер гудит между красными стволами вековых сосен, кренит стройные ели, качая их острыми верхушками и осыпая пушистый снег с печально поникших зеленых ветвей. Сдержанная угроза угрюмо слышится в этом ровном глухом шуме, и мертвой тоской веет от дикого безлюдья. Бесследно проходят седые века над молчаливой страной, а дремучий лес стоит и спокойно, сумрачно, точно в глубокой думе, качает темными вершинами. Еще ни один его могучий ствол не упал под дерзким топором алчного лесопромышленника: топи да непроходимые болота залегли в его темной чаще. А там, где столетние сосны перешли в мелкий кустарник, мертвым простором потянулась безжизненная тундра и потеря-

лась бесконечной границей в холодной мгле низко нависшего тумана.

На сотни верст ни дымка, ни юрты, ни человеческого следа. Только ветер крутит столбом порошу да мертвая мгла низко-низко ползет над снеговой пустыней.

Раз в году заходит и сюда беспокойный человек, нарушая угрюмое безлюдье дикого побережья. Каждый раз как ударит лютый мороз и проложит крепкие дороги через топи и тундры, а на море в мглистой дали обрисуются беспорядочные очертания полярных льдов, грозно надвигающихся с океана,— с далеких берегов Мезени и из прибрежных селений, через тундры и перелески старого леса, скрипя железными полозьями по насквозь промерзшему снегу, тянутся оригинальные обозы: низкие ветвисторогие северные олени, запряженные в длинные черные лодки на полозьях, гуськом идут друг за другом, осторожно ступая по крепкому насту, а рядом тяжелой, увалистой походкой широко шагают косматые белые фигуры.

И с угрюмой досадой видит старый лес, как раскидываются станом на несколько верст по его опушке незваные гости.

II

Стоит Сорока на торосе, в руках длинный багор держит и пристально смотрит в холодную даль. А там, почти на самой черте горизонта, сквозь мглистую изморозь смутно выделяются и растут неправильными очертаниями белые груды. Сорока застыл в напряженном ожидании. Все приметы к тому, что быть промыслу: птица крячет, с моря низко по ветру летит, и ветер-глубник встал. Мгла ползет над самой землей, за верхушки сосен цепляет, бор зашумел. Да, должен промысел попасть. И зорко всматривается он в холодную даль, старается разглядеть, нет ли добычи: над самым морем ходят туманы — не различает глаз.

День погасал. Ветер гудел в сосновом бору и в вихре крутил порошистый снег. Отовсюду ползли безжизненные серые зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. Там и сям из-за массивных ледяных глыб виднелись косматые белые фигуры с длинными баграми в

руках, напряженно всматривавшиеся в мглистую даль. Море глухо шумело. Вдали безобразною белою грудой смутно надвигалась громада льдов.

Глянул Сорока по берегу, смотрит — за соседним обломком льда Ворона стоит с багром, туда же глядит. Посмотрел на него Сорока, и темно стало у него на душе. Здоровый мужик Ворона, совик на нем олений добрый, бафилы новые: стоит себе, на багор слегка оперся, глядит на море, видно не тужит: попадет промысел — Ворона новую шхуну пустит, еще пуще торговать начнет; не попадет — горевать не будет.

Да и сам Ворона надрывать себя на промыслах очень не станет: для него набьют зверя покрутчики. И Сорока пошел от него покрутчиком и за то, что Ворона снабдил его теплой одежей, должен отдать ему половину добычи.

Ветер зашумел, разорвал туман и колеблющейся пеленой отнес безжизненную мглу к самому горизонту. Глянул Сорока, встрепенулся. Позабыл и Ворону, и олений совик его новый, и свою досаду на него, и то, что он должен отдать ему половину добычи,— позабыл все Сорока и впился зоркими глазами в посветлевшую даль.

А там, насколько хватало глаз, тянулась, надвигаясь к берегу, изрытая, изборожденная ледяная равнина, уходя в холодную серую дымку далекого горизонта. Громадные синеватые глыбы, стоймя торчавшие над белесоватою массою мелкого льда, медленно поднимались и с треском рушились, выжатые снизу напором прибывающей воды. Тяжело надвигались ледяные поля, и смешанный гул висел над ними, не похожий на морской прибой. Точно бог весть откуда смутно докатывались глухие раскаты урагана.

Видит Сорока, едва глаз улавливает — черными точками реют птицы. Загорелись у него глаза. «Есть!» Собрал он в кольца ременную веревку, попробовал багор, взял палку кривую, приготовился, ждет, пока льды подойдут к самому берегу.

Огляделся, видит — день совсем кончается. Недолог бывает он на этом далеком берегу. Чуть-чуть выглянет солнышко из-за туманного горизонта холодными лучами на каких-нибудь полтора часа — и снова спешит опуститься почти в той же точке, откуда и взошло.

Сквозь разорванную мглу скользнул последний безжизненный луч, заиграл мириадами радужных искорок в снежинках, отразился во льду тороса и на мгновение бледно осветил и глухо рокочущее льдистое море, и этот бесприютный, одетый печальным саваном берег, и сотни разбросанных вдоль его человеческих фигур.

На заискрившихся снежных сугробах прибрежных холмов там и сям темными пятнами выступили закоптелые, насквозь пропитанные дымом убогие промысловые избушки.

Снова зашумел ветер, набежал мглой и разом задернул погасавшее светило. Безжизненный, унылый колорит лег на всю окрестность.

III

Первые воды прилива добежали до берега и омыли подножье тороса. Смолкли шумевшие до того волны, придавленные тяжкой грудой. И как придвинулись ледяные поля к самому берегу — гул пошел окрест и рокотом отдался в глубине бора. Послышалось могучее шипение, шорох, треск ломающихся глыб, словно надвигалось стоногое чудовище. Передовые льдины, столкнувшись с торосом и сжатые тяжело напиравшей массой, рассыпая белую пыль, ползли на вершину, громоздились в причудливые горы. Звуки смешивались в хаотический гул. Тонкая ледяная пыль висла в воздухе и уносилась ветром. Движение ледяной массы, встретив преграду, превратилось в колоссальную энергию разрушения: в несколько минут вдоль всего берега ломаными очертаниями тяжело поднялись новые громады.

Только подошел лед к берегу, как несколько сот промышленников кинулись вперед.

Сорока спустился на лед одним из первых. Прыгая со льдины на льдину, скользя, проваливаясь по пояс в наметанный ветром снег и лед, он бежал вперед. Ледяные обломки с грохотом валились по его следам. Всем его существом овладела одна мысль, неотступная, напряженная, как дрожащая струна, отдававшаяся в груди с каждым ударом быстро стучавшего сердца: «Кабы напасть, поспеть... Царь небесный... Владычица!..» Осколки льда брызгами летели из-под бафил. Ветер свистел в ушах и бил в лицо ледяными иглами,

одевая бороду и усы пушистым инеем. А он ничего не замечал и бежал все вперед.

Спускалась ночь. Берег неясными очертаниями терялся в мглистой дали. Он остановился на мгновение и, затаив дыхание, чутко насторожил слух. Кругом было пусто, и шумел ветер. Необозримая ледяная равнина уходила в сгущавшиеся сумерки. Он пробежал версты две и стал уставать. «Господи, не нападу... пропущу! — с отчаянием думал он,— а надо ворочаться, воды уйдут!»

При одной мысли, что он вернется с голыми руками, по нем пробегала дрожь. Курная избушка, семья, дети ждут... Он припал ко льду и чутко приник ухом: откуда-то справа донеслись звуки, чрезвычайно похожие на плач дитяти. Мгновенно слетела усталость, он кинулся в ту сторону и опрокинулся навзничь: перед ним зияла темная щель. Пришлось обегать. Обливаясь пóтом, он наконец различил в начинавшей быстро сгущаться темноте неясные очертания каких-то темных масс.

В один прыжок Сорока был там. Здесь расположилась целая семья тюленей: громадные неуклюжие звери безобразными темными глыбами неподвижно лежали на льду. Заслышав человека, они всполошились и, опираясь на передние ласты, высоко подняв уродливые головы, неуклюже поволокли свое тяжелое тело. Очевидно, в присутствии врага они худо чувствовали себя на льду, далеко от своей родной стихии.

Нагнав ближайшего, Сорока изо всех сил махнул ему палкою между глаз. Зверь припал головою ко льду, в воздухе свистнул багор, железное острие до самого крючка вбежало в переносицу. Капли горячей крови брызнули в лицо, и громадный зверь, которого в другое место и ружейная пуля не берет, неподвижно вытянулся на льду. Меткими ударами Сорока положил еще несколько зверей.

Привычной, слегка дрожащей от волнения и усталости рукой быстро снимал он с убитых зверей шкуры и толстый слой сала. Снимает Сорока шкуры, спешит, а сам прикидывает, сколько выручит. Весело и легко стало Сороке, и сам себе ухмыляется в бороду. Если каждый раз будет так удачливо, сразу хозяйство станет на ноги.

А время не ждет, бежит — того и гляди начнется отлив. Заспешил он, схватил кожи и сало, скатал все в большой юрок, прикрутил ременной лямкой, накинул на плечо и поволок по льду. Трудно было тащить по неровной, изрытой поверхности шести-семипудовый юрок.

Ночь темная, глухая, спустилась на шумевшее льдом море. Холодная непроницаемая мгла ползла со всех сторон и все гуще и гуще заволакивала пустынную равнину, над которой лишь бежал холодный ветер да шумел в ледяных глыбах.

Сорока шел наугад, руководясь ветром да какими-то неуловимыми для непривычного человека и лишь знакомыми поморам приметами. Он напряженно всматривался в окружающий мрак, постукивая иногда перед собою багром. Пот градом катился с него, но он не чувствовал усталости: не с пустыми руками ворочается, только бы добраться.

Хорошо знал Сорока: воротится он домой, вся добыча уйдет за долги, за то, что снаряжал его на промысел, вся добыча уйдет кулаку Вороне, а все-таки радостно тащил он тяжелый юрок, и пот градом катился.

«Чтой-то берегу все нету?» — мелькнуло у него.

Он огляделся кругом: глухая ночь мрачно глядела на него мертвыми очами. Острое предчувствие кольнуло его.

«Ох, не запоздать бы, давно уже с берегу,— время!»

Он перекинул лямку на другое плечо и еще быстрее потащил юрок. Назойливая мысль, что опоздал, что пойдет отлив и его унесет в море, так и сверлит мозг. Налегает Сорока на туго натянувшуюся лямку, надрывается, чует — упустил время. Колени подгибаются, спотыкаться стал. Впереди сквозь непроницаемую завесу мрака мигнули два-три разрозненных огонька: стало быть, берег близко.

Бежит Сорока из последних сил. Трудно дышать, в висках стучит, в горле пересохло, больно воздух холодный глотать.

Хочется остановиться хоть на минутку, но он делает усилие над собой и, перехватив на ходу раз-другой холодного снегу, еще сильнее наваливается...

Что-то зашуршало и зашелестело. Впереди смутно обрисовалась громада торосов, лед дрогнул и заскрипел.

«Бросить юрок — успею добежать!» — мелькнуло у него на мгновение.

Но он не бросил, а сделал страшное усилие и, волоча юрок, побежал...

IV

Занесенная совсем с крышей глубоким снегом печально чернеет промысловая избушка. Из отверстия, проделанного в крыше, вырываются легкие клубы дыма и, подхватываемые ветром, быстро исчезают.

Внутри избушки темно, и только огонек, разложенный в углу, на груде камней, освещает неверным, колеблющимся красноватым отблеском черные бревенчатые стены без окон, закоптелую плоскую крышу, спускающуюся с нее махровой бахромой нагорелую сажу и длинные грязные нары вдоль стен. В воздухе легкими слоями висит едкий дым. На нарах расположились дюжие фигуры промышленников. Их набилось человек двадцать. Это один из отрядов той промысловой армии в несколько сот человек, которую ежегодно высылает к безлюдному берегу Белого моря неумолимая нужда и тяжелые жизненные условия Севера.

Медленно и скучно тянется время. Злую шутку сыграло родное море: в несколько часов побелело оно льдами, немало добычи принесло к берегам,— да вдруг набежала непогода, расколола и сломала ледяной покров и безобразными грудами раскидала его на сотни верст. И приходится коротать долгие полярные ночи и серые зимние дни, а единственное средство развлечения — табак и песня — безусловно, изгнано.

«Море чистоту любит, молитву,— говорят промышленники,— а то ежели с табаком, да с песней, да с сквернословием, так и не вынешь ничего: вдруг ветер падет с берегу и всю кожу отобьет, да и тебя вглубь вынесет».

В углу, вокруг красноватого костра, клубившего смолистый пахучий дым, сидят и лежат промышленники. Они коротают тоскливое время, слушая сказки и разные бывальщины.

Снаружи захрустел снег под чьими-то тяжелыми шагами... Дверь распахнулась, ворвавшийся холодный ветер колыхнул красноватое пламя костра и заклубился дымом. Вошел мужик в совике. Покрытое инеем лицо, точно поросшее белым мохом, угрюмо выглядывало из мехового капюшона.

— Сороки нетути,— проговорил он низким голосом,— унесло!

Все разом смолкли. И у каждого мелькнуло в голове: холодный простор, льды да звездное небо, а во льду человек бьется и стынет.

— Што же сидите? — сурово проговорил старик.— Ступайте к карбасу!

Человек восемь поспешно стали надевать «рубахи».

Старик вышел и посмотрел на море. Оно зеркальным простором уходило в морозную даль, и с вышины звездное небо гляделось в него. В синеватой дымке недвижно дремал старый лес, и вдоль берега, словно исполины на страже, молча подымались ледяные утесы. В застывшем ночном воздухе висела мертвая тишина.

Через минуту небольшой карбас отчалил от берега и, далеко оставляя за собой колеблющийся фосфорический след, потонул в морозном сиянии.

V

Ветер упал. Затихавшие волны несли изломанные, рассеянные остатки ледяных полей, словно разбитые обломки гигантского корабля. Тучи поспешно сбегали с синего свода, унизанного ярко мерцавшими звездами, и долгая северная ночь, прозрачная и холодная, как синие льды, раскинулась над глухо рокотавшим морем, которое, словно сердясь, еще не улеглось от недавней бури.

Постепенно море очищалось от льда, и только одинокие глыбы там и сям тихо покачивались волной. На одной из таких льдин, смутно рисуясь на синем фоне далекого горизонта, неясно выделялся темный силуэт высокой фигуры.

Это был Сорока.

Он искусно работал багром, и гибкий шест бурлил и пенил холодную воду. Неуклюжая глыба тихо подви-

галась вперед. Бесконечным простором расстилалась вокруг водяная гладь.

Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица,— по ней надо держать путь. Сорока наваливается на багор, толкает вперед тяжелую льдину, а в голове несвязно теснятся темные думы: далеко море вынесло, мороз лютый ударил, другие сутки во рту ничего не было. Налегает Сорока на багор, старается, слышит — слабеть стал. Приостановился на минутку, снегу перехватил, огляделся кругом: водная пустыня в голубоватом сумраке тянулась без конца и пропадала.

Сбежали последние легкие тени тучек, морозное небо фосфорически заискрилось мириадами блесток. Море улеглось необъятно, и в нем дробились звезды.

Чует Сорока — не кончить добром: охватило холодное море, а в очи неподвижно глядит побелевший мороз, неслышно подбирается, острыми иглами проникает в стынущее тело.

Работает Сорока, старается согреться работой, а в голове смутной вереницей бегут смутные думы. «Господи, вынеси... ребята малые, несмысленые... не подымут силу... кому надоть... Хозяйки нетути...» Лезут в голову думы, что дома ничего нет, что напромышляй он промыслу, поправился бы хоть сколько-нибудь и Вороне отдал бы долги. Все бы сделал Сорока, да вот вернется ли? Вспомнил избушку, темную, дымную. Придет, бывало, с промыслов Сорока и распарит и согреет грешное тело. Вспомнил, как еще мальчиком ходил с отцом на промысел. Кругом шумел морской прибой, и ходили ледяные горы... Тропки на болотах вспомнил, птицу пернатую, зверя лесного, что ловил. Бедность свою вспомнил, и, как подумал обо всем Сорока, горько стало ему. Налег на багор и мысленно окинул пространство, что надо пройти: «Ох, не добраться!» И опять стало жалко себя. Неужели же так-таки ему и пропадать?

Не верится Сороке. Много годов хаживал он на море. По неделям, по месяцам приходилось жить. Кругом море, льды да небо. Бывало, далеко уносило, без хлеба, без огня, без помощи, на волос от смерти бывал, а выносило же. Вот те все вернутся домой: хата теплая... ребятишки... с промысла продадут... хозяйства

поправят... а его будет носить по морю безжизненным куском льда. И у него дома ребята, и хозяйство, и промысел есть, а вот не вернется! Защемила тоска, жалко помирать, а знает — замерзнет, обессилел. Тяжелая слезинка выжалась из глаз, сползла по суровому лицу и повисла замерзшей капелькой на обледенелых усах. Поднял голову и недоумевающе посмотрел затуманившимися очами на далекое небо, отливавшее холодным блеском, точно ждал ответа. Но стояло ночное безмолвие над застывшим миром.

А сверкающий купол медленно, но непрерывно совершал свой урочный поворот вокруг маленькой звездочки в хвосте золотого крючка Медведицы.

На сверкавшем небе пронеслось дымчатое облачко, и звезды искрились сквозь его тонкое тело, а из-за края зловеще разгорался сполох, зажигая небо волшебными бегущими огнями.

Из последних сил бьется Сорока, слабее и слабее гнется длинный шест; занемели руки, не слышно ног, клонит отяжелевшую голову. Хочется ему хоть на минутку присесть, да хорошо знает, зорко следит белый мороз: только останешься без движения, он обоймет, повеет и проникнет насквозь холодным дыханием. Борется Сорока с дремой и не думает уже: мысли спутались, оборвались и неясно проносились, точно по ветру клочья безжизненного тумана. Понял Сорока — не жить ему, и опять вспыхнули в его холодеющем мозгу далекие родные картины, вспыхнули и погасли. Понял Сорока, теперь уже никто ему не поможет, не поспеет, не услышит.

— Братцы, пропадаю... отцы родные!..

И этот безумный вопль дико нарушил ночное безмолвие, пронесся над водной гладью и, как бы подымаясь все выше и выше, замер в тонком морозном тумане. Только дальние льды послушным эхом отразили ненужный вопль о помощи да маленькая звездочка сорвалась и скатилась, и снова все стихло.

А сполох все разгорался. На одной половине небо ярко горело звездами, а на другой половине потухли все звезды, и зловещая мгла мрачно глядела оттуда. Словно из гигантского жерла, вылетал оттуда белый клуб дыма и, расстилаясь, быстро проносился по небу, сквозя яркими звездами и потухая в зените. Каждый раз, как вспыхивала эта дымчатая пелена, казалось —

вот-вот раздастся оглушительный удар и дрогнет заснувшее море. Но в неподвижном воздухе стояла все та же немая тишина. Только из жерла бесконечно вспыхивали колеблющиеся огнистые полосы и быстро проносились, играя всеми цветами.

Сонливое состояние стало овладевать Сорокой. Надоело, лениво-тяжело было стоять на ногах, и он присел на корточки. Приятная теплота разлилась по телу. «Вишь, мороз-то менее стал»,— мелькнуло у него. Тихая дрема туманила голову. Что-то смутное, неясное, давно забытое то всплывает несвязными обрывками в круговороте воспоминаний, то снова тухнет и тонет в бесконечных картинах прожитой жизни.

Стала представляться глухая ночь в глухой тундре. Во мраке носился ураган, и его бешеный гул, словно похоронный звон, уныло звучал над одинокой юртой, погребенной под снежным заносом. К самой юрте боязливо жались олени. А в юрте сидит он, Сорока, самоед и его семья. Сидит Сорока на куче оленьих шкур, бочонок в руках держит и ведет торг: покупает у самоедов оленей. Не продают — без оленя в тундре издохнешь. Поднес Сорока самоеду стаканчик — повеселел тот; поднес другой — стал самоед сговорчивее, поднес третий — запел самоед. Пел он обо всем, что было перед глазами. Стал пить водку и запел: «Ах, водка, хорошая водка!» В костер дров подкинули, он запел: «Ах, огонь, горячий огонь!» Залаяла собачонка, он пел: «Ах, собака, белая собака!» И щемящей тоской теперь повеяло на Сороку от этой давно слышанной песни.

Напоил Сорока самоеда допьяна, напоил и самоедку и купил у них за грош всех оленей. Утром улеглась буря. Он согнал оленей, только оставил самоеду трех, чтоб не пропал совсем. Уехал Сорока, а самоед остался в тундре. И теперь Сорока никак не может отвязаться от этого самоеда: смотрит он на него сквозь узенькие щелочки посоловелыми от водки глазами и не то поет, не то плачет: «Олешки, олешки... ах, олешки!..» Хочет забыть об этом Сорока, мутится у него в голове, мысли мешаются, хочет отвязаться от этих мыслей и отдаться туманящей голову дремоте.

Он вздрогнул. Раздался гулкий протяжный удар, точно тяжелый артиллерийский залп. Где-то расселась ледяная громада, сжатая морозом. Отраженное

дальними льдами упругое эхо с рокотом далеко покатилось по водной глади.

На мгновение он как бы очнулся. К удивлению, никак не мог разодрать глаз: они точно слиплись. И, как далекая зарница в глухую полночь, мелькнуло смутное сознание опасности. В воздухе опять повисла мертвая тишина, и прежнее оцепенелое состояние овладело им. Ему надоело усиливаться поднять свои отяжелевшие веки. Опять дрема отуманила голову, и несвязные думы, точно легкие тени в лунную ночь, бежали смутной вереницей. Чудилось ему, что ожило мертвое море и тихо дышало бесконечным простором, и тонкий пар его дыхания подымался к далеким звездам, а в его недрах совершалось неведомое. Казалось, весь мир замолк, и та прежняя жизнь потухла, затаилась в этой загадочной пустоте, наполненной биением какой-то другой, незримой жизни. Чудилось, неслышно веет тихий ветер, и звучит смутный, едва уловимый звон, и легкий туман колеблется над морем.

И сквозь морозный туман чудится Сороке: разбегаясь фосфорическим блеском, змеятся две светлые волны. И плывет на него, не касаясь воды, полупрозрачная, смутно-неясная лодка. Ледяная глыба дрогнула, зашаталась, взволновала спокойную поверхность; расходясь, побежали серебряные круги. Отраженные в колышущейся глади звезды задрожали, запрыгали и расплылись колеблющимся золотом. Только что показавшийся месяц уродливо вытянулся, заколебался и лег длинной полосой до самого горизонта. А над морем тихо спустился сумрак и покрыл все...

Сияя величавой красотой Севера, тихо дремлет над спокойным морем полярная ночь, затканная тонким искристым, морозным туманом. А над нею, сверкая причудливыми переливами фосфорической игры, разметалась звездная ткань. В темной пучине колебались повисшие яркие звезды. С вышины задумчиво льется голубоватое сияние. Мертвая тишина неподвижно повисла над застывшим морем, и чудится в этой сверкающей переливчатой красоте безжизненный холод вечной смерти. Мягкий синеватый отсвет озаряет необъятную водную гладь, подернувшуюся тонким льдистым слоем, и в морозной дали неподвижно скорчившуюся на одинокой льдине фигуру, опушенную белым инеем.

НА ПЛОТАХ

I

К студеному Белому морю со всех сторон надвинулись дремучие леса, а в лесах неисчислимые болота, озера, большие и малые реки.

Летом по этим лесам ни проходу, ни проезду, разве лодкой только по речке, а зимой мужики разъезжаются за сотни верст и до самой весны рубят лес для сплава.

Кузьма Толоконников еще с лета выправил себе билет на делянку в казенном лесу и, когда ударили морозы и леса завалило снегами, приехал на рубку.

Кругом на сотни верст ни жилья, ни человеческого голоса, только мерзлые, заваленные снегом болота да вековые леса вплоть до пустынного моря.

Неподвижно стоят вековые красные сосны, голые снизу, и лишь мохнатые верхи густо белеют насевшим шапками снегом.

Лесную тишину нарушает только мерное чоканье топора. Кузьма в рваном, туго подпоясанном тулупе возится по притоптанному вокруг сосны снегу и раз за разом всаживает поблескивающий в морозной мгле топор. Как камень прокаленное морозом дерево, и со звоном отскакивает топор,— трудно рубить.

Высоко сквозь мохнатые верхушки сосен день и ночь морозно блестят звезды, солнце не показывается,— целый месяц тянется сплошная зимняя ночь.

Пар идет от Кузьмова полушубка, и упорный топор все глубже входит в рану векового дерева; вырубленное у корня место темно зияет, как открытый рот. Кузьма засовывает топор за пояс и идет по глубоко протоптанной тропке к избушке,— из-за снега виднеется лишь его мохнатая шапка.

У избушки в закуте, сделанном из снега и сосновых ветвей, звучно жует сено мохнатая лошаденка. Кузьма выводит ее, подводит к подрубленной сосне, привязывает к хомуту свесившуюся с вершины веревку и гонит кнутом.

Лошадь налегает, снег визжит под копытами, веревка натягивается, как струна. Дерево вздрагивает, с секунду страшным усилием сопротивляется, и вдруг среди мертвого лесного молчания проносится треск,

и, роняя шапки снега и ломая молодняк, валится на глубокие снега судорожно вздрагивающей мохнатой макушкой вековое дерево.

Тогда Кузьма, точно взбесившись, начинает прыгать и танцевать по снегу, катается, падает на спину, на живот, уминая снег,— надо проделать от дерева к реке тропку. Потом гонит лошадь, и она тянет по тропке мертвое дерево, и из-за снега видны лишь мотающиеся лошадиные уши. На льду Кузьма из нарубленных деревьев вяжет плот.

Под конец руки немеют от усталости, а лошадь вся побелела обмерзшей пеной и потом. Кузьма ведет, ставит ее в закут, наваливает сена, а сам забирается в избушку. Она тесная, черная от сажи и такая низкая, что нельзя выпрямиться.

В углу груда камней. Разведет на них Кузьма жаркий костер, и ровной пеленой едко наполняет всю избушку дым, медленно выползая через дыру в крыше. Кузьма сидит на корточках на мерзлом полу, чтоб не задохнуться.

Когда прогорит, заткнет дыру. Принесет и навалит в углу пахучих хвойных ветвей и завалится спать. В избушке жарко, а за стенами в глухом молчании временами гулко стреляет — мороз дерет деревья.

Тихо, никого. Только иногда за стеной лошадь вдруг перестает жевать, прислушивается. Прислушивается и Кузьма — не волки ли подбираются. А за стенкой опять мерный жующий звук, и Кузьма крепко засыпает.

Просыпается он от холода, глянет — в полумгле белеют промерзшие стены, и плечом приходится вышибать крепко прихваченную морозом дверь.

А в лесу сквозь ветви смотрят все те же холодные звезды, стоит все то же пустынное молчание, залегает все та же морозная мгла. И опять глухое чоканье топора, треск молодняка, судорожно ломающиеся мохнатые ветви и визг снега под копытами выволакивающей дерево лошади.

Так день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем идет работа.

За всю зиму Кузьма два раза ездил в деревню за провизией.

Как-то раз случилось — повалилось подрубленное дерево; не успел Кузьма отскочить, накрыло его ветвями и придавило ногу толстым суком.

Кузьма закричал, и крик его разнесся по лесу. Он лежал притиснутый, как лисица в капкане.

Над лесом, должно быть, поднялась луна — сквозь просветы деревьев потянулись дымчатые полосы, и снег заиграл мириадами красных и синих огоньков. Чует Кузьма, стала одежда на нем хрупкой и ломкой — оледенела, и ресницы стали смерзаться.

Опять попробовал кричать Кузьма хриплым голосом, хотя знал, что никто не услышит. Несмотря на нечеловеческую боль, как-то ухитрился подтянуться к дереву и стал ногтями разрывать смерзшийся снег и землю. Кожа стала сдираться с рук клочьями, и все кругом окровавилось. Мороз жег свежие раны.

Докопался-таки Кузьма,— нога опросталась, и он пополз, оставляя кровавые следы, к избушке.

Два дня валялся, да вспомнил про лошадь — либо волки съели, либо замерзла.

Преодолевая боль, выполз из избушки. Лошадь, прихваченная к дереву веревкой и исхудавшая до костей, тряслась и глядела на хозяина печальными глазами. Молодые елочки были обглоданы кругом под корень. Кузьма перерезал веревку, и лошадь, шатаясь, побрела в закут.

Целую неделю провалялся Кузьма, а потом снова принялся за работу.

II

Прошла зима. Солнце долго стало ходить над лесом, а вместо ночей — приходил полусумрак.

Потянули с юга птицы.

Стаяли снега, и лесное царство необозримо потопило водой, и в ней хмуро отражались угрюмые сосны.

Подняло Кузьмов плот, и понесли вешние воды.

Изредка ударяет Кузьма правильным веслом, не дает плоту сбиться с русла. Клонит сон, а нельзя спать — набежит на дерево или на мель, засядешь, а то и вовсе разобьет плот.

Тихо.

Полумрак белой ночи недвижно и призрачно дремлет над водною ширью, над потопленными лесами, над едва синеющей полоской дальнего берега, и чудится, это — не ночь, а дремотно потускнел неясный день.

Безжизненные туманы дымчато висят над водой, отражаясь призрачными очертаниями.

Ветер чутко дремлет, затаившись в иглистых ветвях, не зарябит уснувшей воды, не шелохнет зеленой хвои.

Тихо.

Только под бревнами немолчно бьется говорливая струя и навевает смутную дрему, и смежает сон отяжелевшие очи.

Кузьма встряхивает головой и оглядывается. Весенние воды быстро несут плитку. Красные сосны, стройные елочки, погруженные до половины в воду, безмолвно бегут по обеим сторонам, теряясь вдали в зеленых кущах столпившихся дерев.

— Го-го-го-го-го...

«О-о-о-о-о...» — катится далеко по водной глади, и встрепенувшееся эхо доносит назад ослабленные отголоски.

Птица испуганно летит с сосен, стаи пролетных уток, шлепая крыльями, беспокойно подымаются с воды, а лебеди, изогнув длинные шеи, белея в воде отражениями, чутко прислушиваются к лесному эху.

Кузьма не спал подряд несколько ночей. Один, некому пособить, не с кем словом перекинуться,— кругом лес, да вода, да потопленные болота.

«Какой бишь сегодня день?» — припоминает Кузьма и не может вспомнить.

Он кладет по пальцам, выходит — понедельник. Значит, целую неделю правит. Время холодное, вода — что лед, так и жжет. Приходилось по пояс, по плечи бродить. Худая одежонка намокнет, зубы колотятся, в челюстях больно, руки, ноги сводит, а согреться нечем: берега нет, кругом вода да деревья.

Плитка бежит, не останавливаясь. Кузьма и не правит,— вода по самому руслу несет. Он присаживается на корточки, уставляется глазами на журчащую воду и думает.

Это все одни и те же думы о хозяйстве, о том, сколько выручит с плотов, как сведет концы с конца-

ми, о том, что скоро выйдет на широкую Двину, там будет вольготнее.

Не заметил, как задремал Кузьма. Да кто-то как толкнет, и ахнул над самым ухом: «Ай спишь!..»

Вскочил Кузьма, все задрожало в нем, а это плот стукнуло о дерево. Могло так и разбить. Отпихнулся шестом Кузьма и стал внимательно править.

Кругом говорила птица, гоготали гуси, крякали неугомонные утки, белые лебеди важно выплывали на затопленные полянки. Над лесом зазолотились тучки. Поднялось солнце и залило волнами света и тепла и водную гладь, и потопленный лес, и Кузьму на плитке.

По кустам видно, быстро сбывает вода. Кузьма стал упираться шестом, и плитка побежала. Надо было поскорее пройти мелкое место впереди, пока не ушла вода.

Снизу добежал по воде людской говор, стук топоров, и эхо повторило далеко по лесу. Когда Кузьма выплыл за поворот, увидел — вся река заставлена плотами. Над рекой стон стоном стоял. Плоты засели на мелком месте, и народ бился, стаскивая их.

И, нажимая на о́, Кузьма закричал:

— Робята... пододвиньте-ка плот-от с правой руки, который на воде, а то не протить мне... посуньте-ка его на низ...

— Ступай под берегом... вишь ты, енерал...

Мужики были обозлены, что засели, и не давали дороги. Кузьма видел, что под берегом ему не пройти, все равно засядет. Он знал, что мужики помогут ему сняться, но только тогда, когда снимут свои плоты, а ясно было, что они пробьются целый день.

— Робята, посунь плот-от,— плитка у меня махонькая, духом проскочит, а под берегом все равно сяду, вишь, пни да песок обмелился...

Мужики делали свое дело; в свежем утреннем воздухе стоял стук топоров, говор.

Видит Кузьма — добром не возьмешь, уперся шестом и направил подхваченную течением плитку углом в шов загораживавшего плота. С треском раздался шов, бревна разошлись и всплыли, и, расталкивая их, быстро прошла, подгоняемая шестом, плитка. Град ругательств посыпался на голову Кузьмы.

— Ничаво... пущай себе... Под берегом-то мне неспособно... ничаво...— говорил Кузьма, гоня шестом плитку.

Мужики, отчаянно ругаясь, стали накидывать с соседних плотов на плитку канаты. Кузьма мигом обрубил их топором, и, пока мужики вытравляли из воды обрубленные концы, плитка ушла.

— Ничаво... пущай... Главное, неспособно под берегом-то...

Плоты с кричавшими мужиками с гомоном и стуком стали уходить вверх по реке. От них отделилась лодка и быстро пошла за плиткой. Похолодело на сердце у Кузьмы. С тем, что мужики неизбежно должны были избить его до полусмерти, он еще мирился, но в отместку они непременно порубят связи и распустят все деревья по реке.

И Кузьма заревел диким и страшным голосом:

— Уб-бью!.. не подступайся!..

Лодка набежала, и мужики приготовили багры зацепиться. Кузьма схватил огромное бревно, раскачал на руках и двинул в борт лодки. Бревно с треском высадило целую доску. Лодка качнулась, глубоко черпнула, а мужики от толчка попадали друг на друга. Пока они справлялись, плитка ушла по течению.

Кузьма, красный и потный, упирался шестом и все оглядывался, пока наконец плоты не пропали из виду за поворотом, и вытер с лица пот.

— Под берегом... неспособно, это нам неспособно...

Берега пошли высокие, весенние воды так и рвались в узких местах, и плитка неслась, как под парусами. На высоком берегу сосны тихонько качали мохнатыми ветвями и пропадали, в быстром беге, назади.

Кузьма опять остался один. Он правил.

Вверху стояло весеннее небо. С юга тянули птицы, и в голове Кузьмы лениво и смутно тянулись неясные, отрывочные и смутные мысли.

Кончился долгий день, и опять наступила прозрачная, белая, как потускневший день, ночь. Кузьма приплыл к большой реке. Она широко раздвинулась, и противоположный берег чуть синел тонкой полоской. Зеленели острова. Попыхивая клубами белого пара, бежали пароходы. Острыми крыльями белели паруса лодок. Ветер вздымал водяные горы, и с шумом и пле-

ском катились они бесконечными рядами. В устье реки, по которой пришел Кузьма, набилось плотов видимо-невидимо,— ждали, пока стихнет грозная Двина. Кузьма завел свою плитку в тихую заводь, привязал канатом к дереву и стал дожидаться, когда стихнет непогода. Целую неделю просидел на берегу Кузьма, совсем было проелся.

Наконец стихло. Огромная река спокойно улеглась в широкую гладь, слегка подернутую мелко-сверкающей шелковой зыбью.

В синеющей дымке длинной цепью потянулся бесконечный караван плотов.

Кузьма также вывел плитку из заводи. Подхватила ее могучая река и понесла, колыхая на мощных хребтах.

И побежали мимо далекие берега, развертываясь бесконечной панорамой.

Вставали белые громады оголенных скал алебастра, играя в кристаллах золотистыми лучами солнца, и темные расселины глубоко прорезали их ребра, точно морщины тяжелых дум на челе великана. Угрюмо высились неподвижные громады в немом молчании, внимая ропоту говорливой волны.

Проходили мимо недвижные скалы, и только белели вдали их обнаженные ребра, как белеют кости на мертвой равнине.

А взамен надвигался угрюмый бор и шумел на высоких берегах, качая вершинами столетних сосен и елей, и чудилось — сквозь смутный шум бежала смутная дума о минувших веках, когда редко стучал топор в сердце великана-бора, когда еще не дымились высокие трубы заводов в устьях рек и по самым рекам бесконечными караванами не тянулись безжизненные тела лесных гигантов.

Но отступил и дремучий бор и только вдали едва синел зубчатой полосой. По скатам холмов тянулись удлиненными четырехугольниками черные пашни, и пахарь вел соху, и лошади медленно ступали по взрыхленному пару.

Из-за поворота вдруг появлялись деревни, весело белея вдали церквами и играя в золоте лучей золотом крестов.

Большие почернелые двухэтажные избы глядели с холмов на широкий простор, где бежали, попыхивая белыми клубами пара, пароходы, неуклюже тянулись барки и медленно надвигались тяжелые колонны сплавляемого леса.

Когда же царица-река, разбитая зеленеющими островами на множество рукавов, сливалась вдруг могучим движением в одно русло и до синеющего горизонта протягивалась без изгиба сверкающей полосой, тогда, насколько только хватал глаз, белели в весенней дымке высокие колокольни и играли на солнце золоченые кресты.

Громадная река, точно дорогое ожерелье, была унизана деревнями и селами.

Кузьма рассеянно глядел на уходившие мимо берега.

Показался Архангельск.

Медленно надвигается он высокими трубами заводов, белыми постройками, золочеными главами собора и целым лесом мачт и рей над рекой.

Кузьма правит к городу. Близко уже.

— Слава богу, все благополучно... Нонче в сдачу — и домой.

На переднем плоту, что шел перед Кузьмой, мужики вдруг забегали, кричат и что есть мочи отгребаются в сторону.

Кузьма замер: разрезая волны, быстро надвигалась темная громада морского парохода. На мостике капитан стоит, рукой машет, в рупор что-то кричит. Из черной трубы вырвался белый клуб пара, зазвучала упругая медь, и далеко убегали по реке тревожные отголоски.

Кузьма как сумасшедший стал отбиваться в сторону, но не успел и двух раз вынуть весла из воды — раздался треск: пароход, как нож репу, разрезал передний плот. Вокруг по вспененным волнам всплыли высвободившиеся бревна и закачались в бешеной пляске, с глухим стуком ударяясь в железную обшивку парохода, точно обрадованные, что вырвались на волю из крепких пут. Мужики, видя, что плота не спасти, кинулись в лодку и отъехали.

Кузьма мгновенно сообразил, что он уже не успеет отбиться в сторону и что его плот неминуемо постигнет такая же участь. Он бросил весло, схватил огромную дубину и кинулся навстречу быстро надвигавшейся громаде.

У него не было никакой определенной, осознанной цели, он делал это механически, совершенно инстинктивно, как мы инстинктивно закрываемся рукой от удара. Крепко нажал бревно одним концом к груди, а другой выпятил вперед.

Ни о чем не думал, ничего не соображал. Только пронеслись обрывки:

«С мели снялся... от мужиков ушел... бурю пронес господь... нонче в сдачу...»

Он не видел, как засуетились на пароходе матросы, видя, что он не уезжает с плотом, и боясь, что его убьет бревнами, не слышал, как взбешенный капитан посылал ему в рупор громовым голосом ругательства ломаным русским языком, как в воздухе свистнула, развертываясь кольцами, бечевка и, задев по лицу, скользнула в воду, и кто-то крикнул: «Держи!»... Он только чувствовал, как на него надвигалось роковое, как надвигается ужас смерти.

Ему не приходило на мысль, что через секунду, через одно мгновение бревна переломают кости, размозжат голову и он, как ключ, пойдет ко дну.

Он изо всех сил уперся в плот, как бык, наклонил голову и, затаив дыхание, ожидал удара. Он не сознавал ясно, чего, собственно, хочет,— это был порыв отчаяния.

Прошло всего несколько секунд, а они ему показались столь длинными, как те бесконечные зимние ночи, когда он сидел один в своей избушке перед костром в глухом лесу, и снежный ураган ревел за стенами, и гудели, качаясь, вековые сосны, и дым, клубясь, расползался по всей избушке, а в углах при красноватом отблеске костра пробегали темные тени.

Плот подняло и опустило, и перед Кузьмой появились темные бока парохода, вертикально подымавшиеся из воды, и, грозно белея, клокотала вокруг пена. В воздухе мелькнули два багра, зацепились за Кузьмову одежду, но худая одежонка не выдержала, и багры мелькнули назад с оборванными клочьями.

Что-то с силой толкнуло его в грудь, точно это был удар огромного кулака. Он отлетел, и волна два раза прошла над головой.

На минуту Кузьма потерял сознание. Когда очнулся, он лежал на своем плоту, который, скрипя, подымался и

опускался, и расходившиеся волны иной раз забегали по бревнам до его места. Вверх по реке уходила громада, краснея издали трубами, из которых вырывались тяжелые металлические вздохи.

Кузьма с трудом сообразил, что с ним произошло: разбитый плот... суета на пароходе... черные вертикально подымавшиеся металлические стены, и теперь... тупая боль в груди.

Он попытался было встать на ноги — не смог, дополз до края плота и стал мочить себе голову и грудь — и тут только пришел окончательно в себя. Пароход задел плот боком, а он со своим бревном смягчил удар.

Кое-как прибился Кузьма к берегу, привязал плот, отправился в контору, сдал лес и получил деньги.

И когда вечером, отдохнувший, он шел домой, все кругом повеселело: весело сияли золоченые кресты и главы над белеющими церквами, весело посвистывали по реке пароходы, суетливо шлепая по спокойным водам красными колесами, веселый гам висел над судами, шхунами, барками и громадными морскими пароходами, столпившимися на реке целым городом.

Кузьма шел и приятно ухмылялся, поглядывая на едва белевшие на противоположном берегу деревни.

«Не чужим умом — своей головой выкрутился».

И, ухмыляясь, опять подумал: «Добрая голова... кажному пожалаю».

Потом стал соображать, какой дорогой пройти в свою деревню, чтоб миновать трактир на берегу и не загулять. Он остановился и соображал долго и трудно, глядя в землю, но все дороги, которые мысленно представлял, сходились и шли мимо того трактира. Кузьма махнул рукой и пошел в путь-дорогу.

СТРЕЛОЧНИК

I

— Эй, Иван, беги, начальник кличет!

Иван, стрелочник, мужичонка лет сорока, с испитым, истомленным лицом, весь в саже и масле, торопливо поставил в угол метлу, которою он сметал снег с платформы, и побежал в дежурную комнату.

— Чего прикажете? — проговорил он, вытягиваясь у дверей.

Начальник, не обращая на него внимания, продолжал писать. Иван стоял, вытянувшись и держа шапку под мышкой.

Он не смел еще раз спросить, а между тем дорога была каждая минута: он сегодня дежурит с восьми часов утра, дела по горло, надо станцию убрать к завтрашнему дню, убрать путь, осмотреть стрелки, тяжи к семафорам, вычистить все лампы и трубки, налить керосином, наколоть и натаскать на два дня праздника дров в станционные помещения, убрать зал первого и второго класса,— и еще многое другое мелькает у него в голове, что нужно сделать. Уже пятый час, уже смеркается, надо огни зажигать на стрелках.

Иван приложил заскорузлую ладонь ко рту и осторожно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание.

— На стрелках огни не зажигал еще? — проговорил начальник, поднимая голову.

— Никак нет, сичас побегу зажигать.

— Зажжешь — пойди почисть из-под коровы: по колено в навозе стоит; никогда вовремя ничего не делается. От этого и копыта болеют.

— Поезд товарный номер пять через десять минут,— осторожно вставил Иван.

— Ну, проводишь поезд, тогда...

— Слушаю-с.

Возражать не приходилось. Иван притворил за собою дверь и бегом прошел в ламповую. В крохотной комнатке, вроде чуланчика, по полкам стояло штук двадцать ламп самых разнообразных размеров, с блестевшими, чисто вымытыми трубками. Иван отобрал из них несколько штук, поставил в широкий из толстой жести ящик и пошел к стрелкам.

Было тихо. Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки. Зимние сумерки тихо спускались на станционные здания, на полотно, на дома обывателей. Снег хрустел под ногами. Там и сям проходили фигуры спешивших покончить свои дела людей, в ожидании отдыха в завтрашний праздник от повседневной нескончаемой работы и вечных забот.

Иван бегал от стрелки к стрелке и ставил лампы. По всему пути там и сям зажглись зеленые и красные огни, а на небе тоже зажигались одна за другой звезды, играя и искрясь сквозь прозрачный морозный сумрак.

II

Далеко-далеко с железнодорожного пути потянулся однообразный, долгий и унылый звук; он подержался в морозном воздухе и замер. Иван с секунду прислушался, потом побежал в будку, схватил фонарь, рожок и что есть духу пустился по полотну за станцию к самой дальней стрелке, что одиноко горела красной звездочкой среди снежной пелены пустынного поля. Бежать пришлось далеко. Но вот и стрелка. Иван взялся за рычаг, нажал ногой и навалился: тяж заскрипел, потянул рельсы и с визгом передвинул их на запасный путь. Вдали что-то зачернелось неопределенное и в то же время неуклюжее; затем оно стало расти и удлиняться все больше и больше, точно выползало откуда-то; блеснули два огненных глаза, и теперь уже ясно и резко зазвучал свисток локомотива. Звук вырывающегося из локомотивного свистка пара разносился во все стороны и стоял в морозном воздухе; казалось — ему и конца не будет. Уже вот и поезд весь виден, изогнувшийся на закруглении, уже и рельсы стали подрагивать от надвигающейся громадной массы, а нестерпимый звук все режет ухо. Но наконец он оборвался и зазвучал три раза отрывисто и коротко.

Тогда Иван приставил рожок к губам, подобрал их особенным манером, надулся, покраснел и заиграл. И в ответ тому, что катилось, надвигалось и грохотало вдали, потянулся тонкий, унылый и жалобный звук рожка, от которого щемило сердце. Он тянулся безнадежно — все на одной и той же ноте, среди зимних сумерек, среди снежной равнины, в виду уходивших в бесконечную даль рельсов.

Казалось, этот жалобный звук рожка говорил о том, что все равно некуда спешить, что кругом все то же, что впереди такие же станции, каких миновали уже с сотню, те же станционные здания, звонок, платформа, начальник, служащие, разбегающиеся рельсы запасных путей, что тут так же уныло и скучно и каждый занят своим

делом, своими мыслями, каждый ждет не дождется встретить праздник в семье и никому нет дела до тех, кто теперь мерзнет на тормозных площадках вагонов и напряженно всматривается вдаль с площадки с грохотом катящегося локомотива. Но потом рожок как будто раздумал и весело и коротко протрубил три раза: тру... ту-ту... дескать, хоть и скучно, и уныло, и все то же самое, а все-таки ведь можно забежать на станцию, выпить рюмку водки, закусить скверной селедкой, погреться, покалякать со служащими, а там — и опять в дорогу. Ведь и жизнь вся такая: труд, труд, изо дня в день, недели, месяцы, годы, и забудешь и не знаешь, что такое отдых. А вот когда и дождешься наконец отдыха, словно среди глухой степи на станцию поездом приедешь, так заворачивай-ка на третий запасный путь.

И локомотив послушался. Вот он уже совсем накатывается на стрелку, и пыхтит, и отдувается, и пар его дыхания с шумом вырывается из ноздрей и стелется по обеим сторонам белой пеленой по мерзлой и молчаливой земле. Он, видимо, начинает задерживать движение, вагоны набегают, сталкиваются и гремят буферами. Иван налег на рычаг, и поезд, хлопая, стуча и визжа на переходе железом о железо, стал переходить на запасный путь. Мимо стрелочника прошел локомотив, тендер, потом пошли один за другим вагоны. Их прошло уже штук двадцать, тридцать, а они, все так же набегая и сталкиваясь, катятся мимо, и редко-редко где виднеется закутанная человеческая фигура, закручивающая тормоз. Это был громадный груженый товарный поезд. Наконец мимо прошел последний вагон и покатился прочь, посвечивая в морозной мгле красным фонарем.

Стрелочник пустился догонять поезд, чтобы пропустить его на следующей стрелке на другой запасный путь. Хотя поезд сильно замедлил ход и шел все тише и тише, догонять его было страшно трудно. Иван, задыхаясь и чувствуя, что ноги у него подкашиваются, бежал у заднего вагона, не в силах схватиться. Раза два он схватывался, но замерзшие, онемелые руки срывались, и он едва не угодил под колеса. Наконец таки он уцепился за подножку, взобрался и несколько минут неподвижно держался за перекладину, не будучи в состоянии отдышаться. Поезд совсем замедлил ход и шел мимо станции: платформа тихо плыла назад.

Стрелочник соскочил и побежал в обгонку поезда к будке, куда сходились проволоки — тяжи от нескольких стрелок. «Ну и, дьявол, здоровый!» — бормотал он, нагоняя голову поезда. Он быстро вскочил в будку: тут торчала целая куча рычагов от стрелок семафора. Он нажал один из них, и поезд, пройдя на запасный путь, стал вдали от станции в поле: ему нужно было дождаться и пропустить почтовый поезд. Стрелочник перекинул рычаг на главный путь, по которому должен был пойти почтовый.

«Ну, теперя можно из-под коровы почистить»,— решил он и направился через станцию на задний двор.

— Ты куда? — встретил его помощник начальника.

— Начальник велели из-под коровы...

— А платформа почему не подметена?

— Начальник велели из... под...

— Вовремя надо делать. Завтра праздник, а у нас на станцию не влезешь, гадость по колено. Сейчас подмети!

— Слушаю.

Помощник было пошел, но приостановился и крикнул:

— Да дров натаскай ко мне на вечер дня на два, а то вас, чертей пьяных, на праздник и за хвост не поймаешь.

— Слушаю.

Помощник ушел. Иван взял метлу и стал подметать платформу. «И удивительное дело,— рассуждал он, широко захватывая справа налево метлой,— теперя одному человеку хучь разорваться. Об семи головах будь, и то не поспеешь...»

— Эй, Иван!

— Чего изволите? — проговорил стрелочник, подбегая к дверям багажной, где стоял заведующий багажом.

— Куда ты запропастился, черти тебя носят. С ума ты сошел или ради праздника натрескаться успел: до сих пор в первом классе лампы не зажег. Пассажиры съезжаться начинают, а там хоть глаз выколи. Не хочешь служить, так убирайся ко всем чертям...

— Запамятовал, Василий Василич. Иван Петрович велели платформу подместь, а господин начальник — из-под коробы...

— Платформа, платформа! Вовремя все надо делать: ступай сейчас — зажги.

— Слушаю.

Иван поставил метлу и побежал в зал первого класса зажигать лампы. Тут уже стали собираться пассажиры, и Ивану в их фигурах, движениях и в том, как они расхаживали по залу и давали носильщикам на билет, виделось молчаливое ожидание, что вот, мол, наступает праздник и можно будет отдохнуть от дел и забот. Иван зажег лампы и побежал до메тать платформу. Покончив с платформой и опасаясь, как бы его опять куда-нибудь не услали или еще что-нибудь не заставили делать, он поспешил в дровяной склад. Дров колотых не было,— пришлось колоть. Иван с усердием принялся за работу. Надо было заготовить на все станционные помещения, но этого мало: надо было нарубить и натаскать для комнат и кухни начальника и помощника. Правда, у них была своя прислуга и он, собственно, не был обязан этого делать — на нем лежала исключительно обязанность смотреть за стрелками и за путями, но ведь если начальство приказывает — некуда деваться. И Иван продолжал с кряхтением взмахивать топором и отбрасывать расколотые поленья. Груда колотых дров росла все больше и больше.

«Должно, будя!» — решил он и стал увязывать поленья в громадные вязанки, чтобы скорее отделаться — разнести дрова. Но когда он взвалил себе на спину первую вязанку, то почувствовал, что захватил слишком много. Пошатываясь, хватаясь за притолоку и стены, пошел он, сгибаясь под огромной тяжестью, наваленной у него на спине. И все-таки он сбрасывать не хотел: хотелось разом и скорее разнести дрова. Четыре вязанки он разнес по станционным помещениям, надо было еще нести начальнику и помощнику во второй этаж, а это была самая тяжелая работа; колени гнулись, ноги дрожали. С напряжением, с усилием переступая со ступени на ступень, он каждую минуту ожидал, что совсем с дровами полетит по лестнице. Наконец он добрался до кухни помощника начальника и свалил дрова.

— Чего же поздно так? Из-за тебя жди, приборку нельзя кончать, полы мыть, все одно заляпаешь,— встретила Ивана кухарка помощника, сварливая, неуживчивая баба с красным носом и всегда «с зарядом».

Иван озлился:

— Да ты бы пораньше натрескалась да кричала бы, что поздно! Что же мне для тебя треснуть, что ли?

— Ах ты пьяница! Ах ты несчастный! Да будь ты трижды от меня, анафема, трижды, трижды проклят! Да я тебя, нечистая твоя морда, на порог не пущу теперя! Да я барину сейчас доложу...— И кухарка сделала решительный жест идти в комнаты.

Иван струсил.

— Макрида Спиридоновна, дозвольте... да я к вам, значит, с нашим почтением и завсегда рад. Може, вам помойку вынесть?

И, не дожидаясь ответа, подхватил лохань, сбегал и вылил. Спиридоновна смягчилась.

— Ну, натаскай же воды.

Иван натаскал воды.

— Лучины, что ли, наколол бы для самовара? В праздники-то неколи будет.

«Ну, и баба озорная, что будешь делать с ней,— думал Иван, щепля лучину.— Тут, господи, дыхнуть неколи, а тут она. И ничего не поделаешь: пойдет жалиться».

Отделавшись и бормоча себе под нос, что «человека совсем заездили», Иван отправился в сарай, где стояла корова начальника. Она меланхолически пережевывала жвачку и равнодушно глядела на вошедшего Ивана.

— Но, идол! — крикнул Иван.— Поворачивайся, сенной мешок! — И он со злобой ударил железной лопатой корову. Та покорно отодвинулась, поднимая ушибленную ногу. Иван начал работать, с ожесточением кидая навоз.

— И откуда навозу с нее столько! Только и знает, что жрет и пакостит; кабы столько молока давала, а то даром сено жрет. Да меня озолоти — не стал бы держать такую животину. Да и начальник... Мало, что ли, молока на базаре? — пошел да купил, были бы денежки. А то эдакую прорву держи, она тебя проест всего. Гляди — одного навозу наворочала сколько! У-у, тварь, чтоб те околеть!

И он опять с сердцем ткнул лопатой ни в чем не повинную корову, которая решительно не знала, чем заслужила такую немилость, и все жалась к стенке.

Ивана прошиб пот. Он чувствовал страшное утомление и то, что дольше не в состоянии работать; но надо было кончать.

— Кончу,— потить выпить рюмку с устатку, а то не вытянешь до смены.

Наконец навоз был убран. Иван, толкнув еще раза два корову, поставил лопату в угол и пошел на станцию.

III

В буфете за столом грелись чаем кондуктора пришедшего товарного поезда. Иван подошел к стойке, взял стаканчик водки, выпил, крякнул, закусил кусочком вонючей рыбы и купил сороковку, чтобы дома встретить праздник честь честью. Сунув сороковку в карман, он отправился в будку, захватил ключ, молоток, чтобы осмотреть путь перед приходом почтового, и остановился в раздумье: если таскать с собой вино, то можно еще как-нибудь разбить драгоценную бутылку, если же оставить в будке, сменщик явится, непременно утащит водку: уж у него нюх на этот счет собачий. «Сбегаю домой, отнесу»,— решил Иван и, торопливо сбежав с полотна, направился к маленькой хатенке саженях в тридцати от полотна, в которой приветливо светилось маленькое окошечко.

Иван заглянул в него: крохотная комнатка с огромной печью, всегда такая грязная, неуютная, заставленная горшками, кадушечками, всяким домашним хламом, теперь была прибрана, глиняный пол чисто смазан, стены выбелены, а полкомнаты занимавшая печь вся разрисована синими петухами. В переднем углу, под образами, стол был накрыт грубой, но чистой скатертью. На образе теплился восковой огарок, трепетно освещая низкий потолок, синих петухов и русые головки ребятишек. Их было у Ивана восемь человек; один качался еще в подвешенной к потолку «зыбке».

Ребятишки, видимо, с нетерпением ожидали тятьку, чтоб приступить к ужину, несмотря на то что сон клонил их головенки. И эти синие петухи, и выбеленные стены, и скатерть на столе — все производило на Ивана впечатление отдыха и покоя, которые ждут его.

Он постучался в окно. Вышла хозяйка.

— Кто тут? — проговорила она, всматриваясь при слабом мерцании звезд.

— Возьми, во захватил, в будке-то упрут.

— Али с дежурства?

— Нет, сейчас путь иду оглядеть.

— Долго не сиди после дежурства, ребятишки спать хотят.

— Через полчаса буду: зараз почтовый придет,— провожу — и домой.

Иван вбежал опять на полотно и, посвечивая фонарем и постукивая молоточком, пошел по рельсам, изредка подвинчивая ненадежные гайки. Он осмотрел стрелки, попробовал тяжи — все было в порядке — и направился к станции.

IV

Огромный, с двумя паровозами, почтовый поезд тяжело и с грохотом катился по рельсам. Снежные вихри крутились из-под колес, и пар, клубами вырываясь из двух труб его локомотивов, далеко стлался белой пеленой. Весь поезд был битком набит публикой. Кондуктора ходили по вагонам, отбирая билеты. Впереди грубо зазвучал паровозный свисток.

Пассажиры снимали с полок чемоданы, узлы, увязывали подушки. Поезд стал задерживать ход. Тормоза со скрежетом зажимались к колесам.

Иван, как только поезд подошел к платформе, по знаку начальника дал первый звонок,— здесь остановка была всего на две минуты,— бросился в багажный вагон и стал вытаскивать багаж высаживающихся здесь пассажиров.

Он изо всех сил раскидывал чемоданы, сундуки, тюки, разыскивая нужные номера. Когда багаж был выгружен, Иван повез его на тележке в багажную.

— Иван, какого же ты черта?! Второй звонок, тебе говорят...

Небольшой колокол отчетливо и звонко ударил два раза.

— Беги, отдай разрешение!

Стрелочник схватил разрешение и пустился по платформе к паровозу, толкая публику. Поезд был громадный, и надо было почти весь его пробежать. Машинист,

перегнувшись с своей площадки, взял у запыхавшегося Ивана путевую.

— Третий!..— Чувствуя, как колотится у него сердце, кинулся опять к звонку и ударил три раза. Свистнул обер-кондукторский свисток, паровоз отозвался сердито и нехотя, и поезд, раздвигаясь и визжа железом, стал трогаться. Платформа пошла назад, а вагоны, раскачиваясь, мерно постукивая колесами на стыках, покатились по рельсам друг за другом.

Иван с облегчением вздохнул. Он дежурит через день и каждый раз в десять часов ночи точно так же надрывается, выгружая багаж, точно так же ему нужно и давать звонки, и передавать разрешение машинисту, и бежать открывать семафор, то есть каждый раз приходится исполнять обязанности, которые должны быть распределены, по крайней мере, между двумя человеками, и это в продолжение двадцати двух лет!

Эти двадцать два года съели его. Ему казалось, что он только и умеет делать и всю жизнь только и умел делать — это бегать по стрелкам, подавать сигналы, давать звонки, зажигать лампы. Работа эта казалась наиболее легкой, подходящей, благодарной. Ему казалось, что, кроме нее, он больше ни на что не способен, не годен. У него было восемь детей, и он получал пятнадцать рублей в месяц. Потому-то, когда он бегал по стрелкам, пропускал поезда, ставил фонари, чистил из-под коровы, подметал платформу, он носил с собою одну и ту же мысль, одно и то же ощущение: страх, не сделал ли он чего-нибудь «не так», не сделал ли он упущения, не вышло бы чего-нибудь скверного. Двадцать два года сделали свое дело, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы и иначе устроиться. Вне железнодорожного порядка дня, вне станции, путей, платформы он себя не представлял. В десять часов вечера с отходом почтового поезда кончалось его дежурство, и только тогда вместе с глубоким вздохом облегчения с него сваливалась давящая тяжесть страха и ожиданий, как бы чего не случилось.

Так и сегодня. Когда поезд прошел платформу, Иван, испытывая необыкновенную слабость, которая всегда охватывала его по окончании дежурства, и чувствуя в то же время, как сваливается с него тяжесть, поднял руку, чтобы перекреститься, и... замер. Страшная мысль

прожгла его: *он забыл перекинуть рычаг стрелки* на главный путь по проходе товарного поезда, на который теперь несся почтовый. Весь страх, все отчаяние ответственности охватили его. Без шапки, с побелевшим лицом, кинулся он бежать туда, где, удаляясь, светился красный фонарь уходившего поезда.

Поздно!.. Вот, вот раздастся оглушительный треск, и к небу в белесоватом ночном сумраке подымется над полотном темная громада, неподвижная и зловещая, и нечеловеческие бессмысленные крики наполнят морозную, зимнюю ночь.

Чтоб не слышать их, Иван кинулся на боковой путь, по которому в этот момент шел дежурный паровоз. Задыхаясь, добежал он и бросился на ярко освещенные рефлекторами приближавшегося паровоза рельсы.

В эти несколько секунд вся его жизнь, точно озаренная отблеском, предстала пред ним, законченная сегодняшним днем: дежурство... платформа... лампы, дрова... корова... печь с синими петухами... русые головенки и... роковая стрелка!..

В этот момент страшного напряжения вдруг с поразительной отчетливостью представилось, как он перекинул стрелку на главный путь... Боже мой, ведь он *правильно ее поставил!*.. Он спутал, и почтовый поезд благополучно шел по главному пути...

Иван отчаянно закричал и сделал нечеловеческое усилие скатиться с рельсов, но в эту самую секунду накатившийся паровоз обрушился на него всей массой железа, стали, раскаленного угля и... перервал ему дыхание.

V

Машинист дежурного паровоза стоял на площадке, поглядывая на бежавшие навстречу и ярко освещенные рельсы. Мелькнула одна стрелка, другая. Он взялся за свисток и несколько раз дернул. Застучали колеса на переходе, захлопали, мелькнул зеленый огонь, будка вынырнула из темноты и опять пропала. Вдруг он, как сумасшедший, бросился к регулятору и закричал не своим голосом: «Тормоз!» А уже помощник сам изо всех сил тормозил, отчаянно налегая на рукоять.

— Господи, никак, человека зарезало!..

Заскрипели тормозные колодки, завизжали колеса, пар рванулся в открытые клапаны. Из-под паровоза донесся нечеловеческий вопль: «Ай, бат...» — и оборвался. Паровоз пробежал еще с сажень, остановился.

Соскочили машинист с помощником наземь — ничего не видать: сечет крупой в темноте ветер очи. Бросился помощник за фонарем, осветил им, видит — лежат поодаль вдоль рельса две отрезанные ступни, а за колесами под паровозом виднеется человек.

— Ведь зарезало, царица небесная!..

Побежал помощник на станцию, сбежался народ. Отодвинули паровоз назад. Кто-то наклонился над лежавшим:

— Помер!

Все смолкли, сняли шапки, перекрестились.

Иван неподвижно лежал между рельсов с насильственно повернутой набок головой, с закатившимися глазами. Кольцо фонаря, надетое на правую руку, сорвало у кисти кожу и завернуло ее, как кровавый рукав, к самому плечу; сама рука была вывернута в плече и закинута за голову, а ребра левого бока глубоко вдавлены в грудь.

Среди собравшихся слышался сдержанный, подавленный говор: расспрашивали, как случилось несчастие, не был ли покойник выпивши, кричал ли, как на него набежала машина. Никто ничего не мог толком ответить.

— Только это я выглянул,— говорил изменившимся от волнения голосом машинист окружившей его кучке,— вижу, огни на стрелке засветились, думаю — стану сейчас; только что хотел было повернуться, гляжу, а он тут, у самого фонаря... Господи!.. кинулся я... а он как закричи-ит... потемнело у меня, знаю, что тут вот под паровозом человек, и ничего не могу сделать...— Голос у машиниста оборвался.

Ветер набежал, зашумел и посыпал на мертвеца и всех стоявших белой крупой. Все замолчали. В паровозе угрожающе клокотал сдавленный пар. Машинист поднялся на площадку и повернул какую-то ручку: пар с бешенством вырвался низом, окутав всех тепловатой сыростью.

— А ведь шел, не думал. Должно, к стрелке шел. Он его тут и накрыл.

— Рожок весь так и свернуло, а самого, видно, зацепило за фонарь и поволокло, а то бы пополам перерезало.

На минуту опять водворилось молчание. Ветер снова зашумел по насыпи и посыпал крупой.

— Послали за начальником?

— Сейчас пошли.

— Баба теперича завоет — с восьмерыми осталась.

От станции показались огни и темные силуэты людей. Подошел начальник. Собравшаяся кучка расступилась. Он взял у служащего фонарь, направил на покойника: на мгновение свет мелькнул по сурово-сосредоточенным лицам стоявших, по рельсам, по шпалам и упал на искаженное страданием лицо убитого с неподвижными белками закатившихся глаз. Начальник слегка повернулся и велел убрать тело в пустой вагон.

Принесли рогожу; подняли труп; он стал коченеть. Вывернутая рука бессильно упала и повисла.

— Чего же, надо всего...— сдержанно проговорил один из подымавших, как будто не договаривая.

— Вон где,— указал в темноте помощник.

Кто-то отделился с фонарем, прошел несколько шагов вдоль рельсов; видно было, как он нагнулся и поднял что-то. Вернувшись, он бережно положил на рогожу отрезанные ступни.

Тело отнесли и положили в пустой вагон, одиноко стоявший на запасном пути.

В составленном на месте происшествия протоколе значилось: «Ноября такого-то числа на станции такой-то железной дороги, шедшим в депо дежурным паровозом № 5-й был задавлен, по собственной своей неосторожности, дежурный стрелочник, кр. Орловской губ., Демьяновской вол., дер. Улино, Иван Герасимов Пелипасов».

VI

Было часов десять утра. По платформе гуляла публика. Ожидался поезд; уже было получено по телеграфу извещение, что он вышел со станции. Пассажиры повыбрались из зал вокзала и расположились с узелками,

чемоданами и корзинами на платформе у самого полотна, то и дело посматривая в ту сторону, откуда ожидался поезд. Жандармы, позвякивая шпорами, осторожно и подозрительно поглядывали вокруг. Раздвигая публику, гулко прокатили по асфальту багажную тележку. Торопливо пробежал смазчик с длинным молотком и лейкой, несмотря на холод — в синей замасленной блузе без пояса. Вышел начальник, полный господин, в красной фуражке и золотых очках, слегка приподняв голову и с видом человека, привыкшего отдавать приказания.

В это время какая-то женщина пробиралась между публикой, постоянно оглядываясь: она, видимо, искала кого-то. Лицо и глаза ее были красны, на редкие ресницы, сиротливо торчавшие на подпухших и как будто слегка вывернутых веках, набегали слезы. Она старалась удержать их, непрерывно вытирала и постоянно сморкалась в угол головного платка. Но как только она увидала начальника, слезы неудержимо закапали из глаз. Она подошла к нему и, держа у подергивавшихся губ зажатый в руке конец платка, хотела что-то сказать, но не выдержала и вдруг неожиданно заголосила на всю станцию, так что все невольно оглянулись. Начальник неприятно поморщился и слегка нахмурил брови:

— Что такое? Что ты, матушка?

— Ба... ба... ро-ди-мый, за...за-да...ви-ло...за...да-ви-ло...

Кругом столпились, вытягивая один из-за другого шеи и стараясь взглянуть на начальника и на голосившую бабу.

— Чего она кричит? — спрашивали друг у друга.

— Вчерась кого-то убило тут, сказывают.

«Чистая» публика держалась в стороне, посматривая издали на происходившее.

— Да что такое?

— Жена умершего вчера стрелочника,— объяснил начальнику высокий артельщик с бляхой на груди.

— Так чего же тебе, матушка?

— Ро-ди-мый мой... куды жа те-пе-ри-ча? не ду-ма-ли, не га-да-ли... приходят, сказывают — убило тво-во... убило... Вчерась еще с дежурства забежал... при-ду, го-во-рит... при-ду... о-ооо...— Женщина не выдержала: как только стала рассказывать о том, что муж говорил «при-

ду», она истерически зарыдала, ухватившись обеими руками за тощую грудь.

— Иди за мной! — приказал начальник, направившись в вокзал и желая увести женщину от публики.

Она пошла за ним, наклонив голову набок и все так же судорожно рыдая.

— Так ты, что же, хочешь, чтобы тебе помогли?

— Батюшка, куды же с сиротками теперича — исть нечего... Нельзя ли вашей милости от железной дороги чего-нибудь, помощи какой?

Начальник полез в карман, достал бумажник и подал женщине три рубля.

— Это вот от меня, понимаешь, это я даю, как частный человек, все равно как если бы кто другой дал; а управление дороги ничего не выдаст: оно не отвечает за такие случаи,— твой муж был убит по собственной неосторожности. Неосторожен был, понимаешь? Железная дорога не отвечает в таких случаях.

— Куды жа нам деться?.. пенсию, сказывают, можно охлопотать, а то с голоду помереть с ребятами... Христом богом прошу, не оставьте вашей милостью...— И женщина, нагнувшись, достала рукой до земли.

— Да говорят тебе — не отвечает в таких случаях железная дорога. Послушай-ка,— обратился начальник к проходившему кондуктору,— растолкуй ей, что управление ничего не выдаст. Может, конечно, повести дело судебным порядком, но толка никакого не будет, только деньги и время даром убьет.

Начальник вышел. Женщина стояла на одном месте, вздрагивая от душивших ее рыданий и непрерывно вытирая глаза и красное мокрое лицо концом платка.

— Ну, вот что, Алексеевна, иди теперь с богом. Начальник сказал «нельзя»,— значит, нельзя. Сколько можно было, помог, добрый человек, а дорога не отвечает. Это если бы по ее вине, можно бы высудить, а так ничего не будет. Ну, иди, иди, Алексеевна, а то поезд сейчас придет.

Она тихонько пошла. Публика, стоявшая на платформе, видела, как она прошла по полотну, и один из жандармов крикнул: «Проходи, проходи — поезд сейчас»; потом спустилась с насыпи. Некоторое время красный платок ее мелькал из-за оголенных деревьев станционного садика и наконец пропал за последними деревьями.

МЕСТЬ

I

Было холодно. С серого зимнего неба попархивали снежинки, и резкий восточный ветер, ни на минуту не останавливаясь, упорно тянул по льду поземку, местами дымившуюся тонкой снежной пылью. Куда ни глянешь — везде пустынно, ровно, бело. Только позади темнели невысокие глинистые обрывы морского берега, размытые и неровные, слегка запорошенные теперь снегом.

В громадных розвальнях, заполненных сетями, веревками, топорами, шестами, «стрекачами» для пробивки льда, теплой одеждой, провизией, котлом для варки пищи, поленьями дров, привалившись к задку, дремал, укрытый теплым кожухом и полстью, старик. Молодой парень сидел на передке, свесив из саней обутые в валенки ноги. Пара маштаков бежала ровно и споро, не останавливаясь, зная, что еще долго так придется бежать.

Парень не правил лошадьми, а, засунув под сиденье концы вожжей, привалившись к саням и глубоко засунув руки в рукава, задумчиво глядел под передок, как под полозьями неустанно все в одну и ту же сторону бежал снег. Иногда он менял положение, выпрастывал руки, больше свешивал ноги и чертил ими по снегу или начинал разговаривать с лошадьми тем особенным тоном и голосом, которыми обыкновенно кучера в дороге разговаривают с своими лошадьми.

— Но, но, милаи, но, резвыи!.. Эй, ягнятки! Много пробегали, немало осталось... Но, детки!

Или вытаскивал из-под себя кнут и начинал хлестать ближайшего коня долго и настойчиво. Тот сначала отмахивался хвостом, как от надоедливой мухи, но потом, видя, что от него не отстают, точно желая сказать: «Эк его, привязался!» — неловко и неуклюже переваливаясь, пускался вскачь, прыгая всеми четырьмя ногами. Мужик, очень довольный, переставал хлестать, натягивая вожжи и запихивая опять кнут под себя, а конь, попрыгав еще раза два-три, с сознанием, что, наконец, удовлетворил каприз возницы, снова начинал бежать ровной рысью. Мужик опять примащивался в санях, подставляя ветру то спину, то бок. Ему нечего было делать, было холодно и скучно.

— Аж наскрозь тебя продувает... Удивительное дело...— говорил он сам с собой, глядя, как из-под лошадиных копыт, из-под полозьев саней дымил порошей морозный ветер и неустанно, без перерыва по всему пространству гнал сухой снег, неведомо куда и зачем.

Иногда Никита соскакивал и бежал рядом с санями, хлопая и махая накрест руками. Или, отставая, шел некоторое время шагом, потом пускался бегом догонять далеко ушедшие сани. Лошади же, видя, что возница нагоняет их, и опасаясь, что он начнет их сейчас хлестать, подхватывали сани и неслись во всю рысь, так что Никита что есть духу должен был бежать за санями, пока наконец, улучив минуту, изнемогая и запыхавшись, переваливался брюхом через грядку саней, красный от напряжения и ворча на лошадей: «Вот, идолы, проманежили как!» — а на самом деле очень довольный, что кони сыграли с ним эту штуку.

Берег давно пропал, кругом курилась белая равнина. Казалось, это была степь, ровная и гладкая, по которой сплошь тянула поземка.

Но это было море.

И как бы в доказательство этого, нарушая унылое однообразие окружающей обстановки и состояние скуки и монотонности Никиты, потрясая воздух, грянул громовой раскат и тяжело покатился к самому краю равнины.

Никита подобрал вожжи, лошади насторожили уши, спавший рыбак проснулся, выставил из-под полсти голову и стал осматриваться, щурясь от белого снега.

— Где? Впереди али сзади?

— Впереди,— проговорил Никита, привстав в санях на колени и всматриваясь вперед.

Саженях в пятидесяти среди снега темнела водная полоса, протянувшись до самого горизонта. Когда подъехали, щель разошлась сажени на три.

Никита слез, обошел лошадей, поправил дугу и проговорил:

— Што жа, рубить, видно, надо, куда объезжать: сколько видно — пошла.

Из саней, приподняв полсть, вылез бородатый с проседью, широкоплечий, здоровый старик лет пятидесяти, прошел ко все расходившейся щели и внимательно осмотрелся кругом.

— Делать нечего,— сказал он,— придется рубить. Экая беда — время зря сколько пропадет!..

Они достали из саней топоры и «стрекачи» и стали вырубать во льду у самого края большую четырехугольную глыбу. Отделив ее от остальной массы льда, они вывели ее баграми на воду, поставили длинной стороной поперек щели так, что она концами уперлась в края матерого льда, и перевели по ней лошадей с санями, как по мосту.

Тронулись дальше. Никита уселся на облучок, а старик залез под полсть. Но не успели они проехать и полсотни саженей, как снова раздался гул лопнувшего почти под самыми ногами лошадей льда. Лошади испуганно шарахнулись. Щель быстро расходилась.

Парень и старик торопливо соскочили, чтобы не дать ей совсем разойтись, надвинули сани, сколько возможно было, на лошадей, так что хомуты у них оказались на головах, гикнули и хлестнули коней. Лошади рванулись и совсем с санями перенеслись через угрожающе темневшую в расщелине воду.

Снова лошади бегут своей привычной побежкой, покачиваясь крупами, в такт потряхивая головой и гривой. И Никита опять, свесив ноги, глядит на убегающий мимо снег, на мелькающие лошадиные ноги, которые, выворачивая копыта, то и дело показывают ему отбеленное железо подков, разговаривает с лошадьми и с ветром и согревается, бегом догоняя сани. Кругом все так же однообразно и скучно.

Старик лежит под полстью и прислушивается — не лопается ли опять лед. Его стало беспокоить, как бы не переменился ветер; тогда ведь в какие-нибудь три-четыре часа поломает лед и станет их носить по морю. Но зловещего гула больше не слышно, и лишь в санях шумит ветер да полозья повизгивают, скользя иногда по льду.

Старик немного успокоился и стал думать о том, о чем он всегда думал, когда ничем не был занят: о своем хозяйстве, о рыбе, о сетях, о том, что того-то надо прикупить, то-то переменить, что надо бы столько-то пудов рыбы поймать, чтобы обернуться этот месяц, что не надо взгадывать — сколько поймаешь рыбы, потому что тогда ничего не поймаешь. Потом он стал высчитывать, сколько пришлось ему за красную рыбу и за

судака. Судака он продал хорошо, а красную рыбу продешевил. И как только он вспомнил про это, у него засосало опять «у самой души», как он выражался.

Старик всячески берег деньгу, и малейшая потеря его обыкновенно долго мучила. Единственный способ заработать был рыбный промысел, и потому все помыслы его сосредоточивались на нем. С самого детства, сколько он себя помнит, он ничем другим не занимался. Весь мир для него сосредоточивался на этом мутном, заплесневелом море с низкими глинистыми берегами. Все города, какие ни существуют на свете, он представлял себе в виде Ейска, Ростова, Таганрога, Мариуполя, да и то в виде тех их частей, где помещался рыбный базар. «Расею», о которой иногда приходилось говорить, он представлял себе в виде прикубанских, донских и приднепровских степей, которые со всех сторон надвинулись на Азовское море. В самом море он знал каждый уголок, каждую ложбинку, углубление. Во всякую погоду днем и ночью ходил в баркасе без компаса и приходил туда, куда нужно. Знал, когда и какая рыба ловится, где она держится косяками, и немилосердно истреблял ее крючьями и разными другими недозволенными снастями, приговоривая, что рыба — божий дар и что хватит ее на всех, хотя последние годы все чаще и чаще стал жаловаться, что рыбы стало меньше и что год от году она все хуже ловится. Семья у него была большая: восемь душ,— из них пять сыновей, которые рыбачили вместе с ним. Пока дети были маленькие, семья испытывала страшную нужду, почти нищету. Обзавестись своим баркасом, своими снастями не было сил. Хозяин ходил на рыболовные заводы простым работником-поденщиком. Кое-как, однако, с величайшими усилиями удалось обзавестись своими снастями, но в первый же год сети вмерзли зимой в лед — и все пропало, и опять пришлось браться за поденщину. Так было несколько раз. Но когда дети подросли и стали помогать, семья окрепла: завели свои снасти, два баркаса и пару лошадей.

У старика была и своя хатка на берегу. Он облюбовал себе местечко на косе пустынного берега, наделал саманных[1] кирпичей, наменял на рыбу черепицы и по-

[1] Саманные — из глины с примесью соломы и навоза. *(Прим. автора.)*

ставил хату. Но через несколько лет к нему предъявило иск о сносе хаты соседнее село, которому принадлежала береговая земля. Старик не признавал никаких судов, твердил, что это — бичевник, что у моря земля божья, что «государственное имущество» [1] разрешило рыбакам селиться на берегу безданно, беспошлинно, чтоб они ловили христианскому народу на пропитание рыбу, и что без рыбаков все поделаются нехристями: будут жрать в посты говядину. Кончилось тем, что явился судебный пристав с полицией и рабочими и сравняли хату с землей. Упрямый старик отступил немного и поставил новую хату: с этой начиналась та же история.

Несмотря на свое скопидомство, он всегда первый являлся с помощью, как только у какого-нибудь рыбака случалось несчастье. Прибегут, скажут, что дядя Влас потонул, или что затерло его льдами, или унесло льдом в море и он замерз,— и старик сейчас же нагружает кого-нибудь из сыновей мешком-другим рыбы и отправляется к семье погибшего. Но деньгами он никогда не помогал, а только натурой. И кажется, если бы перед ним помирали целые семьи от голода, он не дал бы ни полушки, а скорее бы отдал половину улова,— с деньгами он не мог расстаться.

Сыновей своих держал в строжайшем повиновении, не позволял им ни курить, ни пить. Себе в два-три месяца разрешал в виде отдыха «погулять», однако дома никогда не пил, а шел в город и там уже напивался до положения риз. И здесь он старался, если представлялась малейшая возможность, не истратить ни копейки, а расплатиться натурой: входил в соглашение с содержателем гостиницы или трактира, который доставлял ему определенное количество водки, а старик взамен приволакивал ворох рыбы, и хотя стоимость рыбы во много раз превышала стоимость водки и гораздо выгоднее было бы продать рыбу и на вырученные деньги купить водки,— старик был в восторге, что погулял, не истратив ни копейки.

Перетерпел он на своем веку много: два раза тонул на захлестнутом водой баркасе, и его носило по морю целые сутки; раз затерло льдами, и его едва успели спасти товарищи, а несколько лет назад унесло на льду

[1] «Государственное имущество» — министерство государственных имуществ. *(Прим. автора.)*

в море со всем — с лошадьми, санями и снастями. Лошади замерзли, сани затерло льдом, и они пошли ко дну, и остался он один среди льда, кругом шумело холодное море, а над головою низко висело серое зимнее небо. Его вынесло из Таганрогского залива в самое море, пронесло мимо Бердянска, мимо Геническа, но с берега не могли разобрать черную точку среди льда; и ниоткуда не было помощи. Он жевал куски голенищ своих сапог, глотал снег, но потом, когда увидел, что спасения нет, лег на лед и перестал бороться со смертью. Его сняли уже около Керчи, закоченевшего, в бессознательном состоянии, и доставили в больницу. Здесь ему отрезали все пальцы на левой ноге и правое ухо. И странно, с тех пор он иногда чувствовал, что чешутся пальцы на ноге, которых у него не было. Вот и теперь. Старик замечал, что это у него к перемене погоды, и с беспокойством отвернул полсть и огляделся кругом.

II

Лошади понуро стояли. Поземка все так же тянула, а недалеко одиноко торчали вбитые в лед колья, и маленькие флажки трепетали на их верхушках; они означали места, где были поставлены сети.

Старик и Никита достали топоры и пробили лунки, которые затянуло морозом. Стали выбирать сети, но там ничего не было. Старик хмурился, ворчал. Ему подозрительно было, что в сетях не оказалось ни одной рыбы. Соседи рыбаки, возвращавшиеся с моря, говорили, что рыба хорошо идет. Спустили опять сети, сели в сани и тронулись дальше. Проехали версты две, впереди опять показались вбитые в лед колья и бившиеся на них по ветру привязанные лоскутки.

Старик велел остановиться Никите, а сам, внимательно осматриваясь кругом, пошел к лункам. Тут он опустился возле них на колени и стал шарить голой рукой по снегу и по краям лунки, потом поднялся и кликнул Никиту. Тот торопливо подбежал.

— Что, али *был?* — проговорил он.

— *Был* и недавно — лунки только что успело затянуть, ледок-то совсем еще тонкий.

— Следов не видать?

— Следов и не будет видать — вишь, поземка тянет, все заметет, и время такое выбирает. Теперича

засыпем сети, к крайним вдаримся — може, там накроем *его*.

И старик и Никита торопливо вытаскивали из саней привезенные сети, топоры, секачи и стали рубить во льду новые лунки. Они работали напряженно, и целые тучи ледяных брызг летели из-под топоров, обдавая их лица и платье. Наконец у Никиты топор со всей рукоятью ушел в лед, и оттуда фонтаном ударила вода, разливаясь по льду.

Вырубили по прямой линии на расстоянии двух саженей одна от другой еще десяток лунок. Оставалось «засыпать» сети — самое тяжелое и неприятное дело.

Никита привязал к концу длинного шеста веревку, которая шла от сложенной на льду сети, погрузил шест в лунку и стал в воде голыми руками направлять его так, чтобы он подо льдом прошел как раз ко второй лунке.

В холодной ледяной воде руки разом закоченели — ветер нестерпимо жег их морозом. Было так холодно, что Никита делал над собой страшные усилия, чтобы выдержать и не бросить все. Старик крючком ловил во второй лунке просовываемый подо льдом шест, и когда он, наконец, зацепил его и придержал, Никита мог немного отогреть руки. Он вскочил, торопливо вытер их о кожух и яростно, что было силы, стал махать ими накрест, хлопая себя в бока и плечи.

А над снежной равниной быстро вечерело. Небо стало чистое, и на нем показалась луна, круглая и белая. Угасающий дневной свет не давал ей светить. В сумерки эти два человека, лошадь и сани казались еще более одинокими, затерянными среди безлюдной пустынной равнины, над которой все так же проносился морозный ветер.

Никита не согрел рук, но они хоть немного отошли; невыносимо кололо в пальцы. Опять надо было снимать рукавицы и лезть голыми руками в ледяную воду. И Никита, усиливаясь удержать дрожь и не попадая зуб на зуб, снова стал возиться с шестом в воде, прогоняя его подо льдом через все лунки, в которых ловил его крючком старик. Наконец шест прошел к последней лунке, откуда его и вытащили. Никита перебежал к этой лунке и стал быстро выбирать из нее веревку, которую за собой протянул шест. Вода бежала с бечевы, затека-

ла Никите за рукава и намерзала там на рубахе и на овчине тулупа. Старик у первой крайней лунки спускал в воду аккуратно сложенную на льду сеть, расправляя ее и вытягивая.

Но вот у Никиты бечева кончилась, и из-подо льда показалась сеть, которая протянулась саженей на тридцать. Никита перестал выбирать и закрепил конец к наскоро вбитому в лед колу. Потом они со стариком снова схватили топоры и на другом месте стали отчаянно, чтобы согреться, рубить новые лунки. После этого Никита снова принялся болтаться в воде голыми руками, пропихивал шест и с отчаянием смотрел, как старик, срываясь и не попадая, вылавливал его из другой лунки. Он уже не чувствовал кистей рук, а сведенные судорогой пальцы не разгибались. Он все чаще и чаще принимался отогревать руки, махать и хлопать ими о полы тулупа, но как только принимался за работу, мороз, становившийся к ночи злее, беспощадно леденил его до костей; мучения холода становились невыносимы. Так они проработали несколько часов.

Уже давно сумерки сменились морозной ночью. Луна поднялась высоко и необыкновенно ярко озаряла теперь всю равнину искристым морозным сиянием. В снегах играли синие огоньки. Белая подвижная пелена колебалась по всей равнине. Лошади прозябли и выражали нетерпение, переступая с ноги на ногу, и иногда слегка ржали, повернув голову к хозяевам.

Покончив работу и поставив шесть новых сетей, рыбаки убрали топоры и бечевы в сани и тронулись. Прозябшие лошади пошли во всю рысь. На этот раз старик стал править ими, а Никита залез под полсть, но он и там не мог согреться. Его трясло, зубы неудержимо стучали,— казалось, холод проник внутрь его, в нем дрожал каждый мускул, и, тщетно напрягаясь, он старался подавить эту дрожь.

— Али зазяб? — проговорил старик.

— Зазяб.

— Бежи.

Никита вылез из саней и пустился за ними бегом. Он утомился от работы, а прозябшие лошади быстро уносили сани, и он делал усилие, чтобы не отстать, спотыкался, увязал в сугробах, но все-таки бежал. И только когда почувствовал, что совсем стал изнемо-

гать и что от усталости и мороза стало перехватывать дыхание, он с усилием натнал сани, ввалился в них и снова залез под полсть. Приятная, живительная теплота стала разливаться по всем его членам.

Старик помахивал на лошадей и зорко всматривался в искрившуюся, залитую лунным сиянием снежную даль. Везде было пусто, но он почему-то все ждал, что вот-вот что-то зачернеет, покажется вдали. Но морозная даль была обманчива: темная черта горизонта порой казалась у самой дуги лошади, и там мерещилось что-то, но сейчас же отодвигалось куда-то очень далеко, и до самого края белела тянувшая поземка. Проехали несколько верст. Лошади согрелись и пошли тише. Старик перестал всматриваться вдаль и задумчиво подгонял лошадей. Поправляясь на облучке, он случайно поднял голову и... остолбенел: саженях в ста вправо стояла лошадь, запряженная в сани, и недалеко человек копался и что-то делал во льду, он, видимо, не замечал подъезжавших, увлеченный своей работой.

— Никита! — проговорил старик сдавленным, хриплым шепотом.

Тот высунул из-под полсти голову.

— Гляди, *он!*

Никита выскочил из-под полсти, как ужаленный.

— Тише!..— И старик, собрав вожжи, вдруг неистово погнал коней во всю лошадиную мочь. Они понеслись во весь карьер к человеку, который что-то делал во льду.

III

Когда Петро Дранько возвратился из солдат, надо было приниматься за устройство своего хозяйства. Отец его умер, жена с ребятишками ходила на работу из-за хлеба, и у Петра, кроме трудовых рук, ничего не было. Он тоже пошел в работники, а летом ходил на рыбные заводы.

Но под конец надоела ему такая жизнь, и он задумал обзавестись собственным хозяйством. Два года работали они с женой на чужих людей, как волы, а летом Петру посчастливилось: тянул из части тоню, вышел богатейший улов, и на его долю пришлась хорошая добыча. Сколотили так несколько десятков рублей, купил он

себе старенький баркас, сетей и стал в море рыбачить. Семья кое-как перебивалась. Дело бы, вероятно, и совсем наладилось, если бы Петро успел окрепнуть, стать на ноги. Но в первые же зимние месяцы случилось несчастье — вмерзли его сети: когда внезапно усиливаются морозы, лед утолщается, и в него снизу вмерзают сети, отодрать которые уже нет возможности. Этот риск неизбежно несет всякий рыбак, но у Петра не было запасных денег и сетей, а в море у него пропало снастей рублей на пятьдесят, и он был разорен. Опять предстояла поденщина, опять нужно было слоняться по чужим дворам.

Когда Петро, убитый, возвращался по льду домой после осмотра своих пропавших снастей, кругом было пусто, и морозный восточный ветер заметал следы саней и лошади, которую он нанимал у своего соседа.

Вдруг лошадь неожиданно провалилась передними ногами в лунку, затянутую тонким ледком и заметенную снегом. Петро встал, выпростал лошадь и стал осматривать, не оборвала ли она чужой сети. Он потянул за веревку — сеть пошла из-подо льда, но оказалась целой, и в ней там и сям блеснула чешуей рыба. Вид этой добычи разом разбудил в Петре рыбака-охотника. Он забыл все окружающее и торопливо стал выбирать из сети рыбу. Рыбы было много, и он набросал на льду целую кучу. И только когда опростал всю сеть, он с испугом оглянулся. Кругом по-прежнему никого не было. Тогда он бросился к другим сетям, которые тоже оказались битком набитыми рыбой; тут, по всей вероятности, прошел косяк. И он трясущимися руками накидал рыбы полные сани, но ее было так много, что он не мог поместить всю и остаток опять побросал под лед и затем уехал. Мороз затянул лунки, а ветер замел и заравнял снегом его следы. Никто не узнал об этом посещении.

Петро продал рыбу и не только возместил свои убытки, но у него остались еще свободные деньги. Он решил опять честно рыбачить и не заглядывать в чужие сети. Но в первый же свой выезд не мог утерпеть и снова набрал из чужих сетей рыбы.

Жизнь Петра изменилась; ему стало легче и веселей жить — стал он захаживать в гостиницы, в трактиры. Постоянное присутствие денег и уверенность, что они

и завтра и послезавтра будут, тянули к доступным удовольствиям и наслаждениям. Жена Петра, привыкшая к вечной нужде и работе женщина, сначала не понимала, откуда это у них постоянно деньги и почему так удачливо Петро возвращается с моря, но потом постепенно тоже вошла во вкус легкой и свободной жизни, и у них началось разливанное море: гости, гульбища, попойки.

Петро сделался форменным мародером, «ледяным вором». Это было опасное ремесло. Рыбаки добывали себе хлеб у моря суровым трудом. Когда они уезжали зимою по льду, никто не был уверен, что они вернутся не с отмороженными руками и ногами или — что навеки не останутся посреди моря. Никто из них не был уверен, что завтра же он не потеряет все свои снасти, инструменты, лошадь, сани — все, что необходимо для промысла, и не превратится из домовитого хозяина в нищего; смерть, увечье и разорение постоянно глядели им в глаза. Поэтому-то они с такой страшной ненавистью относились к ворам чужого улова, которые без всякого риска забирали себе хлеб, добытый тяжкими усилиями. Рыбаки расправлялись с ними подчас так же, как крестьяне расправляются с конокрадами, но это — при том условии, если вора накрывали на месте преступления.

Петра давно подозревали, что он обирает плоды чужих трудов, но с поличным поймать не могли; он сделался необыкновенно наглым и смелым вором. Чтобы отвести глаза соседям и другим рыбакам, он держал сани, лошадь и все необходимое для рыболовства и ставил в разных местах сети, сам же следил за тем, где кто ставит сети, и исправно обирал их перед приездом хозяев, причем забирал не все, а часть улова оставлял, чтобы не возбуждать подозрений. Он так освоился с своим ремеслом, что работал уже совершенно хладнокровно.

И сегодня он объехал целый ряд сетей и сейчас трудился над последними. Возле лунки лежала большая куча рыбы. Он так был увлечен своей работой, что не слышал, как к нему во весь опор мчались на паре два рыбака, и только тогда, когда удары кованых копыт раздались совсем возле, Петро, точно над ним гром разразился, вскочил и что было мочи кинулся к своим

саням. Но было уже поздно. Никита кинулся на него и со всего размаху ударил в висок. Петро покачнулся, свет перевернулся у него в глазах, но он сейчас же оправился, и они сцепились, как два зверя, и, разом поскользнувшись, тяжело грохнулись на лед.

— Н-нет... не да-амся... не ддамся!..— хрипел Петро, катаясь с Никитой по льду и делая нечеловеческие усилия сломить парня; он знал, что пощады ему не будет. «Только бы до саней, только бы до саней добраться!» — мелькало у него в страшном напряжении борьбы.

Никита, как молодой борзой, вцепившись в кабана, все позабыл в мире и, задыхаясь, бессмысленно твердил:

— Я те да-ам... я те дам по чужим сетям лазить!.. Я те дам!..

Они катались по льду клубком, сгребая снег и болтая по гладкой поверхности ногами. Старик с искаженным лицом бегал за ними, стараясь ударить колом вора, но, опасаясь задеть сына, отбросил кол и навалился на врага. Он вцепился ему в горло.

—А-а, мучитель, попался-таки, разоритель, губитель ты наш, враг рода человеческа!.. Напился ты нашей крови, будя тебе измываться. Не станешь теперь труды наши честные обирать. Погулял на наши кровные денежки, на наши мороженые ноги, калеченые увечья!.. Будя!..

Старику все припомнилось: вся его долгая жизнь, почти все время давившая бедность, его тяжелые труды, все беды, какие с ним когда-либо случались, и то, что у него нет правого уха и что на левой ноге отрезаны пальцы. Все это теперь ставилось на счет этому отчаянно боровшемуся человеку и давило старика чисто животной злобой, от которой он задыхался.

Петро, у которого перехватило горло, разом обессилел, глаза у него выкатились. Никита быстро поднялся, притянул веревку, привязанную к сети, и мертвой петлей захлестнул вора под мышками.

Старик отвалился от своей жертвы, как напившийся паук, бросился вместе с Никитой к крайней лунке, и они стали торопливо вытравлять оттуда мокрую, быстро твердевшую на морозе веревку.

Петро приподнялся на руки, огляделся кругом как будто ничего не понимающим, удивленным взглядом:

что это? где это он и что с ним хотят делать? Чувство облегчения, что его по крайней мере не задушат сейчас, овладело им. Он не думал уже о сопротивлении и, хотя его никто не держал, не пытался развязать затянутый под мышками смерзшийся узел. Кругом все так же белела снежная пелена, так же неподвижно стояла в санях лошадь, так же искрилось морозное сияние над пустынным ледяным простором. Но когда его взгляд упал на извивавшуюся, черневшую по снегу веревку, которая, перегнувшись, спускалась в нескольких шагах в лунку, и он увидел, как торопливо выбирали два человека с напряженными лицами из дальней лунки противоположный конец веревки,— ужас и отчаяние охватили его. Он вдруг упал перед ними на колени и стал, как на исповеди, бить земные поклоны:

— Отпустите... отпустите... братцы... Сироты... по миру... пойдут... Братцы... не с радости на это дело пошел... есть надо... семеро ребят... Братцы, лошадь, сани — все ваше... коровенка дома, деньги, какие есть,— все отдам; не губите христианской души... Братцы, какая вам корысть с того, что загубите... отпустите... век буду молитвенник ваш... Пропадет семья, некому выкормить... Пожалейте...

Он кланялся, не поднимаясь с колен, стукаясь в холодный лед, без шапки, с разорванным донизу воротом, с окровавленным лицом. Правое ухо у него совершенно побелело, но он ничего не замечал и все быстрее и быстрее бил земные поклоны.

А те из всех сил выбирали веревку голыми, скрюченными, начинавшими уже коченеть, неслушавшимися руками, из-под которых бежала намерзавшая на рукавах вода. Вдруг они с напряжением уперлись и стали тащить веревку изо всех сил.

И в ту же секунду Петро пошатнулся, веревка, обхватывавшая его и свободно лежавшая на снегу, вытянулась, как струна, и медленно потащила его к лунке. Он закричал так, как животное, которое ударили ножом в горло, но неловко, и оно, захлебываясь, напрягает все силы в безнадежной борьбе со смертью. Несчастный опрокинулся, цепляясь за малейшие неровности, хватаясь зубами за лед, вонзая в него ногти, из-под которых брызнула кровь, но... все напрасно! — до лунки оставалось только три шага... два... потом один...

— Карраул-уул... ратуйте! топят... карау-ул!.. ратуйте, кто в бога верует! Погибаю!..

Но кругом было пусто, и, покрывая этот белевший простор, покрывая готовящееся совершиться преступление, неподвижно и безучастно стояла безмолвная морозная месячная ночь.

Возле выступила лунка с намерзшими краями, через которые, перегибаясь, скользила веревка. В глубине ее чернела вода.

— Так будьте же вы трижды прокляты, анафемы, жадные звери,— жрите человечью кровь... Чтоб вас покарал господь, чтоб у вас отнялись ноги, чтоб вам не видать детей... нате! жрите человечину... Помните мое предсмертное слово, правда откроется, быть вам обоим на катор...

Он не договорил, неуклюже перевернулся, протиснулся в узкую ледяную дыру, и вода с глухим шумом расступилась... Затем все стихло. Надо льдом остались только два человека. Они изо всех сил тащили из противоположной лунки веревку.

Сначала веревка шла свободно и легко, потом в ней стали слышны толчки, что-то шло подо льдом, задевая за него и цепляясь за нижние края лунок, потом стало тяжело тащить, как будто сеть захватила много рыбы или зацепила бревно. В лунке что-то забурлило, зачернелось, вода расступилась, и оттуда показалась голова, затем плечи и туловище человека, с которого струилась вода. Лицо побагровело и вздулось, но он был еще жив и медленно перевел глаза на вытащивших его людей.

Рыбаки бросились опять к противоположной лунке, схватили конец, прикрепленный к колу, и стали выбирать веревку из лунки. И начинавший уже обмерзать человек вдруг шевельнулся, протиснулся опять назад в лунку и опять ушел под лед, а когда он показался в первой лунке, его протащили подо льдом еще раз и вытащили, наконец, на поверхность. Он покрылся льдом, как панцирем. Голова, волосы, ресницы, неподвижно открытые глаза, борода, платье — все блестело при лунном свете.

Рыбаки подняли, поставили и подержали его с минуту; сбегавшая вода все больше и больше намерзала

у ног, образуя пьедестал. В закоченевшие руки своей жертвы они сунули длинный костыль, на который этот мерзлый человек опирался, потом бросились в сани и погнали лошадей, не тронув рыбы и оставив на произвол судьбы свои сети. Лошади пошли ходкой рысью, отбивая по льду коваными копытами.

Старик и Никита не чувствовали угрызения совести, но испытывали то состояние, которое, вероятно, испытывают присяжные, когда осудят на долгую каторгу отца большого семейства, который стоит перед ними бледный, худой, истомленный и теперь, в сущности, жалкий и безвредный человек. Осудить его нужно — за ним вопиет преступление, но кто же прокормит его галчат, которые хотят есть?..

Через минуту сани затерялись среди снежного простора.

IV

Долго стоял Гнедко, понуро опустив шею, прижав уши. Он весь заиндевел, точно поседел, и шерсть на нем сделалась пушистой и белой, а у ноздрей и губ намерзли сосульки. Ветер становился злей, пробирал до костей морозом и набивал возле ног бугры снега. Гнедко стал дрожать. Он уже раза два поворачивал свою заиндевевшую голову и глядел из-за дуги на хозяина; он давно ждал, что тот вот-вот подойдет к задку саней, пороется там, вытащит охапку сена, прикрикнет на него, когда он станет тянуться за сеном, и бросит ему под морду. Но хозяин, высокий и неподвижный, стоял не шевелясь на одном и том же месте, задумчиво опираясь на длинный костыль. Гнедко слегка заржал, давая знать, что он голоден и продрог.

Поведение его хозяина сегодня было в высшей степени странно. Что это — хозяин, Гнедко был уверен: когда уезжали на серой паре в санях два человека, он хорошо заметил, что между ними хозяина не было.

Гнедко постоял еще несколько времени, потом заложил оба уха назад, тронул сани и тихонько пошел. Он ожидал, что раздастся обычный окрик: «Куда, дьявол, прешь!» — и потому, пройдя шагов десять, остановился и подождал. Но по-прежнему кругом было пустынно

и безлюдно, по-прежнему сплошь тянула по льду поземка, было холодно, в санях шумел ветер, и высокая темная фигура стояла не шевелясь.

Тогда Гнедко окончательно решился и потихоньку, мерным шагом отправился домой, везя за собой сани, то прижимая, то навастривая правое ухо, точно соображая дорогу.

V

Месяц, стоявший посредине неба, стал склоняться к краю льда и уже не так ярко светил над снежной равниной. Вода в лунках затянулась льдом, и его занесло снегом. Занесло снегом и кучу мерзлой рыбы, и место борьбы людей, и следы от полозьев. В морозном воздухе носились снежные кристаллы, играя в месячном свете, а низом над всей равниной шевелилась все та же белая снежная пелена гонимой студеным ветром пороши. Месяц совсем закатился, ледяная равнина потемнела.

Один за другим проходили серые зимние дни и морозные светлые ночи. Проезжавшие случайно рыбаки с удивлением подъезжали к странному человеку, одиноко и неподвижно стоявшему посреди замерзшего моря, но когда они подходили к нему, то с ужасом замечали, что неподвижно открытые глаза его побелели и в лунные ночи весь он отсвечивал льдом, и они поспешно отъезжали от этого ужасного места.

«Мародеры» тоже натыкались на место казни, гнали прочь лошадей и, когда отсюда ехали обворовывать чужие сети, вели уже себя в высшей степени осторожно.

Проходили дни, недели. Ветер переменился, море взломало, и громадные ледяные глыбы, с шумом и треском напирая друг на друга, носились из конца в конец расходившегося моря. По странной случайности то место, где стоял темный призрак, откололось одной громадной глыбой, которая носилась везде, и когда ее прибивало к берегу, где образовался затор, прибрежные жители со страхом глядели на неподвижно стоявшего день и ночь замерзшего человека. Подойти к нему нельзя было — кругом был мелкий лед. Наконец в одну глухую ночь буря искрошила весь лед, и ледяное привидение исчезло навсегда.

В КАМЫШАХ

I

В небольшой комнате с окном, из которого открывалась река, поблескивавшая на полуденном солнце, и далекий луг с мочежинами, озерцами, стоял перед заседателем широкоплечий, с загорелым обветренным лицом и шапкой спутанных волос, казак. Он стоял, недоумевающе собрав над переносицей брови, и с таким видом, как будто хотел сказать: «Что ж, подождем, подождать — подождем, ну только нас это не касаемо». Заседатель в потертом мундире, с потертым лицом и как будто потертой, начавшей лысеть головой, наклонившись, что-то писал, торопливо бегая пером по бумаге.

— Иван Архипов Сидоркин? — заученно говорил заседатель, не подымая головы и продолжая писать.

— Так точно.

— Под судом и следствием был?

— Так точно, но только оправдан,— так же заученно отвечал Сидоркин.

— Ну, так рассказывай, как дело было, как вас накрыли,— проговорил заседатель, отодвигая бумаги и откидываясь на спинку стула: вся его фигура, помятое и теперь нахмуренное лицо и сквозившая сквозь редкие волосы лысина выражали полную непоколебимую уверенность, что Сидоркин сейчас же все чистосердечно и подробно, ничего не тая, расскажет, так как все это он, заседатель, уже знает во всех подробностях.

Но у Сидоркина вместо этого еще больше собрались над переносицей и полезли на лоб вылинявшие, обветренные брови.

— Не могим знать, то есть, насчет чего это?

— Ты мне дурака не ломай, со мной не шутки шутить,— со мной, брат, шутки плохие.

— Помилуйте, вашскблагородие, какие шутки, разве возможно шутки с вашим вашскблагородием, как можно.

— Ну, ну, ну, будет разговаривать!

— Слушаю.

И Сидоркин опять сделал наивное лицо и, глупо раскрыв глаза и высоко собрав брови, глядел на заседателя не мигая.

— Где проводил время в ночь с пятнадцатого на шестнадцатое?

— Обнакновенно, с женой спал.

— Врешь, на лимане был и в запретных местах сети тянул.

— Никак нет, ващскблагородие.

— В рыболовную команду стрелял.

— Вашскблагородие, господь с вами, как возможно!..

И брови в знак изумления и негодования полезли еще выше.

Началась та особенная борьба допрашивающего и допрашиваемого, которая очень похожа на борьбу сильного, матерого зверя с опытным неутомимым охотником. Охотник делает круги, обходит, ползет на брюхе, прячется на опушке, задерживая дыхание, приглядываясь к малейшему следу, малейшему отпечатку, но старый, опытный зверь не дает себя обмануть: проходят часы, а расстояние между ними все то же. Заседатель делал внезапные, неожиданные вопросы, останавливался на, по-видимому, ничтожных, не имеющих никакого значения подробностях, но каждый раз встречал все ту же стену глуповатого простодушия, наивности и высоко собранные над переносицей брови.

Заседатель устал, вытер вспотевшее лицо и лысину, велел подать себе квасу и, расстегнув рубашку, из-за которой глянула лохматая грудь, стал пить пенящийся, подымавшийся из стакана напиток.

«Зверь», чувствуя, что острое напряжение у охотника прошло и он утомлен, спокойно стоял, все так же держа руки по швам. Выражение простоватости, наивности сбежало с его лица, брови опустились и разгладились над глубоко сидевшими серыми глазам, спокойно, уверенно и с достоинством глядевшими теперь на чиновника. Вся его широкоплечая, сильная, с выпуклой грудью, богатырской мускулатурой фигура как бы говорила: «Ну, стало быть, кончено, и теперь можно по-обыкновенному».

Заседатель, выпив квасу и слегка отрыгнув, тоже, видимо, почувствовал, что официальная часть кончена, что все, что можно было сделать, он сделал и, отодвинув бумаги, откинувшись немного на стул и слегка отдуваясь, проговорил:

— Эх, Сидоркин, а ведь и жалко мне тебя,— не сносить тебе головы, пропадешь не за понюх табаку. Вот теперь я тебя арестую, там следствие пойдет,— докопаются ведь, брат, до всего: пойдешь с тузом куда Макар телят не гоняет. Жил бы себе в станице, занимался бы хозяйством, у всех в уважении и — острога бы не нюхал.

— Вашскблагородие, засадить вы меня в тюрьму завсегда можете — ваша воля, потому как вы поставлены над нами начальниками, ну только не причинен я, потому, собственно, безвинно страдаю. Кабы я душегуб был, али разбойник, али вор, али чужое брал, а то ведь волосинки чужой на моей совести нет.

— Да ведь ты закон нарушаешь!

— Что ж закон! Поставьте часовых по берегу не дозволять народу пить воду,— тоже закон; пущай все дохнут — и скотина.

— Понес, дурья голова! То вода, а то рыба.

— Все едино, вашскблагородие. Потому, вашскблагородие, как, собственно, рыба в воде, никто не сеет, не пасет, и плодится-размножается она не от человека, а от бога, то божий дар, значит, и всякий злак на потребу человека и по тому самому нас хватают, тиранют, разоряют, в острог сажают. Теперича, вашскблагородие, хорошо, выходит так, что я должен людей резать, потому у меня окончательно пропитание всякое отымают... А зачем мне резать людей,— мне, вашскблагородие, только одно пропитание нужно, чтобы, значит, честным трудом.

Заседатель не в первый раз подымал принципиальные разговоры с хищниками-рыболовами. Дело в том, что хищники действительно не были ни ворами, ни грабителями,— это был обыкновенный трудящийся люд, и у заседателя каждый раз подымалось странное желание показать и доказать этим людям, что у него не только физическая возможность взять их, арестовать, но и правота и правда на его стороне, и каждый раз разговоры эти под конец его только раздражали. Так и теперь.

— Кабы ты поумнее был,— с сердцем заговорил он,— а то разве вобьешь в твою еловую башку? Рыба-то тебе одному, что ли, нужна? Это — достояние всего государства, а ее все год от году меньше да меньше становится: совсем изведете.

— Вашскблагородие, у нас в станице по шестнадцати десятин на пай земли приходилось, а теперича народонаселение размножилось — по восьми не хватает, скотину некуда выгнать, нечего пахать, бахчу негде посеять,— одначе не слыхать, чтобы по этому самому запрещение на землю вышло.

Заседатель в первый момент не нашелся что ответить и рассердился.

— Ну, будет, заладила сорока про Якова.— И заседатель опять облекся в официальную неприступность, а у казака снова полезли брови на переносицу, лицо поглупело, и опять вся фигура как бы говорила: «Ну, что ж, опять, значит,— можно опять».

— Конвойные!

Вошли конвойные с шашками и ружьями.

— Возьми препроводительную бумагу, сдашь в N-ский острог. Распишись в приеме.

Старший конвойный, осторожно шагнул к столу, взял перо и, нагнувшись, стал водить им, перекосив на сторону глаза, рот, ловя языком ус, цепляя и разбрызгивая пером по бумаге. Он с усилием вывел: *Лексей Пономарев,* и, положив на место перо, отер выступивший каплями на лице пот. Потом взял к плечу ружье, повернулся, со стуком молодцевато приставив каблук к каблуку, и пошел к двери. Сидоркин двинулся за ним, а позади второй конвойный.

Выйдя за дверь, Сидоркин надел шапку и пошел мерно в шаг с конвойными, мотая руками.

Было жарко. Полдневное солнце жгло пыльную дорогу. Верхушки курганов и линия горизонта дрожали в струившемся воздухе. Река все так же ослепительно ярко и знойно шевелилась сверкающей рябью. Под горой желтело железнодорожное полотно, и, сверкая на солнце, бесконечно бежали рельсы.

II

Сидоркин спокойно шел за конвойными, пыля сапогами. От времени до времени он взглядывал на далекий луг, на синевшие вдали невысокие горы, на реку. Но он не думал о том, что это было красиво, широко, ярко и весело. Это были просто знакомые до последнего овражка, до последней колдобины луг и река, где он

озлобленно боролся с людьми, непонятно для него не дававшими ему возможности кормиться у реки.

По мере того как охрана рыбных богатств становилась строже и строже, эта борьба делалась ожесточеннее и беспощаднее. Чины рыболовной полиции и рыбаки видели друг в друге не охранителей и нарушителей закона, а своих личных злейших врагов, жестоких и неумолимых, по отношению к которым все допускалось.

В борьбе с рыболовной полицией выработалась целая система. В запрещенное для лова рыбы время, именно весною, когда рыба шла вверх метать икру, берега реки как бы оказывались на военном положении. На различных пунктах стояли часовые, зорко наблюдавшие за рекой. Как только вдали показывался катер рыболовной полиции, по берегу скакали конные, извещавшие рыбаков о появлении врага,— и река на несколько верст впереди катера очищалась от рыбацких лодок, которые втаскивались на берег, а сети прятались в укромные места. Для переговоров на расстоянии употребляли флаги и другие сигналы; ночью жгли солому на высоких шестах и стреляли из ружей.

С наступлением разрешения лова положение мало менялось. Чтобы оградить от окончательного истребления рыбу, которую беспощадно преследовали в реке, в море крючьями, сетями, неводами, приволоками и другими истребительными снарядами,— взморье и устье разбившейся на множество рукавов реки было объявлено заповедным: там безусловно и навсегда воспрещался лов рыбы. И рыба, повсюду гонимая, преследуемая, истребляемая, ни днем, ни ночью не находя себе места, огромными стадами устремлялась в заповедные места — единственный уголок, где она могла укрыться от жестоких преследователей. Камыши заповедных вод буквально кишели рыбой. Вот сюда-то и рвались рыбаки, и здесь-то и происходили ожесточенные столкновения с полицией.

Эта жизнь, полная тревог, неожиданностей, опасности, неуверенности в завтрашнем дне, постоянно меняющаяся перспектива то богатства, то нищеты налагали неизгладимый отпечаток на рыбацкое население. Их хаты стояли как попало на берегу — без огорожи, без ворот, без хозяйственных пристроек. Бабы не пекли хлеба, не водили птицы,— все бралось с базара. Вся обстановка

носила какой-то временный характер, точно это раскинулся лагерь. Все, кто терпел неудачу, разорялся на хозяйстве, шли сюда. Эти люди питали странное отвращение к городским профессиям и обнаруживали неумение приспособляться к городской обстановке. Они крепко держались за рыбацкий промысел как за последнее средство честным путем добывать хлеб.

Иван Сидоркин был тоже когда-то хозяином, но год за годом по частям уменьшалось его хозяйство, и когда он явился на берег, у него, кроме жены и детей, ничего не было. Иван среди рыбаков пользовался авторитетом за свою смелость и умение провести полицию.

Он шел по дороге, все так же подымая тяжелыми сапогами горячую пыль, сосредоточенно взвешивая шансы своего оправдания. Вдали из-за высоких стен показалось иссера-желтоватое здание острога.

В остроге Сидоркину пришлось пробыть полтора месяца, пока тянулось следствие. Прямых улик против него следователь не мог собрать, и Сидоркин, осунувшийся и похудевший, был выпущен на свободу. Как только он вышел из тюрьмы, на другую же ночь отправился с товарищами на ловлю в запрещенные воды.

III

По темной воде чуть-чуть выделялся камыш; он стоял черной стеной, сливаясь с черной тьмой окружающей ночи. Ночь была тихая, безмолвная, неподвижная. Чудилось, что кто-то шуршал в камыше, и шевелились в темноте метелки. Вверху также было черно, неподвижно и тихо.

Нельзя было разобрать, что подвигалось вдоль темной стены камыша. Казалось, это плыло черное неуклюжее бревно, и только по правильности его манипуляций и поворотов можно было догадаться, что это лодка. Весла осторожно и беззвучно опускались и подымались из воды, и лишь звук капель, падавших с них в воду, выдавал движение. Но вот и капли перестали падать, перестал шуршать камыш, и метелки больше не кланялись и не шевелились в темноте. Эта безразличная, бесформенная, стоявшая везде тьма, казалось, вся была наполнена ожиданием, чутким, напряженным и осторожным.

Кругом было тихо.

Над лодкой вдруг загорелся синий огонек, озарив на мгновение мокрые низкие борты, сети, пять дюжих фигур, камыш с неподвижно похилившимися метелками, и, отразившись в темной воде, потух. Нельзя было определить, далеко или близко вспыхнул в темноте такой же крохотный синий огонек, вспыхнул, подержался с секунду, упал в воду — и погас.

— Ну, ребята, с богом, трогай! — раздался в лодке громкий, свободный, несдерживающийся голос, разом нарушая эту тишину, неподвижность, молчание и таинственность.— Стало быть, никого нет.

И точно обрадованный, что разрешилась, наконец, эта напряженность, набежал ночной ветерок, погнул камыши, и они повели свой странный разговор, залепетали, зашелестели и закивали в темноте метелками. Весла сильно и шумно взбудоражили воду, лодка закачалась, дернулась вперед, быстро пошла уже по открытому плесу, и в борта торопливо и весело заплескалась мелкая встречная волна.

— Говорил вам — ноне *его* не будет: в город уехал. Хорь надысь еще сказывал — сбирается ехать,— проговорил один из рыбаков, бережно пряча в карман коробку с бенгальскими сигнальными спичками.

— Не верь, не верь, ребята,— раздался глухой голос с кормы,— не верь *ему*, ребята, рази не знаете хитрого дьявола: распустит вести, что, дескать, еду,— все уши развесят, а *он* стоит где-нибудь тут же в камышах и того и гляди накроет.

— Хорь не станет брехать, верный человек: надысь я ему икры отнес и трешку.

— Верный, верный!.. А ты гомони во всю глотку, штоб по всея лиману слыхать было, на свою голову,— послышался все тот же недовольный, озлобленный глухой голос.

Все молча стали работать, и весла мерно и сильно гнали лодку вперед.

Ночь стояла все такая же молчаливая, неподвижная, скрывая все, что было вокруг,— и водный простор, и необозримое царство камышей, и далекий берег, и вверху небо, обложенное темными тучами. Куда ни обращался взор, он упирался в ровную, одинаковую, неизменяющуюся темноту. Нельзя было сказать, шла ли лодка

от берега, или к берегу, куда тянулся лиман и где было море. Но, очевидно, те, что сидели в лодке, знали куда они идут, и умели ориентироваться среди этой все нивелировавшей ночной тьмы.

Пройдя еще немного, гребцы сложили весла и торопливо стали разбирать и «сыпать» в воду сети. Утлая, с плоским дном и тонкими бортами лодка колыхалась под дюжими ногами работавших; сети, скользя по мокрому борту, слегка плескались в воде. Когда их спустили, те, что держали веревку, уже чувствовали, как что-то там, в глубине, стукалось и толкало сеть, и веревка судорожно дергалась в руке. От этого у державших торопливо стучало сердце и слегка дрожали руки. Недаром эти люди с таким напряжением, переводя дыхание, озираясь в чернильной тьме, пробирались по камышовым зарослям водной пустыни. Одна ночь могла обеспечить им жизнь, жизнь самую веселую, приятную, счастливую на недели, на месяцы.

Стали тянуть. Мокрые отяжелевшие сети тихонько ползли из воды на борта. Темные фигуры осторожно выбирали трепетавшую рыбу и опускали на дно все больше и больше садившейся лодки.

Странный звук, точно писк проснувшейся птицы или скрип железа о железо, почудился в темноте. Рыбаки бросились на дно и лежали не шевелясь. Неподвижная лодка на воде казалась черной тенью. Затаив дыхание и чувствуя удары собственного сердца, стали вслушиваться: по-прежнему, смутно вырисовываясь, стояли камыши, вверху чудились темные тучи, и было темно и тихо, но эта темнота и тишина разом приобрели таинственный, угрожающий характер,— чувствовалось чье-то незримое присутствие.

Без звука, не шелохнув камышинки, стали снова выбирать сети: лодка садилась все больше и больше.

Откуда-то из-за камышей, ярко прорезая густой мрак, блеснул огонь и вслед почти без промежутка грянул ружейный удар. В воздухе с удаляющимся свистом пронесся как бы рой пчел. По воде донеслись человеческие голоса, крики, брань.

— Уходи, ребята... взяли...— донесся из темноты чей-то полузадушенный голос.

— Руби!..— раздалось на лодке.

Раз! Раз! Перерубленная топором веревка соскользнула с борта, и сеть с целым богатством, сулившим все доступные радости, пошла в темную воду.

— Греби!..

Четыре человека рвались как бешеные. Лодка не плыла, а дергалась скачками, вздымая перед собой горы невидимой, шумящей в темноте пены. Кругом все тревожно встрепенулось, опять зашелестел-заговорил камыш, закрякали, захлопали потревоженные утки, заукала выпь. Ночь, проснувшаяся и перепуганная, спросонок заговорила на разные голоса, и кругом как будто стали обрисовываться неясные и странные контуры.

Гребцы откидывались на спину, далеко занося весла; казалось, вот-вот лопнут от нечеловеческого напряжения мышцы, порвутся связки и, как роса, выступят на налившихся глазах капли крови. Того, от чего уходили эти люди, не было видно, но в темноте слышно было, как *оно* нагоняло лодку. Слышно было, как кто-то часто, коротко, отрывисто дышал — так быстро дышат летом собаки,— и все ближе и ближе слышалось в ночной мгле: ххх-ххх-ххх-ххх... И это приближавшееся по воде короткое, прерывистое, торопливое с металлическим отзвуком дыхание заставляло людей, работавших в лодке, напрягаться до последней крайности...

— Сто-ой!..

Лодка по-прежнему неслась как бешеная. Сидевший на корме Сидоркин налегал на прави́льное весло, под которым шумела вода. Он все яснее и отчетливее слышал приближавшееся дыхание и, когда раздался грозный оклик, различил позади неясный, вырисовавшийся в темноте силуэт.

— Сто-ой! стой!..

— Пропали! Выкидай рыбу... да в камыши...

— Греби!..— разнесся по всему лиману хриплый оборвавшийся голос Ивана,— подержись... братцы... не давайся!.. Братцы... братцы... братцы!..

Он видел, что лодка была перегружена, но он не мог пожертвовать ни одной рыбиной,— слишком дорогой ценой напряжения, усилий, риска куплена она была.

Полоса света легла, колеблясь и играя, по взволновавшейся, расходившейся поверхности: нагонявшие поставили фонарь. Иван сильно налег на кормовое весло — лодка рванулась в сторону, вырвалась из полосы

света и понеслась к стене камышей, даже среди темноты ночи выделявшихся своей густой чернотой.

— Сто-ой!.. Стрелять буду!..— донеслось сзади.

Опять яркий свет озарил на мгновение воду, небо, камыши, лодку с рвавшимися на ней рыбаками и нагонявший их небольшой катерок, из трубы которого, как торопливое дыхание, часто выбивался пар. Гром выстрела покрыл ночные голоса, и над лодкой, как шмелиный рой, с жалобным удаляющимся звуком пронеслась куча картечи. Лодка, раздавая направо и налево и ломая камыши, влетела в их сплошную массу. Рыбаки напролом стали гнать ее между ложившимся тростником. Сзади раздался снова выстрел, и картечь зашлепала по воде между камышей.

— Стой, а то всех перестреляю!

Катер, шурша полегшим камышом, пошел за лодкой по проложенной ею дороге. Рыбаки, задыхающиеся, обливающиеся потом, выбивались из последних сил. Впереди смутно обрисовывалась чернеющая громада берега: спасение было близко.

Вдруг лодка мягко ткнулась в ил — и сразу стала. Рыбаки побросали весла, скользя и спотыкаясь, схватили ружья, положили их на борта и прицелились.

— Бей!..

Осветились камыши, вода, взволнованные, склонившиеся к бортам лица, кусок берега, набегавший катерок, и в мгновенно наступившей темноте треснули выстрелы. Пули защелкали по трубе, по бортам катера. Опять осветилась вода, и вместе с громом залпа, взбудоражившего весь лиман, посыпалась картечь с катера, который набежал и ткнулся носом в закачавшуюся лодку.

Ночь, черное небо, темная вода — все с испугом, с недоумением вслушивалось в то, что происходило посреди небольшого плеса, потому что происходившее там слишком не вязалось с ночным спокойствием, тишиной, с этой теплой летней темнотой, которая неподвижно стояла кругом и в которой поблескивала вода. Но люди были так переполнены взаимным озлоблением, тревогой, близкой опасностью, что не замечали этого испуганного недоумения, не замечали ни этой ночи, ни поблескивавшей в темноте воды.

Возбужденные, с коротким, отрывистым дыханием, они перебирались с озлобленно шипевшего катера на

покорно и виновато колыхавшуюся под ногами лодку, где такие же возбужденные с таким же торопливым, прерывающимся дыханием люди растерянно метались, пытаясь сбросить за борт ружья и патроны. В темноте блеснуло обнаженное оружие.

— Давай сюда ружья!.. Давай, дьявол, башку снесу!..

— Бери, бери... не держим... бери, на!.. забирай!.. Мы ничего... Не бей!..

— То-то ничего... Давай еще.

— Все... больше нету... не бей... Что бьешь-то?

— Садись на весла да езжай впереди катера. А тот чего лежит? Эй, ты, подымайся, а то вот садану шашкой — подымешься.

— Убитый...

К лежавшему в неестественной позе наклонились,— это оказался Иван. Он смотрел перед собой в темноту и ничего не говорил; при каждом дыхании в груди его что-то слегка клокотало, и рубашка становилась все больше и больше мокрой от крови. Его положили более удобно.

— Ну, пошел!

Весла опустились и стали пенить и слегка шуметь водой. Катер тихонько пошел следом, сдержанно дыша, точно чувствуя, что острота борьбы и напряжения кончилась и наступило печальное и грустное. Кругом пропала таинственность летней ночи, просто было темно, шуршал камыш и плескалась вода.

Стал заниматься рассвет, а когда доехали до места, уже поднялось солнце. Оно осветило берег, реку, дальний луг, станицу, небольшой катерок у берега и лодку с заснувшей рыбой, сетями и неподвижно лежавшим в ней навзничь человеком. Лицо его было бледно, глаза закрыты, пересохшие губы крепко сжаты. Из весел и сетей устроили носилки, положили на них раненого и понесли, стараясь идти в ногу...

Иван открыл отяжелевшие веки, глаза ввалились, лицо осунулось и постарело лет на двадцать. Пересохшие, воспаленные губы зашевелились, и он проговорил, с усилием приподнимая брови:

— Ба...тюш...ку...

В комнату, куда его внесли, стал набиваться народ — соседи, родные, любопытные. Сплюснув на

стекле губы и носы, прилипли к окнам собравшиеся отовсюду ребятишки. Пришел поп, маленький, седенький старичок с потухшими волчьими глазами, в потертой рясе. Зажгли восковую свечку. Поп надел епитрахиль, выпростал седые волосы, достал крест. Иван лежал, глядя в потолок, не произнося ни слова. Поп велел выйти всем и подошел к нему. Он стал один за другим, не останавливаясь, говорить обычные вопросы, а Иван, с смягчившимся лицом, с проступившими на глазах слезами умиления и покаяния, шептал иссохшими губами, приподнимая каждый раз брови:

— Грешен... грешен... грешен...

— Ближнего своего осуждал? К жене, к детям был несправедлив? Заповедей божьих не исполнял? Опивался, объедался? Родителей не почитал? Посты, святой церковью установленные, не блюл? Праздники господни нарушал?

— Грешен... грешен... грешен...

— Начальство установленное ослушался и руку поднял,— грех смертный, караемый и в сей и в будущей жизни...

Не успел поп договорить, как раненый рванулся, отчаянным усилием приподнялся, захрипел, запрокинулся; кровь обильно побежала из-под перевязки; на губах проступила кровавая пена; остеклевшие глаза неподвижно остановились. Поп приложил крест к холодеющим устам. В комнату с безумными причитаниями вбежала жена Ивана. Все крестились.

— Помер. Царство небесное.

ПРОГУЛКА

(На Азовском море)

Я утомился от усиленной работы, мозг отказывается служить, письменный стол опротивел. Напрасно сидишь, согнувшись, с пером, напрягаясь,— в голове каша — и ни одной мысли. Я вскакиваю и начинаю бегать из угла в угол; голова кружится; берешь журнал и через минуту бросаешь. Отвращение к умственному труду и в то же время необходимость работать — едва ли

есть более мерзкое состояние. Пойти бы куда-нибудь отдохнуть, побеседовать, но при одной мысли об этом подымается желчь: такое состояние, что видеть никого не хочется. Экое отвратительное нервное мочало!

Я подхожу к окну и начинаю глядеть на улицу: небо серое, вдоль улиц восточный ветер несет тучи пыли, над городом стоит мгла — туман, пыль или дым с заводов. Невесело!

Меня осеняет внезапная мысль, и я бросаюсь к барометру. Ого! Стрелка неподвижно стоит. Ветер гудит меж баржами, несет дымом и гарью пароходов, свистит в снастях и безжалостно треплет на мачтах флюгера, которые мотаются, как грешные души. Я спускаюсь к реке. Ко мне подходит знакомый дед, у которого беру постоянно баркас.

— Здорово, дед!

— Доброго здоровья!

— Давай лодку.

— О? Нешто поедешь! Тут и то страшно,— говорит он и махает рукой на почерневшую реку.

— Ничего, только поскорей давай.

Легкое волнение и тревога, которых я не могу подавить, овладевают мною. Дед за веревку подтягивает к берегу баркас; он не стоит на месте, танцует и прыгает на волнах, как невзнузданный конь, которого хотят седлать. Дед притаскивает парус, весла и складывает все в лодку.

— Только в море не выходи, по реке только.

— Ладно, ладно.

Я начинаю торопливо разбирать веревки, чтоб не возиться потом. Руки у меня слегка дрожат; мне стыдно деда. «Экая скверность! Ведь сам иду, никто не тянет. Подлая трусость». Отталкиваюсь. Ветер моментально подхватывает баркас и несет вверх, но я схватываюсь за весла и начинаю отчаянно грести. Уключины скрипят и визжат, мускулы напряжены до последней степени, а лодка еле-еле подвигается, точно десяток рук уцепился за нее, и я их все волоку. Дед с берега смотрит некоторое время на меня, видит, что я направляюсь к устью, безнадежно машет рукой и уходит в свой шалаш.

Я начинаю справляться с бешеным ветром: берег, лодки, суда, «дубы», причаленные толстыми канатами

у пристаней, лавчонки на пристани — все это медленно, но непрерывно отходит вверх. Пот градом льется, но ни на минуту нельзя передохнуть: ветер сию же минуту подхватит и унесет на прежнее место, и все мои усилия пропадут. Впереди дымит небольшой пароход,— он должен вести на рейд дубы с хлебом, грузить иностранный пароход. По доскам, проложенным с берега на дубы, бегают, торопясь и сгибаясь под тяжестью пятипудовых мешков, рабочие, сбрасывая их в кучу.

Вот и устье. Тут настоящая толчея. Волны, которые идут с моря правильными отлогими рядами, встречаясь здесь с течением реки, начинают прыгать вверх и вниз с плеском и шумом, подымая дикую, оглушительную пляску, словно вы попали в самый разгул вакханалии. Мой баркас заражается этим необузданным весельем и в свою очередь начинает скакать, прыгать и выделывать самые удивительные прыжки, так что я едва в состоянии удержаться на сиденье и работать веслами. Я стараюсь обуздать его и делаю нечеловеческие усилия, работая веслами. Только бы выбраться из этой толчеи.

Справа показывается на выступе спасательная станция. Возле нее стоит кучка людей. Они смотрят на меня.

— И куда этого дурака несет нелегкая в этакую погоду! — доносит до меня ветер любезное замечание одного из зрителей по моему адресу.

Самолюбие мое задето. Я напрягаюсь изо всех сил, но чувствую, что с каждым мгновением слабею. Неужели меня унесет назад?

Странное создание человек. Ведь вот мне сейчас опрокинуться и утонуть, как плюнуть, а меня не это занимает и наполняет тревогой, а то, что я могу осрамиться перед теми, что послали сейчас по моему адресу замечание; выбьюсь из сил и унесет назад ветром, или не справлюсь, паруса не поставлю, или опрокинет меня — придется им вытаскивать. Вот и лодка белеется спасательная, висит на кронштейнах, как будто ждет, что вот сейчас ей работа будет. Да ведь пока спустят ее, да пока поторгуются, да пока переругаются — кому где садиться да как ехать, двадцать раз успеешь утонуть.

Я продолжаю отчаянную борьбу с ветром, волнами и моим баркасом, который все так же пляшет. Но вот, наконец, выбираюсь из устья. Волны грозно и мерно вздымаются здесь правильными рядами. Как тяжко

разбиваются они о прибрежные сваи! Если меня пронесет туда, лодку вдребезги расколотит и моментально накроет волной.

Надо ставить парус — самый серьезный и рискованный момент. Пошатываясь от качки, хватаясь за борта, добираюсь я до мачты, беру «конец» и что есть силы начинаю тянуть. Большой белый парус медленно подымается; его сию минуту подхватывает ветром и начинает немилосердно трепать. У меня не хватает сил: парус дошел до половины и не идет дальше — «заело» конец. Я с секунду передохнул и, упершись в мачту, тяну веревку; от напряжения начинает стучать в голову. Наконец-то парус взвивается до верхушки, я бросаюсь к рулю, и мой баркас ринулся вперед, взрывая носом горы пены, как закусивший удила конь. Парус, весь наполненный ветром, выпятился огромным пузырем и страшно кренит лодку. Мутная зеленая волна, по которой крутятся воронки и белеет пена, с глухим ворчанием уходит из-под лодки, баркас опускается все ниже и ниже, мне уже не видно ни города, ни пристани, ни судов, ни пароходов, ни спасательной станции; предо мною только зеленоватый водный подъем, по которому быстро несется белая пена, а сзади крутой водяной холм, заворачивающийся гребнем. Он уже совсем приготовляется накрыть меня, но ветер выносит баркас из этой гибельной лощины на верхушку волны. И тогда опять открывается волнующееся кругом море, берег, пароходы, мачты судов, станция и вдали — город.

Я держусь за шкот и налегаю на руль — лодку воротит все в одну сторону. Со всех сторон несется однообразный шум тяжело катящихся в одном и том же направлении волн. Но среди этого все покрывающего шума ухо улавливает особенно шипение разрезаемой носом баркаса воды; он неудержимо несется вперед, а бегущая назад пена мелькает мимо бортов.

Чем дальше от берега, тем ветер крепчает. Он с такой силой нажимает на огромный парус, что тот чуть не касается воды; лодка моя идет почти боком. Скверно то, что ветер неровный и налетает порывами. На минуту он ослабевает, и баркас выпрямляется; но вот я вижу, как вдали налетающим порывом срывает гребни волн. Становится жутко, я не прочь бы вернуться, но опасно поворачивать: лодку боковым волнением может опроки-

нуть. Порыв добежал, что есть силы налег на парус и повалил: баркас лег, вода хлынула через борт. Я судорожно кидаюсь на другой, высоко поднявшийся над водой борт и выпускаю шкот. Освободившийся парус отчаянно начинает полоскать по ветру и хлестать веревками по мачте, по воде, по лодке. Это — спасение: баркас выпрямляется, и лишь мокрый борт да болтающаяся на дне вода свидетельствуют, что могла случиться катастрофа. Надо ухо востро держать. Чувствую, что этой дозы радикального лекарства против нервности более чем достаточно; с каким бы наслаждением теперь сидел я в своей комнате за письменным столом, но о повороте нечего и думать, пока не достигну вон той песчаной полосы, что желтеет впереди среди волн. Когда я буду возвращаться (если только буду), непременно пойду у самого берега.

Да, читатель, если вы чувствуете утомление, если вас угнетают заботы, если, наконец, вы просто изнервничались или все вам опротивело и вы не можете приняться за дело,— прибегайте к этому единственно целебному средству: ступайте на берег, несмотря ни на какой ветер, берите лодку, ставьте парус и... и в путь! И когда вокруг вас, тяжело вздымаясь, белея пеной, зашумят волны и лодка, переваливаясь, с кряхтением опустится среди расступившихся зеленоватых водяных холмов, а берег, суда, пароходы скроются из виду и лишь серое небо будет над вами, которое в это время будет казаться с овчинку, если при этом вас не захлестнет волной, не потопит шальной пароход, не разобьет о сваи, если, подвергаясь риску двадцать раз утонуть, вы все-таки не утонете и возвратитесь здравым и невредимым,— о, тогда вы почувствуете себя так превосходно, как никогда в жизни! Все ваши нервные недуги, которые так измочаливают и душу и тело, что человек становится ни на что не годным, как рукой снимет.

И я теперь всем существом своим чувствовал удивительную целебную силу этого средства и молил судьбу только об одном, чтобы добраться до выдававшейся в море песчаной косы, к которой, сшибая верхушки волн, летел мой баркас с такою стремительностью, что мелькавшая мимо бортов пена сливалась белой полосой. Я боялся смотреть через борт: начинала кружиться голова и слегка тошнило.

Человек привыкает ко всякому положению. Меня теперь уже не так страшили катившиеся навстречу валы. Кроме того, с моря к той же самой косе шла рыбачья лодка, и присутствие людей среди этого волнующегося водного простора придавало лишь больше уверенности. Лодка тяжело переваливалась с волны на волну и, видимо, была сильно нагружена; совершенно черный парус ее острым крылом виднелся над волнующимся морем. Мы приближались все больше и больше. Лодка была нагружена рыбой и чрезвычайно глубоко сидела в воде; волны то и дело плескали за борт ее.

Мы сблизились настолько, что я мог уже разглядеть сидевшего на руле рыбака — широкоплечего, с бронзовым лицом и широкой черной бородой. Сосредоточенный и спокойный, он держал одной рукой шкот, а другою — руль. В противоположность мне, он не выказывал ни малейшего волнения. Когда ветер усиливался и начинало кренить мою лодку, я начинал суетиться, наваливался на руль, то подбирал, то опускал парус, вертел лодку в ту или другую сторону, пока ветер не ослабевал. Он же спокойно держал курс в одном и том же направлении, как ни кренило его лодку, не спуская глаз с желтевшей среди волн косы, куда быстро шли обе лодки.

Только что-то странное было в этом человеке. Очевидно, это был крупный, хорошо сложенный и, должно быть, высокого роста мужчина, и тем не менее из-за бортов виднелись только его плечи и голова, хотя борты были очень низки.

На косе на берегу стояла повозка с лошадью, а у самой воды два мальчугана, видимо, поджидали рыбачий баркас. Я до того обрадовался, что, наконец, добрался до берега, что, не рассчитав, прямо направил на косу; лодка с разбегу глубоко зарылась в песок и моментально остановилась. От толчка я вылетел и крепко ударился о мачту. Делать нечего — всякая наука оплачивается, а тем паче кораблевождение. Рыбак же подошел к берегу как-то боком, и его баркас мягко и без толчков сел на песок. Мальчишки подбежали, сдернули полог, прикрывавший люк, и стали выбрасывать оттуда рыбу на берег.

Вместо того чтобы просто встать с баркаса, рыбак перевесил через борт голову, оперся руками и вдруг

перевалил себя из баркаса наземь. И я увидел на песке человека с одним туловищем, руками и головой: ног у него не было. Опираясь на руки, он потащил свое туловище к повозке, куда мальчишки торопливо таскали рыбу. Я убрал свой парус, снял руль, чтобы не сбило водой, и тоже подошел к повозке.

— Доброго здоровья!

— Здравствуйте.

— Из-под той стороны, должно быть?

— Из-под той.

— Как улов?

— Бог не обидел.

Мы помолчали. Рыбак-калека сидел на песке (если только может человек сидеть без ног) и набивал трубку. Я смотрел на него сверху вниз и испытывал неприятное чувство. Я присел возле.

— Ветер разыгрался,— проговорил я, желая завязать разговор.

— Погода...

Он отвечал односложно и нехотя. У него было то особенное выражение, какое носят на лице горбатые, безрукие, безногие, вообще калеки,— выражение постоянного сознания своего несчастья и своей отделенности от остальных людей.

Набив трубку, он обратился ко мне с просьбой дать ему спичек, так как у него коробка отсырела. Я быстро достал и подал, и он, отвернувшись от ветра и пряча огонь меж ладонями, стал закуривать. Мальчишки между тем продолжали выгружать баркас.

— Скажите, пожалуйста,— заговорил я,— неужели вы один ходите в море и управляетесь с сетями?

— Хожу и управляюсь. Два парня у меня сейчас на море, вместе с нами сели.

Он продолжал попыхивать трубкой, видимо не желая продолжать разговор. Но потом вдруг заговорил:

— Это вы насчет того, что я без ног, удивляетесь? Как же, господин, быть? Есть-то ведь хочется кажный день: у меня восемь человек ребят. Был и я когда-то человеком, был не хуже людей, и ни на что у меня страху не было, искушал я господа. Он и смирил меня. Бывалыча, темень ли, ночь ли, мороз ли, погода ли, кто и поопасается — пообождет, а я завсегда впереди всех. Думал так, что веку моего хватит. Ан бог-то и укротил,

смирил гордыню. Вот, к примеру, теперича — погляжу я на вас: одежа на вас хорошая, все в справности — ну, стало быть, кушаете, как следовать быть, работа у вас чистая, белая,— чего еще нужно? Нет, вы господа искушаете. Давеча посмотрю, посмотрю я на вашу лодку,— вот, думаю, зальет, вот зальет, вот опрокинет: зараз видать — человек ни паруса поставить не может, ни руля дать, а господа искушает. Погода разыгралась, а он в самую погоду, что ни на есть в самую погоду в море кататься едет. Ну, разве не искушение это?

— Позвольте, но разве уж так опасно? Ведь ходят же сотни рыбаков в еще больший ветер в море, и ничего — возвращаются.

— Энто, господин, совсем другая статья. У нас занятия одна, у вас — другая. Нам надо семью кормить, а как ее кормить? А так: ежечасно, ежеминутно смерти в глаза смотреть. И ежели тебе такой предел положен, ты и должен без бахвальства, с простым сердцем идти — и дело делать. Тут погода, тут ветер, тут буря, думаешь,— возворотишься али нет, там в море и останешься, а сам идешь и парусом правишь, и засыпаешь сети, и выбираешь рыбу, и чуешь, что сичас жив, а вот и нет тебя... Так то положение совсем другое; положено уже нам так. А вот вы господа бога искушаете. Кататься захотел — дождись тихого ветерка, возьми лодочку, тихим манером поезди себе, а не лезь смерти в зубы — она, брат, и сама найдет тебя. Потому это одно искушение и бахвальство. Глядите вы на меня: что я есть теперь за человек? Калека — больше ничего! А ведь и я был человеком. Шестнадцать годов прошло, как я обкалечился.

Он замолчал, поправил трубку и стал глядеть на море. Мальчишки продолжали выгружать рыбу. Лошадь понуро стояла в оглоблях: она знала, что ей долго придется дожидаться.

— Как же это с вами случилось несчастье?

— Да так, господин, от моего, значит, от бахвальства. Жили мы туточки вот недалече, где и теперь живем. Дело было зимою. Приходит ко мне Иван Евстигнеев с кумом своим Федотычем. Суседями они были, тут вот недалече и хатки их стояли. Федотыч-то теперь покойничек, царство ему небесное. Приходят и сказывают: «Спиридоныч, идем на море, у Долгой рыбы, сказы-

вают, сети не держат — косяк». Глянул я в окно — темь, снег так и засыпает стекло, ветер в трубе гудит, и так мне будто в сердце стукнуло: не ходи, мол. «Нет, господа, говорю, не товарищ я вам нонче, дело у меня в городе». Стали они меня усовещать: близко, мол, рукой ведь тут подать, нельзя случай такой упускать, может за всю зиму не выпадет такого. Облестили они меня, знали, что уж ежели пойду, так не побоюсь, полезу везде. Стала было жена говорить: куда едете на ночь глядя,— ну, а я говорю, не твоего ума дело,— велел собирать. Обрадовались те,— побежал Федотыч лошадь запрягать, накрыла хозяйка вечерять. Повечеряли, стал я собираться. А погода на дворе кружит, в окно снегом стучит, засыпает. Достала хозяйка бродни, сапоги такие длинные, вытащила их, подала мне, а в это время, братец ты мой, в трубе вой сделался, ровно по мертвому голосил кто. Перекрестилась хозяйка: «Ишь, говорит, непогодь, люди добрые дома сидят, а вы на ночь глядя невесть куда идете».— «Молчи, говорю, упустишь теперь — потом всю зиму локти кусать будешь». Приходит Федотыч,— все, говорит, готово. Помолился я образу, вышел. Так и закрутило меня снегом — лепит глаза. Ну, думаю, ничего, недалече ведь тут, под Долгой переночуем.

Выехали, спустились к морю, взъехали на лед — и тронулись. Сначала хорошо было ехать: вешки стояли, а потом целиком поехали. Только стал ветер упадать, вызвездило. Кругом ровное ледяное поле маячит. Лошаденка трюхает, привалился я к задку в санях, укрылся тулупом, пригрелся и стал дремать. Долго ли, коротко ли,— не знаю, только стал мне сон сниться. Снится мне, будто стою я на льду и засыпаю сети в лунку и будто ноги мои по самые колена вмерзли в лед. И будто испугался я и стал их вытаскивать изо льда, и никак не могу вытащить, вмерзают они все больше и больше. Закричал я во сне и проснулся, а ног-то в самом деле не чую. Кинулся, а это Евстигнеич заснул в санях, навалился и придавил мне ноги. Встал я из саней, кругом снег белеется, совсем вызвездило. Федотыч у лошади чего-то возится, а впереди чернеет расщелина. Посоветовались мы, объезжать ли, али тут переправиться — порешили тут переехать, а то бог ее знает куда объезжать придется,— может, ей и конца нету. Достали топоры —

особенные такие топоры у нас для льда: узкие, длинные, на длинных ручках, и сейчас принялись за работу. Вырубили у края расщелины четырехугольную глыбу во льду, вывели ее в расщелину и поставили поперек, так что она краями в матерый лед уперлась с этой и той стороны,— сделался вроде как мост. Перевели лошадь с санями, поехали дальше; только стало тут трудно ехать. От берега порядочно отъехали, так тут ветер сильней был, намело сугробы, и какие были щели во льду, ежели не широкие, замело их снегом и сравняло; стало опасно ехать. Лошадь идет, все ушами стрижет, храпит, боится проступиться. Ну, мы тоже рядом с санями идем. Только шла, шла лошадь — стала, стали ее гнать, не идет, крутит головой. Что ты будешь делать? Евстигнеич с Федотычем говорят: ночевать. Загорелось у меня. «Что же, говорю, играться, что ли, вздумали? Зачем же, говорю, вы меня уговаривали ехать, а теперь на ночевку останавливаться! Завтра, может, приедем — там уже пусто будет,— сами, говорю, знаете, куй железо горячее, час упустишь — потом годом не наверстаешь».— «А тебе, говорят, ежели голова не дорога, ступай вперед, веди лошадь. Видишь, говорят, как лед покололо, кругом щели, а не видать ничего, все затянуло снегом».

Стало мне досадно: то поспешали как, а то осталось верстов с пять — нá тебе, становись. Загорелась пуще у меня досада, ухватил я лошадь под уздцы и повел. Ну, за мной лошадь идет ничего, и те за санями идут. Иду я, щупаю ногой — везде лед крепкий. «Э, говорю, бабы вы, больше ничего — садитесь в сани, правьте за мной». Бросил лошадь, а сам пошел впереди. Прошел так, может, с полверсты; вдруг чую — стал лед уходить из-под ног, и я погрузился как будто в кисель. Не успел крикнуть, как провалился по самый пояс. Чую, как лед мелкими глыбами колышется кругом, хватаюсь я руками за обломки: «Братцы, пропадаю, выручайте!» Засуетились те, боятся подходить. Лед-то во время ветра поломало кругом на мелкие части, потом снегом затянуло — так боятся, чтоб самим не провалиться. «Братцы, кричу, не дайте христианской душе погибнуть. Если сами боитесь, так киньте хоть конец веревки». Кинулись они к саням, стали искать, с перепугу никак веревки не найдут. А нашли — никак не развя-

жут: руки на морозе закоченели, не действуют. А я уже слабеть стал, сапоги полны воды набрал,— стали тянуть меня, руки осклизаются со льда. Наконец-то распутали, кинули конец, ухватился я, потащили они, а веревка скользит у меня в руках: застыли они, не могут удержать. Выскользнула веревка совсем. «Братцы, говорю, пропал я совсем, не видать мне божьего света». Выбрали они веревку назад, навязали узлов на конец, чтобы не осклизалась, и опять кинули. Ну, ухватил я за узлы, поволокли они, выволокли меня на матерый лед. Поднялся я по самый по пояс мокрый, вода бежит, зуб на зуб не попадает. «Что же, говорю, теперь будем делать?» — «Перво-наперво, говорят, переобуться тебе надо». Сняли с меня сапоги, вылили воду, портянки выкрутили, выжали хорошенько; обулся я опять. Только холодно, так всего и колотит меня. «Вот что,— говорят они,— теперича нам тут ночевать, не иначе. Ежели поедем назад, пропадем. Лед-то не стоит, раздается, колется, где и проехали перед этим, теперь не проедешь, а не видать, снегом закрыто, провалишься совсем с лошадью и санями. Надо переждать, а утром поедем» — «Нет, говорю, не дело вы рассказываете. Ежели мы останемся тут, все равно мне замерзать, весь я мокрый, а мороз-то, гляди, какой! Боитесь вы ворочаться, так я сам один пойду,— иначе пропаду я тут...» Ну, они остались, а я перекрестился, пошел назад. Сначала бежал что есть мочи, чтоб согреться, а потом стал задыхаться,— тише пошел. Мороз все крепчает, поземка потянула, стал ветер резать мне лицо, руки, знобить всего. Куда ни глянешь, синяя морозная ночь, и небо все горит, а по льду тянет и шевелится белой пеленой поземка. Сначала я все приглядывался, опасался, обходил подозрительные места, как бы не провалиться. А мороз все больше да больше знобит. Стала мне тоска в сердце západать, оглянешься — один, кругом лед, над головой ночная морозная мгла, и сквозь нее звезды горят. Чую, стал я заколевать. Ноги в ступне уж не сгибаются, как колоды передвигаю, как два полена, уж и не слышу их. Тронул руками — лед до самого колена, замерзли мокрые портянки, шаровары и сапоги сделались, как кол, и примерзли к ногам. Вспомнил я свой сон и как в трубе покойники выли, и потемнело у меня в глазах, захолонула душа, пришел конец. Перестал я остерегаться и

напрямки пошел, поволок свои ноги, как деревянные. Провалюсь — один конец, все одно замерзать мне тут. Должен бы и берег быть — не видать: все так же пусто, все так же морозное небо спускается к темному краю льда, и кругом сумно, и тянет низом поземка. Покаялся я господу во грехах всех, перебрал в памяти детишек, жинку жалко стало, и, видно от морозу, слезы стали намерзать на ресницах. И стал у меня звон в ушах, будто собаки воют, а в глазах огни, и люди где-то разговаривают. Ну, думаю, вот и смерть,—замерзаю, и не могу уже поднять ног. Опустился я на лед и никак с мыслями не соберусь; хочу думать о том, как я один на льду и что ночь кругом и мороз, а перед глазами то будто день зачинается, то будто в гостях сижу. Потом стало все перепутываться и потемнело.

Не знаю, сколько прошло времени, только слышу, как теплота по телу разливается. Открыл глаза, а я в своей избе, людей много в хате, жена голосит, а ноги у меня спущены с кровати совсем в сапогах, как есть, в кадушечку с холодной водой, чтобы оттаяли. Наши рыбалки недалеко от берега сети осматривали, наткнулись на меня и принесли домой. Призвали фершала,— пришел он, велел снять сапоги. Как стали снимать, так свету божьего я не взвидел, будто кожу с живого сдирают. Так и не сняли, дюже ноги уж распухли. Пришлось разрезать сапоги. Как разрезали, открыли, так все и ахнули: ноги-то черные, как чугун, аж сизые. «Ну,— говорит фершал,— плохо его дело, везите, говорит, его в больницу». Привезли в больницу, а там дохтора и отрезали их по самые корешки. И стал я калекой вот уже шестнадцатый год!

Он замолчал. Мальчишки вытаскивали из лодки последнюю рыбу.

— Кончили, што ль?

— Кончили.

— Воды много в лодке?

— Есть.

— Вычерпайте зараз.

Мальчуганы забрались в лодку и стали черпаками выбирать грязную, с рыбьей чешуей воду, мерно плеская в море.

— Эх, господин! — продолжал рыбак.— Конечно, молодой я был, ловкий, жить хотелось; ну, да что же де-

лать,— судьба, видно, такая. А вот после меня несчастье как накрыло, так вот четвертый год, а я опамятоваться не могу.

И он вдруг отвернулся и странно засопел, усиленно затягиваясь трубкой, в которой давно уже не было огня.

— Сын у меня помер... Не помер, а потонул, и все оттого несчастье произошло, что у меня ног не было. Будь ноги, был бы жив мой сынок, мой Ванюша.

И он опять отвернулся от меня и стал смотреть вдаль, где вздымались тяжелые волны. Чайки с криком носились над водой, то и дело падая вниз и касаясь волны крылом. В серой дымке вдали виднелся город. Не знаю почему, но только то возбуждение, которое охватывало меня, пока я ехал сюда, возбуждение близкой опасности, удали и сознание необычайной обстановки, которою хотелось стряхнуть свое будничное усталое настроение, прошло.

— Как же это? Зимою тоже затерло его?

— Нет, кабы так, что же делать? — значит, воля божья. А то на глазах, вот, возле меня утонул. Ставили мы с ним сети под той стороной. Хороший улов попался, полон баркас нагрузили, почти до бортов вода доходила. Ну, под вечер пошли домой. Ветер стал подыматься, волна пошла. Ну, пока ничего — держимся, а как вышли в самое «корыто»,— середка моря у нас так называется,— крупная волна пошла, стала хлестать через борт. Вижу я, не дойдем так. «Ванюша, говорю, скидывай рыбу; и жалко, а нечего делать,— не то зальет».— «Эх, батя, говорит, сколько трудов положили, когда дождемся такого улова,— буду я отливать воду из лодки, бог вынесет, дойдем...»

И стал он черпать воду и отливать. Я уже не стал заставлять его: тоже ведь жалко. Сколько трудов, и ведь это не то, что пошел, покосил в степи али в саду нарвал,— тут работай, а смерти не забывай, и иной раз месяц и два бьешься, из кожи лезешь и ничего нет, а семейство ждет, долги, справа, одежа нужна; ну, как дождешься улова, не знаешь, как и бога благодарить. Вот и тогда покорыствовался я, не сказал ему, чтобы непременно рыбу повыкидал, ат бог-то и наказал. Волна стала захлестывать, стал баркас все ниже и ниже садиться, видим мы, что погибаем. Закричал Ваня: «Батя, выкидать надо!» И стал он выкидывать назад в мо-

ре рыбу, да уже поздно было: пришла волна и накрыла баркас, и не успели мы опомниться, как прошла у нас над головами. Стал я захлебываться, стал со смертью бороться. Вижу: всплыл бочонок с пресной водой, воды в нем немного осталось, пробка туго забита, так он плавал. Ухватился я за него, сердце у меня колотится, стал Ваню искать, а он сажени за полторы от меня тоже со смертью борется, соленую воду глотает. Сапоги у него набрались водой, тянет его ко дну. «Батюня, говорит, тону я, мочи моей нет, не удержусь, говорит».— «Ванюшка, кричу, соколик ты мой, продержись, продержись ты на воде, сейчас, сейчас я до тебя доплыву». Эх, кабы ноги, кабы ноги-то! Не вижу, не разберу перед собою,— слезы ли, али соленой водой заливает глаза,— одной рукой только огребаюсь, другой за бочонок держусь. Вижу, не удержит нас двоих бочонок,— малто он больно, да и вода-то в ём. Думаю, только бы доплыть, доплыть бы только до него: как ухватится, выпущу, думаю, бочонок, перестану держаться, мне бог отпустит грехи, а Ванюша ребят прокормит. Вот уже доплываю, вот он, вижу — лицо у него побелело, захлибается водой, и глянул он на меня, все перевернулось у меня: «Ванюша, Ванюша!!» Рванулся я, доплыл, а его уже нету,—одни волны кругом. Как закричу я не своим голосом, соленая вода в горло заливается, огребаюсь, плаваю кругом, оглядываюсь, забелеется на воде, кинусь, а это пена; не помню, как взяли меня на английский пароход; два месяца пролежал в горячке. Кабы ноги, был бы сынок живой!

По загорелому, обветренному морщинистому лицу рыбака текли слезы.

Мальчуганы, окончив свое дело, стояли возле с открытыми смелыми лицами рыбаков и слушали отцовскую эпопею, которую они знали как свои пять пальцев.

— Всю рыбу выбрали?

— Всю, батя.

— Ну, ступайте домой, к вечеру завтра будем. Пусть хозяйка хлеба заготовит. Прощайте, господин.

— До свидания. Счастливого пути.

Он уперся руками и потащил свое туловище, оставляя на песке широкий след. Добравшись до лодки, он опять с помощью обеих рук поднялся до борта и пере-

валился в лодку. Методически, не спеша, расправил он парус, потянул шкот и взялся за руль. Мальчуганы дружно столкнули лодку, и она, подхваченная ветром, покачиваясь, кренясь, смело и легко пошла, обгоняя волны, вдаль, делаясь все меньше и меньше. Скоро над волнами виднелось лишь острое крыло ее, потом она на горизонте мелькнула черной точкой и окончательно исчезла.

Мальчики уехали. Кругом никого не было; лишь чайки по-прежнему летали берегом. На песке виднелись колеи от колес, а у воды прыгало несколько маленьких рыбок, выброшенных из лодки.

Я кое-как стащил свою лодку, поднял парус и тихонько пошел у самого берега к городу.

МАЛЕНЬКИЙ ШАХТЕР

I

— Ну, иди, иди, идоленок, голову оторву... змеиное отродье!..— разнеслось в морозном вечернем воздухе.

Грязный, всклокоченный, с головы до ног пропитанный угольной пылью шахтер с озлобленной торопливостью и угрозой по всей фигуре, пожимаясь от холода, шагал в башмаках на босу ногу по снегу, черневшему от угля, за подростком лет двенадцати, торопливо уходившим впереди него.

Мальчик тоже был черен, как эфиоп, оборван и тоже мелькал босыми ногами в продранных башмаках. Он ежеминутно оглядывался, взволнованно махая руками и своей физиономией и всеми движениями выражая самый отчаянный протест.

— Не пойду, тятька, не буду работать, пусти... Что ж это, всем праздник, один я... пусти, не буду работать...— упрямо и слезливо твердил он, в то же время торопясь и припрыгивая то боком, то задом, чтобы сохранить безопасное расстояние между собой и своим спутником.

— Ах ты идол! Вот, прости господи, навязался на мою душу грешную!

И оба они продолжали торопливо идти по черне-

шей дороге, огибая насыпанные груды угля, запорошенного снегом.

Морозный воздух был неподвижен, прозрачен и чист. Последний холодный отблеск зимней зари потухал на далеких облаках, и уже зажигались первые звезды, ярко мерцая в синевшем небе. Мороз кусал за щеки, за нос, за уши, за голые ноги. Снег хрустел под ногами, а кругом стояла та особенная тишина, которая почему-то обыкновенно совпадает с кануном рождественских праздников. Темные окна в домах засветились, маня теплом и уютностью семейного очага.

Впереди из-за громадной, сложенной в штабели груды угля показалось угрюмое кирпичное здание с высокой, неподвижно черневшей на ясном небе трубой. Из дверей выходили шахтеры и кучками расходились по разным направлениям, спеша в бани.

Мальчик первый вбежал по ступеням на крыльцо и, обернувшись и выражая всей своей фигурой отчаянную решимость, сделал последнюю попытку сопротивления.

— Не пойду, не пойду... Что это, отдыху нет... всем праздник...

Но как только отец стал подыматься на крыльцо, мальчишка юркнул в двери. Шахтер последовал за ним.

Они очутились в громадном темном помещении, где смутно виднелись гигантские машины, валы, приводные ремни и цепи. Это было помещение, откуда спускались в шахту. Тут же находилась и контора. Возле нее толпилась последняя кучка рабочих, спешивших поскорей получить расчет и отправиться в баню, а некоторые — прямо в кабак.

Праздники, полная свобода, возможность пользоваться воздухом, солнечным светом, вся надземная обстановка, от которой так отвыкают за рабочее время, и предстоящий трехдневный разгул и пьянство клали особенный отпечаток оживленного ожидания на их серые лица.

Шахтер подошел к конторке.

— Иван Иванович, пиши маво парнишку к водокачке. Неча ему зря баловать.

Человек в широком нанковом пиджаке, с лицом старшего приказчика или надсмотрщика, поднял голову, холодно и безучастно поглядел на говорившего и, наклонившись, опять стал писать что-то.

Мальчик стоял, отвернувшись от конторки и упорно глядя в окно.

Три дня рождественских праздников он проведет в шахте. Дело было кончено, и поправить было нельзя.

Тоска и отчаяние щемили сердце. Губы дрожали, он щурился, хмурил брови, стараясь побороть себя и глотая неудержимо подступавшие детские слезы. Отец тоже стоял, поджидая, когда отпустит конторщик.

Черный, с шапкой спутанных волос и угрюмым видом шахтер, дожидавшийся расчета у конторки, безучастно оглядел говорившего, мельком глянул из-под насупленных бровей на мальчика, достал кисет, медленно скрутил цигарку, послюнил ее и стал набивать, не спеша и аккуратно подбирая трубочкой с широкой черной мозолистой ладони корешки.

— Что мальчишку-то неволишь? — равнодушно проговорил он, отряхая остатки засевшего между пальцами табаку.

— Не я неволю, нужда неволит; все недостача да недохватки. Тоже трудно стало, то ись до того трудно — следов не проследишь,— и он махнул рукой и стал рассказывать, как и с чего у него пошло все врозь и стало трудно.

Шахтер молча, с таким же сосредоточенным, нахмуренным лицом, и не слушая, что ему говорил собеседник, закурил. Бумага на мгновение ярко вспыхнула, осветив стоявших возле рабочих, и из темноты на секунду выступили неподвижные, точно отлитые из серого чугуна черты и огромные белые, как у негра, белки глаз.

— На малую водокачку в галерею номер двенадцать которые? — проговорил, повышая голос, конторщик.

Рабочие молчали, оглядываясь друг на друга.

— Ну, кто же? Тут Финогенов записан.

— Здесь,— проговорил чей-то хриплый голос, и оборванец, с которым жутко было бы повстречаться ночью, показался в полумраке наступивших сумерек. Опухшее, оплывшее, заспанное сердитое лицо, сиплый голос свидетельствовали о беспросыпном пьянстве.

— Чего же молчишь? Бери мальчишку да спущайся, ждут ведь смену.

Оборванец покосился на мальчика.

— Чего суете-то мне помет этот! Чего мне с ним делать?..

— Ну, ну, иди, не разговаривай.

— Иди!.. Сам поди, коли хочешь. Вам подешевле бы все...— И он грубо скверными словами выругался и пошел к срубу, уходившему сквозь пол в глубину земли.

Мальчик молчаливо и безнадежно последовал за ним. Они подошли к четырехугольному прорезу в срубе и влезли в висевшую там на цепях клетку. Машинист в другом отделении пустил машину; цепи по углам, гремя и визжа звеньями, замелькали вниз, и клетка скрылась во мраке, оставив за собой зияющее четырехугольное отверстие.

Когда клетка исчезла и на том месте, где за минуту был мальчик, остался темный провал, рабочий в башмаках почесал себе поясницу и повернулся к угрюмому шахтеру:

— Кабы не хозяйка заболела... жалко мальчишку — тоже хочется погулять.

Тот ничего не отвечал, стараясь докурить до конца корешки, и потом повернулся к конторке получать расчет.

II

Клетка нечувствительно, но быстро шла вниз, и лишь цепи переливчато и говорливо бежали с вала.

Мальчик неподвижно сидел, упорно глядя перед собой в темноту. Им овладело то молчаливо-сосредоточенное, угрюмое состояние, которое охватывает рабочего, как только его со всех сторон обступит мрак и неподвижная могильная тишина шахты. Он слышал затрудненное, сиплое дыхание своего товарища, слышал, как тот кашлял, ворочался, харкал, плевал возле него, приговаривая в промежутках ругательства, и чувствовал, что он не в духе, зол с похмелья и от предстоящей перспективы провести праздники за работой в шахте.

А тот действительно был зол на себя, на сидевшего с ним рядом мальчика, на его отца, на конторщика, на правление, на весь свет. Да и в самом деле, трудно ведь после непрерывной двухнедельной гульбы, попоек, приятной, беззаботной обстановки трактира, гостиниц, кабака отправляться в холодную, сырую шахту, в то время как другие как раз собираются всё позабыть в бесшабашной, захватывающей гульбе и попойке.

Не идти же в шахту не было никакой физической возможности: все, начиная с заработанных тяжким трудом денег, кончая сапогами, платьем, шапкой, бельем,— все было пропито, все было заложено, перезаложено, везде, где только можно было взять в долг, было взято под громадные проценты, и теперь нечего было ни есть, ни пить, не в чем было показаться на улицу, и ничего не оставалось больше, как скрыться от глаз людских в глубине шахты, утешаясь лишь мыслью, что за эти дни идет плата в двойном размере.

Такие, как Егорка Финогенов, дотла пропившиеся рабочие — клад горнопромышленнику, потому что в шахте необходимо всегда иметь известный контингент рабочих, иначе ее может залить; шахтера же ни за какие деньги не удержать в такой праздник, как рождество, под землей.

Клетка дрогнула, остановилась. Рабочий и его подручный выбрались из нее на площадку. Красные огни ламп, колеблясь, дымили среди густого, нависшего над самой головой мрака. К подъему торопливо подходили запоздавшие рабочие. Гулко катились последние вагончики, и из мрака одна за одной выставлялись лошадиные морды. Конюх торопливо отпрягал и отводил лошадей в темную, могильную конюшню: им тоже предстоял трехдневный рождественский отдых.

Финогенов зажег лампу, сделал папиросу, закурил и стал глубоко и с расстановкой затягиваться, чтоб еще хоть немного оттянуть время: и у него сосала под сердцем тоска одиночества, отрезанности и тяжелого сознания, что приходится провести праздники не «по-людски».

— Что, Егорка, али облетел? — проговорил, подходя с дымившей над самой землей на длинной проволоке лампой, приземистый рабочий, оскаливая белые зубы.

— Дочиста, как есть,— небрежно, прибавляя за каждым словом брань, проговорил Егор, делая особенно беззаботный жест: что, дескать, мы погуляли всласть, а остальное трын-трава, и в то же время чувствуя у себя за спиною эти молчаливые проходы, что неподвижно ждали его в темноте.

— Эй, кто там, садись, что ль! — крикнул штейгер, стоя возле отверстия уходившего вверх колодца.

Разговаривавший с Егоркой рабочий подбежал, торопливо уселся в клетку вместе с штейгером и другими

подымавшимися наверх рабочими. Тронулись цепи по углам, клетка быстро пошла вверх и через секунду скрылась во мраке.

Егор и мальчик остались одни.

— Ну, иди, что ли, что рот-то разинул,— злобно крикнул Финогенов на мальчика, точно тот был виноват во всем.

И они пошли среди молчания и мрака, согнувшись и наклонив голову, чтоб не убиться о балки, поддерживавшие лежавшие сверху пласты.

Ноги скользили по мокрой, выбитой колее, и острые камни, выступая из мрака, проходили у самого лица. Торопливо бежавший с фитиля лампы красными языками огонь изо всех сил старался разгореться и осветить ярко и разом эти глухие, таинственные места и лица молчаливо шедших куда-то людей; но со всех сторон угрюмо и беспрерывно надвигалась такая густая, непроницаемая мгла, что обессиленный огонь, колеблясь, маленьким дрожащим кружком с усилием озарял путь лишь у самых ног и бежал в эту неподвижную тьму клубами удушливого, едкого дыма.

На поворотах Финогенов на минуту приостанавливался, припоминая дорогу, и опять, согнувшись и слабо посвечивая из-за себя лампой, шел все дальше и дальше, не обмениваясь ни одним словом с торопливо поспевавшим за ним мальчиком, да им не о чем было и говорить. Они прошли уже около двух верст, и стало сказываться утомление. Галерея понижалась, становилась у́же, теснее, свод нависал над головой все ниже и ниже, и обоим приходилось еще больше гнуться.

Шедший сзади Сенька раза два больно ударился о выдававшиеся углом из свода камни и все чаще стал спотыкаться, тяжело дыша и хватаясь за холодные мокрые стены. Уж он теперь не думал ни о празднике, ни о семечках, ни о шумном говоре и веселье гостиниц и трактира с покрывавшим их медным звоном тарелок, бубенчиков, ударами барабана и ревом огромных труб «машины». Яркие картины праздничного веселья были подавлены усталостью и напряжением.

«Хоть бы дойти скорей»,— и он напряженно вслушивался, не слыхать ли впереди дожидавшихся их рабочих. Но из-за гробовой тишины лишь слышались глу-

хие усталые шаги по неровному скользкому камню да всплески холодной воды, когда нога попадала в лужу.

И они продолжали идти среди холода, сырости и молчания подземной галереи.

— Никак, качают? — вдруг проговорил Финогенов.

Оба остановились и чутко стали вслушиваться. Из мрака доходили странные, однообразные, унылые звуки человеческого голоса, монотонно и печально повторявшего одно и то же, а в промежутках что-то, всхлипывая и захлебываясь, с усилиями судорожно тянуло в себя воду, и вода хлюпала и всасывалась куда-то и потом сочилась тоненькой струйкой.

— Тридцать два... тридцать три... тридцать четыре...— доносилось оттуда медленно, тоскливо, с паузами.

— Здеся,— проговорил Сенька, и оба пошли вперед.

Вероятно, *там*, во мраке, увидели красноватый огонь их лампочки, потому что перестали считать, и прекратились эти захлебывающиеся, всхлипывающие звуки. Но Егору и Сеньке ничего не было видно — ни огня, ни людей. И только когда они совсем подошли и Егор поднял свою лампу, они увидели двух смутно выступавших из мрака шахтеров, поблескивавшую внизу воду и рукоять небольшой помпы.

И Сенька и Егор ощутили некоторое облегчение, почувствовав присутствие людей и то, что, наконец, добрались до места и не надо больше гнуться и спотыкаться среди темноты.

Шахтеры молча, не говоря ни слова, стали собираться: достали и зажгли свою лампу, вытрусили из башмаков набившийся туда мелкий уголь и насунули на головы по кожаной круглой шапке для защиты от камней.

— Что долго? — проговорил угрюмо один из них.

— Да далече. Тоже пока собрались да дошли, а там конторщик позадержал,— равнодушно ответил Егор, беспечно присаживаясь на корточки и начиная крутить цигарку. Но, посидев немного и как будто сообразив что-то, он вдруг заговорил быстро и сердито: — Долго! а кабы совсем не пришли? Люди теперича праздник встречают, все чесь честью, а мы вон сюда перлись, несла нас нечистая сила! Вы-то вон завтра натрескаетесь, а ты сиди тут да гни спину... Черти, право...

— Да ты чего лаешься? Никто тебя не тянул, сам пришел... Дурак, чисто дурак!

— А то долго ему! А кабы совсем не пришли? Вам бы только нажраться, а ты хоть сдыхай...— И Егор торопливо и в самых отборных выражениях старался излить все свое огорчение и досаду.

— Да будет вам,— проговорил другой шахтер, взял лампочку, и они, согнувшись, отправились в ту сторону, откуда только что пришли Егор и Сенька.

С минуту красноватый огонь их лампочки мелькал в темноте, становясь все меньше, пока не пропал светлой точкой в глубине мрака. Звук шагов стих, Егор и Сенька снова остались одни, и им стало опять одиноко, холодно и скучно.

Егор торопливо докурил цигарку, подряд затянувшись несколько раз.

— Ну, вот что, Сенька,— заговорил он, швырнув в воду зашипевший там окурок,— становись ты спервоначалу и качай, да считай, сколько разов качнешь; как досчитаешь сто разов, шумни мне, а я маленько сосну. Да не бреши, смотри, я прислуховаться буду, а не то голову оторву, ежели присчитывать станешь лишнее.

— Дяденька, а ты долго не спи, а то я замучаюсь,— проговорил Сенька, которому жутко было оставаться одному.

— Ладно, я трошки засну, устал, а тогда я буду качать, а ты отдохнешь.

И Егорка потушил лампу. Рабочие от себя держали освещение, и поэтому работали впотьмах, чтобы сэкономить осветительный материал. Слышно было, как он ощупью пробрался до находившегося тут же, возле, места выработки, поворочался и повозился на куче ссыпанного мелкого угля.

— А впрочем, не буди меня, я лишь трошки вздремну, а как откачаешь свое, я сам проснусь. Гляди же, не кидай водокачки, а то взлупку дам,— донеслось до Сеньки из темноты, и потом все стихло.

Сенька нагнулся, пошарил, нашел ручку помпы и, сделав усилие, качнул. Поршень скользнул по трубе, всхлипнул и, всасывая, потянул за собой воду, и через секунду стало слышно — тоненькая струйка, неровно и прерываясь, побежала в желоб.

— Ра-аз,— проговорил Сенька, чувствуя, как пробирается к нему сквозь дыры башмаков холодная вода, и

его голос одиноко и странно прозвучал в стоявшей вокруг темноте.

И Сенька стал качать, ничего не различая перед собой, и поршень раз за разом стал ходить вверх и вниз вслед за ручкой помпы, всхлипывая и забирая воду.

Работа казалась нетрудной и шла легко и свободно. Сенькой овладело состояние, подобное тому, какое испытывает привычный к дальним дорогам конь, когда он вляжет в хомут и тронется, помахивая слегка головой, зная, что долго придется идти этой мерной, неспешной поступью.

Он позабыл все, что волновало его сегодня и что осталось *там*, позади, и мерно качал и считал вслух, как будто в этом счете и заключалась вся суть и необходимость его пребывания здесь — в сырой, холодной, непроницаемой мгле.

Впрочем, он это делал еще и затем, чтобы подавить жуткое ощущение одиночества и нараставшего неопределенного страха. Таинственное молчание, тьма все время неподвижно стояли вокруг, зловеще дожидаясь, чтобы незаметно обнаружить перед ним ужасное и пока скрываемое.

Сенька не представлял себе ясно, что *это* было, но постоянно чувствовал *его* присутствие. Сейчас вот от него за этой мглой начинались проходы. Они тянулись неведомо куда, и бог знает, что творилось там. Сенька был один, один мог сознавать окружающее, и оттого то, что происходило *там*, принимало особенный, таинственный характер, имевший именно к нему какое-то отношение.

Иной раз он сбивался со счета и, спохватившись, торопливо и наобум останавливался на какой-нибудь цифре и опять начинал ровно и монотонно считать, и опять на него надвигались молчание и тьма, и в проходах снова начиналась возня. Неуловимое, изменчивое и слепое то волновалось во мраке, меняло очертания, заполняя собою все пространство, то свертывалось, оставляя попрежнему безжизненную пустоту и мертвое молчание.

И особенно ужасно было то, что *там* отлично понималось, что он громко считает и сосредоточенно качает помпу лишь для того, чтобы скрыть все больше охватывающий страх. Чудилась насмешливо белевшая впотьмах улыбка, беззвучный, не нарушавший мертвое молчание смех. А он продолжал качать, ему становилось тесно,

трудно дышать, и пот каплями падал со лба, руки, ноги занемели и отламывались, он уже давно просчитал за сто.

Вода все прибывала. Помпа с необыкновенным трудом, захлебываясь, вздрагивая от судорожных усилий, тянула тяжелую, как жидкий свинец, воду, и в промежутке слышалось прерывистое дыхание.

Кругом было все то же; мрак редел, разрывался, принимал неопределенные формы, шевелился. Сенька закрыл глаза и работал с закрытыми глазами, но это — еще страшнее.

«О господи!.. да воскреснет бог...» — и под низко нависнувшим сводом печально пронесся вздох.

Время уходило, башмаки уже стояли в воде, и помпа, медленно и редко, будто при последнем издыхании, подымала-опускала поршень.

«Зальет!..»

Он сделал последнее отчаянное усилие, налег на рукоять. Поршень прошел донизу, чмокнул, засосал, подергался и остановился: Сенька не мог больше качать.

И тогда произошло дикое и безобразное.

— Дяденька!.. невмоготу работать...— пронесся среди прекратившейся работы и наступившей гробовой тишины странный, совершенно незнакомый Сеньке голос.

«Аха-ха-хх... гoooггоо... моготу-у-у...» — донеслось до него отовсюду глухо и насмешливо.

Мрак заклубился, и все заволновалось в необузданной дикой радости. Сенька сидел посреди этого содома на корточках в воде и плакал беспомощными детскими слезами. Он боялся идти искать Егора, да, может быть, его здесь уже совсем и не было.

— Дя-адя Егоооор...

«О-оооо... ух-ух... ух...» — отдавалось глухо и подавленно.

Он до того был одинок и беспомощен, что хуже того, что теперь делалось кругом, не могло быть, и он не пытался выйти из своего положения, отдался на произвол судьбы: «Все равно». Вода подымалась все выше и выше, и мокрые штаны липли к телу.

Он не знал, сколько прошло времени, пока голос с того света не проговорил:

— Ну, чего воешь, сволочь? Воды-то сколько нашло!

Крепкая затрещина по уху Сеньке мгновенно разогнала весь этот дикий, творившийся вокруг него кавардак.

Сенька так обрадовался, как будто очутился на поверхности и ему объявили, что он может праздновать. Кто-то возле него поплевал в руки, и помпа заработала часто и сильно, правда всхлипывая, но теперь не так, как у Сеньки: ей не давали разжалобиться.

— Чего же стоишь? Ступай.

— Дай спичку.

— Но-о, дам спичку портить!..

— Темно.

— Найдешь. По-над стенкой, а там направо.

Сенька побрел в темноте по проходу: ни безглазого, ни слепого ничего уже не было, за исключением холода и сырости. Эхо отдавалось глухо и обыкновенно.

Он добрался до «лавки» — место выработки угля, где можно было передвигаться только на корточках или на коленях, и стал ощупью шарить руками по воде, по липкой угольной грязи, пока не нашел насыпанную кучу мелкого угля.

Сенька забрался и улегся. Уголь понемногу раздался, принимая формы вдавившегося в него тела. Сенька достал из-за пазухи кусок слипшегося от сырости черного хлеба и стал есть. Кусочки соли и угольная пыль хрустели на зубах, и слипшийся мякиш разжевывался, как тесто. Руки, ноги, спина ныли тупо и упорно, не обращая внимания на то, что он теперь отдыхал.

Сенька доел хлеб, перекрестился. «Кабы теперь в баню»,— подумал он, свернулся клубочком, руки заложил между коленями, колени придвинул к самому подбородку, подвигал плечами, чтобы глубже уйти в уголь, и стал дожидаться, чтобы пришел сон.

III

Сон пришел, и стало ему сниться все то, чего ему так страстно хотелось. Стало ему сниться, будто он на поверхности; кругом идет шум и гомон праздничного веселья. Он идет по улице; снег ослепительно сверкает на солнце; мимо скачут, обгоняя друг друга и звеня бубенцами, катающиеся. Потом он очутился в бане и никак не может снять с себя башмаков: они примерзли у него к

ногам. Пока он возился с ними, оказалось, что это не баня, а трактир; хоть и странно немного было, что в трактире валялись шайки, по полу стояли лужи воды, а с потолка и со стен капало, это, однако, не нарушало общего веселья и оживления. Говор, шум, звон, веселые красные потные лица сквозь синие слои табачного дыма странно мешались в одно смутное, не вязавшееся с холодом, сыростью, всюду сочившейся водой. Сенька старался разобраться в этом содоме, и стала кружиться голова.

Его подхватили и стали запихивать в ту трубу, откуда помпой качали воду. Он с ужасом видел эту черную дыру, брыкался, кусал, раскорячивал ноги, с остервенением закричал: «Душегубы проклятые!..» Отец ткнул его кулаком в бок. Сенька, как сноп, повалился на холодный пол и услышал: слабо, тоскливо, прерывисто кто-то, стараясь себя подавить, всхлипывал судорожно и безнадежно.

И раздался голос:

— Ну ты, дьяволенок, вставай!

И опять его больно ткнули в бок.

Непроглядный мрак стоял угрюмо и безучастно; холодом, сыростью безнадежно веяло отовсюду. Впотьмах ругался Егорка и все тыкал его куском угля.

— Не бей, дяденька, я встану,— протянул Сенька, с усилием подымаясь.

Его била лихорадка, зубы громко стучали, мокрые ноги закоченели, ниже колена больно тянула жилу судорога.

— Ишь ты, лодырь какой, за тебя работать, а ты спать будешь. Морду сворочу!.. Цельный час с ним тут бейся! — шумел Егор.

Сенька наобум, сам не зная — куда, сделал несколько шагов и вдруг остановился, прислонившись к холодной мокрой стене.

— Дяденька, у меня мòчи нету.

Град ругательств посыпался из темноты, где был Егор.

Сенька, пересиливая себя и глотая слезы, ощупью добрался до помпы, нагнулся, взялся за ручку и стал качать.

Кругом водворилась тишина, и по-прежнему все было неподвижно, угрюмо, безнадежно.

Опять под низко нависшим во мгле сводом слышались хлюпающие звуки помпы и бежала тоненькой струйкой вода, и чей-то голос монотонно, тоскливо, однообразно, как падающие в одно и то же место капли, повторял в темноте: «Тридцать два-а... тридцать три-и... тридцать четыре...»

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

I

Стало светать. По стенам на полках выступили из предрассветных сумерек банки, флаконы с притертыми стеклянными пробками и печатными надписями, выделился неясным силуэтом высокий пульт провизора.

Огромные стеклянные двери, выходившие на улицу, были заперты. Сквозь другие двери, открытые в соседнюю комнату, на высокой стойке виднелась фигура спавшего человека. Это был дежурный в эту ночь ученик. Сладкий предутренний сон овладел им.

На улице еще больше посветлело. Утренняя сентябрьская свежесть проникла в комнату. Карасев потянул на себя старенькое пальто, служившее ему вместо одеяла, и закрылся с головой.

У входной двери раздался звонок. Надо вставать. Не хочется Карасеву подыматься — так сладко бы заснуть! Опять стали звонить. «Черт с вами, не передохнете!» И Карасев еще больше натянул на голову пальто. Но сторож, спавший у двери, видно услышал звонок, поднялся и отпер дверь, потом подошел к Карасеву и стал его дергать.

— Вставайте, господин Карасев, пришли покупатели.

Карасев некоторое время крепился и молчал, но потом — делать нечего, пришлось-таки вставать. Заспанный, щурясь от света, вошел он в аптеку.

— Ну, чего вам? — недовольно обратился он к стоявшей молодой бабенке.

— На десять копеек притиранья и на семь копеек белил,— проговорила она скоро и тонким голосом.

Карасев, все так же хмурясь, недовольно бурчал, наполняя две крохотные баночки:

«НА ЛЬДИНЕ»

«СТРЕЛОЧНИК»

— Идол вас носит, чертей, ни свет ни заря!.. На, бери,— сказал он и с сердцем сунул баночки на стойку.

— Получите,— проговорила покупательница, подавая семнадцать копеек.— На базар идем, так пораньше и зашла, хуторские мы,— добавила она, чтоб оправдать свое раннее посещение.— Прощайте.

Карасев ничего не ответил, только опустил деньги в карман, вместо того чтобы положить их в кассу. Он стал крепко зевать. Начинается опять все то же: нестерпимо приевшаяся, изнурительная, кропотливая четырнадцатичасовая работа, ученики, провизора, помощники, ругня, брань, постоянно входящая и выходящая публика — и все это в течение целого дня. У него защемило сердце. Он махнул рукой, пошел, взобрался на стойку, натянул пальто и моментально заснул. Сторож тоже прикорнул у двери. Часы уже пробили семь. Давно надо было все приготовить к предстоящей работе, но в аптеке стояла тишина.

II

По лестнице, ведущей к аптеке, спускался провизор. Он жил во втором этаже. Его новенький, с иголочки, щегольской костюм и безукоризненная манишка не гармонировали с бледным, истомленным лицом. Он осторожно спускался, следя, чтоб не оступиться, и все поправляя галстук. Он тоже испытывал обычное чувство начинающегося дня и привычных занятий, от которых зависит насущный кусок хлеба. Ему предстояло с семи часов утра до десяти вечера простоять за пультом, стаксировать шестьдесят — семьдесят рецептов, распределить работу между учениками, проверить каждое приготовленное по рецепту лекарство — и при этом постоянно помнить, что малейшая ошибка разом может разбить его карьеру, что из-за рассеянности, невнимательности, незнания или просто недобросовестности коголибо из учеников он может лишиться места и угодить под суд. Но, как вообще всякий человек, изо дня в день занимающийся одним и тем же делом, он меньше всего думал об этом.

Особенное ощущение усилия, которым обыкновенно утром заставляешь себя взяться за ежедневную, приевшуюся работу, и вместе привычное сознание своего по-

ложения как начальствующего в аптеке наполняли его. Он поглядывал себе под ноги, рассеянно скользя рукой по гладко отполированным, уходившим вниз перилам.

Смешанный характерный запах аптеки, когда он отворил дверь, охватил его, вызывая представление всего, что в течение дня наполняло собою его рабочее время. И он спокойно и равнодушно, ни о чем особенно не думая, притворил за собою дверь, ощущая привычную обстановку места своей постоянной работы.

Но тут разом, нарушая его настроение, неприятно бросился в глаза беспорядок: аптека еще не была отперта, сторож только поднялся с своего жесткого ложа и лениво сворачивал убогую постель, а дежуривший ученик храпел на всю аптеку.

Чувство досады и раздражения поднялось у провизора не столько, впрочем, за непорядок, сколько за то, что не торопились все приготовить к его приходу и как будто не ожидали его. Взглянув на заспанное с красными рубцами от жесткой подушки, равнодушное лицо сторожа, он почувствовал еще большее раздражение, выругал сторожа, велел ему отпереть аптеку, потом торопливо подошел к спавшему дежурному и грубо сдернул с него пальто.

— Вставайте, восьмой час.

Тот испуганно вскочил и уставился на провизора бессмысленными глазами, но, разобрав в чем дело, медленно слез со стойки и сердито стал собирать постель.

— Какого же вы черта — аптека заперта, ничего не приготовлено!

— Чего вы лезете, семи часов еще нет. Я чем виноват? Чего дежурного на смену нет? Что вы ко мне пристали?

Карасев говорил грубо, с злобным лицом, не давая вставить провизору слова. Злоба и желчь поднялись в нем. Он хотел наговорить ему больше грубых слов, не думая и не желая думать, что, быть может, он и сам виноват.

— Молчите же! Говорят вам — сегодня же заявлю Карлу Ивановичу.

Карасев стиснул зубы, забрал подушку, пальто, полстёнку и вышел во внутренние двери, чтобы отнести в свою комнату. Проходя через аптеку, он мельком взглянул на часы — было действительно четверть восьмого.

Но то, то он проспал и, стало быть, был сам виноват, не уменьшило его раздражения против провизора. Хоть он и понимал, что не мог же тот позволить ему спать, когда аптека должна быть открыта,— он все-таки злобно и цинично выругался, выйдя за дверь, чтобы дать физический выход накопившемуся раздражению.

Провизор пошел за стойку, повернулся к пульту и стал вытаскивать рецептные книги. Торопливое, тревожное чувство поскорей дать Карасеву почувствовать свою власть и заставить его раскаяться не давало улечься его раздражению.

В воздухе как-то сразу почувствовалось то особенное настроение досады и неудержимого желания переругаться и всячески унизить друг друга, которое часто, повидимому без всякой причины, охватывало всех в аптеке.

Пришли и остальные ученики и помощники с хмурыми, заспанными лицами и недовольным видом, точно на дворе с утра начинался мелкий осенний дождик, была слякоть, пасмурно и сыро и у всех на душе скребли кошки.

Всем предстояло одно и то же: четырнадцать часов на ногах развешивать, растирать, паковать, выкатывать пилюли, поминутно бегать от шкафа к шкафу, в материальную, в лабораторию, без перерыва, без отдыха вешать до десяти часов ночи. И кругом все та же обстановка, та же насыщенная атмосфера, то же отношение друг к другу и то же ощущение своей замкнутости, отделенности от всего, что вне аптеки.

Начинался обычный рабочий день, монотонный и скучный. Хотелось спать и ничего не делать.

III

Сторож, ступая своими огромными сапогами, равнодушно и с видом человека, которому решительно нет никакого дела до того, что делается в аптеке и как себя чувствуют все, кто тут есть, принес два больших жестяных чайника с кипятком и осторожно поставил их на стойку. Горячие чайники сейчас же приклеились к клеенке, так что их приходилось отдирать с усилием.

Стали пить чай на той самой высокой и узкой стойке посреди материальной, на которой спал дежуривший

в эту ночь Карасев. Все торопливо отхлебывали из стаканов мутную, отдававшую металлическим вкусом, тепловатую жидкость. Говорить было не о чем: все знали друг друга и надоели, и все было одно и то же. Поминутно то одного, то другого отрывали и звали в аптеку: стала заходить публика.

В материальную вошел худенький, вытянувшийся мальчик, лет шестнадцати, с впалой грудью и в запятнанном пиджаке, который нескладно висел на его длинной сутуловатой фигуре. Это был младший ученик.

Он подошел к стойке, налил себе чаю и поискал глазами хлеб, но на клеенке валялись только крошки.

— Какого же это черта хлеб сожрали? Что ж это такое? Съели, а тут хоть сдыхай! — проговорил он, стараясь удержать дрожь в голосе.

Его фигура, весь склад обнаруживали тот переходный возраст, когда усиленный рост заставляет вытягиваться, гонит вверх молодое, еще не окрепшее тело, делая его нескладным и несоразмерным, как будто отдельные части не поспевают друг за другом в развитии.

Бледное худощавое лицо выражало природную доброту, мягкость и податливый, несамостоятельный характер, но теперь досада и бессильное желание как-нибудь наказать, дать почувствовать ученикам их вину меняли его выражение, подергивая лицевые мускулы и концы губ, а голос срывался крикливой фистулой.

Все это производило впечатление чего-то несерьезного, полудетского, и Андрей Левченко это чувствовал, и ему хотелось как-нибудь иначе себя поставить, но он не умел этого сделать; чтобы не казаться дальше смешным и мальчиком, он замолчал, со стуком мешая ложечкой крутившийся воронкой чай; потом вдруг с раздражением оттолкнул ни в чем не повинный чайник, который отклеился и плеснул воду, и поднялся, размахивая руками.

— Сволочь! Только бы им нажраться, скоты!.. Отчего я не ем чужое никогда? Безнравственные люди!

— Чайник опрокинул, черт дохлый!

Поднялась общая брань. Карасев с злым лицом накинулся на Андрея. Бессонная ночь дежурства, баба, не давшая поспать утром, провизор, четырнадцатичасовая работа впереди — все это странно смешалось у него

с представлением фигуры и выражения лица Андрея Левченко и с тем, что он — младший ученик и не имеет права возвышать голос.

— Что из себя генерала-то корчишь! Кто тебя тут боится!.. Скотина!

Все дружно напали на Левченко. У него действительно кто-то съел хлеб, но выходило так, как будто он сам был виноват в чем-то.

Стараясь удержать подергивавшиеся губы и слезы сознания своей правоты и бессилия защититься, Левченко проговорил несколько грубых ругательств, чтобы как-нибудь поддержать свое достоинство, затем отошел в угол и, наклонившись, стал рыться в пустых склянках.

Обида, чувство беспомощности и одиночества щемили в душе болезненным ощущением. Полгода прошло, как он поступил в аптеку, и с тех пор он ни дня, ни минуты не знал покоя. Его преследовали, ругали, унижали, издевались. За что? Он работал, как мог, старался угодить всем, но чем больше усилием работы и угождением другим пытался оградить себя, тем больше терпел. Даже из аптеки, куда он выходил из материальной в редкие свободные минуты, чтобы присмотреться и поучиться приготовлению лекарств, его гнали, как зараженного проказой, в материальную — мыть пузырьки, резать и наклеивать сигнатуры. Старшие ученики, помощники и провизор тоже когда-то были в таком же положении и в свою очередь терпели обиды и унижения от всех, кто стоял хоть на ступень выше их по иерархической служебной лестнице, а теперь, в силу психологической реакции, совершенно бессознательно вымещали чувство горечи за свои загубленные юношеские годы на Андрее.

Но ему было не до этих соображений. Озлобление и чувство мести росли в нем.

Он торопливо наклеивал сигнатурки, и в голове одна за другой мелькали несообразные мысли о мести и о несчастиях, которые должны постигнуть учеников, помощников и провизора. Сделается пожар; или они отравятся хлором, или, лучше, не отравятся, а ошибутся в лекарствах и отравят пациентов,— тогда придет полиция и заберет их, и они в отчаянии будут просить и умолять Андрея спасти их, сказать, что это он по неопытности

перемешал банки. И он тогда подойдет и скажет им: «А помните, как вы меня мучили, и унижали, и всячески издевались надо мной, и не было мне ни минуты покоя, и никому не приходило в голову, как мне больно и горько, а теперь сами просите?! Зачем же вы меня мучили? За что?»

Да зачем он должен переносить все это, за что его все так не любят? За то только, что он — младший ученик. И ему до боли становится жалко себя, жалко своей молодой жизни, своего прошлого, гимназии, детских игр и материнской ласки.

Он наклоняется, лицо у него сморщивается, и с усилием задерживает жгучее ощущение навертывающихся слез.

Вошел провизор и, стараясь придать себе вид строгости и недовольства, приказал старшим ученикам идти в аптеку, а младшему браться за заготовки. Карасев и два старших ученика прошли в аптеку, отомкнули шкафы, подоставали ступки, полотенца, стеклянные воронки, стаканчики с делениями, совки для захватывания лекарств и все разложили и расставили по местам, как это они делали каждое утро, начиная работу.

Темные высокие потолки с неподвижно висевшей посредине лампой, недостаточное освещение, выступавшие своими размерами шкафы, отсвечивавшие темным блеском полированные стойки, ряды круглых белых банок с черными надписями и пряный воздух — все это, казалось, как раз соответствовало тому настроению однообразия, равнодушия и скуки, которое царило в аптеке.

В зеркальное окно виднелись кусок мостовой, панель на противоположной стороне, вход в портерную со старой вывеской, на которой были нарисованы кружка и бежавшее через ее края пиво. Утреннее солнце откуда-то из-за крыши аптеки, оставляя ее в тени, ярко, весело и ласково освещало эту вывеску, водосточные трубы, плиты тротуара, блестевшие стекла фонарей, карнизы и выступы на противоположной стене и белевшие в окнах занавеси.

Трескотня экипажей по мостовой, то усиливаясь, то слабея, доносилась сквозь закрытые двери вместе с немолчным гулом большого города. Мимо окон в ту и другую сторону проходила суетливая толпа, внося движение

и жизнь в уличный шум, и постоянно мелькали из-за подоконников детские шляпы и шапочки.

Но все это как будто не относилось к аптеке. Тут было чинно, тихо, сумрачно. Ученики с сосредоточенным, деловитым выражением на бледных лицах работали за стойками, а провизор все так же неустанно писал и таксировал рецепты, стоя за пультом.

На лавках сидело несколько человек, дожидаясь лекарств. Они глядели на штангласы, на цилиндры, на огромные баллоны с цветной жидкостью, на всю эту своеобразную обстановку, получая впечатление аккуратности, педантичной чистоты, точности и того особенного значения, которым аптека невольно выделяется в представлении у каждого среди других учреждений, и со скучающим видом незанятых людей следили за всеми манипуляциями прилично и опрятно одетых молодых людей, быстро, ловко и самоуверенно работавших за стойками.

Каждый раз, как кто-нибудь входил и отворялась дверь, аптеку на мгновение радостно, до самого потолка заполнял уличный шум, но тотчас же, словно подрезанный, падал и снова продолжал журчать беспокойно и подавленно сквозь стекло затворившихся дверей. Ученики, не отрываясь, мельком взглядывали на вошедшего, торопливо доделывая рецепты, и впечатление нового посетителя сейчас же изглаживалось напряжением работы. Фигуры, лица, выражение физиономий, платье примелькались и сливались в одно общее серое представление, покрываемое ощущением однообразия и привычки. Лишь молодые девушки выделялись на общем фоне серых, примелькавшихся фигур и лиц миловидностью и грациозностью молодости. Слух приятно поражал молодой, звонкий голосок, вызывая чувство симпатии и участия. Карасев или кто-нибудь из учеников предупредительно отпускали что нужно, двери снова затворялись, и опять все принимало прежний серый, будничный оттенок, и все посетители становились похожими на одно лицо.

Каждый день точно так же проходило время, точно так же поминутно входили и выходили посетители, надо было лазить по полкам за банками, отсыпать, смешивать, наклеивать сигнатуры, точно так же ученики и помощники вели себя строго и чинно на глазах публики и ругались, острили, смеялись и привязывались друг

к другу, когда оставались одни, чувствуя все то же скрытое, упорно враждебное отношение к принципалу и к блюдущему его интересы провизору.

IV

Иногда ученики придумывают для себя какое-нибудь развлечение. Особенно на это мастер Зельман, старший ученик, круглый, пузатый, коротенький. Он вечно покатывается со смеху и старается выкинуть какую-нибудь штуку. Вот он работает рядом с Карасевым; ему страшно надоело работать, и его ужасно подмывает устроить выходку, но в аптеке публика, а за пультом провизор. Тогда он нагибается, будто ищет склянку внизу, и хватает Карасева за ноги. Тот, чтоб не упасть, тоже нагибается, наваливается на Зельмана и начинает его немилосердно давить кулаками в спину, в брюхо, в шею, в голову. Их обоих не видно за стойкой ни публике, ни провизору, и они терзают друг друга на полу, страшно напрягаясь и затаив дыхание, чтоб не крикнуть или не расхохотаться. Если случайно выйдет провизор из-за пульта и увидит их в таком положении, их немедленно уволят из аптеки,— вот эта-то опасность и придает особенную пикантность их возне. Потом они подымаются и спокойно, как ни в чем не бывало, принимаются за прерванную работу, и публика только удивляется, отчего это у них стали такие красные лица.

Но иногда шутки выкидываются менее невинные. Так, однажды Зельман, улучив минуту, набил полные карманы слабительными пряниками и такими же шоколадными конфетами, незаметно выбрался из аптеки и накормил этими пряниками всех, кого успел встретить во дворе: кучера, дворника, горничных, кухарку, даже городового, стоявшего на улице как раз против аптеки. Через два часа обнаружились последствия этого угощения, во дворе поднялось невообразимое смятение, а городовой совсем сбежал с своего поста. Хозяева немедленно отослали лудить все кастрюли и самовары, полагая, что произошло отравление. Ученики поминутно выскакивали в материальную, валились на стойку лицом вниз и хохотали до истерики. Провизор страшно ругался, что они бросают рецепты, и никак не мог придумать, что это с ними поделалось, и только под конец догадался, что вся

эта история — их рук дело, тем не менее не донес принципалу, опасаясь, что и его самого не поблагодарят за то, что он не досмотрел за учениками. Среди однообразных, тоскливых дней, без развлечений, без удовольствий, без каких-либо признаков духовной жизни, ученики прибегали к подобным выходкам как к единственному способу внести хоть сколько-нибудь разнообразия в свою монотонную жизнь. А жизнь в аптеке складывается так, как складывается она у людей, продавших свои руки, время, способность к труду. Принципал в девяноста девяти случаях из ста смотрит на своих служащих, как на источник живой силы, необходимой для ведения аптекарского дела, стараясь при наименьших затратах извлекать из них возможно большее количество работы. В течение четырнадцатичасового дня не дается ни минуты свободной; даже после изнурительного, бессонного ночного дежурства нет возможности отдохнуть два-три часа. Для помещения отводятся какие-нибудь каморки на чердаке или в подвальном этаже, и к столу подаются отбросы. А чтобы запродавшие себя не роптали и не огрызались, принципалы имеют «Правила для зачисления и службы в аптеках аптекарских учеников, помощников и провизоров», благодаря которым они так же распоряжаются фармацевтами, как распоряжаются склянками, баллонами, дубовыми шкафами и препаратами. Ученик, чтобы получить право держать экзамен на помощника провизора, и помощник — на провизора, должны прослужить, для изучения якобы практически дела (а на самом деле — для доставления дешевых рук), три года, причем поступивший в аптеку должен прослужить в ней подряд не менее шести месяцев, каковы бы ни были условия жизни в этой аптеке, иначе служба пропадает и не идет в счет. И принципалы как нельзя лучше пользуются этим параграфом для «укрощения строптивых»: при малейшем поводе, а то и без повода, фармацевту грозит немедленно быть выброшенным на улицу, а из формуляра вычеркиваются недослуженные шесть месяцев, хотя бы там недоставало двух-трех дней, так что время, когда он может держать экзамен на помощника, опять отодвигается, и опять приходится сызнова тянуть изо дня в день все ту же постылую лямку.

Ученики в свою очередь употребляют все, какие только у них имеются под руками, средства — хоть

сколько-нибудь сделать сносным, скрасить свое существование, а если нельзя, так хоть отомстить — бессознательно, конечно,— за свою медленно высасываемую молодую жизнь, здоровье, счастье. Как бы ни были невыносимы условия, ученик из всех сил старается прослужить первые шесть месяцев. Но лишь только стукнут роковые полгода, он скочевывает и ищет лучшего места службы. Оно должно, непременно должно быть где-нибудь — потому, что живут же люди по-человечески, и потому, что слишком уж невыносимо жить на старом месте. Первое время новая обстановка, новые отношения, товарищи, публика заслоняют как будто сущность вещей, представляя здесь более сносным существование, но этого всего хватает на несколько дней, много — на неделю, полторы. А там опять то же выдаивание сил и здоровья из молодого тела и ожидание, когда пройдут эти проклятые, томительные шесть месяцев, когда можно будет уйти из этого ада и попасть в лучшую аптеку, которая где-то там непременно существует,— и это до тех пор, пока не пройдет три года. Тогда, если только несчастный фармацевт за это время не спился окончательно, не получил чахотку, не отравился двадцать раз, не лишился за замаранный принципалом формуляр звания фармацевта и всеми правдами и неправдами, с помощью знакомых и родных, откладывая последние гроши своего тощего жалованья, сумел сколотить маленькую сумму,— он едет в университетский город, готовится, голодает, наконец сдает экзамен и возвращается помощником. Потом... потом опять начинается та же история, и так — до получения звания провизора, которого редко кто добивается.

В отпор прямой и открытой силе и власти принципала по отношению к нему все дозволяется. Ученики, как у себя в сундуке, распоряжаются в кассе, если представляется к тому малейшая возможность, по шкафам — духами, одеколоном, мылом самым дорогим, помадами и прочим, раздаривая их направо и налево, кому нужно и не нужно. Материала для лекарств идет вдвое, втрое больше, чем нужно, и при малейшем недосмотре все немедленно выбрасывается в таз и с избытком набирается в материальной. Уследить же за всем провизору или самому принципалу нет физической возможности.

Но, несмотря на всю ненормальность отношений внутренней жизни в аптеке, ее внешние формы для постороннего глаза так же монотонны и приличны, как и должны быть.

V

И сегодня так же привычно, бегло и без внешних усилий для глазевшей на них публики работали за своими стойками Карасев, Зельман и другие ученики и помощники. Но привычная обстановка и приевшаяся механическая работа не поглощали всего их внимания, и в голове, независимо от внешней обстановки, несвязно мелькавшими обрывками бежали мысли и воспоминания о выходных днях, ссорах, попойках, ночных похождениях, о своей будущей, полной самых приятных неожиданностей жизни и смутные мечты возможной иной обстановки и иного положения.

«Сделаюсь помощником, даст мне кто-нибудь пятьсот рублей взаймы,— думает Карасев, фильтруя в воронке какую-то мутную жидкость, которая медленно, капля за каплей, уже осветленная, падает в склянку,— найму аптеку, пущу дешевле лекарства,— им лишь бы дешево, а там хоть навозу наклади. А то можно свиней развести — сало в Москву... Возьму мать к себе,— натерпелась, бедная, будет горе-то мыкать. То-то заживем! Куплю у Блока велосипед,— раскатывай себе, и кормить не нужно. Хорошо: кругом степь, речка, воздух чистый, прозрачный, небо синее-синее, сядешь — фью-фью-фью! Только тебя и видали!..»

И, стараясь удержать обычное дрожание руки, он осторожно льет из пузырька на пробку, и с нее уже падают отдельные капли в склянку, расходясь в светлой жидкости мутными пятнами.

Кто-то торопливо входит. Ворвавшийся было с улицы шум снова бежит за окнами беззаботно и говорливо, напоминая об иной, идущей своим чередом жизни.

Провизор подходит к Карасеву и кладет рецепт. На нем написано «Statim». Это значит — рецепт надо приготовить сию же минуту, не в очередь,— больной в опасности. Карасев берет и просматривает. Это дает другое направление его мыслям. Он уже не думает ни о будущей аптеке, ни о свиньях, ни о велосипеде, берет ле-

сенку и торопливо взбирается до самых верхних полок «opii crocati». Скоро он соскакивает и продолжает работу. Кучка длинненьких бумажек на конторке с характерными докторскими почерками и знаками граммов, унций, скрупулов, гранов торопит, вызывая чувство ожидания.

Возле работают товарищи. Они так же двигаются, наклоняются, берут то ту, то другую банку, отсыпают из них на крошечные весы, легонько постукивая пальцем, и опять ставят на место. Чувствуется все то же неизменное настроение механического напряжения и неопределенного ожидания, когда все это кончится.

Иногда вдруг Карасева охватывает неодолимое желание бросить все, плюнуть и на провизора, и на аптеку, и на все рецепты в мире, наскоро одеться, уйти и смешаться с этой оживленной, спешащей куда-то по улице толпой и вместе с ней пройти, радостно и с облегчением вдыхая свежий, ясный воздух последних солнечных дней. Но вместо этого он продолжает все так же усердно растирать, развешивать, отсыпать порошки и выкатывать пилюли, изредка взглядывая на круглые стенные часы.

Короткая часовая стрелка упорно медленно подвигалась вперед. Карасев мысленно продвигал и подталкивал ее, но когда опять мельком взглядывал — она оказывалась на старом месте.

Но как ни медленно тянется время, все-таки оно проходит вместе с впечатлениями уличного шума, вида мостовой, двигающейся мимо окон толпы, постоянно меняющихся посетителей, вместе с идущей своим чередом работой и надвигающимся ощущением усталости. Казалось, вся обстановка, все, что кругом было — посетители, ученики, шкафы, провизор, окна и висевшая посредине лампа,— все медленно подвигалось к обеденному часу, который получал от этого особенное значение, разграничивая день.

Половина второго. Хочется есть. Желудок болезненно сжимается. Карасев вспоминает, что у Андрюшки кто-то съел утром хлеб и что он его выругал. Ему становится жаль Андрюшку. Все на него нападают, потому что он — младший ученик. «Скоты, нашли на кого нападать!» — думает Карасев, быстро одевая горлышко пузырька цветной бумажкой.

VI

Обыкновенно к трем часам число посетителей падает. Ученики, усталые и голодные, доделывали последние рецепты. Сверху пришли звать провизора и помощника: они обедали вместе с хозяином.

— Господа, кремацию! — возгласил Зельман, вбегая в материальную, как только ушел провизор и вышел последний посетитель.

— Валяй, валяй!

— Э, Левченко, накатай-ка!

Андрей быстро полез на верхнюю полку, отомкнул дверцы шкафа, где хранился спирт, поддельным ключом, достал штанглас с девяностопятипроцентным градусным спиртом, отлил в склянку и добавил туда вишневого сиропа и для запаха — какого-то летучего масла. Получилось нечто вроде крепчайшей наливки, что носило в аптеке техническое название «крематум».

Сторож и горничная принесли обед. Ученики похватали табуретки и уселись вокруг стойки. Все были в приятном ожидании выпивки. Когда сторож и горничная вышли, Зельман откуда-то, точно из-под земли, достал склянку и налил каждому по мензурке, в которой помещалось по крайней мере полторы больших винных рюмки. Каждый с наслаждением опрокинул импровизированную посудину. Острое, жгучее ощущение почти цельного спирта захватило дыхание, в глазах потемнело, но зато через минуту сделалось необыкновенно весело, языки развязались. Все разом заговорили, и никто не слушал. Сыпались циничные шутки, остроты и трехэтажные выражения. Все было позабыто: постылая работа, грызня, взаимные обиды, столкновения с провизором, тоскливое ожидание выходного дня. Все вдруг точно освободились от давившей их обстановки; штангласы, склянки, пузырьки, банки, с которыми связывалось все, что напоминало собою жизнь в аптеке, потеряли свое значение и теперь бестолково и, казалось, без всякой надобности стояли по шкафам и полкам и выглядывали из ящиков. Ученики гремели тарелками и ножами, с аппетитом уплетая обед, куски сомнительной свежести мяса таскали попросту руками. Все торопились, потому что посетители то и дело отрывали от обеда, и каждому надо было успевать хватать, чтоб другие не расхватали.

Андрей позабыл свою сегодняшнюю ругню и все хохотал без всякого повода; на бледных щеках его разгорался недобрый, зловещий румянец. Карасев мрачно глядел куда-то в угол; обыкновенно, чем больше он пил, тем больше охватывала его меланхолия. Зато Зельман вертелся, как бес, и все предлагал что-нибудь устроить провизору и помощникам — пустить им за чаем в стакан кротонового масла или еще чего-нибудь сильно действующего, и покатывался со смеху, представляя себе последствия.

В аптеке резко звякнул звонок. Знакомое ощущение человека, который должен сейчас же вскочить и бежать, чтоб отпустить того или другого, на мгновение отогнало хмель, и прежняя обстановка разом встала перед глазами. Каждый невольно почувствовал себя опять в том боевом положении, которое вырабатывалось самыми условиями аптекарской жизни.

— Карасев, не слышишь, что ли? Какого черта!

— Убирайтесь вы! Целую ночь дежурил — да опять? Скоты!

— Зельман, ступай ты, ведь ждут.

— Проваливайте! Вон Андрюшка.

Андрей тоже было раскрыл рот, чтобы запротестовать, но его без разговоров вытолкали из материальной. Он отпустил, что нужно было, и, когда посетитель вышел, сбросил часть денег в кассу, так что в материальной слышно было, как они звякнули, а остальное осторожно опустил себе в карман и возвратился назад.

Карасев налил крематум. Все выпили. Хотелось опять уловить прежнее веселое, беззаботное настроение, но приятное состояние первой минуты опьянения уже больше не возвращалось. В головах отяжелело, все посоловели. Все, что было на стойке, поели. Скоро должны были прийти провизор с помощником.

— Ребята, Катька идет!

Ученики кинулись к окну, тиская друг друга. По тротуару мимо аптеки шла подрумяненная «полубарышня». Она немного прихрамывала и, видимо, изо всех сил старалась пройти возможно ровнее.

— Хромая!

— Безногая!

— Катька, зайди!

Зельман вскочил на подоконник, делая непристойные жесты.

— Ребята, Катьке кrematум!

Она прошла, не подымая глаз, очень довольная, что ею так занимаются.

— Ванька, это она тебя дожидается.

— Ну и черт с ней! — недовольно проговорил Карасев.

Все стали приставать к нему:

— Приведи ее сейчас сюда. Слышишь, приведи!

— Господа, она и хромать меньше стала!

— Приведи!

Карасева стали дергать. Он начал сердиться и ругаться. Как и всегда, почему-то шутки и смех незаметно стали переходить в ссору.

В аптеку опять вошел посетитель. Пришли сверху пообедавшие уже провизор с помощником. Провизор сейчас же велел браться за работу, и все стали за стойки. В головах шумело. Страшно хотелось лечь и закрыть глаза, прислушиваясь к спутанным ощущениям хмеля.

Карасев подошел к провизору и с секунду молчал, глядя на него посоловелыми, подернувшимися влагой глазами.

— Иван Федорович, у меня лихорадочное состояние, голова кружится... Позвольте мне... Я не могу работать.

У провизора злобно засверкали глаза, и он немножко наклонился, но Карасев осторожно тянул воздух в себя, стараясь не дышать ему в лицо.

— Опять?! Ну, это ни на что не похоже!.. Что за свиньи! Я же говорил, чтобы ни одной капли спирта не смели брать.

— Кто его берет? Ключи ведь у вас,— уже грубо проговорил Карасев, отходя на свое место, со стуком и умышленно небрежно раздвигая склянки и весы.

VII

Послеобеденное время тянулось еще медленнее. Солнце, низко склонившееся за домами, играло на крышах и церковных крестах, оставляя здания и улицы города в тени. Легкий сумрак незаметно заполнял аптеку. Банки, стоявшие на полках, теряли свою выпуклость, и все предметы — резкость очертаний, а на душу ложи-

лось смутное ощущение хронического тоскливого состояния неудовлетворенности.

Карасев думает о своей комнате, и в его воображении встает ее убогая обстановка: стол, заваленный пустыми банками, пузырьками, фармацевтическими книгами и всяким хламом, безногий стул, кровать с затасканным, истертым байковым одеялом, и то ощущение покоя и облегчения, какое он испытывает обыкновенно после десяти часов, когда, наконец, аптека запирается и все уходят наверх, на минуту овладевает им. Потом ему вспоминается принципал Карл Иванович, выражение его лица, его походка, белая борода, всегда насупленные седые брови. Когда он говорит с учеником, он так смотрит, как будто перед ним норовистая ленивая лошадь, которой надо всегда умеючи показывать кнут. Карл Иванович — немец. «Если бы немцев всех выгнали из России,— думает Карасев,— тогда бы и ученикам лучше жилось в аптеках. Впрочем, вот провизор не немец, а тоже скотина».

Карасев думает о том времени, когда он сам сделается провизором. Перед ним до мельчайших подробностей проходят все детали его будущей жизни — как он будет одеваться, ходить, говорить с Карлом Ивановичем и гоняться за учениками.

Полусумрак, царивший в аптеке, и настроение, им вызываемое, до такой степени заслонили действительность, что Карасев совершенно позабыл, где он и что происходит кругом; перед глазами его проходили совсем другие картины и образы, хотя руки так же механически быстро делали свое дело. Когда к нему обращались за чем-нибудь, звук голоса, называвший его, странно выводил его из того состояния мечты и грез, которое навевалось утомлением и однообразием обстановки.

Пришел сторож, подставил лесенку, долго возился и, наконец, зажег лампу. Тогда окна сразу потемнели, и на улице тоже зажглись фонари. Проходившие мимо аптеки попадали на минуту в падавшую из окна полосу света, их отчетливо было видно изнутри, но в следующее же мгновение они опять терялись в темноте. Гул экипажей понемногу затихал над городом.

До десяти часов далеко. Карасев работает и незаметно опять погружается в свой мир воспоминаний и мечты. Посетители поделались какими-то вялыми, точно

и им стало отчего-то скучно и все равно, как там ни идет время.

«Куда бы теперь пойти и сделать что-нибудь совсем другое, не похожее на то, что кругом делается? Отчего это все так? Вот будет все так тянуться, а потом и сдохнешь».

Это было где-то очень, очень далеко, но теперь почему-то напомнило о себе и невольно связывалось со скучающим видом публики, темнотой и этим бесконечным вечером. Карасеву стало неприятно, он переменил мысли и стал думать о другом.

К провизору подходит студент и говорит о чем-то вполголоса. Провизор слушает внимательно, с любезной улыбкой. Студенческая шинель с металлическими пуговицами, синий околышек фуражки, молодое, с пробивающейся бородкой, лицо будят в душе Карасева воспоминания, и ему становится больно. Сложись иначе жизнь — быть может, он вот в такой же форме теперь вошел бы в аптеку и так же свободно и независимо говорил бы с провизором. Карасев и все его товарищи принадлежали к тем несчастливцам, для которых гимназия не мать, а мачеха. Места аптекарских учеников заполняются тем громадным процентом учащегося юношества, который гимназии ежегодно выбрасывают, не давая кончить курс.

Студент ушел, а провизор подзывает к себе Карасева и начинает проверять только что приготовленную микстуру. Провизор смотрит в рецепт, а Карасев на память говорит, что он брал: «Sachari...»

Карасев на секунду запинается. Он вспоминает, что вместо молочного сахара, каковой значится в рецепте, как это он отчетливо теперь припоминает, он взял обыкновенный. «Sachari last...» — твердо выговаривает он, прямо и смело глядя провизору в глаза.

«Там небось не передохнут, а скажи — переделывать заставит»,— мелькает у него. Провизор штемпелюет сигнатуру и велит завернуть склянку.

«Точно, как в аптеке»,— говорят обыкновенно, но это большая наивность. Служащего персонала в сравнении с исполняемой работой держат всегда очень мало. Приходится надрываться, страшно торопиться, чтоб поспевать сдавать рецепты, и тут уж не станешь размерять; только лишь отвернется провизор (публика же

все равно ничего не понимает в этих манипуляциях), ученик сыплет на глаз; отвешиваются же точно только остро-ядовитые вещества.

Карасев чувствует, как ноют у него ноги и ломит поясницу. Весь организм охватывает апатия переутомления. Кажется, только бы добраться до постели — и моментально заснешь, как убитый. Никакие в мире удовольствия не соблазнили бы теперь: спать, спать и спать. Днем, особенно перед обедом, время тянулось томительно медленно. Теперь же кажется, что весь день, пока было светло, прошел почти незаметно, но сумерки и особенно вечер — бесконечны. Сколько уже приготовлено и сдано рецептов, сколько перебывало посетителей, и все так же сквозь темноту в окнах виднеются одинокие огни уличных фонарей, так же посредине аптеки необыкновенно ярко горит огромная горелка-молния, так же ходят ученики, помощники, публика с особенным оттенком, который принимают лицо, платье, свертки в руках при вечернем освещении, так же неподвижно лежит в углах и между шкафами темнота, а главное — все это так же естественно, необходимо и неизбежно, как и всегда. Этому вечеру, казалось, не будет конца.

Сквозь полуоткрытые двери в материальной виднеется длинная, нескладная фигура Андрея Левченко. Он ходит между стойкой и дверью, делает какие-то странные движения, наклоняется, подымает руки и как будто что-то вешает в воздухе.

Тем, кто сидит в аптеке, его движения кажутся смешными и несообразными; им не видно тонких, натянутых по всей материальной шнуров, на которых Андрей развешивает смазанные с одной стороны гуммиарабиком сигнатуры, чтобы они сохли. Когда он проходит мимо дверей, ему в свою очередь видны две-три неподвижных фигуры посетителей на скамьях, работающие за стойками ученики и все в одной и той же позе, полузакрытый пультом провизор. Целые ряды пузырьков касторки, нашатырного спирта, боткинских капель, глицерина стоят перед ним на стойке, оставляя впечатление исполненной за день работы. К усталости присоединяется ощущение одиночества: те работают хоть на людях, а ему вот целый день приходится возиться одному в грязной, беспорядочно заставленной, плохо освещенной, со спертым воздухом материальной.

VIII

«Раз... два... три... четыре... девять... десять!» Часы бьют мерно, отчетливо и выразительно, ясно придавая своему бою особенное и всем понятное значение. В ту же секунду исчезает все то, что еще за мгновение налагало на всю обстановку своеобразный, свойственный только рабочему времени отпечаток,— и стоявшие неподвижно весы, баллоны, мензурки, пульт, скамьи с дожидавшейся публикой, темные окна разом потеряли выражение той невидимой силы и влияния, которые действовали таким удручающим образом на учеников. Ощущение свалившейся тяжести труда и возможности сейчас же уйти овладевает всеми, стирая впечатления проведенного дня.

Посетители теряют свой престиж, становятся как будто меньше, незначительнее и скромнее. Ученики начинают говорить между собою громко и непринужденно. Сторож тушит лишние лампы и становится у двери, дожидаясь, когда выйдут последние посетители, чтобы запереть двери и улечься возле на полу. Начинают считать кассу. Дежурный помощник с кислой миной мостит себе постель на стойке в полутемной материальной, а остальные ученики выходят из аптеки и дружно, веселые и оживленные, поднимаются по темной лестнице, со смехом и шутками догоняя друг друга.

Глаз ничего не различает в кромешной тьме, но ноги сами привычно несут по знакомым ступеням под самую крышу чердака. Огромная потребность движения, шума, иной обстановки, впечатлений овладевает всеми. То, что за минуту казалось недосягаемым блаженством,— возможность лечь на кровать и спать, спать, как убитому, до утра,— бесследно исчезает.

Узкая, тесная, грязная каморка заполняется шумом, гамом и дымом. Низкий потолок, под которым ходит сизая колеблющаяся пелена табачного дыма, скашивается к наружной стене крышей, так что, кто подходит к окну, должен нагибать голову. Ученики громко разговаривают, кричат, смеются, курят и перекидываются остротами.

Посредине устанавливается карточный стол с оборванным сукном, склянка с крематумом; куски колбасы и селедки приятно выступают на подоконнике. Ученики

торопливо снимают свои чистенькие пиджаки, отстегивают белые гуттаперчевые рукавчики и манишки, и если бы кто-нибудь теперь заглянул сюда, на чердак, он отшатнулся бы: вместо изящных, чистеньких молодых людей он увидел бы отрепанных, рваных босяков. Рубахи у всех грязные, изорванные и висят клочьями на таком же грязном теле. Ученики за свой каторжный труд получают гроши, которые и убивают на костюм, так как хозяева требуют, чтобы они перед публикой являлись всегда чисто и прилично одетыми; платье же в аптеке страшно быстро портится, пятнается, разъедается лекарствами, кислотами, и потому денег на самое необходимое — на белье — у них не хватает. Андрей, младший ученик, носит рубаху, которую по году не снимает с плеч, и она висит на нем грязными, прелыми лохмотьями, скверный запах которых маскирует только обычный запах аптеки. У него никого нет родных в городе, некому о нем позаботиться, и когда рубаха уже окончательно разваливается и спадает, он покупает новую.

Все садятся вокруг стола, наливают и пьют. Склянка пустеет, зато лица у всех начинают гореть и глаза блестят. Андрей с разгоревшимся лицом тасует и сдает карты. Это совсем не тот Андрей, бедный и загнанный, которого все в аптеке считают как бы своей священной обязанностью ругать, гонять и всячески угнетать. У него есть немного денег, и с ним теперь играют, как с равным; он спешит пользоваться положением, весело хохочет и болтает.

Игра тянется, как обыкновенно. Все приходят в особенное настроение, вызываемое картами, долгим сидением, риском потерь, выигрышем и монотонностью игры, мотают ногами, покачиваются, издают нечленораздельные звуки, начинают песню, переходят на другую и, не докончив, обрывают.

— Пшел... Ах, дьявол, срезался!.. «Эх ты, малина, ягода ка-алина...» Бубны! У тебя что? Ррраз!

В каморке тесно, душно и накурено. В воздухе носятся тонкая меловая пыль и копоть от лампочки. Пустая склянка из-под крематума валяется под столом. Везде разбросаны кожура от колбасы и кости от селедок. Время давно уже перевалило за полночь. Из-за темного окна слабо, бог знает откуда, точно далеко из-за города, доносятся удары колокола: один, другой. Два часа.

Все сильно захмелели. Левченко проигрался и пристает ко всем, чтобы ему дали взаймы.

— Да ну те к черту! Больше не дам,— говорит Карасев.

— Ведь отдам.

— Убирайся!

— Ну, так черт с вами!

Левченко подымается и уходит. Карасев тоже встает, он тоже проиграл. Один Зельман в выигрыше. Возбуждение игры проходило, и расслабление и усталость стали овладевать всеми в этой душной, накуренной атмосфере маленькой грязной комнатки. Завтра надо подыматься в семь часов, и начнется то же. Проклятая жизнь!

Карасев вышел. Хмель и сознание проигрыша неприятно мутили в голове. Хотелось ночной свежести и воздуха. Как будто недоставало чего-то, и все, что было кругом, было не настоящее, не то, что, собственно, должно было бы быть не на своем месте, а лишь временно, пока.

Он остановился на повороте лестницы и стал прислушиваться. Весь огромный дом спал, и кругом была мертвая тишина. Ему чудились пролет уходившей вниз лестницы и комнаты принципала, большие, просторные, с паркетными полами, мягкой мебелью и высоким потолком. Там теперь спят: сам принципал, его жена, дети, прислуга.

А что, если сейчас внизу из дверей потихоньку выйдет Анюта, хорошенькая горничная, и в темноте натолкнется на него: «Ох, кто это?» — «Я... я...» И он возьмет ее за руку. Карасев с напряжением и, удерживая дыхание, прислушивается. Каждую секунду чудится ему — вот-вот скрипнет внизу дверь. Но кругом попрежнему тихо. Чувство одиночества охватывает его. Он идет в свою каморку, раздевается, бросается на постель и засыпает тяжелым сном.

Андрей тоже улегся. Ему до этого крепко хотелось спать, но когда он лег, то никак не мог заснуть. Отравленный спиртом мозг болезненно работал, отгоняя сон и не давая покоя. То, что не тревожило днем, подавляемое работой, теперь вставало перед глазами, вызывая сожаление и укор. Все делалось как раз наоборот: так мучительно хотелось ласки, счастья, светлого и чистого,

а в памяти смутно роились безобразные, уродливые воспоминания. Потребность движения и то физическое напряжение избытка сил, которое дается только молодостью и беспокойно требует исхода, поглощались четырнадцатичасовым пребыванием в аптеке, автоматизмом работы, монотонностью, скукой, постоянной ругней и столкновениями, озлоблением и вместе страхом перед принципалом. Трактиры, шум и чад заведения, бильярды, карты и «кремация» дома, обжигавшая внутренность спиртом и сивушным маслом... Кругом мертво, пакостно и пошло.

Отчего?

У него не было ответа, и он дышал под одеялом, ощущая темноту и чувствуя, как в маленьком пространстве воздух нагревался и становился спертым. Трудно становилось дышать. Он несколько времени крепился, но не выдерживал и откидывал одеяло. Окно, стул, сложенное платье, силуэт спавшего на кровати Карасева выступали как будто яснее в темноте, но это только на мгновение, и в следующую же минуту снова все принимало неподвижный, молчаливый, неясный вид ночного покоя. И бессонница и мысли о своем положении, об аптеке, о провизоре, учениках, о счастье, смутном и манившем где-то недоступным обаянием и прелестью, не давали покоя, странно связываясь с ночной обстановкой, полусумраком и молчанием комнаты. Вчерашний день уходил, уходил и терялся в веренице таких же серых, однообразных дней, оставляя щемящее, тоскливое чувство, что чего-то нет, чего-то именно такого, что, собственно, и составляет жизнь, точно этот день провел както мимоходом, не в счет.

И только когда чуть-чуть посветлело окно и яснее выступило на темной стене, а внизу погасли огни фонарей,— он заснул. Но во сне его давило все то же ощущение однообразия, вечно враждебного настроения, одиночества и безвозвратно уходившего времени.

СТАРАЯ РОССИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

I

«Да так вот войду и просто скажу: «Христос воскресе, Наталья Николаевна!» — и... и поцелую прямо в губки — раз, два, три, в мягонькие, тепленькие губки. Ах, канальство!! Фу, даже в озноб и жар бросило!»

Петр Карпович Спиридонов, помощник секретаря в уголовном отделении, молодой человек лет двадцати восьми — двадцати девяти, шел по улице, как-то особенно бережно помахивая руками в ослепительно белых замшевых перчатках. Он весь так и светился с иголочки новеньким вычищенным мундиром, пальто, фуражкою, брюками; сапоги его блестели на всю улицу. И сам он и душа у него как будто были тщательно вычищены и лоснились и отсвечивали праздничным настроением визитера.

И кругом было необыкновенно весело и празднично: весело и ярко светило солнышко, весело стояли вдоль улицы дома, блестя на солнце окнами, весело носился в синем воздухе неугомонный перезвон колоколов, беспрерывный, оглушающий; трещали извозчичьи пролетки, катали красные яйца ребятишки; христосовались, приподняв фуражки и трижды закидывая головы со стороны на сторону, прохожие. Петр Карпович среди этого оживления шел серьезный, чуть-чуть нахмуренный и с таким видом, как будто нес на голове яйцо, которое каждую минуту могло свалиться и разбиться. Это происходило оттого, что он, в новом платье, выбритый, вычищенный, надушенный, делал визиты и поэтому как-то особенно, так сказать, ощущал собственное достоинство.

Тот визит, который он должен был сделать сейчас, имел для него роковое значение: он дал себе слово, что непременно покончит с Наташей, сделает ей сегодня предложение.

И сделает он это просто, без всяких приготовлений, без обиняков. Ведь она, плутовка, отлично знает, что он в нее влюблен. Он подойдет к ней и скажет: «Христос воскресе!» — и поцелует в губки. Да и в самом деле, почему не поцеловать? Ведь будет же он ее через каких-нибудь три-четыре недели целовать как угодно, не все ли равно? Почему же теперь не поцеловать, что за лицемерие?.. Она застыдится, щечки покроет румянец... Гм... А там и прилагательные — тысяч десять дадут за нею.

Ну, хорошо. Потом они отойдут к сторонке, к тому кактусу, что стоит у рояля, и он скажет: «Наталья Николаевна, я... я должен вам сказать все. Решайте мою судьбу. Я безгранично люблю вас... Согласны вы быть моей дорогой, милой подругой?» Конечно, он будет несколько взволнован, что, несомненно, сообщит ему ту особенную привлекательность, которая так неотразима для женщин. Она, вся розовая (и ушки розовые), опустит свои милые глазки, и из-под дрогнувших стрельчатых ресниц выкатится светлая слезинка, и едва слышно, как дыхание весны, он услышит: «Согласна... Ваша...» Ну конечно, к отцу. Отец: «Благословляю». Шампанское, «горько, горько!..»

Спиридонов еще больше выпрямил стан и выпятил грудь, отдав назад несколько плечи и неся осторожно голову, на которой по-прежнему как будто лежало яйцо. Ребятишки, которые играли на улице, останавливались и, запустив пальцы в носы, говорили, толкая друг друга:

— Гляди, гляди, генерал идет!

Осталось два квартала. На углу уже виднелся старинный одноэтажный барский дом с подъездом. И среди окружающего веселья, среди линии веселых, щеголеватых, легкомысленных домов этот дом выделялся своим серьезным, значительным выражением, как будто хотел сказать: «Сегодня у меня совершится важное событие».

По мере того как Петр Карпович приближался к нему, шаги его невольно замедлялись, он и сам не мог дать себе отчета, отчего это происходило, но он шел все

тише и тише, среди его мыслей стало проскальзывать что-то тревожное, не гармонировавшее с его радужным настроением. Но как тихо он ни шел, все-таки в конце концов подошел к дому старого генерала. Он поднялся по ступеням подъезда. Робость и нерешительность вдруг охватили его с неудержимой силой, и у него не хватило духу позвонить. Он стоял в нерешительности, подняв руку к звонку, со страхом, что его заметят здесь, на подъезде. Он теперь желал одного — провалиться, исчезнуть куда-нибудь, но боялся уходить, опасаясь, что его увидят в окна или накроет кто-нибудь из визитеров. Он стоял, озираясь, не идет ли или не едет ли кто-нибудь из знакомых по улице. За дверьми послышались чьи-то шаги и женский смех.

Спиридонов, не помня себя, в мгновение ока спрыгнул со ступенек и очутился за углом. Красный и потный, он торопливо, насколько только хватали ноги, шел по тротуару, спеша завернуть за следующий угол, как будто за ним гнались. И только когда он прошел еще квартал, он почувствовал себя в безопасности.

Он пошел тише, вытирая надушенным, аккуратно сложенным платком струившийся по взволнованному, красному лицу пот, стараясь успокоиться и разобраться в своих мыслях. В сущности, чего он испугался? Ведь никакой опасности ему не грозило. В доме к нему все время хорошо относились, генерал благоволит, дочка благосклонно принимает его ухаживания. Чего же ему еще надо? Наконец, если рассудить, так вовсе он не плохая партия. Правда, помощник секретаря — это немного, но у него прекрасное будущее. У начальства он на прекрасном счету. Сегодня, когда он был с визитом, прокурорша ему мило улыбалась, а председательша просила принять участие в устройстве спектакля с благотворительной целью. В будущем — и недалеком будущем — его ожидает место товарища прокурора, а там и прокурора. Наконец он недурен, образован, умеет себя держать, не мот, не пьяница. Скажите пожалуйста, чего же еще нужно и чего он испугался?..

И по мере того, как разворачивалась цепь доказательств и одноэтажный широкий дом старого генерала оставался все дальше и дальше назади, к молодому человеку возвращались его самоуверенность и достоинство. Он на ходу оправил свое платье, пострадавшее от

быстрого бега, поправил крахмальный воротничок, смахнул пыль с сапог, натянул пальцы перчаток и принял свою прежнюю осанку. Он обошел кругом квартал и опять направился к генеральскому дому.

В глубине души, по мере того как он приближался к этому заколдованному дому, снова начинало шевелиться чувство робости и страха, но он подавлял его силою воли, старался не думать о том, что его ожидало впереди, и направлял мысли совсем на посторонние предметы. Он взглядывал на глубокую синеву неба, на уходившую вдаль перспективу улицы, на весь этот яркий весенний блеск.

Вот и опять пришел. Три ступеньки и зонт над подъездом точно приглашали его войти и в то же время как будто насмешливо говорили: «Ну, только не ручаемся, что там произойдет».

Спиридонов откашлялся, поправляя воротничок, который, казалось, давил ему горло, поднялся по ступенькам, взялся за звонок и... не позвонил. Опять вопреки всякому смыслу, вопреки логике, его охватило малодушие — малодушие нелепое, бессмысленное, мальчишеское, необъяснимое. Он все это понимал — и не мог сломить его. Боже мой, что же это такое?

Он взглянул на дверь, в ней виднелась щель. Он потянул за ручку и отворил, дверь не была заперта. С бьющимся сердцем, с остановившимся дыханием вошел он в дом. В передней никого не было, огромная вешалка вся была увешана пальто, шинелями, накидками; из зала доносились голоса, смех, говор: очевидно, были визитеры. Спиридонов взялся уже за пальто, чтобы скинуть, и вдруг прежний неотвратимый страх охватил его с головы до ног. Он потерял всякую способность рассуждать, и только одно неодолимое желание сверлило ему мозг — скрыться отсюда. Он сделал движение, чтобы незаметно выскользнуть на улицу, благо в передней никого не было, но оказалось уже поздно: кто-то подъехал и резко позвонил. По боковой комнате торопливо бежала горничная. Не отдавая себе отчета, Спиридонов бросился к вешалке, забрался за платье и вытянулся у стены. Из-под длинной чьей-то шинели виднелись лишь его вычищенные сапоги, но тут же стояло несколько пар калош, которые маскировали их.

Кто-то вошел.

— Принимают?

— Пожалуйте.

Горничная приняла пальто и повесила его на вешалку, задев слегка Спиридонова, стоявшего, как изваяние. То, что с ним случилось, произошло так быстро, неожиданно, что он не мог дать себе отчета. Произошло что-то колоссально-нелепое. Впрочем, человек ко всему привыкает, и как ни странно было положение Спиридонова, он мало-помалу не то что привык к нему, а хотя несколько освоился и к нему вернулась способность рассуждать. Что было самого ужасного в его положении — это то, что каждую минуту кто-нибудь мог выйти из зала, снять с вешалки платье, и там обнаружился бы он, Спиридонов, и тогда он погиб, бог знает что о нем подумали бы.

Подумали бы сначала, конечно, что он сошел с ума, могли подумать, как это ни чудовищно, что он пришел воровать, наконец — что было самое ужасное — могли подумать, что он спрятался сюда из-за горничной, и тогда прощай Наталья Николаевна, прощайте десять тысяч! При одной мысли об этом он почувствовал, что ему стало бить в голову, как молотами. Не удивительно будет, если с ним случится удар.

Петр Карпович старался успокоить себя, старался ясно взглянуть на вещи, чтобы распутать это ужасное положение. Единственный исход был — это возможность выскользнуть на улицу, но, как на грех, горничная не уходила из передней. То и дело раздавались звонки, подъезжали новые визитеры или уходили те, которые были в зале.

II

В зале шел обычный пустопорожний, никому не нужный и менее всего интересующий собеседников визитный разговор — о погоде, о вновь строящемся соборе, о скуке в городе, о последнем крушении, о приезде драматической труппы.

Когда сам Петр Карпович делал визиты и вел подобные разговоры, это казалось ему совершенно нормальным, естественным, в порядке вещей. Теперь же, когда он поневоле наблюдал со стороны, ему бросилась в глаза вся их колоссальная пошлость, ненужность.

Люди для чего-то с самого утра бегали из дома в дом с одними и теми же фразами, с одним и тем же выражением лица, с одной и той же улыбкой,— и это для всех домов, для всех знакомых без исключения. А те, кто сидит дома, в свою очередь встречают каждого входящего до смешного одними и теми же приветствиями и в свою очередь одною и тою же для всех улыбкой. И все знают это и ругают визиты и все-таки бегают и визитируют. Точно у всех на глаза наросла какая-то странная кора, которая скрывает уродливые формы и условности общежития, выработанные приличиями.

И вдруг странная мысль, как искра, осветила его мозг: нужно попасть в это идиотское положение, стоять под вешалкой за платьем, чтоб не только понять (все понимают и ругают), но и почувствовать всю колоссальную нелепость этого бессмысленного обычая. Удивительные коллизии бывают иногда в жизни!

Время шло. Приходили и уходили визитеры, смеялись в зале, стучали тарелками и ножами, горничная то и дело бегала, отпирала и запирала двери,— словом, все шло по заведенному порядку. У Петра Карповича стали уже болеть ноги, он опирался то на одну, то на другую; мысли текли вяло, хотелось есть. То острое возбуждение, которое охватило его в первый момент «катастрофы», прошло, уступив место усталой апатии. Ему как-то сделалось все равно, и он перестал ломать голову и придумывать способы, как выбраться отсюда. Он стоял в темноте, и только между пальто и накидками, налегающими одно на другое, слабо сквозили полоски света.

Звонок. Горничная бросилась отпирать. Кто-то вошел смелой, развязной походкой, звеня шпорами. Потом все стихло. Потом горничная, видимо сдерживаясь и подавляя голос, захихикала и проговорила полушепотом, сквозь который прорывался полузадушенный смех:

— Оставьте! Увидят!.. Все в зале.

Петр Карпович был страшно возмущен. «В этом доме, в этом доме, где принят, где живет прелестнейшая девушка, и... такие пакости! О, черт тебя возьми совсем!» Его негодованию не было границ. Он чуть-чуть раздвинул висевшие пальто и осторожно просунул глаз в образовавшуюся щель. Перед зеркалом стоял знакомый бравый гвардеец с огромными усами, которые, ка-

залось, были приклеены к верхней губе, с упитанным, самоуверенным лицом, на котором было написано: «Мой девиз — срывать цветы удовольствия везде, где только можно. В этом состоит вся сладость и единственный смысл жизни». И эта определенная, ясная, краткая, вразумительная тенденция, несомненно, производила впечатление на женщин. Это заметно было по хорошенькой горничной, которая стояла перед гвардейцем, теребя белый передник, и на губах ее и в глазах трепетала улыбка, но еще больше заметно было это на Наталье Николаевне, которая очень и очень благоволила к гвардейцу.

Гвардеец еще раз звякнул шпорами, поправил огромные усы и прошел в зал. В зале сейчас же раздались восклицания и полились пустопорожние разговоры. Спиридонов прислушался к ним, и вдруг что-то больно и остро кольнуло его: в голосе Натальи Николаевны, когда вошел гвардеец, прозвучали какие-то особенные, звенящие нотки, которые вонзились ему прямо в сердце.

«Неужели?!»

Он не смел самому себе признаться в подымавшихся в глубине души подозрениях.

Время шло мучительно медленно. Визитеры все разъехались, а ненавистный гвардеец как ни в чем не бывало оставался в зале.

Да что же это такое? Он на правах своего человека, что ли, здесь?

В зале смолкли голоса, но зато из столовой, которая находилась рядом, стал доноситься стук ножей и звон рюмок: очевидно, было обеденное время.

В этот счастливый момент, которым необходимо было воспользоваться, Петр Карпович решил потихоньку выйти из засады, осторожно отворить наружную дверь — и был таков. Он тихонько раздвинул пальто и замер: против него на стуле сидел прислуживающий у генерала мальчик и дремал. Это был жестокий удар.

Что же теперь делать? Что предпринять? И доколе он будет сидеть в этой западне! Наконец ему надоела эта невероятная история. Что же, он — мальчишка, что ли, чтобы стоять под вешалкой тут целый день? Он устал, и ему хотелось есть. В пустом желудке урчало от спазм, и мальчуган, дремавший на стуле, раскрыл полусонные глаза и с удивлением обвел ими кругом. Петр

Карпович прижал локтем желудок с такой силой, что казалось, хотел продавить его до позвонков.

В сотый раз он стал задавать себе бесполезный вопрос: как могла случиться вся эта чепуха? Ну, хорошо, шел он с визитом и хотел непременно сегодня же покончить все, сделать предложение; потом на него напала неодолимая робость; потом он как-то попал в переднюю, и ему казалось, что как только его увидят, сейчас же догадаются, что он пришел делать предложение, и его охватил такой страх, что он бросился бежать, но кто-то подъехал, и он спрятался под вешалку, чтобы пропустить визитера и бежать, но ему до сих пор не давали выбраться отсюда.

Из столовой доносились отдельные возгласы:

— Поздравляем!

— Ура!..

— Желаем счастья!

— Урра-а... а-а-а!..

«Черт их возьми совсем! — думал Петр Карпович, с удивлением прислушиваясь к долетавшим к нему из столовой отдельным фразам.— Чего они обрадовались и что за мерзкий это обычай чревоугодничать! Как пасха, так чревоугодничать, рождество — чревоугодничать, масленица — чревоугодничать, умирает кто-нибудь — чревоугодничают, женится — чревоугодничают,— словом, радость, печаль, поражение, торжество — все знаменуется тем, что набивают елико возможно желудок всякой снедью и вливают туда невероятное количество сивухи под разными видами и наименованиями. И чего они орут, чего радуются? Дурачье!»

Слышно было, как задвигались стулья и публика опять вышла в зал. После обеда все были в самом радужном настроении, пели, смеялись, шутили, Наташа играла на рояле, кто-то декламировал. Генерал пошел в свою опочивальню отдыхать; гвардеец еще с одним молодым человеком просидел с Наташей битых два часа и только когда стало смеркаться, собрался уходить. Когда он, звеня шпорами, сходил со ступеней, до Спиридонова долетели следующие поразившие его слова:

— Нет, брат, шалишь, меня не проведешь, тертый калач! Если не выложат перед свадьбой на стол ста тысяч,— баста, отказываюсь, скандал на весь город...

Дверь захлопнулась, щелкнул ключ в замке. Ната-

«В КАМЫШАХ»

«БОЛЬШОЙ ДВОР»

ша напевала что-то, порхая по залу, как птичка. Спиридонов стоял, прижавшись к стене, ничего не видя, не слыша, не соображая. Казалось, все было кончено. Оставалось только выйти из своего убежища и, не обращая внимания на изумление, на расспросы окружающих, подойти к двери, повернуть ключ, выйти на улицу, взять извозчика и уехать. Ведь теперь ему все равно.

Но когда нужно было сделать движение , чтобы приподнять пальто, силы изменили ему. Он представлял себе изумленное личико Наташи с расширенными глазами и ее возглас: «Петр Карпович, что это вы, что с вами, откуда это вы?»

И Спиридонов, измученный, обессиленный, опозоренный, убитый, продолжал стоять под вешалкой.

III

Стемнело. Зажгли лампы. Приехала дальняя родственница генерала, дама средних лет, много путешествовавшая за границей и еще больше без умолку болтавшая. Она постоянно возила с собой мопсика, которого очень любила и которым много забавлялась Наташа. Чтобы угодить ей, Петр Карпович в свою очередь носился с этой собачонкой, кормил сахаром.

Мопсик, в то время как его хозяйка без умолку болтала с Наташей, вбежал в зал, обнюхал все углы, вспрыгнул на диван, на кресла, заглянул в столовую, в переднюю. В передней он заметил, что под вешалкой торчат чьи-то сапоги. Он обнюхал их и пришел в необычайный восторг, так как узнал своего доброго, нежного друга. Петр Карпович похолодел. Мопсик же во все ноги пустился по залу, сделал вольт, опять прискакал в переднюю и стал радостно прыгать и визжать, теребя Спиридонова за брюки. Тот было ткнул его носком сапога в нос, но благодарная собака не обиделась и продолжала неистово лаять и прыгать на него.

— Пшшл, черрт!..— шипел несчастный, бледный как полотно.

Ничего не помогало. Послышались чьи-то шаги. Вне себя от отчаяния, он схватился руками за вешалку и, чтобы избавиться от проклятой собаки, поднял ноги и спрятал их среди пальто, шинелей и накидок. Тррах! Вешалка оборвалась и со всем платьем обрушилась ему

на голову. Он в ужасе подхватил ее руками и стал поддерживать над собой. Перепуганная собака со всех ног бросилась в зал, забилась под диван, и до самого вечера ее не могли выманить оттуда никаким образом.

— Наташа, посмотри, что-то в передней как будто упало,— послышался бас генерала.

— Нет, папа,— раздался мелодичный, как колокольчик, голосок,— это, должно быть, на улице дети шалят.

Спиридонов пережил несколько мучительнейших мгновений. Ему казалось, что у него перестало биться сердце, а в закрытых глазах стояли зеленые круги и красные мальчики.

«Проклятая собака! Проклятая судьба! Проклятое положение!»

Как он глуп, как он неизмеримо глуп! Господи, за что такое наказание? Можно у человека отнять здоровье, богатство, положение, можно, наконец, убить человека, отнять у него жизнь,— это естественно, это бывает. Но заставить человека очутиться в таком дурацком положении,— нет, это что-то невероятное, противоестественное, гнусное, чему нет имени, это сверх сил.

Никогда в своей жизни он не испытывал большего горя, отчаяния. Никогда и никакое чувство и ощущение не отпечатлевалось с такой страшной резкостью в его душе, как сознание нелепости его теперешнего положения. Он отдал бы десять лет своей жизни, только бы избегнуть этой нелепости, но он не мог этого сделать и должен был по-прежнему поддерживать над своей головой вешалку, ибо каждое мгновение, каждую секунду он мог потерять репутацию, честь и сделаться посмешищем всего города. И как подумать: только сегодня утром он, изящный, изысканный, с достоинством и уверенностью делал визиты в лучших домах. От бессильной злобы он готов был грызть свои руки.

К нравственным мукам прибавились физические: вешалка была тяжела, и на ней было довольно много платья, а поднятые вверх руки отекали. Потянулись мучительные, ужасные часы. Руки ослабевали, вешалка понемногу садилась и касалась его головы, он поднимал ее опять, и опять начиналось то же.

В один из таких приемов в зале раздался нечеловеческий крик. Все в испуге бросились к заграничной даме.

— Что с вами? Что с вами?

Но она только невнятно бормотала:

— Двигается... двигается...

— Кто двигается?

— Там... вешалка... двигается...

Все со страхом переглянулись: барыню, очевидно, поразило острое помешательство.

— Успокойтесь, успокойтесь, голубушка,— говорил нежно генерал своим генеральским басом,— ничто не двигается. Видите, вот вешалка,— генерал с компанией вышел в переднюю, провел рукой по платью,— она не двигается, она и не может двигаться. Это обман зрения. Когда я под Севастополем во время рекогносцировки сделал, со своими казаками удалую атаку против пехотного отряда, который сопровождал транспорт, мне одно время тоже показалось, что повозки, лошади, дальние горы, казачьи пики — все это двигается, но мне после объяснили, что это от жары.

— Нет, клянусь вам богом, я видела вот так, как вижу вас, как вешалка опускалась, опускалась, опускалась, а потом вдруг поднялась. Впрочем, знаете, когда я была в Париже, я очень много занималась спиритизмом, гипнотизмом. Там есть еще, ах, как это?.. забыла!.. месмеризмом. Так вот двигались предметы, и не то что здесь, в России, блюдца или столики там какие-нибудь, да и то их тут просто подталкивают, а у нас летали с места на место книжные шкафы, диваны, буфеты. Меня раз, когда я играла, так даже совсем с пианино перенесло на другой конец комнаты...

Все уселись в зале, и начались рассказы о сверхъестественном, непонятном, таинственном. Потом пили чай, потом опять разговаривали, пели, играли, потом ужинали, потом все разъехались, за исключением заграничной дамы, которая осталась ночевать у Наташи, потом все в доме стихло.

Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то несчастный узник освободится из заточения!

— Катя!

— Чего изволите, барышня?

— Выньте ключ из парадной двери. Петр Николаевич сегодя поздно придет, так чтоб можно было ему своим ключом снаружи отпереть.

— Я, барышня, его повесила возле своей двери.

«Бита!.. Погиб!..»

Все смолкло. Огни погасли. В доме тишина. На диване в зале храпит мопс. Из Наташиной комнаты через растворенную дверь доносилось ее ровное спокойное дыхание. Если б только она знала, как близко от нее сидит помощник секретаря.

Петр Карпович осторожно опустил вешалку, снял сапоги и, держа их в руках, в одних чулках направился в зал. Он осторожно отопрет окно и вылезет. Не успел он сделать двух шагов, как с дивана раздался оглушительный лай. Помощник секретаря моментально очутился у вешалки и в отчаянии и в бессилии опустился на корточки. Все кончено: при малейшей попытке проклятый мопс подымет на ноги весь дом, и ведь никто, никто не поверит, что он, Петр Карпович, попал сюда по нелепой случайности.

IV

Он сидел на вешалке, понурившись и не шевелясь. Странные мысли шли ему в голову. Часто случается, что человек живет, работает, веселится и не замечает и не отдает себе отчета в окружающем. Он просто идет себе за всеми и делает и поступает так, как все. И вот случится какое-нибудь несчастье и разом осветит его жизнь, и все ее особенности ярко выступят. С ним, правда, не случилось никакого несчастья, но то невозможное, нелепое положение, в котором он очутился, внезапно предстало пред ним как наиболее яркое выражение той пошлости, что его окружала. Только теперь, сидя в темноте на этой проклятой вешалке, понял он, какая это пошлая вещь — жизнь. Как пошлы все формы, в которые она выливается. Это объедание и опивание, освященное обычаем, эти бессмысленные, никому не нужные, никому не интересные, одни и те же разговоры, эта нелепая беготня из дома в дом, приставанье к прислуге в почтенном доме, где собираются взять за себя девушку, купля жены не иначе как в придачу к ста тысячам, заискиванье перед начальством, перед прокуроршами — ведь это все и есть жизнь. И сам он — разве он не глотает полными глотками эту мутную, отвратительную волну? Разве у него была какая-нибудь мысль о Наташе, не связанная с представлением ее кра-

сивого тела? Разве он пытался заглянуть в ее душу, в ее скрытый внутренний мир? Нет, нет и нет... Разве не мелькало на первом плане у него соображение, что за нею дадут десять тысяч приданого? И разве он, по совести говоря, влюбился бы в нее, если бы она была бедна? Нет, он бы ее тогда и не заметил.

То, что он сидит здесь на вешалке в передней,— смешно, а то, что наполняло и наполняет его жизнь,— ужас. Но как это так случилось? Был юношей, студентом, и в голове бродили светлые, чистые планы, и хотел он чистой жизни, а теперь... Люди жестоки, неумолимы, они говорят: «Мы пошлы, дрянны и мерзки, мы живем пошлостью, дышим пошлостью, культивируем пошлость, и если ты хочешь быть с нами, проникнись пошлостью, тогда только мы тебя примем». И он соблазнился и пошел с ними.

Э-эх!..

Петр Карпович вздохнул и провел рукой по лицу. В ночной темноте, царившей в доме, слышно было, как храпел мопс и доносилось ровное и тихое дыхание Наташи. Пробило два часа, три, четыре. Стало светать. Спиридонов с трудом раздирал осоловелые глаза. Четырехугольник окна все ясней и ясней выступал на темной стене.

Потом этот светлый четырехугольник стал раздвигаться, в нем показалась морда мопса, но оказалось, что это не мопс, а заграничная дама, и она ему мило улыбалась. Он хотел было принять более соответствующую позу перед дамой, но в этот момент резкий звонок зазвенел над его ухом. Петр Карпович очнулся, протирая глаза. В соседней комнате послышались торопливые шаги босых ног. Мимо пробежала горничная и, спросонья не попадая ключом, отперла, наконец, дверь.

— Телеграмма! — раздался голос, и чья-то рука просунула белый пакет.

При виде отворенной двери после всех пережитых им ужасов Петра Карповича охватило какое-то безумие. Не рассуждая, не отдавая себе отчета, ринулся он в парадную дверь. Обезумевшая от перепуга горничная не своим голосом закричала на весь дом, мопс отчаянно залаял, а разносчик телеграмм, сбитый было с ног,

с изумлением глядел на улицу, по которой, не оборачиваясь, во всю мочь бежал прилично одетый, в судейской форме молодой человек. Разносчик покачал головой.

Было ясное, светлое праздничное утро.

БОЛЬШОЙ ДВОР

Это была самая обыкновенная жизнь и сделалась такой, какой стала теперь, постепенно и незаметно.

Так же он кричал, маленький, и сучил красными ножками, когда его купали в корыте, сосал грудь, обнимая ее крохотными пальчиками (на которых крохотные ноготки), взглядывая мутными, еще неопределенного цвета, детскими глазами.

Так же бегал по улице и запускал змея, когда рос.

Потом мучился первой пробивающейся молодой любовью. Потом женился, имел детей, боролся за себя, за семью, иной раз кутил, возился с женщинами, ходил в церковь, говел. Словом, это была жизнь, как у всех.

Незаметно и тихонько, откуда-то из-за лавок, из-за повседневных забот, из-за скобяного товара, из-за церквей, говенья и солидности глянула побелевшая бородатая старость.

Улеглись страсти, ушла буйная, молодая непокорность.

Сосредоточенно, настойчиво, камень за камнем, кирпич за кирпичом, день и ночь думая, строил он благополучие семьи. Про черный день в банке лежали деньги, но еще больше было вложено в дело, в торговлю скобяным и железным товаром.

Как снежный ком, ворочаясь, оно разрасталось уже механически, в силу приобретенной инерции. И был он известный в городе, солидный, с крепким кредитом, купец, Парфен Дмитрич Крепкоухов.

На людной, сплошь в лавках и торговых помещениях, улице тянулась скучная облупившаяся каменная стена с обомшевшим верхом. А за стеной, отодвинувшись от говорливого шума улицы в глубь огромного двора, широко расселся белый каменный дом.

С улицы за каменной оградой не видно ни дома, ни сада. Железные ворота всегда на запоре. Вдоль прово-

локи, гремя волочащейся цепью, бегает косматая собака со злобным лаем, и за белыми зубами у нее злая черная пасть.

По годовым праздникам в доме служатся молебны, и всегда пахнет ладаном и воском в полутемноте сумрачно молчаливых комнат.

Дома Парфен Дмитрич — царь и бог, и когда приходит с торговли и с грохотом затворяется за ним железно-решетчатая калитка, настает его царство тишины и порядка. Жена, тихая, с чахоточно-желтым лицом, неслышно ходит, молча кланяясь ему, как послушница в монастыре.

Дети-подростки, мальчик и девочка, сидят за книгами, шепчутся:

— Сегодня приходил Мишка из лавки, я завел его в чулан, он про трактиры все рассказывал. Вот весело-то... народищу, а музыканты в трубы дуют. Как папенька помрет, прикрою лавку, трактир открою, музыкантов посажу, пусть песни играют.

— А я в монастырь уйду. Если кто сделается монашкой, так после смерти с ангелами в раю. Птички там райские...

— А Миша говорит — музыка и девки голые пляшут.

— Дурак ты! Вот я папеньке скажу.

— А ну-ка, скажи. Он те вспрыснет... Чудно: голые...

Двое маленьких ползают на разостланной на всю комнату полсти, и нянька то и дело на них шипит:

— Нишкните!.. никак идет.

Ходят в доме все на цыпочках, только шаги *самого*, тяжелые, скрипучие, гулко раздаются.

Пусты, важны и молчаливы парадные комнаты с золоченой мебелью.

Как шли дела у Парфена Дмитрича, какие были обороты, грозили ль убытки, или предстояли барыши,— никто из семейных не знал. Все, что нужно было для них, давал щедрой рукой, но его деятельность, работа, знакомства, его деловая жизнь и волнения были там, на людях, за высокой оградой и вечно наглухо запертыми воротами.

Только по годовым праздникам бывал в доме народ.

Приходили поздравлять приказчики. Завертывал

кое-кто из купечества. Аккуратно каждый праздник навещала дальняя родственница, юркая, с кувшинным рылом вдова, торопливо и бегло ко всему принюхивающаяся вытянутым носом. А за ней, держась за юбку, бегает золотушный мальчик лет пяти-шести, которого она постоянно проталкивает вперед, чтобы видели покрывающую его, как короста, золотуху.

Тонким визгливым голосом она рассказывала о своих горестях, нищете и болезнях. Парфен Дмитрич сурово и молча давал ей зелененькую, она уезжала с заплаканными и красными глазами, и опять тихи, молчаливы и сумрачны стояли комнаты, за книгами шептались дети, с прозрачными лицами и синевой под глазами, беззвучно ходила с покорно-чахоточным лицом женщина, и во дворе, гремя волочащейся цепью, бегала косматая собака с бело-оскаленными на черной пасти зубами.

Изредка заезжал брат Парфена Дмитрича, такой же степенный, сумрачный, солидный купец, с сыном, вертлявым и юрким студентиком, который все шаркал и кланялся, поправляя белую перчатку на левой руке, и с удивлением оглядывал золоченую мебель, высокие и строгие стены, молчаливые образа в многочисленных серебряных и золоченых ризах, на которых задумчиво мерцал тихий отсвет лампады.

Так шла жизнь в этом сумрачном доме.

В большом просторном дворе, летом пораставшем колючкой и лопухами, зимой заваленном снегом, с пробитыми тропками к калитке и к дому, шла своя жизнь, со своими маленькими воспоминаниями, заботами, горем и надеждой. На отшибе, почти в самом углу, где была конюшня, сараи и виднелась выгребная яма, стояла, как и все, по-хозяйски, крепко сложенная кухня под железной крышей. Но внутри она была маленькая, в две комнатки, с огромной плитой.

Двое тут жили: стряпуха Федосья и дворник Пимен, из солдат. Стряпуха Федосья служила одной прислугой, стряпала, убирала комнаты, подавала, бегала на посылках, стирала и гладила белье. Была она похожа на втянувшуюся в неустанную работу клячу, с подведенными ребрами, с запавшими глазами и вечным кухонным, бледным потом на лице. Неизвестно, когда она отдыха-

ла и спала. Лето за летом, зимы за зимами проходили над этим двором, а она все такая же, с испуганно-озабоченными глазами, спешащая и суетливая.

Тут же жил и Пимен, он же дворник и кучер. У него был сердитый, щетинистый солдатский подбородок, а дела — только отвезти и привезти из училища хозяйского сына, вычистить навоз, смотреть за лошадью да за двором. Большей частью Пимен сидит с перехваченными ремешком волосами в кухне на обрубке и неодобрительно тачает сапоги.

— Деревня!.. Деревни, ее нету, нету ее, один — зрак. А вся центра теперь — город. Тут тебе вокзалы, тут тебе трамваи, трактиры, опять же дома, глянешь — шапка валится. Опять же бани...

— Ну, этого добра и в деревне... Ах, мать пресвятая богородица, пирог-то подпалила! И как он скоро взялся... А молоко забыла поставить... хоть раздерись!..

— Сказала — в деревне!.. По черному ходу гнись в три погибели и вылезешь весь в саже, как черт. А тут тебе под мрамор разложут и начнут утюжить, все косточки переберут, на двадцать лет помолодеешь.

— Да ты был... Напьешься, так тебе везде рай... Эх, штоп тебе!.. — И она торопливо, обжигая руки, переставляет плеснувшую и зашипевшую на горячей плите кастрюлю.

— Ну, што ж, что не был, а знаю. Вон Митька Балахан обязательно каждый месяц ходит и зараз под мрамор; выйдет оттуда, как рак вареный, чисто барин.

Федосья по-прежнему мечется по кухне, и пышущая жаром плита не вызывает румянца на ее бледно-отсвечивающем измученным потом лице.

— Опять же при волости каталажка, ни стать ни сесть, а здесь замок да пересыльная тюрьма; может, сколько тыщ арестантов пройдет. На воздушных шарах народ летает. А то — деревня!..

Пимен не выносит деревни. В городе он знает всего несколько улиц — те, по которым возит мальчишку в училище и по которым вывозит навоз.

Прежде он был отходником и трясся на гремевшей по мостовой бочке, мимо спавших домов по одной и той же бесконечной улице, которая вела за город, на свалку. И, кроме этой улицы и свалок, ничего не видел. Когда

приходил к Федосье,— он был ее любовником,— она, не переставая, ругала его:

— Да что ты за окаянный! Чисто вся продохлась от тебя. В комнаты войтить нельзя, зараз все кричат: уходи, уходи, Федосья, воняет от тебя, дышать нечем.

Пимен спокойно отвечал:

— Кому-нибудь да надо вонять. Я не буду вонять, они все провоняют.

— Тоже сказал, гляди, меня с места сгонят через тебя.

С большими усилиями Федосья устроила его дворником.

Сама она, стареющая, покорливая, услужливая женщина, давно из деревни, но, может быть, потому, что высокая стена зеленела старым, обомшелым верхом, и железные ворота всегда на запоре, и с улицы ничего не слыхать, в ней целиком сохранилось деревенское: по-деревенски уродливо перетягивала грудь, носила повойник и по вечерам рассказывала, как прикопит с полста рублей и поедет век доживать в деревне, там и похоронят. И деревня в ее рассказах была тихая, ласковая и простая.

Но скопить ей никогда не удавалось, потому что каждый месяц приходила дочка, служившая горничной в хорошем доме.

Когда-то это была маленькая, испитая девочка с востреньким носиком и вечно открытым, как у галчонка, ротиком, в который Федосья постоянно совала с плиты то картофелину, то ложечку каши, кусочек мясца, пирожок. И все ждала Федосья, когда подрастет дочка, легче будет с ней. Стала та девочкой, пришлось отдать в люди. И когда изредка отпускали ее и приходила к матери, они садились, обнявшись, возле плиты и долго, деловито, тихо плакали. И каждый день уходил для Федосьи с ожиданием: вот подрастет дочка, выйдет замуж, кончится ее страда, начнется какая-то тихая, спокойная, счастливая жизнь.

Теперь дочка приходит франтоватая, затянутая, со взбитой прической и говорит, ломая язык:

— Маменька, что же вы теперь со мной делаете? Неужто ж мне так в отрепьях ходить? Не в деревне живу. У господ наших намеднись вон граф был. На прош-

лой неделе последние семнадцать целковых за корсет отдала.

Мать глядит немигающими глазами.

— Семнадцать целковых!..

Дочь сердится:

— Много вы понимаете. Говорю, граф.

Старая женщина покорно роется в грязной тряпочке и трясущимися руками подает дочери в жирных пятнах захватанные трехрублевки.

— Спасибо, маменька, а то никак нельзя.

И уже не ждет Федосья, что выйдет замуж дочка, а, утирая украдкой слезы, ждет каждый месяц получки, чтобы прикопить дочери. Не потратит из жалованья ни копеечки, возьмет грех на душу — утаит грошик из базарных денег.

Так идут дни в маленькой кухоньке.

На большом дворе была жизнь, о которой никто никогда не думал, но которая так же, как и всякая, имела для себя весь смысл и значение. От маленькой конуры до калитки на цепи бегала косматая, с затерявшимися в космах злыми глазками, с белыми зубами и черной пастью, собака.

Она не помнила, как маленьким щенком тыкалась в теплые родимые соски, как подросла и бегала взапуски с такими же щенками между куч навоза, по-над плетнями, на которых орали петухи, в сараях, где лежали щепа, старые колеса, опрокинутые сани. За сараями было поле, залитое солнцем, а за полем синел лес, и оттуда каждый вечер приходило стадо, и щенок отчаянно-весело лаял на него. Ничего этого в памяти не было, не было прошлого.

Но одно воспоминание осталось, смутное, полупотухшее и испуганно всплывающее каждый раз, когда пес видит в чьих-нибудь руках веревку или удаляющиеся задние колеса повозки. Это воспоминание: перед самой мордой крутятся, взбивая пыль, колеса, и натянутая веревка тащит за горло, перехватывая дыхание. Молодая собака, с вылезшими от ужаса глазами, упирается, падает, волочится с перехваченным визгом на веревке, судорожно болтая в воздухе лапами; в последнюю мину-

ту, когда все темнеет, вскакивает, опять падает, крутится, и так тянется этот ужас много часов.

И когда выбилась из сил и отчаяние и ужас, потеряв остроту, потянулись сплошной полосой, собака перестала бороться и, боясь, что натянется веревка и опять потащит, побежала торопливым скоком у самых колес, и они вертелись, чертя о морду железом шин и окутывая пылью.

Мелькала под колесами дорога, мелькали по бокам деревья, потом кусты, потом длинные, пустые поля, потом железные шины колес оглушительно загремели, прыгая по камням, а мимо стали мелькать, бросая полумрак, огромные дома и множество людей, лошадей, катящихся экипажей, и отовсюду неслись нестерпимо острые запахи, совершенно незнакомые, пугающие запахи.

Собака опять стала в ужасе упираться, опять натянулась и потащила веревка, и опять привыкла и к этому ужасу и бежала у самых колес, пугливо озираясь.

Только это воспоминание иногда и всплывало смутным страхом в темном мозгу при виде веревки в чьих-нибудь руках. Все остальное — белая стена, ворота, калитка, большой двор и кухонька — все это было всегда и есть, и больше никогда ничего не было и нет.

Стояли два дома: один громадный, другой маленький. Пес не знал, что там делается. Он знал только, что из маленького дома стряпуха два раза в день приносила ему варево в лоханке и наливала ему воды в корытце, возле будки. И эта маленькая кухня только постольку и имела для него значение.

Когда в первый раз посадили его на цепь, он попробовал выть. Сядет на землю, подымет голову кверху и воет. Тогда приходил дворник с арапником и начинал сечь. Он так хлестал, что шерсть летела клоками и жгуче ложились полосы по рассеченной коже. Собака с визгом забиралась в будку и зализывала, испуганно выглядывая, раны. С тех пор он не выл.

Вся жизнь собачья замкнулась в этом большом, поросшем колючками дворе. Неизвестно, что было за утыканным гвоздями забором, за старым садом, за железными воротами и калиткой, за белой стеной. Оттуда доносились только бесчисленные чьи-то шаги, которые страшно раздражали, и собака рвалась с цепи, заливаясь хриплым лаем. А когда кто-нибудь входил в ка-

литку, пес становился на дыбы с такой бешеной страстью, что натянувшаяся цепь опрокидывала его назад. Его день и ночь грызло неутомимое желание рвануть кого-нибудь крепкими зубами. И, сам не зная, для кого и для чего, он бегал вдоль проволоки, гремя цепью, и день и ночь остервенело лаял на людей, которых не знал.

Так уходила день за днем собачья жизнь.

Глухо и тихо было за железными воротами, во дворе, где бегала на цепи косматая собака, в доме, в старом саду, и, казалось, некуда было быть глуше и тише. Но случилось так, что еще стало глуше и тише.

Умерли двое младших ребят — задушил дифтерит.

Мать с остановившимися глазами ходила так же беззвучно и покорно по молчаливым комнатам, и все испитее, все прозрачнее казалось лицо. Потом слегла и уже не подымалась с постели. Потом ее унесли.

Остались сын и дочь-подросток.

Однажды сын ушел и больше не пришел. Парфен Дмитрич подождал три дня и проклял его родительским проклятием, наказав дворнику не отворять калитку, если и вернется. Но он не вернулся, так и сгинул. Девушка-подросток тихонько и беззвучно ходила по огромному дому, прислушиваясь, ходила такая же покорная и тихая, как мать, с таким же прозрачным лицом, как у матери.

Когда приходил отец, она говорила тоненьким, как соломинка, голосом:

— Здравствуйте, папенька.

А когда уходила спать, говорила:

— Спокойной ночи, папенька.

Парфен Дмитрич грузно сидел в кресле и барабанил пальцами по локотникам.

Хотелось сказать этой тихой прозрачной девочке, так похожей на мать, ласковое слово, но слов не было, не привык к ним, не умел.

И он говорил своим скобяным голосом:

— Ну ладно, ложись.

Полгода ходила прозрачная девочка по сумрачным комнатам, заглядывая и в ту, в которой стояла золоченая мебель, прислушиваясь, как за окнами катился не-

умирающий гул огромного города, ей неведомого, тихонько ходила, покуривала ладаном и тоненьким, как соломинка, голосом напевала: «Свя-а-ты-ый бо-о-же... свя-а-а-ты-ый кре-э-эпкий...»

А раз ее нашли в полутемном чулане. Она стала длинная, тонкая, вытянутая, свисшие носки башмачков чуть касались пола, и слабо белело платье. Ее увезли.

По-прежнему было тихо и молчаливо в сумрачных комнатах, так тихо и молчаливо, как будто никто и не умирал.

Все это скрутилось в два года, а Парфен Дмитричу казалось, что семья у него была лет пятьдесят тому назад, и густо, сплошь пошла седина в бороде и на голове. Но по-прежнему в один и тот же час гремела утром и вечером калитка, когда Парфен Дмитрич уходил и приходил из лавки, и бегала, гремя цепью по проволоке, косматая собака и остервенело лаяла на людей, которых не знала.

Удивлены были однажды приказчики: не пришел в урочный час в лавку Парфен Дмитрич. Никогда с ним этого не случалось.

А Парфен Дмитрич совсем было собрался, да вдруг остановился в передней, задумался и стал глядеть в пол. Потом сбросил шубу и шапку на пол и, тяжело ступая, прошел в спальню, грохнулся перед образом, и весь огромный и пустой дом наполнился голосом, как будто железный товар посыпался с полок:

— Что же!.. Что-о!!! Ты-ы!..

И поднял кулаки. Потом почернел и повалился лицом в холодный паркет.

Его нашла случайно заглянувшая прислуга. Подняли, раздели, уложили в постель. Дворник побежал за доктором.

Парфен Дмитрич пришел в себя, велел вылить на голову два ведра ледяной воды и доктора приказал гнать в шею.

И как будто все шло по-прежнему. Никогда не открывались немые ворота, бегала, таская цепь, собака; урочно гремела по утрам, захлопываясь, железная калитка, и шел, как всегда, в один и тот же час Парфен Дмитрич в лавку.

В лавке среди книг, счетов, записей Парфен Дмитрич вдруг задумается и сидит, осунувшись, в старом,

вытертом кожаном кресле и глядит, не сводя глаз, на половицы. Пройдет час, два, а он все так же неподвижно сидит, и приказчики боятся потревожить.

К концу года стал подводить счета Парфен Дмитрич и в первый раз в жизни задрожал, страшно стало: покачнулось дело, потянуло смертным духом от того, во что вложил всю жизнь, всю душу, все помыслы.

Глубоко задумался Парфен Дмитрич. Долго думал, целыми неделями никто и разговаривать не смел. Наконец решил и понемногу, осторожно стал ликвидировать дело.

Когда покончил, деньги обратил в процентные бумаги, купил стальную кассу, со звоном запер туда бумаги, а кассу поставил в крохотной комнатке с одним окном, служившей ему спальней,— не верил банкам.

Уже не гремела в урочные часы два раза в день калитка. Тихо, угрюмо стоял дом, чернея окнами, и по вечерам светилось одно окно.

Старая Федосья с жутким чувством входила в дом за приказом на базар и чтоб прибрать большие молчаливые комнаты. Кряхтя и озираясь, стирала пыль и незаметно крестилась — в комнате всегда угрюмый полумрак, ставни не открывались, в сумраке тускло блестела позолота стульев, иногда как будто тянуло ладаном. В маленькую комнатку с одним окном Федосья не заглядывала: Парфен Дмитрич и к дверям не допускал.

Сам Парфен Дмитрич редко выходил, и одиноко и сиротливо светилось по ночам оконце.

Для Федосьи время шло от утра до обеда, от обеда до ужина; там, чуть прикорнет, вставать на базар, и так колесом, а оглянется, назади —годы. Уже руки стали дрожать, ноги устают возле плиты, а все теплится какое-то смутное ожидание, надежда. Что-то переделается, устроится, начнется по-иному, по-хорошему.

То, что происходило в большом доме, как-то шло мимо нее, мимо кухни. Шла там своя, им не открывающаяся, чужая жизнь. Знали о ней только по внешним проявлениям: либо покричат давать обед, либо в лавку пошлют, либо мертвого выносят. Но и в доме точно так же и не знали и не думали о жизни, которая шла в кухне. Из дома приходили только распоряжения.

И вот пришло приказание, чтобы Пимен уходил. Парфен Дмитрич продал лошадь, и дворник был не нужен.

Федосья обомлела. Один живой человек в этом огромном и страшном дворе, закрывавшем собой не знаемый ею город, отрывался от нее. И она охватила эту растрепанную щетинистую голову и качала, как ребенка:

— Да родимый ты мой!.. да куда же ты!.. да как же я без тебя!..

Пимен неодобрительно ворочал бровями.

— Одно слово женский пол... Это же не деревня... али тут занятие не найдешь?..— И, помолчав и почесав в затылке, протягивал: —Да где-е найтить...

Пимен остался в кухоньке, только на двор выходил в сумерки, да окна вечером при огне Федосья тщательно занавешивала.

Раз, когда вздули огонь и занавесили окна, отворилась дверь, и вошла дочка Федосьи. Она на минутку приостановилась в дверях передохнуть и опустила на пол перед собой узел, а за спиной в черноте мелко шептался непрерывным бормотанием осенний дождик.

Федосья глянула и всплеснула руками: дочка была испитая, со впалыми глазами и, что особенно страшно, крепко постаревшая.

— Дашенька... Родная... Да когда же ты замуж-то!..

Она часто виделась с дочерью, и только в этот осенний, холодный, шепчущийся вечер вдруг увидела, как жизнь ее обмяла, стерла румянец, молодость, задорный вид. Вспомнила, сколько детей она отнесла в воспитательный, и заплакала от безнадежности.

— И-и, маменька, куда уж замуж!.. Жить к вам пришла.

Они стали жить втроем, прячась и опасливо поглядывая на окна дома. Но там все было тихо.

Мягко катилась, прыгая на резиновых шинах, карета. Только слышно, как чеканили по мостовой лошади. Карета остановилась у железных ворот.

Долго возилась у замка вышедшая на звонок Федосья. Из кареты вышел чистый господин, молодой и в цилиндре, и помахал платочком.

— Дома дядюшка Парфен Дмитриевич?

— Дома.

Он пошел за Федосьей. Студентик, вышедший в адвокаты, превратился после смерти отца в руководителя крупных предприятий и приехал навестить, справиться о здоровье и поразнюхать, что с дядюшкой, от которого ждал наследство.

Федосья отворила входные двери, а сама спустилась с крыльца и стала дожидаться.

Из комнаты донесся крик, что-то упало, потом торопливый топот.

В ту же минуту из дверей вылетел с цилиндром на затылке племянник и понесся через двор к калитке. За ним косматый, обросший, с бешеными глазами Парфен Дмитрич, без шапки, в туфлях; из-под развевающегося халата мелькало грязное, пропитанное потом, промозглое белье.

У калитки адвоката рванула за ногу захлебывающаяся собака; адвокат, потеряв цилиндр, вырвался на улицу, вскочил в карету и, держась за ногу, велел гнать лошадей.

Парфен Дмитрич с грохотом захлопнул калитку и долго ругался и грозил кулаком, косматый и страшный. А потом опять залез к себе в берлогу и не показывался. Снова мрачен и молчалив стоял дом. И уходили дни и месяцы.

Федосья, когда приходила в кухню из комнат, куда ходила относить обед, рассказывала:

— Страшно там. Темно. Ставни все заперты. Прибирать не велит. Дух тяжелый, чисто преет все. Не продыхнешь. Кости, объедки — так все там и остается. Самого и не вижу, только слышно, бубнит: «Все-о забрал, все-о, а этого не заберешь. Не-э-э!..» — и звякнет об кассу. Поставишь в прихожей обед да скорее вон.

— Не жилец на белом свете,— замечал Пимен.

— Должно, в кассе не провернешь денег,— вставляет дочка.

— Може, и нам чего откажет, как помрет, молиться за душу его несчастную. Денег для базара совсем мало стал давать, не знаю, как и оправдывать.

— Держи карман ширше,— сердито высморкался солдат,— как бы не завещал.

И все трое стали чего-то ждать. Чего, они сами не

знали, но внимательно вглядывались в темные, молчаливые окна и в оконце, которое одно только светилось по ночам.

...Пришла осень, ушла зима, стояли тихие звездные задумчивые вечера над цветущим садом, молчаливым двором, угрюмым домом, маленькой кухонькой и собачьей будкой.

В кухоньку кто-то постучался. Там засуетились. Солдат и дочка спрятались за полог. Федосья подвернула лампочку и отворила. Из темноты чуланчика шагнул, сильно сгибаясь, адвокат в цилиндре.

— Здравствуйте.

— Доброго здоровья.

Он снял цилиндр, слегка почистил рукой и почистил колени.

— Ну, как дядюшка? Как здоровье? А ты чего распустился? Папиросы крутишь... Не видишь, с кем разговариваешь!..

— Как не видать, вижу. Зараз пойтить сказать. Велел доложить, как вы прийдете...

— Нет, нет, нет... Зачем же!.. Ты куришь? Не угодно ли,— он раскрыл вызолоченный порттабак,— я человек простой, садись, пожалуйста...

— И как вы влезли — в калитку не пройдешь, через забор высоко, опять же гвозди.

— Нда-а...— замялся адвокат.— Ну, как он? — и повертел пальцем себе около лба.

— Да что ж, обыкновенно,— проговорила Федосья, вытирая о фартук руки,— как люди. Что ему? Один.

— Может быть, доктора бы? Я думаю комиссию назначить. Как же можно... ведь у него состояние.

Солдат встал и потянулся.

— Пойтить собаку с цепи спустить,— на ночь велит спускать.

Адвокат дернулся к нему.

— Голубчик, да нет... Зачем же!.. Вот тебе рублевочка. На табачок... Кури на здоровье... Да проводи, голубчик, как бы она не сорвалась с цепи, проклятая... А за *ним* примечай, если какие ненормальности, скажи, я уж хорошо заплачу.

— Да уж будьте покойны.

Они вышли, прошли двор и сад. Около забора адво-

кат снял цилиндр, стал на четвереньки и исчез в дыре под забором. Солдат стоял, удивленно разводя руками.

— Ну, прыткий!.. Как ловко! Собаки проклятые подкопали; надо заложить.

В кухоньке долго обсуждали визит адвоката.

— Никак нельзя его допускать. Обязательно объявит сумасшедшим, тогда нам крышка.

— Вот горе-то,— плакала Федосья,— денег совсем перестал класть. Сидит у себя и урчит. Ежели не кормить его, сдохнет, тогда иди на улицу. То хоть квартира даровая, хоть голову есть где приклонить.

И они стали ему относить то, что сами ели. Дочка Федосьина ходила на поденщину, Федосья по субботам сбирала копеечки на паперти, а солдат лежал на нарах. Пел псалмы и, затягиваясь цигаркой, сплевывал через всю кухню в угол.

Наведывался иногда адвокат все тем же путем в дыру под забором и дарил по целковому солдату, чтоб не спускал собаку...

...Раз Федосья пришла из дому; руки, голова у нее тряслись.

— Молчит и вчерашний обед не тронул. Жуть в комнатах.

Когда втроем вошли в маленькую комнатку, было задохнулись от нестерпимой вони. Парфен Дмитрич лежал навзничь, и с кровати свесились рука и голова. Вызвали полицию. Прискакал племянник. Вскрыли кассу ключом, который взяли из застывшей руки покойного. В кассе оказалось триста тысяч рублей бумагами и наличными.

Преобразился пустой двор, и старый сад, и угрюмый дом. Всюду ремонт, перестройки, и не узнать, было ли подворье. Племянник переселился сюда на жительство.

Собаку отвели на живодерню, и когда вели, в темном мозгу смутной тревогой мелькнуло воспоминание о натянутой веревке, тащившей ее когда-то. Но она была стара, с выпавшими зубами, и покорно шла, не зная, зачем прожила свою жизнь на пустом дворе и зачем лаяла на людей, которых никогда не знала.

Федосья с посошком и котомкой за спиной ушла в деревню. А Дашенька, ее дочка, и солдат потерялись в огромном шумящем городе.

Судили их всех троих вместе. Федосья в деревенском убогом наряде, с деревенским, изрезанным морщинами лицом, Дашенька в великолепном бархатном платье, и по обвинительному акту она значилась: баронесса фон Дитмар. Пимен во фраке, но так как он давно не брился и густо полезла седеющая щетина, видно было, что фрак неуклюже сидел на старом солдате.

Во время судебного разбирательства племянник, потерпевший, громил всех троих. Они были хуже грабителей и убийц на дороге. С теми можно так или иначе бороться, а с этими, в овечьей шкуре покорных людей, в качестве прислуги залезающими в самую интимную обстановку людей состоятельных, невозможна борьба. Они ни перед чем не остановятся. Не остановятся даже перед тем, чтобы вынуть из застывшей руки покойника ключ и,— страшно сказать,— похитить из кассы целых сто тысяч рублей! И потом с лукавством закоренелых преступников снова вложить ключ в закостенелую руку.

Только счастливая случайность открыла это колоссальное воровство. Племянник ехал в великолепном собственном экипаже, навстречу господин на лихаче снял котелок и преважно раскланялся. Племянник всмотрелся — Пимен! Одетый по последней моде, в котелке, в цветном галстуке. Страшная догадка мелькнула у племянника. Пимена арестовали, и он во всем сознался.

В последнем слове Федосья, с трясущейся головой, сказала:

— Только об одном думала, об одном: дочку замуж, замуж... а без денег кто ж возьмет...— и безучастно уставилась перед собой.

Солдат коротко:

— Было наше, погуляли, ну что ж, теперь можно и по Владимировке...

Дашенька сказала:

— Мало я своих детей перетаскала в воспитательный! Али так оно это все, даром?.. А барона купила в босяке. После свадьбы выгнала.

Присяжные ответили:

— Да. Виновны.

МАРИУПОЛЬСКИЕ КАРТИНКИ

I

НА ПОМОЩЬ БЕСПРИЗОРНЫМ

Был я на одном из четверговых заседаний правления общества попечения о детях и ушел оттуда с тяжелым сердцем. «Из тюрьмы,— говорила одна из попечительниц,— были отправлены этапным порядком вместе с арестантами несколько семей крестьян. Их препровождали за несколько сот верст на родину за бесписьменность: были просрочены паспорта. Стояли последние холода, ужасный ветер жег морозом и леденил тело. Оборванные, голодные женщины не слушающимися от холода пальцами тщетно старались прикрыть лохмотьями посинелое тело своих ребятишек. Закоченелые дети с посиневшими губенками и остановившимися в глазах слезами дрожали, беспомощно цепляясь за матерей. Оказывается, в течение зимы такие сцены повторялись очень часто. Не может ли что-нибудь сделать общество для детей, попадающих в такое ужасное положение?»

Что же может сделать общество? Что оно может сделать для людей, ни в чем не повинных, не совершивших никакого проступка, и которых тем не менее гонят как арестантов, вместе с заведомыми преступниками и злодеями? Что оно может сделать для этих крошек, посиневших от холода, без вины виноватых?

Порешили обратиться в тюремный комитет, чтобы он извещал о таких случаях и давал возможность обществу прийти на помощь несчастным детям.

«Господа,— заговорил один из попечителей,— в городе то там, то здесь обнаруживаются воровство, кражи, совершаемые компанией мальчиков, начиная с десяти до тринадцати — четырнадцати лет. Эти мальчуганы ходят по трактирам, пивным, гостиницам, по притонам и тайным кабачкам, распивают чаи, закусывают, проводят

очень поучительно время в компании пьяниц и подозрительных субъектов, сами напиваются мертвецки пьяными, а так как на все это нужны деньги, то они добывают их всякими неблаговидными способами. Некоторые из мальчишек уже побывали на скамье подсудимых, но это еще больше налагает на них печать молодечества. Господа, это будущие жулики, воры и, может быть, даже убийцы, жестокостью которых мы будем в свое время благородно возмущаться. А между тем это ведь дети, и еще не поздно, еще можно спасти их, этих кандидатов в острог, каторгу и ссылку. Мне приходилось говорить с некоторыми из них — они поражают чрезвычайной смышленостью, умом, расторопностью. Господа, нельзя же их бросать на произвол судьбы!»

И опять роковой вопрос: что может сделать общество? Их сейчас наберется душ пятнадцать, но это — такие, которые попадаются на глаза попечителям. Ну, а те, что шляются по кабакам и притонам? Их наберется много десятков. Что же возможно сделать на микроскопические средства общества? И, наконец, если этих как-нибудь убрать, куда-нибудь пристроить, то на их место сейчас же появятся другие кандидаты; ведь в городе больше тридцати тысяч жителей и существуют такие общие условия, которые готовят из подрастающего поколения кандидатов в острог.

Раз это явление зависит от общих условий, то, очевидно, уничтожить его радикально, одним усилием невозможно, но возможно в значительной мере смягчить его. Кто же об этом должен и может позаботиться? В первую очередь представители городского управления. Что же они? Да ничего, ровно ничего не делают в этом направлении. Еще кое-как, с грехом пополам, городское управление заботится о внешнем благоустройстве, мостит улицы, старается с полицией лучше устроиться, дамбы собирается строить и т. п.; на внутреннюю же, духовную жизнь граждан не обращается ровно никакого внимания. Помимо крайне неудовлетворительной постановки школьного дела, ровно ничего не сделано, чтобы дать народу хоть какую-нибудь возможность удовлетворять свои духовные потребности; речи об этом считают новшеством, фразами, молодым увлечением.

Все окружающие Мариуполь города: Ростов, Новочеркасск, Екатеринослав, Бердянск, многие города Ека-

териноставской губернии, даже многие деревни Мариупольского уезда организовали у себя народные чтения, библиотеки; мы же на это важное просветительное движение смотрим как на явление, которое не должно отнимать времени и усилий серьезных деловых людей.

В ЛАПАХ АМБАРЩИКА

На наш хлебный рынок все больше и больше поступает хлеб нового урожая. Цены на хлеб крепко поднялись. И вот наши хлеботорговцы, так называемые амбарщики, напрягают все усилия по скупке хлеба у мужика. Я хочу дать маленькую характеристику нашей хлебной торговли.

Торговля эта, к сожалению, нужно заметить, носит чисто хищнический характер, чтоб не сказать больше. В сущности, это даже не торговля, а дневное обирание мужика, самое бесцеремонное и откровенное. Чтобы читателю не показался слишком уж резким такой отзыв, нарисую картинку продажи хлеба мужиком. Конечно, нет правила без исключения, и среди торговых фирм встречаются и добросовестные, но исключения, как известно, только подчеркивают правило. Амбарщики держат целую фалангу так называемых кулаков. Это — особенные, специальные приказчики по хлебной торговле. Самое название уже характеризует их; они выколачивают из мужика душу и хлеб. Встаньте пораньше, и пойдемте с вами за город. По обеим сторонам дороги виднеются кучки кулаков. Как волки залегают они по дороге, высматривая мужика. Вот показалась бричка, нагруженная хлебом. Мужичок сидит на мешках и похлестывает лошадей. Сзади одна за другой, погромыхивая колесами на железном ходу, катятся такие же брички, полные зерном. Кулаки подымают головы, почуяв добычу. Вот поравнялась первая бричка; как свора, спущенная на кабана, кидаются на бричку кулаки, цепляются за колеса, за перекладины, лезут наверх, усаживаются на мешки кругом мужика, хватают вожжи, кричат, ругаются, совершенно оглушают мужика. Каждый старается забрать его себе, к своему патрону, и его дерут во

все стороны. Оглушенный, растерянный, мужик не знает, куда ему деваться, а кулаки наседают еще больше, видя его нерешительность.

— Э, вороти, говорят тебе,— такой цены никто не даст!.. Вороти, что ли, леший... Хошь, четыре сорок?.. четыре пятьдесят?..

И вся эта орава, как пауки, присосавшись к мужику, въезжает в город. Тут им овладевает самый наглый из всех, под конвоем доставляет к амбарщику, а сам бежит опять за город ловить новых мужичков. До какой наглости доходят кулаки, до какого бешенства порой могут они довести мужика — показывает один недавно имевший место случай, когда мужик, приведенный в ярость тем, что кулаки стали пороть его мешки с хлебом, чтоб тем заставить ехать, куда они приглашали,— вырвал у них нож и всадил в одного, а потом в другого. Но иные из амбарщиков прибегают к еще более нечистым средствам. Они снаряжают уже не пешую орду кулаков, а кавалерию; каждый кулак садится на бегунки и в ногах ставит смертоносное оружие, перед которым уже ни один самый здоровенный мужик не устоит,— бутыль с сивухой, обернутую соломой. Эти кавалеристы выезжают подальше от города и, завидя мужика, направляют на него жерло ужасного орудия, из которого, бульбукая, льется в стаканчики «кровь дьявола». Мужик, ухмыляясь, вытерев на обе стороны усы и перекрестившись, выпивает и... продает всего себя с хлебом, с потрохами, с своей пьяненькой душой.

Но иной раз все средства, какие только пускают в ход, не действуют на мужика. Он лишь одно твердит, что ни к кому не поедет, как только к своему знакомому амбарщику, к которому всегда возит. Тогда прибегают к такому приему: дают больше той цены, которая существует в данный момент. Мужик соблазняется и едет. Но когда он уже распряжет во дворе лошадей, взвесят хлеб, его вдруг рассчитывают на десять, на пятнадцать копеек дешевле условленной цены. Не подымать же истории,— мужик махает рукой и уезжает.

Как я уже сказал, чтобы заманить мужика к тому или другому амбарщику, употребляются самые разнообразные и нечистые средства, вплоть до опаивания водкой. Но это только цветочки, ягодки же мужик раскусит тогда, когда попадет, наконец, в лапы амбарщика и у

него начинают принимать хлеб. Начинается истинная вакханалия обмана, плутней, самых наглых, самых бессовестных, при виде которых только руками разведешь.

Об этом — до следующего раза.

ОБЪЕГОРИВАЮТ МУЖИКА

Я рассказал уже, как наши амбарщики во время большого привоза из деревень хлеба, конкурируя между собою, ловят мужика с хлебом за городом. Теперь расскажу о том, как этот хлеб принимают у мужика.

Представьте себе большой двор, весь заставленный повозками, нагруженными хлебом. У амбаров стоят громадные весы. Шум, крик, гам. Возле весов толпятся приемщики, мужики. В воздухе то и дело мелькают пятипудовые мешки, которые торопливо сбрасывают на весовые доски. Не успеют качнуться весы, не успеет прийти в равновесие стрелка, как их сию же минуту подхватывают и туда летят уже новые мешки. Зевать не приходится, работа кипит, приемка идет с лихорадочной быстротой, кругом ждут мужики своей очереди, каждому хочется поскорее сдать и, не теряя времени, ехать домой. Амбарщику этого только и надо,— в мутной воде, как известно, рыбу лучше ловить, и кулаки нарочно производят кругом как можно больше сутолоки, шума и суеты.

— Эй, живо! Что рот-то разинул? Не один ты тут...

Мужичок торопливо стаскивает мешки. Он знает, что тут зевать нельзя, что надо смотреть в оба. Перед взвешиванием он проверил весы. Все оказалось в порядке. На одной из весовых досок лежат так называемые «вывески»; это — кусочки железа, свинца или еще чего-нибудь для уравновешивания досок, так как от времени они изнашиваются неравномерно. Мужичок и эти «вывески» осмотрел. Начинается приемка его хлеба. Треноги (жерди), на которых подвешены весы, умышленно делаются огромными, и мужику, когда на весы бросают мешки, приходится изо всех сил задирать голову вверх, чтобы наблюдать за стрелкой, которая находится страшно высоко. Этого-то только и нужно. Кулаки, которые тут толкутся, пока мужик дерет голову вверх, незаметно подменяют «вывески» другими, которые были до этого у них в рукаве, и мужик удивляется и никак не придума-

ет, отчего это у него так мало хлеба теперь выходит, а амбарщик с наслаждением потирает руки: таким путем в течение дня к нему перейдет не один десяток пудов дарового хлеба.

Но иной раз мужик, чтоб наблюдать за тем, что делается тут внизу, проверяет вес не по стрелке, а по весовым доскам; при равновесии весовые доски в нормальных весах должны находиться на одном уровне.

Но и это амбарщиком принимается во внимание, и он проделывает следующее: веревки, на которых висит доска для хлеба, делаются несколько короче (в нормальных весах веревки обеих чашек должны быть одинаковыми); поэтому, чтоб весовые доски пришли в один уровень, необходимо хлеба сыпать больше, чем следует по весу гирь; и опять хлеб, приобретенный нечистыми путями, течет в амбары хозяина. Часто амбарщик, вместо того чтобы положить на весы три-четыре гири по четыре, по пяти пудов, кладет целую кучу мелких, по нескольку фунтов гирь: за шумом, гамом и сутолокой легче обсчитать мужика, который не так ловок и пока соберется просчитать все гири, его десять раз обойдут.

Иногда прибегают к такому маневру.

— Эй, парень,— говорят мужику,— гирь-то у нас не хватает; положика-ка замест гирь мешок, а опосля мы его свесим.

Гири у амбарщика, конечно, есть, и в достаточном количестве, но он часть их нарочно припрятал. Мужик снимает с воза мешок с хлебом и кладет на чашку с гирями. Начинают взвешивать хлеб, считая пока только вес гирь. Затем кончают взвешивание, берут мешок, взвешивают его и прикладывают к общему весу. За торопливой сутолокой, за спешкой, с которой ведется все дело, и в приятном ожидании, что ему сейчас же по окончании поднесут выпить, мужик не соображает, что к общему-то весу надо прибавить вес мешка, заменявшего гири, не один раз, а кроме того, еще столько раз, сколько произведено взвешиваний. Надо заметить, что во время приемки кулаки производят возможно больше гама, шума и суеты и всячески заговаривают мужику зубы, что облегчает все проделки. Не стану передавать другие способы объегоривания мужика, более грубые, примитивные и уловимые, а потому и подвергающие амбарщика большому риску попасть под уголовное пресле-

дование (неверные гири, отогнутые стрелки весов, оттянутое плечо коромысла и прочее).

Читатель, быть может, спросит: чем же объясняется самая возможность такого беззастенчивого характера хлебной торговли? На это один ответ: крайняя некультурность и безграмотность мужика. Ярким доказательством этого служат немцы-колонисты. Это — поголовно грамотный и культурный народ, и с ними амбарщики уже не позволяют себе проделывать то, что проделывают они с нашим мужиком.

В следующий раз я укажу, какие меры принимают администрация, земство и город для урегулирования и упорядочения хлебной торговли и к каким они приводят результатам.

II

[В ПЯТИ ВЕРСТАХ ОТ МАРИУПОЛЯ]

В пяти верстах от Мариуполя выстроен огромный металлургический завод. Он вырос поразительно быстро. Еще в прошлое лето там была голая степь; теперь же дымятся высокие трубы и краснеет кирпичными постройками целый городок. Начали строить в сентябре, всю зиму шла лихорадочная работа по возведению зданий, кладка не останавливалась даже и в морозы (прогревали паром), и с февраля завод пущен. Конечно, за такое короткое время невозможно было заказать, получить и установить машины, но основатели завода не остановились перед этим. Они закупили в Америке старую, уже работавшую фабрику и целиком перевезли ее в Мариуполь со всеми машинами и приспособлениями. Это стоило огромных денег, но зато тут оставалось только установить машины (специально для этого сюда приезжали американцы) и пустить в ход.

Из-за чего, однако, такая лихорадочная поспешность?

Да, видите ли, кучка иностранных капиталистов пронюхала, что можно заполучить недурной заказ на поставку труб для нефтепровода от Баку до Черного моря,

и вот они сейчас же состряпали Никополь-Мариупольское общество, в Петербурге связи у них большие, заполучили заказ, а так как он срочный, так они духом, чисто по-американски, и соорудили огромный завод. Были тут и другие поводы к образованию общества, но упоминать о них по некоторым обстоятельствам неудобно.

Не буду пока касаться организации и технической стороны дела, хотя мог бы развернуть перед удивленным читателем (и особенно акционерами) любопытную картинку.

Займемся на этот раз другим вопросом: какое значение для края имеет возникновение подобных предприятий? Благородные иностранцы заявляют: «Мы-де вносим культуру в эту варварскую, грубую, невежественную страну; мы вливаем в нее капиталы, организуем предприятия, даем заработок массе; следовательно, высокая цивилизаторская миссия лежит на нас».

Но, господа, как хотите, а я далек от восторгов перед этой великой миссией. Перед нами огромное, чисто стихийное явление, с которым невольно приходится считаться как с фактом. Наш внутренний рынок, огражденный высокими пошлинами, привлекает, как пчел на мед, иностранных капиталистов. Жадной толпой сбегаются они «на ловлю» не чинов, а денег (впрочем, при случае и от чинов не откажутся), употребляя все усилия, чтоб высосать вокруг себя своим капиталом все, что только возможно. Чуждые народу, они идут сюда только *нажиться, а не жить*. Можете же себе представить, как они относятся ко всему, что их окружает. Для них, что называется, нет ni foi ni loi[1]: второе заменяет уложение о наказаниях, первое — барыш. Не подумайте, что я хочу унизить иностранного капиталиста перед нашим «расейским»; о нет! — я слишком далек от этого. Эти господа все одним миром мазаны. Я только хочу поумерить восторги тех, кто захлебывается культурной миссией иностранцев. Не отрицаю известного оживления в экономической жизни, которое вносит иностранный капитал, но, боже мой, какой дорогой ценой это покупается!

В самом деле, что представляют из себя вот эти инженеры, директора заводов и пр.?

---

[1] Ни веры, ни закона *(франц.)*.

Черствые, сухие, надменные, для которых существует только один бог — деньги, чем отличаются они от нашего кулака? Вам кажется это парадоксом. Но если б вы ближе знали этих людей, вы б видели, что они отличаются от него *только специальными знаниями*, уменьем произвести расчет деталей машин, сообразить выгоды производства в данном месте и все прочее в таком же роде, да внешним лоском людей, потершихся в больших центрах. Общего развития у них не ищите; сомневаюсь — знакомы ли они даже со своей родной *общей* литературой (на специальной-то они собаку съели). Этому внутреннему облику наших культуртрегеров соответствуют и внешние его проявления.

Не успели приехать сюда американцы (как их называют у нас), как, не говоря худого слова, сейчас же обдули мариупольцев. Теплый народ — и мариупольцы, но американцы еще почище оказались. Привезли они, изволите ли видеть, этого самого Никополь-Мариупольского общества акции и запели... запели до того убедительно, что мариупольцы развесили уши и рты поразевали. «Господа,— говорили благородные иностранцы,— мы несем в вашу страну, неподвижную и мертвую до сих пор, жизнь и промышленную деятельность. Не пройдет и года, как задымятся трубы, завертятся бесчисленные колеса и валы, тысячи рабочих найдут себе великолепный заработок и потечет золотая река... в карманы акционеров. Акции наши стоят по сто двадцать пять рублей золотом, мы их бережем как зеницу ока, но *вам*, так и быть, уж отделим — cent mille diables! [1] — кусочек, потому вы возле нашего завода живете, в некотором роде свои люди, но... но прибавочку все-таки сделаем, накинете по пятьдесят рублей на акцию. Ей-богу, только *для вас*». Разъехались замаслившиеся физиономии у мариупольцев, ухмыляясь, заворотили они левые полы, достали мошны и со вздохом восторга и облегчения отвалили по двести шестьдесят два рубля за акцию. Что же вышло? Когда общество стало котировать на бирже свои акции, и *двухсот рублей за акцию никто не давал*, потому неизвестно, говорят, как еще у вас дело пойдет, улита едет — когда-то будет, а вообще-то ведь инженеры — народ *опытный* и... в трубу немало заводов уле-

[1] Сто тысяч чертей! (*франц.*)

тело. Мариупольцы, до этого в упоении восторга все щупавшие в кармане свои акции, при всем усилии казаться спокойными не могли удержаться. Почесали они себе поясницу и крякнули: «Но и народ же по нынешним временам стал! *пятнадцать тысяч* лишних сдули!!» Когда мне рассказывали эту историю, я хохотал до упаду: уж если мариупольцев ухитрились обдуть, значит жженный действительно народ эти американцы.

Не могу ручаться за факт, но здесь упорно говорят, что проданную заводу старую фабрику нужно было попросту сбыть куда-нибудь (на кой черт сдалась она в Америке, когда износилась!); ну, вот ее за хорошие денежки и спустили заводу. (Хозяин ее чуть ли не один из учредителей Никополь-Мариупольского общества или по крайней мере «дядюшкой» учредителям приходится.) Дескать, русская свинья все слопает, можно будет рассовать акции.

Давая характеристику иностранцам, благодетельствующим нас насаждением заводской промышленности, я делал это вовсе не голословно.

Вот фактец, который дорисовывает образ действий наших благородных джентльменов. Приглашают они на службу одного механика, тот соглашается, но с условием что жалованье ему будет идти в размере ста пятидесяти рублей в месяц. Заводчики принимают это условие. Механик начал работать и затем обращается с просьбой написать контракт ввиду того, что он намерен перевезти сюда свою семью из другого города и хочет быть обеспеченным. Джентльмены заявляют, чтоб перевозил семью и чтоб был покоен. Тот так и делает. Но когда подошел срок получки жалованья, механику предлагают всего *пятьдесят рублей* за месяц. Недурно! Человек затратил на переезд, бросил место, где получал около ста сорока рублей,— и с ним выкинули такую штуку.

Недавно на заводе рабочий Иван Пакеев, двадцати шести лет, проработав непрерывно двадцать четыре часа, под утро уснул на полу, а когда его подняли — он был уже мертв. Оказывается, под тем местом, где спал Пакеев, проходит тоннель, по которому течет газ из газовых генераторов, служащий для нагревания металла. Ядовитые газы просачивались сквозь тоннель и пол и отравили рабочего, как удостоверено актом медико-полицейского осмотра.

ЗАМЕТКИ ОБО ВСЕМ

I

ДАРОВОЙ ТРУД

Из всех неправд жизни самая большая, самая жестокая неправда — это когда сильному, здоровому, рвущемуся к труду человеку нет места на арене труда.

— Я молод, силен, здоров, у меня крепкие руки и голова, полная знаний, и я хочу работать.

А жизнь, усмехаясь страшной, слепой, никогда не сходящей с ее лица усмешкой, говорит:

«Ну так что ж».

— Я хочу работать, я хочу тратить энергию, силы, знания, я хочу работать — жить.

«Так что ж».

— Боже мой!.. Молодость, силы уходят, а я их трачу не на прямой производительный полезный труд, а на то, чтобы, вцепившись зубами и когтями в кого-либо из ближних, столкнуть его и, заняв его место, вместо него трудиться, работать. Ведь это же бессмысленно!

«Так что ж».

Когда в последнем думском заседании поднялся вопрос о гражданке Тютневой, среди гласных распространилось замешательство, растерянность. Почтенные, искусившиеся в обсуждении всяких вопросов гласные вдруг стали шататься, испуганно в недоумении оглядывались, ища опоры. И я с удивлением глядел: отчего это?

История гражданки Тютневой чрезвычайно проста. Гражданка Тютнева в одной из городских больниц девять месяцев работала в качестве массажистки, надрывалась, отдавала больнице силы, здоровье. Бывали дни, когда через ее руки проходило по восемнадцати — двадцати больных. И гражданка Тютнева сказала:

— Господа, заплатите мне за мой труд.

Было чрезвычайно просто и понятно, раз человек работал, надо заплатить; но как только она сказала это, все гласные пришли в величайшее волнение, беспокойство и растерянность. И не потому, что гласным было жаль денег,— нисколько, вовсе нет. Я с удивлением слушал, как, заикаясь, путаясь, с растерянными глазами бормотали они: с одной стороны, нельзя не сознаться, что заплатить нужно; с другой, нельзя не признаться, что заплатить невозможно. Наконец я понял: в зале почудился страшный беззвучный смех, бессмысленная слепая усмешка:

«Ну так что ж».

— Господа,— говорили гласные,— молодые, только что окончившие, жадные до работы врачи, фельдшера, фельдшерицы, акушерки, массажистки с удивлением видят, что недостаточно только приобрести знания, что надо еще бороться за право на труд. Но как? И вот они идут в больницы и говорят: «Разрешите нам работать у вас без жалованья. Мы будем работать и терпеливо ждать — быть может, у вас откроется штатное место. Ради бога, рекомендуйте нас для частной практики— с голоду умираем. Помимо этого, мы подучимся у вас, а это даст возможность скорее отыскать место». Их пускают. И таких экстернов всегда масса в больницах всех больших городов. Работают они в высшей степени добросовестно, работают годы; намного облегчают труд штатного персонала и... не получают ни гроша. Справедливо ли это? Допустимо ли, чтобы город, большой богатый город, отнимал крохи у слабых, беззащитных, голодных людей, отнимал бы только потому, что они слабы, беззащитны, голодны? Как можно пользоваться чужим неоплачиваемым трудом!

Это было просто и ясно, все загомонили, и гласные с облегчением закивали головами; но в зале почудился бессмысленный, жестокий, неслышный смех, и все смешалось, спуталось.

«Так эти люди отдают больницам свой труд,— вы говорите,— нужно его оплачивать. Посмотрите. Город ассигнует на врачебный персонал определенную сумму. Но вот в больницу является масса врачей, фельдшериц, массажисток. Они работают добросовестно, усердно. Им платят, им отдают все, что предназначено на больничное дело; им отдают все, что ассигнуется на народное

образование, им отдают все, что получается с конок, с рядов, с трактиров, да, да, да, это не преувеличение, потому что к вам потянутся и из Петрограда, из Варшавы, из Казани. Они съедят вас».

Да, и это правда, и это жестокая, неумолимая правда, и опять слышится чей-то беззвучный страшный смех, и опять растерянные, сбитые с толку гласные беспомощно озираются, ища выхода.

И чтобы спастись, укрыться от преследующего их злорадного смеха, они перенесли вопрос с принципиальной почвы на чисто формальную, и здесь поступили по отношению к г-ке Тютневой крайне жестоко и несправедливо.

ЕЩЕ О ДАРОВЫХ РАБОТНИКАХ

Вопрос об экстернах, вызванный историей с г-кой Тютневой, затронул широкий круг заинтересованных лиц. Редакцией получено по этому поводу интересное письмо, освещающее вопрос с новой стороны.

Оказывается, что не в одних только больницах имеются экстерны. С уверенностью можно сказать, что большинство наших солидных учреждений преспокойно пользуется неоплаченным, даровым трудом. Под предлогом предоставления тому или другому кандидату при первой открывшейся вакансии штатной должности принимают его на неопределенный срок в качестве дарового работника. Но вакансия на штатную должность оказывается мифом, ибо всегда на действительно открывшуюся вакансию найдутся лица с протекцией, и сверхштатному служащему в редких только случаях удается добиться платной должности. В большинстве же случаев, проработав год, а иногда и больше, измученные, истратившие последние гроши, потеряв надежду, уходят, и снова начинается бесцельное обивание порогов различных учреждений и хлопоты о штатной должности.

Между тем эти приватные даровые, сверхштатные работники ложатся тяжелым бременем на занимающих уже штатные места. Измучившиеся ожиданием, готовые идти на какие угодно условия, они страшно понижают оценку труда. В самом деле, с какой стати платить слу-

жащему тридцать рублей, когда тут же имеется пять-шесть человек, уже успевших напрактиковаться, ознакомиться с делом, готовых работать за пятнадцать рублей.

И мелкий служащий не смеет рта разинуть об улучшении своих условий, о более справедливой оценке своего труда. Конечно, разным акционерным заправилам это только на руку. Страдают не только экстерны, отдавая даром свой труд,— страдают и постоянные штатные служащие под давлением первых. Получается замкнутая цепь, безвыходная и тяжелая. Институт экстернов, даровых работников в разных видах является злом.

ВОЙНА С ПРИСЛУГОЙ

Маленькое сообщение по телеграфу: «В Ардатовском уезде в семье заводского фельдшера пятнадцатилетняя нянька задушила двух малолетних детей. Будучи арестована, она созналась, что, живя в городе Меленках, так же освобождалась от детей». На подобное же сообщение я натолкнулся как-то из Киева: нянька задушила пятилетнего ребенка.

Эти сообщения поражают своей остротой, экстраординарностью. Но сколько подобных фактов, только не с кровавым финалом, тонут в жизненной сутолоке. Я знал интеллигентную семью; над ее единственным трехлетним ребенком, которым и отец и мать не могли надышаться, горничная систематически жестоко издевалась. Мать ни на шаг не отпускала от себя сына. В семье жила горничная, которая в редкие отлучки хозяйки вот что проделывала с мальчиком: сводила его в темный сырой и холодный погреб, ловила лягушек, которых ребенок смертельно боялся, и сажала на него, а потом запирала его в погребе. Мальчик в смертельном ужасе бился в конвульсиях, как подстреленная птичка. Девушка выпускала его и говорила, что запрет навсегда, если он хотя слово скажет матери. И ребенок, несмотря на все расспросы, ни одним словом не выдал того, что с ним было.

Я смотрел на девушку, когда раскрылась эта история,— ничего жестокого, самое обыкновенное добродушное лицо.

— За что вы мучили ребенка? Вы его не любили?

— Он мне ничего не сделал.

— За что же?

Опустив глаза и перебирая фартук, она пожала плечами. И по совести она не могла ответить — за что. Озлобленная враждебность прислуги всякому знакома. В каждой семье идет война с прислугой. Прислугу стараются обуздать всякими мерами: заводятся рекомендательные конторы, на обязанности которых — наводить справки о поступающей в дом прислуге; требуют от последней рекомендации с последнего места; немедленно изгоняют за малейшую провинность, ничто не помогает. И не только не помогает, но чем дальше, тем становится хуже, тем больше жалоб на прислугу, тем острее борьба прислуги с хозяевами.

А ведь страшно становится. Ведь наша жизнь переплетается с жизнью прислуги, как нитки в холсте. Вы думаете, *вы* воспитываете детей? Ошибаетесь. В значительной мере — прислуга. Как бы мать ни смотрела за детьми, устранить абсолютно влияние прислуги физически невозможно уже по одному тому, что она постоянно живет с вами в одном доме. Но ведь тогда, значит, постоянно живешь в доме с врагом?

Отчего же это?

— Где помещается ваша горничная? — спрашивал я хозяйку, о которой выше говорил.

— Да с нами же.

— Ну да, а спит где?

— Спит? Спит вот тут же, в прихожей.

— Где же? Прихожая крохотная, и кровати негде поставить.

— Она спит на полу: постелет кофту, накроется платком и спит.

— А если у вас гости, иной раз же сидят и до двух и до трех ночи.

— Подремлет в детской... Да, впрочем, ей тогда и спать нельзя: кто же будет подавать?

— А встает когда?

— В половине седьмого.

— Когда же она спит?

— Так ведь не даром живет, плачу ей.

И это была интеллигентная женщина, обращавшаяся с прислугой «ласково и деликатно». Я уже не говорю

о таких семьях, где развращают женскую прислугу, где не остановятся перед грубой бранью, перед пинком. Человеку негде приклонить голову, ни минуты нельзя побыть самим с собой.

Фабричный, чернорабочий, поденщик после двенадцати-, четырнадцати-, шестнадцатичасового труда, как бы он ни был тяжел, принадлежит только себе. Прислуга из двадцати четырех часов в сутки не имеет и получаса, о котором она могла бы сказать: это мой. Ее подымут в любой час ночи, оторвут от обеда, от отдыха. Ее труд не так напряжен и интенсивен, но зато все сутки разбиваются на бесчисленное множество кусочков, наполненных беготней, суетой, ожиданием, что туда-то пошлют, то-то заставят сделать. Фабричный, чернорабочий через шесть дней тяжелого труда имеют полный, всецело им принадлежащий день отдыха. Прислуга может только отпроситься на несколько часов, урывками, в редкие минуты.

Без угла, без определенного отдыха, в массе встречая к себе отношение, как к получеловеку, эти люди ведут странную жизнь.

А между тем более культурная среда, в которую они попадают, накладывает на них неизгладимый отпечаток. И, наблюдая жизнь «господ», они перенимают не только внешние привычки, не только научаются носить корсеты, кофточки, модные юбки, но и постепенно начинают сознавать свое человеческое достоинство.

В одну интеллигентную семью попала женщина из деревни.

Первое время ее поражала чисто внешняя сторона новой обстановки: чистота, посуда, величина комнат, но потом, когда привыкла, она стала присматриваться к внутренней стороне жизни и, когда уходила, говорила:

— Ишь, барыня, как у вас все по-господски: цельный год живу, ни разу барин вас за виски не дернул, а у нас-то...

И, глубоко подумав, добавила:

— Там уж как хочешь, а не дам теперь свому бить себя.

Но супруг, которому она по возвращении заявила об этом, возмущенный, избил ее. Еле оправившись, она заявила, что уйдет от него, если он посмеет ее хоть паль-

цем тронуть. Тот избил ее до полусмерти. На другой день ее нашли под сараем на веревке.

Этот рост сознания человеческого достоинства наталкивается на освященную, давностью закрепленную привычку относиться к прислуге, как к получеловеку. И отсюда постоянное озлобленное глухое недовольство, такое страшное внутри семьи.

Пока публика не привыкнет смотреть на выросший слой прислуги как на людей, в полной мере считаясь с этим, до тех пор семья внутри себя постоянно будет чувствовать молчаливого врага.

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

На конгрессе криминалистов обсуждался вопрос о торговле женщинами. Эту торговлю называли позорной, рассказали историю вопроса, который был затронут на международном конгрессе в Будапеште уже в 1897 году, предложили самый факт совращения совершеннолетней женщины с целью разврата считать включающим в себе все признаки юридически наказуемого деяния; одни соглашались, другие возражали; потом за малочисленностью собрания в это заседание решили дело отложить до следующего конгресса; потом заслушивали доклад об упрощенном судопроизводстве по маловажным делам; потом другие доклады; потом осматривали народный дом имени императора Николая II, потом конгресс был закрыт, и участники разъехались.

Я читал отчет, и у меня назойливо и неотступно стояла одна и та же сцена. Я встряхивал головой и никак не мог отделаться, отогнать.

В одном из южных городов мне пришлось как-то зайти в один из участков. Было накурено, пол заплеван, валялись окурки. На лавке сидел испитой золоторотец в коротеньких штанах, из которых сиротливо выглядывали голые, грязные и, казалось, такие же испитые, как и лицо, ноги. Поставив на пол корзину с огурцами, торговка с красным лицом рассказывала околоточному надзирателю тонким, высоким голосом, как она «посунула» соседку, а та повалилась и переколотила яйца. Входили и выходили городовые, писаря, нагнув

над бумагой головы, торопливо шелестели перьями, и в накуренной, прогорклой, тяжелой атмосфере носился говор, восклицания, вздохи и смолистый запах горящего сургуча.

— Да откуда он у тебя, кошелек-то?

— Хто ж его знает,— говорит, собрав брови, с изумлением глядя на кошелек, как на чудо, золоторотец.

— Да кто же знает?.. Ведь он у тебя в кармане найден.

Золоторотец как-то боком смотрит с мрачным укором на свой вывернутый карман, потом лицо его широко и радостно расплывается.

— Подкинули, ваше благородие!..

. . . .

— Ты опять пьян?

— Никак нет, вашскб...

— Дохни.

. . . .

— Пачпорт почему просрочен?

. . . .

— Уберите вы его от меня, окаянного; ведь кажинный день... ноне два зуба выбил...

И среди этого шума, говора, выкрикиваний, отрывочных фраз слышался голос девушки, негромкий, прерывающийся, но почему-то слышный всем, западающий в душу:

— Просватали меня... в деревню за суседа, за Хведора... бедные мы... Маманька говорит: «Пойди, наймись, пост-то послужишь, соберешь себе хочь на юбку с кофтой». Вот на базар-то вышла... много нанимается... барыни ходят с корзинками и без корзинков... нанимают... Подходит одна ко мне, ласковая такая... «Нанимаешься, говорит, поедем, жалованье пять рублей, а дела — только что комнаты приберешь, платье подарю, щиблеты...» Пошла,— она извозчика взяла, приехали, дом хороший. Утром говорит: «Поедем за детьми в другой город...» Поехали на вокзал, целую ночь ехали... Приехали, большой дом, накормили меня, напоили... одели очень хорошо, а вечером, а вечером...

Она замолчала, торопливо комкая конец платка, взглянула на пристава, быстро потупилась, и большая крупная одинокая слеза упала и скатилась по платку. И почему-то стоявший в тяжелой накуренной атмосфере

шум упал, и эти суровые, видавшие виды люди — писаря, городовые, околоточные, пристав — сумрачно и угрюмо, повернувшись к девушке, слушали.

— Меня в комнате замкнули... вошел купец, пьяный, старый... я вырвалась... в коридор... к барыне... «Дура, говорит, своего счастья не знаешь...» Я упала ей в ноги... я целовала ей руки... обливала слезами ноги... а о... он... а...

. . . .

Да, IX международный конгресс закрыт. Теперь будет X. Сколько раз девушки эти, сколько раз за этот промежуток будут валяться в ногах, будут целовать, будут обливать слезами руки, которые душат их счастье, жизнь?!

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Недалеко от Азовского моря в донских степях стоит город Ростов-на-Дону. Это — американский город по своему чудовищному росту в предыдущие десятилетия, по своим торговым оборотам, по своим особенностям. В узле железных дорог, на судоходной реке, в центре богатейшей хлебородной местности, он ворочает огромными капиталами. Это город чистых буржуа.

Прасолы, мелкие торговцы, мужики в лаптях, авантюристы, поденщики, люди с темным прошлым лет тридцать — сорок тому назад пришли искать сюда счастья. Теперь эти господа ходят во фраках, в цилиндрах, ездят на резинах, обучают детей в высших учебных заведениях. Выросши из ничтожества в миллионеры, эти люди поклоняются только одному богу, признают одного повелителя, ищут одного счастья — деньги. Здесь все покупается: любовь, дружба, знакомства, человеческие отношения. Без традиций, без прошлого или с прошлым, которое всеми силами стараются забыть, эти люди, собственной жизнью познавшие всю колоссальную власть денег, иначе ни к чему и не могут относиться.

До какой степени безраздельно царствует здесь золотой телец, ничем не осложненный, не прикрытый, показывает участь попадающих сюда так называемых интеллигентов — людей свободных профессий, с высшим

образованием. Могучая среда неотразимо нивелирует их, и через два-три года большинство из них становится в полном смысле аборигенами города.

Мне бы не хотелось, чтобы читатель думал, что я преувеличиваю, что это — карикатура. Везде деньги — господа, но в центральной России трудно представить себе город, подобный Ростову-на-Дону.

Это город буржуа, русских буржуа. Он в этом смысле ярко типичен, и потому я на нем остановился. Нигде особенные свойства русского буржуа не доведены до такой крайности, как здесь.

Здесь все для состоятельного класса и ничего для населения в широком смысле слова. Прекрасные мостовые, электрическое освещение, широкие панели, бульвары, многочисленная ночная стража безопасности, помимо полиции, в центральной части города, где живет денежная знать, и ужасающая невылазная гомерическая грязь в остальной части, кромешная тьма,— и в этой тьме режущие душу крики «караул»... ограбляемых и убиваемых обывателей. Прекрасный театр с такими ценами, которые исключительно допускают туда богатых, и отсутствие в полуторастатысячном городе с огромной массой рабочего населения даже народных чтений. Развитая пресса, как орудие в руках табачных фабрикантов, хлебных маклеров, банковских дельцов.

Разврат утонченный, дорогой, требующий сотен, тысяч, десятков тысяч рублей, возведен здесь в культ, и едва ли где в таких размерах практикуется торговля невинными девушками, как здесь.

Люди, дорвавшиеся до денег, до общественного положения, до власти, даваемой миллионами, жадно и грубо спешат взять от жизни все, что можно.

Во всех проявлениях ростовец остается верен себе. Он жертвует на построение церкви, начинает строить, и на постройке из стекающихся пожертвований ухитряется выколотить себе хороший барыш. Съедаемый тщеславием, в погоне за орденом, медалью, он жертвует на городскую больницу тысячи, десятки тысяч рублей, строит павильоны своего имени, больница гремит на всю Россию, но здесь нет ни капли прочного общественного элемента. Это прихоть тщеславного миллионера, и ныне та же больница в одном из богатейших городов представляет нечто ужасающее: чудовищно переполняющие

ее больные лежат вповалку на вплотную сдвинутых по всей палате кроватях, как на нарах, лежат в коридорах, лежат на полу, негде ступить, задыхаются в промозглом воздухе. Дети, заразные, хроники, старики перемешаны как сельди в бочке. Да иначе оно и не может быть, раз отрасли городского хозяйства зависят от частной благотворительности, от каприза частного лица, а не от общественного управления.

Те же самые миллионеры, из среды которых находились жертвователи на больницу, теперь беззастенчиво эксплуатируют эту больницу. Фабриканты, заводчики обязаны иметь для своих рабочих больницы. Они и имеют, только рабочих-то туда не пускают, и они направляются в городскую; таким образом, собственные больницы требуют от фабрикантов и заводчиков ничтожных расходов, а городская превращается в трущобу.

Поставщиками в городскую больницу являются гласные думы, и цены достигают чудовищных размеров.

Иного невозможно, впрочем, и ожидать, раз вершителями судеб города является кучка буржуа чистой воды и раз все остальное население отодвинуто от общественного управления. Ростов-на-Дону является типом, портретом вообще русского города, только портретом неподкрашенным, голым.

МАЛЕНЬКИЕ РАБЫ

Представьте, что пришла пора вашего девятилетнего Колю отдавать в гимназию или в реальное училище для обучения наукам. Вам приходится платить за право учения, покупать учебники, платье, кормить, содержать мальчика. Чтобы избежать расходов, вы отдаете мальчика человеку, который обещает, не беря с вас ни копейки, обучить мальчика всем предметам гимназической программы, кормить, одевать, с тем, чтобы он прожил у него лет до восемнадцати — двадцати и чтобы, усваивая гимназическую программу, работал на этого человека, ну, скажем, занимался с ребятишками, которые у него обучаются.

И вот мальчик водворяется. Вы видитесь с ним раз или два в месяц, кое-как кормят, кое-как одевают, кое-как учат. А так как он премудрости еще не успел при-

общиться и, стало быть, в данный момент своим трудом еще не может оплачивать свое содержание и обучение, от него берут, что могут: посылают за водкой, заставляют мыть полы, выносить помои, нянчить детей, носить любовные записки. Если он не понимает, возиться с ним некогда и его колотят по голове линейкой, пинают сапогом, бьют кулаком по лицу. У хозяина идет своя собственная жизнь, и он нисколько не стесняется при мальчике в своих отношениях к жене, к любовнице, пьянствует, картежничает, уснащает речь скверной руганью. У мальчика нет ни минуты покоя, отдыха, он или на побегушках, или за занятиями. Ему нет времени поиграть, порезвиться, пожить детской жизнью.

Когда вы приходите навещать его, он, бледный, осунувшийся, исхудалый, протягивая тоненькие ручонки, с разрывающими грудь рыданиями бросается к вам с недетским воплем, захлебываясь от слез:

— Ма-ма... ма-ма!.. возьми меня... возьми меня отсюда... я не могу... я умру-у...

И вы наклоняетесь к нему, и прижимаете к груди, и, глотая слезы, говорите:

— Дорогой, будь умницей... Как же быть... Нельзя же остаться неучем...

И мальчик остается, и только ему одному известно, сколько невыплаканных детских страданий вынесет он до конца учебного срока. И к концу этого срока перед вами испитой, вытянувшийся, развращенный, полный цинизма, кое-как обучившийся юноша, весьма вероятный кандидат в преступники.

— Слава богу,— думаете вы,— мой Колюша в гимназии, в поведении и чистописании у него пять, учителя его любят.

Да! Но, кроме вашего Колюши, десятки тысяч детей проходят эту ужасную школу. Их бьют шпандырем, колодкой, ремнем, их учат пьянству, разврату, с них стирают все детское, чистое и с большой любовью готовят из них преступников.

В последнем думском заседании решался вопрос об открытии портновского училища, и надо было видеть, как с пеною у рта боролся против учреждения почтенный гласный граф С. Л. Толстой. Да и то сказать: он своих детей ведь не будет отдавать в обучение мастерам.

ВЫСТАВКА И БАЛАГАН

На выставке ходишь среди картин, точно среди давнишних испытанных друзей, которые близки вам, которые много говорят и уму и сердцу, начиная с копошащегося около выздоравливающей матери «Первенца» Касаткина...

Что-с, настроение? Новые пути и формы в искусстве?

Не сотвори себе кумира и всякого подобия. Быть может, грядет новое искусство, быть может, оно сметет, камня на камне не оставит от старых привычных нам форм, даже не «быть может», а наверняка будет и даже есть, ибо искусство — кусочек жизни, вечно и неудержимо развертывающейся и бегущей в темную даль, тем не менее то, что трогает ум и сердце,— трогает ум и сердце, и так это и понимать надо.

Я весьма далек от оценки, так сказать, технической стороны, я уж, если откровенно сказать, ничего в этой части не понимаю, но позвольте мне изложить впечатление простого зрителя, ибо картина — не только краски и сочетание тонов, но и *явление*, на которое мы смотрим так, как смотрим на солнце, на луч, на человеческое лицо, что никому не возбраняется, и еще потому, что картины пишутся не только для специалистов, но и, между прочим, для публики.

На выставке ходило, смотрело, наслаждалось несколько десятков, сотен, тысяч человек (считая тех, которые еще посетят). В Москве — свыше миллиона народа. «Куда же остальные-то около миллиона делись,— подумал я,— где они теперь, что они делают, каким благородным наслаждениям предаются?» Я отправился на Девичье поле.

Вот он, миллион-то.

Море голов, море человеческих голосов, восклицаний, смеха, брани, и среди этого волнующегося репинского моря от века тот же, неизменный, непобедимый, непреклонный, все тот же... балаган. «Века проходили, все к счастью стремилось, все в мире по нескольку раз изменилось», один только нерушимый, как серый гранит среди пенящегося народного моря, высится балаган.

Балаган! Как много для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось! В искусстве сменяются,

борются, исчезают, нарождаются направления, школы, а на Девичьем поле стоит балаган. Идут на смену новые формы, а на Девичьем поле стоит балаган. Академическая условность, чопорность и ложь уступают место реализму, а на Девичьем поле стоит балаган. На гигантских полотнах развертываются картины Девичьего поля с народным морем и балаганом, а на Девичьем поле стоит балаган.

Грядущее искусство говорит нам, что перспективы искусства гораздо глубже и шире, чем Девичье поле, хотя бы на нем был и миллион, ибо жизнь сама неизмеримо глубже и шире и чернеет зияющей пропастью неизведанных тайн, а на... Девичьем поле стоит балаган. От него не скроешься, от него не уйдешь, не закроешь глаз, он— всюду, непоколебимый.

Просматривая праздничные газеты, все натыкаешься на веселые картинки. «Вернувшись из гостей, где много было выпито, они поссорились, и она всунула ему в живот кухонный нож, отчего вывалились внутренности. По доставлении в больницу потерпевший умер. Делу дан законный ход». «Началась драка без всяких видимых поводов, все были пьяны, в результате двое были доставлены в больницу с разбитыми головами». «Подобранный на улице мужчина средних лет, одетый в армяк, умер от опьянения». Это — обычный праздничный репортерский материал, и он так же незыблем, как и балаганы, ибо это родное его детище. Они слишком прочно связаны кровными узами, и, пока будет существовать один, будет неизменно и другой.

Впрочем, я не совсем справедлив. Не только свету в окне, что балаган и выпивка. Есть и помимо благородные развлечения, где с пользой и удовольствием можно провести время. Пройдут праздники, разберут балаганы, меньше станет расходиться монопольной посуды, но серая публика не останется беспомощной, ей будет где освежиться в праздничный день после тяжелой работы,— открываются летние бега и скачки. Не надо употреблять грубого, режущего ухо слова азарт, игорный дом, а просто: бега и скачки.

Мошенничают? Но, как известно, и на солнце есть пятна. Если даже немного и плутуют там,— это уже не столь большой руки беда, а ради дела можно и по-

ступиться. И, наконец, сколько ее, этой серой овечьей массы! Если с каждого по ложечке взять, и то для благородного лошадиного дела громадная польза.

ФОКУСНИКИ

— Пожалте, пожалте, господа... роскошное представление... икзатическая наездница, трехногая лошадь, производящая замечательные фокусы!..

По небольшой из ходивших под ногами досок площадке края парусиновой крыши балагана похаживал в диковинном, вытертом и отрепанном костюме, обшитом золотыми позументами, ражий детина с откормленным, оплывшим от пьянства и разврата лицом. Он сверху посматривал на колеблющуюся внизу, шевелящуюся, лущащую семечки толпу, и его ражее, оплывшее лицо и вся дюжая быкообразная фигура «геркулеса», роль которого он исполнял в балагане, говорили о сознании своего особенного положения и превосходства над этими толпившимися внизу людьми с испитыми трудовыми лицами.

— Пожалте, господа, сейчас представление начнется... не теряйте дорогого времени...

На площадку выбежал мальчуган лет девяти — десяти, с лицом, вымазанным мелом, в шутовском балахоне из разноцветных лоскутьев, в дурацкой шапке с бубенчиками. Он три раза обежал с ужимками вокруг «геркулеса» и, присев на корточки, заговорил, коверкая язык:

— Каспадин, обучите фокусам.

— Давай. Каким же тебе фокусам?

— Разным: как сладкие пироги есть, водочкой запивать, с бабочкой баловаться...

— Го-го-го! — неслось кругом.

— Ну, ложись,— говорил быкообразный «геркулес», похаживая все с тем же сознанием своего превосходства, своего особенного положения, силы и роскошного наряда.

Мальчуган, строя гримасы, быстро и упруго опрокинулся на спину, высоко поднял ноги и, болтая ими, закричал петухом. Детина дернул его за ноги, и маль-

чуган, перевернувшись два раза в воздухе, упруго, как мяч, упал на ноги, и доски под ним вскинулись и заговорили, взбивая пыль.

— А когда же, каспадин, пироги сладкие?

— Пироги? А вот зараз.

И детина сзади с размаху ударил его носком обутой в туфлю ноги. Мальчуган отлетел шага на три и провалился в вырезанную в доске дыру.

— Го-го-го... га-га-га...— гудела толпа.

Все поворачивались друг к другу с смеющимися лицами, лузгая и выплевывая шелуху семян.

— Здорово!

— Вот те сладкий пирог...

— Обучи, дескать, фокусу... а он его под это самое место... го-го-го... ха-ха-ха!..

— Под самое, значит, место... хо-хо-хо!..

И над толпой несся густой добродушный смех людей, не покладая рук работавших целый год и вот пришедших сюда отдохнуть, посмеяться, забыться.

Шутовская рожа мальчугана на минуту снова показалась из прореза досок, сделала гримасу и исчезла.

— Хо-хо-хо!.. опять за пирогом...

— Пожалте, пожалте, господа...

А над всем тепло и ярко светило веселое южное солнце.

Толпа по-прежнему часами стояла перед балаганом, одни входили, другие выходили, смеялись, говорили, перебрасывались остротами, бранью.

Чьи-то истерические вопли и крики понеслись из-за колыхавшихся холщовых, со множеством дырок, в которые смотрели даровые зрители, стен балагана. Рыдала женщина. Внутри чувствовалась возня, говор, отдельные голоса, окрики.

— Зови околодошного...

— Признала... Слышь ты...

— По документам...

— Тяни его, дьявола...

И эта возня, говор, крики и волнение людей, которые были за тонкими, колеблющимися стенками, передавались толпе.

— Али упал хто?

— Чего упал! Руки, ноги поломало...

— Ноги!.. Голову напрочь отнесло.

— Никак, бьют?

— Бей тревогу... кричи полицию!..

Перед взволнованной, напиравшей на балаган толпой распахнулись двери, и оттуда вывалила толпа зрителей. Выводили под руку рвавшуюся и кричавшую женщину. Она сквозь рыдания выкрикивала:

— Сынок... сыночек... Митюша!

— Чего такое?

— Сына, вишь, признала.

— Где?

— Во, вишь — паренек в одеянии.

— Это, который емнастику делает?

— Во, во, он самый... украли... сызмала... сколько годов ищет... нашла...

Тут же в толпе гимнастов, обтянутых в трико, выходил мальчуган в шутовском костюме, и странно обвисал на его худенькой тщедушной фигуре пестрый балахон, и белели на втянутых щеках густо размазанные белила. Мальчик равнодушно и устало стоял среди обступивших его, не отвечая на сыпавшиеся на него вопросы.

— Матка твоя, што ли?

— Тебя, стало быть, хозяин уворовал?

— Давно?

— Сколько го́дов у него?

Мальчик так же безучастно молчал. Женщина рвалась к нему. Пришел околоточный.

— Это ваш мальчик?

— Сы... сы-ынок... укра-ли...

— Вы откуда сами?

— Екатеринославской губернии...

— Это твоя мать?

Мальчик вздохнул и, отвернувшись, стал неопределенно смотреть в толпу.

— Ты сам откуда?

— Казанской губернии...

— Родители твои где?

— В деревне... там...

— Это что же, твоя мать?

Мальчик, не отвечая на вопрос, вдру́г бросился к нему и часто-часто заговорил с искаженным сдерживаемыми рыданиями лицом, глотая смешно разрисовавшие ему белилами лицо слезы:

— Возьмите... возьмите меня отсюда... господин... барин... ваше благородие... возьмите меня отсюда... я... ваше благородие...

Он задыхался, цеплялся судорожно дрожавшими руками за мундир околоточного, не давая нечеловеческим усилием воли прорваться душившим его рыданиям.

— Возьмите...

Толпа, притихшая, сдвинулась тесно, оставив маленькое пространство в середине, сдержанно подавая реплики:

— Опозналась... чужой...

— Несладко тоже, значит, и им... даром что в одеянии.

— Ишь, сердяга, надрывается...

— Позвольте, господа, позвольте... расступитесь...

Расталкивая толпу, прошел господин с помятым изношенным лицом, в поношенном фраке, грязной крахмальной рубахе, с хлыстом.

— Извольте, ваше благородие... вот документы... у меня все документы... У меня чисто, не как-нибудь... я не то, что иные прочие...

Околоточный взял истрепанную бумагу и углубился в чтение. Мальчик, дрожа, как лист, стоял с разрисованным лицом, беспомощно озираясь, и торопливо вытирал слезы.

— Нда-а!.. Казанской губернии... в обучение... на пять... лет... гимнастическому рукомеслу... Да, матушка, опознались.

— Пшшел!..— зашипел субъект во фраке, и лицо его мгновенно преобразилось и сделалось необыкновенно жестоким.

Мальчик мгновенно пропал в балагане...

— Пожалте, пожалте, господа... икзатическая наездница... об трех ног лошадь... замечательные фокусы...

— Каспадин, науште фокусам.

— Каким?

— Разным: водочку пить, сладкие пироги есть, к бабочкам...

— Го-го-го!..

— Ложись.

— Хо-хо-хо... здорово... под это самое место...

Веселое солнце светило.

МАЛОЛЕТНИЕ БРОДЯГИ

По Театральной площади, тяжело ступая, равнодушно шли спереди и сзади конвойные солдаты, поблескивая на солнце сталью обнаженных шашек. Между ними, в серых арестантских халатах, с отпечатком на серых лицах пребывания в тюрьме, шли две женщины. Крепко держась за них ручонками, торопливо семенил крохотными скользящими и выворачивающимися на неровном булыжнике мостовой ножонками крохотный мальчуган с прелестным, но очень бледным личиком, с ясными большими наивными глазками, которые он то подымал и глядел на сверкающую колеблющуюся сталь, то опускал и напряженно следил за маленькими измучившимися ножонками. Конвойные шли крупным солдатским шагом, женщины торопливо поспевали, и мальчуган напрягал все свои детские силы, крепко держась за руки женщин. Ему было очень трудно. Ему не было и шести лет.

Это была до того необычайная группа, что прохожие останавливались, и у многих при виде этой изнемогающей крошки невольно выступали на глазах слезы. Отчего его не везут или не несут? Какое тяжкое, не прощаемое людьми преступление он совершил? Очевидно, они шли в Кремль, в окружной суд. Если это из Бутырок, так ведь несчастному мальчугану пришлось сделать немалый конец.

Эти вопросы шевелились в голове у всех, встречавших мальчугана, и их легко было разрешить, дойдя до окружного суда, наведя справки, и, быть может, можно было бы что-нибудь сделать для мальчика. Может быть, возможно было поместить в приют для детей заключенных, да мало ли что можно было сделать для ребенка!

Но... у каждого было свое дело, свой дом, свои собственные дети, прислуга, заботы, нужда, горе. Было тепло, слезы высохли, а конвойные с арестантками и с арестантом потерялись за углом, и опять на Театральной площади ехали извозчики, звонили конки, и каждый шел по своему делу, не останавливаясь, не отвлекаясь посторонним.

Обывателя хватает только на то, чтобы прослезиться, но от этих быстро высыхающих слез множеству заброшенных детишек ни капли не легче. Хитров ры-

нок является центральным пунктом, куда стекаются дети-бродяги. Десяти — тринадцатилетние дети бегут сюда из мастерских, из лавок, из трактиров, куда они запроданы из деревни родителями, где их нещадно бьют и истязают. Встречаются и восьмилетние. На Хитровке дети ведут совершенно самостоятельную жизнь, пьянствуют, играют в карты, развратничают.

Делается ли что-нибудь для них? Обыватель при случае умеет горько прослезиться. Впрочем, нет. Он вовсе не так черств: хитровские дети зарабатывают нищенством от шестидесяти копеек до полутора рублей в день. Стало быть, им подают,— стало быть, средства находятся. Но если бы сердобольный обыватель заглянул на Хитровку, если бы он видел, какое чудесное употребление делают из его денежной помощи, как валяются мальчуганы пьяными на его деньги, как они отлично проводят время по трущобам с женщинами известного сорта,— стыд, жгучий стыд охватил бы его за его бессмысленную, ненужную и жестокую сердобольность.

На эти шесть гривен — полтора рубля в день коечто можно сделать для ребенка. Только для этого нужно приложить усилия, нужно потратить труд, время, нужно создать известную обстановку для ребенка, нужно заботиться о нем, нужно вывести его в жизнь. Это возможно только при широкой организации деятельных обществ.

Все это так, но все это — волокита, беспокойство. А то — прослезился, сунул полтора целковых в руку ребенка, и пусть себе идет в кабак. Ясно, просто, без хлопот — и... душеспасительно.

ЗОЛОТУШНЫЕ, МАЛОКРОВНЫЕ

Весна обманула. Поражающе рано сбежал снег, пришли теплые южные дни, развернулась зелень, временами стоял почти летний зной, и изумленный обыватель опасливо себя ощупывал: не пред добром это. Но природа не терпит нарушения равновесия, и холода и дожди торопливо и с успехом стали нагонять потерянное.

Впрочем, так или иначе равновесие будет восстановлено, время возьмет свое, и, как птицы в перелет, «вся

Москва» потянется из душных, пыльных улиц на курорты ли, в деревню ли, на дачи ли, только вон из этих душных, горячих стен.

Правда, некоторая толика останется в городе, примерно так около миллиона останется, но это не в счет, ибо не включается во «всю Москву».

И среди этого миллиона останется много десятков тысяч учащейся детворы. Будут они с пользой для себя щебетать в подвалах, в тесных, грязных каморках, на вонючих бульварах. Все лето они проведут в удушливом городе, малокровные, золотушные, испитые городские дети, ибо они не принадлежат ко «всей Москве». Беспокоиться, впрочем, нечего: мозолить глаза они не будут, ибо скрыты по дворам и квартирам.

За границей, как известно, любят мотать деньги. Там, изволите ли видеть, понастроили множество детских санаторий, куда на лето и свозится это щебечущее, прыгающее, поющее, скачущее царство. Ребятишки там отдыхают, набираются сил, запасаются всем, чтобы дать здоровых, сильных, бодрых граждан. Ну, у нас это дело гораздо проще, разумнее, дешевле и без хлопот. Живут себе круглый год в городе — и все. Не привередничают. Если положено мальчишке быть золотушным или худосочным, так он так это и понимает и растет себе потихоньку и вырастает в тихого, смирного, золотушного обывателя. Водку же он и без всяких санаторий научается пить, и пьет отлично и безубыточно.

К сожалению, искривленные и неправильные понятия проникают и в Москву; стали у нас совершенно зря и на ветер бросать деньги, стали и у нас таскать ребят по санаториям и летним колониям.

Одним разве можно только утешиться, что тут только «одна видимость», как выражается один из персонажей Успенского.

В Москве около восьмидесяти тысяч учащихся, и большинство из них падает на всевозможнейшие низшие школы. Из этой массы попадают в колонии и санатории человек полтораста — двести Согласитесь, что это безопасно для золотухи, малокровия, детского истощения.

Эти двести детских сердец, радостно бьющихся среди деревенской обстановки, среди зелени, полей, лесов, с горячей признательностью запечатлеют имена

лиц, положивших начало детским колониям, но еще десятки тысяч таких же маленьких бьющихся сердец жаждут проникнуться этой признательностью.

И общество должно им помочь в этом. Этому обществу на минутку только нужно представить себе, что это его дети задыхаются в пыли и миазмах наступающего лета в громадном городе, надо на минутку представить себе эти золотушные, испитые личики.

РАЗУМНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Удивительно, как лицемерие пронизывает всю нашу жизнь, пронизывает, так сказать, органически сливаясь с ней, настолько сливаясь, что мы перестаем признавать лицемерие как таковое, совершенно искренне полагая, что это просто кусочек нашей жизни, кусочек правды.

Никто никогда не осмелится сказать: ни под каким видом не нужно давать народу образование; не осмеливаются сказать даже те, кто борется против освобождения народа от тьмы и невежества, не осмеливается этого вслух сказать даже мрачная толпа разных «Граждан», «Ведомостей» и пр.

Что народу нужно дать разумные развлечения, что ему нужно сделать доступным театр, стало стереотипом.

Это до того въелось в сознание, что сказать противное — все равно что явиться в вполне «приличное общество» в халате и туфлях. Но как только доходит до практического осуществления этой мысли, так сейчас же обнаруживается, что мы — лицемеры.

И не то чтобы мы отказывались от своей мысли,— нет, но у нас являются тысячи доводов, которые ослабляют ее, сводят ее на нет. Присмотритесь.

Во многих городах строят городские театры, и для этого находятся средства. Но как только подымается вопрос об организации какого-либо учреждения, в котором бы пользовался разумными развлечениями рабочий люд, сейчас же является действительно непреодолимый довод — денег нет. Ну, если их нет, что же делать? И так всегда.

И если даже что-нибудь и устраивается в пользу рабочего люда, так это всегда до смешного ничтожно, в гомеопатических дозах.

Характерной иллюстрацией является проект второго городского народного дома в Москве.

На постройку этого дома имеется пожертвование в восемнадцать тысяч рублей. Вопрос за участком земли, который город должен отвести под здание. И вот тут-то начинается сказка про белого бычка.

Город отказывается давать землю в наиболее подходящих местах, то есть в центре рабочих кварталов, а дает где-нибудь на Конной площади, где народный дом будет пустовать. Так до сих пор проект народного дома ждет своего осуществления.

Наконец фирма Циндель предлагает участок земли под народный дом в Кожевниках с тем, чтобы город дал за этот участок в обмен соответственное количество береговой земли по Москве-реке, находящейся в аренде у этой фирмы.

Но неожиданно оказывается, что у некоторых влиятельных членов финансовой комиссии является тьма доводов за то, чтобы не отдавать землю, даже не решая вопроса о выгодности обмена, что-де у города земельный фонд и без того истощился и пр. Словом, под фраком оказался самый настоящий домашний халат, и московские рабочие еще не скоро дождутся второго народного дома, если еще дождутся.

БЕЛОШВЕЙКИ

Вы носите тонкую полотняную сорочку, уродливые, аршинные, подпирающие вам шею английские воротнички, не чувствуя, часто не подозревая той тяжести, которая должна бы в них вас давить. Вы их приобрели в одном из модных блестящих магазинов, нисколько не задумываясь над историей о рубашке, над песней о рубашке.

Это чрезвычайно простая, несложная, все та же история и песня: «Шей, шей, шей...» — печальная и заунывная, как осенний ветер, шевелящий пожелтевший камыш. Наклоненная голова, согнутая спина, вдавленная грудь, бескровные губы, усталые глаза, молодость, выпитая восемнадцатичасовым трудом, измучивающими бессонными ночами, и унылый и монотонный, как эта печальная

жизнь, непрекращающийся стук швейной машинки, твердящей все одно и то же: «Шей, шей, шей!..»

Вы смутно себе представляете, что где-то по закоулкам живут и шьют для вас уродливые воротнички и тонкие сорочки белошвейки, что у них тусклая, тяжелая жизнь, что львиную долю забирают себе посредники-магазины, что на долю работниц приходятся гроши, но это неясно, случайно, отрывочно мелькает порой в голове, сейчас же стираемое тысячью других мыслей и соображений, ибо что тут особенного. Много и без того ведь на свете всякого горя и трудовой тяжелой жизни.

Но что для нас с вами лишь смутно мелькнувшее представление, для них, для этих работниц,— целая жизнь, быть может, и не особенно долгая — тут не бывает долгой жизни,— но настоящая, живая жизнь, которая только раз дается человеку и которую так или иначе надо прожить.

Белошвейка сплошь и рядом получает восемь рублей в месяц. На это нужно одеться, прокормиться, иметь квартиру. Не удивительно, что белошвейные дают очень большой процент проституток — приходится «дорабатывать», чтоб не пропасть с голоду.

Представители мужского труда в той или иной мере пытаются улучшить свое положение, женский труд находится в первобытных условиях. Между тем женский труд, как масляное пятно, непрерывно расплывается, захватывая все новые и новые отрасли. И всякая попытка к улучшению условий его драгоценна.

Такую попытку делает некто Кузнецов. Он пытается организовать особый «белошвейный союз». Гр. Кузнецов уже организовал в Петербурге вспомогательное общество закройщиков и в Москве — бюро закройщиков и закройщиц. Этот прецедент до известной степени делает вероятным успех и последней попытки.

Для организации предполагаемого общества необходим капитал в десять тысяч рублей. На эти деньги будет производиться оптовая закупка материала, который в кредит будет отпускаться белошвейкам, а изделия их будут продаваться из специального магазина «союза».

Тем поразительнее прием, оказанный новому начинанию в ремесленном обществе. Собрание белошвейных мастериц в помещении взаимно-вспомогательного общества московских ремесленников не состоялось. Исправля-

ющий обязанности председателя общества почтенный Петр Кириллович Правиков разогнал собравшихся категорическим:

— Не позволю открывать собрание.

— Да почему?

— А потому. Идея эта принадлежит Кузнецову, а он из нашего общества вышел... Не-ет... н-не позволю!

Уломать этого героя не удалось. Дело, очевидно, гасится в самом начале. Теперь инициатор подыскивает другое помещение. Но ведь стыдно же будет обществу, если белошвейкам придется ходить по городу и искать помещение, чтобы обсудить и наладить дело.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Тысячелетия юноши любили девушек, и это было старо, как мир, и тем не менее каждый раз, когда любовь загоралась в юном сердце, это было страшно ново. Тысячелетия люди не переставали умирать и должны бы привыкнуть умирать, и все отлично знают, что рано или поздно умереть неизбежно, и тем не менее смерть, глядящая в лицо, поражает своей страшной неожиданностью, новизной.

То, о чем я сейчас расскажу, старо-престаро, тысячу раз рассказывалось в печати на все лады, и тем не менее каждый раз, как встречаешься с ним, оно поражает своей страшной новизной.

«Судьба меня столкнула с одной из московских проституток,— так начинает в письме вечно новую и вечно старую историю один из читателей.— Так как она являет собой не личную извращенность, а всецело продукт тех условий, какие ей диктовала жизнь с момента рождения, думаю — не лишне рассказать ее историю. Приобрести доверие такой личности, как моя знакомая Е. А., очень трудно, и я его не приобрел бы, если бы не исключительный случай, который столкнул меня с ней. Но не важно, как я узнал, а важно, что узнал.

История обыкновенная, простая и страшная в своей простоте.

Е. А.— питомка московского воспитательного дома. До одиннадцати лет жила в деревне, до тринадцати —

в белошвейной мастерской, тринадцати лет продана служившей в мастерской кухаркой немолодому купцу, после чего два месяца пролежала в больнице.

К кому было обратиться по выздоровлении? Естественно, к той же кухарке, которая *вторично* продала девочку сводне на Цветном бульваре.

Мадам М. содержала свою жилицу хорошо, получала с «гостей» за визиты по *пятидесяти* рублей, девочке же доставалось лишь то, что дарили гости на конфеты. Она и тратила те деньги на конфеты, так как ни в чем, живя у г-жи М., не нуждалась, а обстановка такого существования не давала возможности узнать ценность денег и вещей.

Госпожа М., выжав из своей жилицы все, что могла, перепродает ее другой сводне, та — третьей, и Е. А. *пятнадцати* лет с прибавкой одного года в паспорте очутилась в заведении.

Пробыла здесь недолго, с полгода, и, ознакомившись с Мясницкой больницей, пробует устроиться самостоятельно. Это — период скитаний по квартирным хозяйкам, *хозяевам*, есть и такие,— замечает автор письма,— по меблированным комнатам. Это — жизнь по бульварам, тротуарам от «Эрмитажа» до Филиппова.

В одной из содержимых хозяйкой меблированных квартир, являющихся, к слову сказать, тайными публичными домами с распитием водки и пива, горничная девушка Паша принимает участие в судьбе Е. А. Сначала они обе пытаются найти мать Е. А. Справляются в адресном столе, где получают справку, что «таковой в Москве на жительстве не значится». Тогда приводят в исполнение план Паши устроиться Е. А. самостоятельно, то есть снять квартиру рублей за двадцать, нанять прислугу и зажить своим домом.

Расчет прямой. Хозяйка за комнату с отвратительным столом берет сорок рублей, да на столько же украдут хозяйка и подруги как вещами, так и деньгами, когда Е. А. пьяна,— впрочем, она и трезвая не имела привычки, по простоте своей, сохранять вещи под замком.

Теперь ей семнадцать лет. В такие годы родители дочерей своих считают детьми, а она уже четыре года — *четыре года!* — занимается проституцией как ремеслом».

Далее автор рисует внутреннюю духовную сторону ее. «Е. А. неграмотна. На карточке, подаренной ей од-

ним «гостем» и изображающей Адама и Еву, она не могла указать, кому какое принадлежит имя. Она больше склонялась решить вопрос так, что Адам — это женщина, вероятно, от «дамы». Считает же девушка так: двадцать восемь, двадцать девять, двадцать десять... В какой цифре выражается ее бюджет, она не знает. Как ребенок, она не знает цены вещам: она их не покупала, за них не выплачивала, у нее удерживали из заработка. Ей обыкновенно объявляли: за такую-то вещь она уже не должна, а должна за другую. Не выходя из дома, она жила лучше или хуже, не в зависимости от заработка. Она ничем не дорожит: ни вещами, ни покоем, ни своим, ни чужим. Каждое впечатление без следа вытесняется следующим.

Вся ее жизнь — ряд случайностей, без логической связи, последовательности. Она много пьет: требуют хозяйки — доход. Требуют купцы:

— Мы дома с женами так-то сидеть могем,— говорят они, если она не пьет.

Она пьет еще потому, что среди этих девушек крепко держится предрассудок, что не пить совсем, живя их жизнью,— вредно.

Цинизм ее можно ли назвать цинизмом? В силу своего ремесла она только называет своими именами вещи и явления, преобладающие в ее обиходе. Это не цинизм, а печальная действительность.

Один «гость» неловко выразился, что «заплатил» ей. Надо было сказать «подарил». И она в слезах говорила ему:

— Платят только за вещи, я — не вещь, а женщина... я — женщина.

Физически Е. А. перестала развиваться, вероятно, со времени своего «падения», то есть с тринадцати лет. Она миниатюрна, очень мила, способна, как ребенок, подолгу любоваться собой в зеркале. Да в действительности это и есть ребенок, беспомощный, не знающий и не понимающий жизни, правдивый, искренний, откровенный, щедрый, не злой; жизнь еще не успела озлобить ее.

Самым вредным элементом в жизни проституток являются сутенеры, «коты». Начав с объяснений в любви, они окружают девушку полным вниманием и лаской и, приучив к себе, меняют тактику. Постепенно приобретая право вмешательства в личную жизнь девушки, негодяй

сначала только снисходительно принимает от нее угощение, а потом и всецело распоряжается ее доходами, побоями взыскивая все, что ему нужно.

У Е. А. уже появился такой обожатель. Он поколачивает. «Потому и бьет,— говорит она,— что любит».

Она горько сетует, что у нее нет матери, которая бы защитила ее.

И в самом деле, кто защитит ее? Кто освободит от настойчивого обожателя, который бьет ее по голове, чтобы избежать видимых синяков?»

Вот и все.

Старая и поражающая своей новизной, как смерть, история. Эта коротенькая история семнадцатилетней жизни стоит десятков повестей и романов с убийствами, самоубийствами, кровью и всякими ужасами. И это среди нас, быть может на одной с нами улице. Крохотная девочка, проданная старику купцу, утирает капающие слезы с одним задушенным криком-стоном: «Мама!» А сколько их, сколько их, таких девочек в Москве.

НЕДОГАДЛИВЫЙ МУЖИК

«Маленькие недостатки механизма»...

Как-то мне нужно было поехать до станции Крюково, Николаевской железной дороги. Был веселый яркий день, и я отправился с дачи на полустанок Петровско-Разумовское той же дороги пешком.

Поезда еще не было. На платформе скучно дожидалось несколько пассажиров — вероятно, дачники. Сверкая на солнце, далеко убегали рельсы. По полотну шел мужичок, запыленный, усталый, с потным, почерневшим от загара лицом, с мешком за плечами.

Он подошел к платформе, свалил грузно опустившийся на землю тяжелый мешок и отер широкой мозолистой шершавой ладонью потное лицо.

— Жарко,— проговорил он, ни к кому в особенности не обращаясь,— итить чижало... плечи все отдавило.

И он еще раз отер лицо, снял шапку и поскреб в лохматых, слипшихся, тяжелых от пота космах. Приподнял, напрягаясь, мешок и сдвинул его к стенке.

Пассажиры стали подходить к кассе, и начальник станции подавал в окошечко билеты. Подошел и мужи-

чок. Он достал из-за пазухи мокрый от пота, почерневший, скомканный платок и стал его осторожно развязывать. И его еще нестарое, но прорезанное уже глубоко морщинами труда и злой жизни лицо сделалось сосредоточенным, почти благоговейным. Он повернулся к пассажирам спиной, стараясь оградить себя от нескромных глаз.

Повозившись с платком, он достал из него несколько медяков, тщательно свернул платок, запихал за пазуху и несколько раз потрогал: «Тут ли, дескать?» — потом подошел к окошечку:

— До Крюкова,— и выложил, осторожно звякая, медяки.

Кассир торопливо и привычно пересчитал и быстрым движением сунул деньги назад.

— Тут тридцать, надо пятьдесят четыре.

Мужичок добродушно улыбнулся, точно хотел сказать: «Шутить изволите».

— От Москвы тридцать семь,— проговорил он голосом, свидетельствовавшим, что он понимает шутку,— от Москвы до Крюкова тридцать семь копеек... Ну, думаю, хоша и трудно, дай, думаю, до Петровского дойду, все копеек семь сберегу... Деньги нонче дюже вздорожали,— проговорил он, добродушно улыбаясь публике, и многочисленные морщинки побежали, перекрещиваясь, как по лопнувшей сухой глине, и опять подвинул тридцать копеек.

Кассир раздраженно отодвинул деньги.

— Я же говорю: пятьдесят четыре копейки... Отходи, не мешай другим...

Мужичок разом потемнел.

— Што же это: от Москвы до Крюкова тридцать семь копеек, а как ближе подходить, так все дороже будет!.. Это не модель... От Москвы, стало быть, до Крюкова тридцать семь верст, а от Петровско-Разумовского верстов тридцать, и, значит, дороже...

И вдруг, повысив голос, проговорил:

— Пожалуйте билет!..

— Я тебе русским языком говорю: билет стоит пятьдесят четыре копейки... Отходи.

Мужик вдруг побагровел, и сквозь загар лицо стало кирпичным.

— А-а, стало быть, жалованья мало получаете, семейство, так, стало быть, для прокормления... Понимаем... ну, только это не модель... Мы и до вышнего начальства дойдем... мы и до Питенбурка добьемся... нет... Пожалуйте билет?!

— Да ты с ума сошел... протокола захотел...

— Не-ет... это не модель... Пожалуйте билет... денежки-то у меня кровные, не в сору насбирал... Ишь ты: от Москвы тридцать семь, а ближе подойдешь пятьдесят четыре.... Не-ет, не модель... Это железная дорога, а не то что трахт, где народ в темную ночку обчищают...

— Жандарм!..— взревел взбешенный начальник.

— Да в чем дело? — подошел я.

— Да помилуйте,— заговорил взволнованный начальник станции,— измучили эти пассажиры... От Москвы действует пониженный пригородный тариф, от Петровско-Разумовского — обыкновенный, вот и выходит, что от Москвы-то до Крюкова стоит тридцать семь копеек, а от Петровско-Разумовского, которое лежит ближе к Крюкову, дороже — пятьдесят четыре копейки. Но ведь втолкуйте им. Они глубоко убеждены, что я эти деньги произвольно беру и чуть ли не в карман себе кладу. Каждый день такие истории — до протоколов включительно... Дико для него это... Вот этот, например, нарочно из Москвы шел, чтоб сохранить несколько копеек.

Подошел поезд. Мужичок отчаянно бунтовал и шумел перед кассой, требуя билета. По платформе, звякая шпорами, торопливо бежал жандарм. Свисток, вагоны дернулись, покатились, станция пропала.

ОТРАВИТЕЛИ

Жизнь в больших городах, все усложняясь, доставляет больше и больше удобств. Жилища, обстановка, пути сообщения, концентрация научных образовательных учреждений — все создает более интенсивную, более привлекательную жизнь для людей.

Но рядом, как мрачная страница, развертываются нищета, разврат, оргии, грязь, извращение человеческой природы, невежество. Тысячи интересов перепле-

таются, поедая друг друга. Тысячи опасностей подстерегают человека,— опасностей, которых он и не подозревает.

Все отравлено, ибо все фальсифицировано: вода, пища, жилище, удовольствия, любовь, литература. Наряду с перлами человеческой мысли и деятельности вы всегда встретите продукты и результаты волчьей алчности.

Одно из удивительных явлений городской жизни — это массовое отравление людей пищей, одеждой и обстановкой. Отравление это идет медленно и верно и, что важнее всего, en masse [1]. Ежедневно сотни тысяч людей искусственно и настойчиво укорачивают свою жизнь. И если бы собрать эти отнятые ежедневно у жизни минуты и часы, получилась бы колоссальная, поражающая цифра. И люди идут навстречу к скорейшей и искусственной смерти упорно и настойчиво, как быки на бойню. Мясо, хлеб, вода, обои, одежда, колбасы, кильки, вина, квасы, фруктовые воды — все, все, к чему мы прикасаемся, старается урвать у нас кусочек жизни. А так как это совершается в громадных размерах, оно приобретает уже значение социального факта.

Но мы слишком привыкли ко всему этому, мы не замечаем врага, окружающего нас и проникающего со всех сторон.

Гром не грянет, мужик не перекрестится. То, что ежедневно у нас отрывается жизнь — ничего, а вот если человек сразу протянет ноги, мы поражаемся.

— Слышали, Ивановых в больницу увезли всей семьей... Оказалось, отравились обоями,— говорит обыватель, сидя между стен, оклеенных выкрашенными мышьяковистыми красками обоями,— ужасно!..

— Вот страшный случай-то... У Сидоровых первенец умер... Как любили, с ума сходят... Фуражку какую-то купили, так изнутри кожа оказалась пропитана какой-то вредной краской,— говорит папаша, любовно гладя головку сына, на ногах которого чернеют чулки, окрашенные ядовитой анилиновой краской.

Десятки, сотни тысяч апельсин поедается, и масса из них, так называемые «корольки», приготовляется искусственно впусканием с помощью шприца сквозь

---

[1] Массово (*франц.*).

уколы в ткань апельсина окрашивающих жидкостей. И многие знают это и преспокойно едят. И надо было на днях отравиться одной обывательнице окрашенными внутри фуксином апельсинами, чтоб на минуту перестали жевать и приподняли голову. Удивительное равнодушие к своей собственной судьбе!

А кто сосчитает, сколько жертв дают разные квасы, продаваемые на улице, фруктовые воды, *безусловно* ядовитые, мороженое, разные сласти, которыми торгуют и с лотков, и в лавчонках, и в лавках, и в громадных блестящих магазинах. Да, да, не так давно случайно (беда вся в том, что это делается всегда случайно) были обнаружены ядовитые краски и подмеси в шоколадных изделиях одной громадной, пользующейся упроченной репутацией фирмы. Беда вся в том, что люди, покушавши отравы, или надевши выкрашенное ядовитой краской платье, или выпивши отличного из салицилки и других снадобий вина, или уютно устроившись в квартире с мышьяковыми обоями, не отравляются остро и не умирают тут же,— тогда бы и помину не было фальсификации. Бьющая в глаза опасность учит уму-разуму, а для скрытой мы слишком неподвижны, инертны.

Массовое, все возрастающее отравление представляет социальный факт, и борьба с ним должна носить общественный характер. Но чтобы борьба эта поднялась, необходимо жгучее сознание ее необходимости, необходимо день и ночь грызть, точить обывателя, как точат черви неподвижное дерево. Десятки, сотни тысяч людей заинтересованы своим богатством, своими фабриками, своими доходами в этом массовом отравлении. Борьба должна быть поэтому острая и тяжелая. Вот иллюстрация.

Известный гласный петербургской думы Кедрин внес чрезвычайно рациональное предложение: заносить имена недобросовестных торговцев на «черную доску». Никакие штрафы, никакие суды не сравняются с «черной доской». «Черная доска» для торговца — смертная казнь, прекращение торговли. В большинстве случаев торговцу выгоднее заплатить штраф и опять торговать отравленными продуктами. Но когда на доске будет выставлено ваше имя с пояснением, что от ваших апельсинов обывательница отдала богу душу, едва ли кто станет у вас покупать.

И вот посыпалась тьма возражений. «Черная доска» — жестокость по отношению к торговцам. Часто они сами не знают о присутствии у них недоброкачественных продуктов. Есть продукты, которые уже через час портятся.

В санитарной комиссии петербургской думы был возбужден вопрос о том, следует ли допускать к продаже кильки, *отравленные салициловой и борной кислотами,* безусловно ядовитыми для человека. Подумали, подумали и решили, что... *следует.*

Хотите знать почему? Да очень просто: потому что выделывающие кильки потерпят убыток. Оказывается, что если не подмешивать яда к килькам, то они быстро... *портятся.*

Но, позвольте: чем же ядовитые кильки лучше испорченных? Почему лучше и удобнее отравляться кильками, пропитанными салициловой и борной кислотами, чем кильками испортившимися? Отравление несомненно происходит и в том и другом случае. Но во втором случае отравление может произойти быстро, может сопровождаться резкими болезненными проявлениями, стало быть, обратит на себя внимание, стало быть, можно попасть в протокол, под суд, нажить неприятностей. Отравление же салициловой и борной кислотами — медленное, постепенное, незаметное, никого не беспокоящее, обходящееся без всяких протоколов. Вот почему санитарная комиссия в Петербурге нашла невозможным уничтожить и запретить продавать заведомо ядовитые консервы — торговцам, заводчикам невыгодно. Вот почему находят «черную доску» — один из наилучших способов борьбы с недобросовестностью торговцев — слишком для них *жестокой.*

И вот общественное сознание должно заставить взглянуть на дело с другой точки зрения: раз такое приготовление консервов гибельно для употребляющих, а отсутствие ядовитых кислот ведет к быстрой порче консервов, *необходимо придумать* консервирование иное, безвредное и достигающее цели.

Правда, это сопряжено с известными расходами, напряжением, исканием, но почему же непременно должен платиться обыватель? Почему обыватель собственным здоровьем, жизнью должен охранять недобросовестного торговца, фабриканта, заводчика, этой дорогой

ценой оберегать их от убытков, от необходимости быть деятельными, проявлять инициативу, удовлетворять запросам жизни?

Только когда обыватель в массе придет к заключению, что довольно его отравляли, он сломит рвущих его со всех сторон шакалов.

ТРОГЛОДИТЫ

Жестокие, сударь, нравы.

Большой южный город недалеко от Азовского моря с полуторастатысячным населением. Электрическое освещение, электрический трамвай, миллионная набережная, громадные дома, банки, гимназия, клубы, кафешантаны, три газеты; громадная торговля, громадные богатства, умопомрачительные наряды, выезды, обстановка. И вот под этим городом происходят сцены, которые переносят в доисторическую эпоху. Когда читаешь местные газеты, с изумлением, со страхом щупаешь себя: не во сне ли, наяву ли?

Вечереет. Тени ложатся на далекую степь. Под горой потухает последним отблеском многоводная широкая река. В стороне от дороги, в неглубоком овраге, виднеется несколько фигур. Возле на притоптанной траве бутылки из-под водки, огурцы, корки хлеба. Лежат, сидят, обхватив руками колена, выпивают, закусывают, и крепкая едкая брань виснет в воздухе, сдабривая веселый разговор. Сквозь дыры и рвань видно голое немытое, грязное тело. На небе высыпают звезды. Эти люди, проведшие целый день в душном, огромном и жестоком к ним городе, теперь отдыхают. По дороге от берега подымается парочка. Он — писарь в одной из многочисленных канцелярий, или приказчик, или конторщик, или просто «служащий», в новой тройке, в туго накрахмаленном воротничке, она — вероятно, горничная или модистка, урвавшая минуточку, чтобы дохнуть не городским воздухом, чтобы провести часок с любимым человеком. Разговаривая, шутя, смеясь, они проходят мимо рокового оврага, откуда несколько пар глаз жадно следят за ними. Как шакалы, выскакивает озверевшая толпа. Кавалер, после того как у него от полновесных ударов перевернется все в глазах, сломя голову

летит под гору, рвущуюся девушку схватывают и затаскивают в одну из зияющих на берегу пещер.

Но часто шайка подвергается в свою очередь нападению. Живущая по окраинам молодежь — подмастерья, ученики, молодые сапожники, портные, кузнецы — толпой подстерегают в сумерки хулиганов и, когда увидят, что те овладели женщиной, кидаются на них. Завязывается бой, тяжелый, беспощадный, бьются, не давая и не прося пощады, ломают руки, ключицы, сшибают скулы, проламывают головы, пока та или другая партия не одерживает победы. Большей частью одолевают парни, молодые, еще не разъеденные водкой и ужасной жизнью по ночлежкам,— и хулиганы с разбитыми лицами, с краснеющими от собственной крови лохмотьями разбегаются по затягивающейся ночной мглой молчаливой степи, по оврагам, а победители... спасают несчастную девушку? Нет, затаскивают в ту же пещеру...

Почему-то настойчиво и назойливо лезет в голову картина Васнецова. Троглодиты борются с мамонтом, разъяренные, взъерошенные, смутно напоминающие образ человеческий, а больше звериный, они бьют его камнями, кольями, глыбами земли. Те же троглодиты с жадностью, с нечеловеческим обжорством пожирающие убитую тушу, руками и зубами рвущие сырое мясо. Разве не та же картина? Разве это не те же окровавленные троглодиты, с остервенением рвущие друг друга из-за самки около полуторастатысячного города? И это почти каждый летний вечер.

Звери, говорите? Нет, люди, самые обыкновенные люди. Послушайте, что они говорят:

«Разве мы знаем, куда приклонить голову после работы в мастерской? Разве мы знаем иные удовольствия, кроме того, чтобы валяться по тротуарам, по мостовым возле винных лавок? Этот богатейший город, сделал ли ты что-нибудь для нас? Ничего».

И в самом деле, рука не подымается с камнем осуждения. В Ростове-на-Дону, в этом богатейшем из южных городов, все есть и для пьянства, и для разврата, и для торговли — нет только школ для народа или, если есть, так ничтожное число; нет складов народных книг, среди массы рабочего люда затерялись две-три народные библиотеки, вместо народного театра — жалкий на-

вес, нет народных чтений. И разве удивительно после этого, что среди грохота и свиста паровозов, среди заливающего город электрического света, среди громадных домов живут пещерные люди?

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ САД

В одном из южных городов существует увеселительный сад. Как и везде, там служат белые рабыни. На днях на суде были опубликованы контракты, которыми опутывают рабынь и которыми поддерживается институт рабства.

Все артисты платят штраф в размере двадцати пяти рублей за неучастие в спектакле, за опоздание, за отлучку до «конца торговли» в саду. За опоздание на несколько минут двадцать пять рублей штрафу! Болезнь освобождает от шрафа, если... если только она засвидетельствована врачом хозяина, всецело от него зависимого.

Артисты обязываются подчиняться не только правилам, которые существуют при их вступлении на службу, но и правилам, *которые имеют быть изданными* директором или его уполномоченными, как бы эти правила ни были бессмысленны или неудобоисполнимы. И это опять-таки под страхом того же штрафа.

Контрактом предусмотрены почти невероятные явления. «В случае каких-либо общественных бед,— говорится в нем,— чумы, эпидемии, войны, пожара и официального траура, содержатель прекращает плату артистам, и настоящий контракт может быть уничтожен по воле директора без всякого вознаграждения противоположной стороне. Содержание не выдается и в те дни, в которые игра не дозволена по распоряжению правительства и церковному уставу. В случае, если артист или артистка не будет пользоваться успехом, контракт может быть уничтожен в течение пяти — пятнадцати дней». Кто же является судьей, имеют или нет успех артисты? Да он же, директор.

Этот удивительный «контракт» ярко освещает белое рабство. И это везде и всегда, только мы об этом забываем, и все это очень старо.

ЧЕЛОВЕК ВТОРОГО СОРТА

Как-то мне пришлось коснуться того тяжелого положения, в которое попадает юноша перед университетом. Беспомощное чувство неподготовленности, бессилия охватывает тяжело и горько. Что такое университет? Что там? Наука. Что такое наука? В школе, из которой он только что вышел, он знал *учебники* и не знал *науки*, а здесь наука независимо от учебников.

В еще более тяжелом, в еще более беспомощном положении оказывается перед дверьми высшего учебного заведения девушка. Все сложилось, чтобы наградить ее возможно большим невежеством. Разница в программах, в отношениях к учащимся, в той особенной атмосфере серьезности, которая их окружает,— все в пользу мальчиков. Свои знания, свое миропонимание мальчик, быть может, на пятьдесят процентов черпает, помимо школы, из окружающей среды, от семьи, от общества.

Девочка в этом отношении поставлена в исключительно неблагоприятную обстановку. Около нее создается особенная, специфическая атмосфера чисто женских интересов. Она душит и давит молодой мозг, она опутывает его паутиной мелких, ничтожных требований, условностей.

Воспитывается девочка,— относятся все к ней так, чтобы она помнила постоянно, что она маленькая женщина. Не удивительно, что эти маленькие женщины вырастают большими невеждами. И если мужчина идет к дверям университета с темным и тяжелым от невежества мозгом, то что же сказать о девушках? Они поражают своим невежеством. Это — темное царство.

И все же с какой страстностью, с каким напряжением пытаются они выбиться из этого печального царства. Сколько труда, усилий, бессонных ночей, здоровья кладется, чтобы купить себе то, чего они были лишены так незаслуженно. Профессора, преподающие одновременно в университете, и на курсах, и в медицинском институте, а также и в заграничных университетах, в один голос говорят об удивительной работоспособности студенток, о той неутомимой жадности, с которой они накидываются на предметы.

Но даром никому никогда не проходит то, что утеряно. Нельзя в год, два наверстать того, на что дава-

лось семь, восемь лет. Всему свое время и свое место. Конечно, исключительные личности пренебрегают и временем и местом, они берут свое там, где находят; но ведь речь идет о массе, о типичной, а не исключительной девушке. И это торопливое нервное наверстывание дает себя знать. Если мы удивляемся мужчине, который, вступая в жизнь адвокатом, медиком и иным каким-либо специалистом, быстро без запинки освобождается ото всего, что дал ему университет, торопливо и послушно становясь в уровень с плоской и серой средой, то молодой женщине, получившей образование, мы даже не удивляемся,— до того это частое, обычное, неизбежное явление: она, как только попадает в атмосферу пеленок, жареных котлет, гостиной мебели, спальни, сбрасывает с себя, как ненужное и утомительное бальное платье, всю эту науку, все знания, самые даже элементарные, которые были добыты ценой такого труда, таких усилий, часто страданий. И перед вами вместо милого, умного, вдумчивого лица, распоясавшаяся, простоволосая — умственно, конечно,— баба с серым лицом, с серым мозгом, с серыми чувствами, с серым мещанским миросозерцанием, оценкой людей и событий.

Как же ценен после этого всякий общественный почин, дающий возможность девушке, хотя в некоторой мере, исправить ту жестокую несправедливость, которую ей приходится испытывать и в школе, и в семье, и в обществе. В Петербурге сделан такой почин. Профессор Петербургского университета В. Шимкевич и начальница одной из петербургских гимназий М. Лохвицкая-Скалон с осени текущего года открывают естественнонаучные курсы, которые имеют целью, во-первых, дать подготовку девушкам, желающим поступить в женский медицинский институт. Поступающие в этот институт так неподготовлены в естественнонаучном отношении, что нередко вынуждены покидать институт, так как на второй год на первом курсе по правилам не могут оставаться. Во-вторых, чтобы дать подготовку желающим заняться преподаванием естествоведения и вообще приобрести естественнонаучные познания.

Желаем полного успеха доброму начинанию.

II

СВЕТОЧИ

(Сказка)

Был мрак, и люди, как муравьи, копошились, каждый устраивал свое благополучие. И одни, затаптываемые, в исступлении отчаяния падали с хулою на устах, другие взбирались по их телам, предаваясь диким оргиям, покупая наслаждения всякою ценою, иные метались, пытаясь поддержать падающих, но не умели и не могли этого сделать, так как ничего нельзя было разобрать в кромешной тьме. Гул голосов, проклятия, стоны, плач, хохот, звон литавр, песни, поцелуи — все сливалось в волнующееся море звуков, покрываемое волнующимся морем мрака.

Несколько человек, ощупью поднявшись на возвышение, робкою рукой возжгли светильники. Во мраке заблестели тонкие звездочки, трепетно мерцая. Мало-помалу они стали разгораться, и в высоко поднятых руках огненными языками побежало кровавое пламя светочей. Равнина осветилась от края до края, и люди с ужасом увидали, до какой степени они отвратительны и ужасны. Одни изможденные и измученные, с всклокоченными волосами, в рубищах, огрубелые и ожесточенные, были подобны лесным зверям, другие, с белым откормленным телом, были бесстыдно голы. А посредине этой волнующейся беспокойной толпы возвышалась Вавилонская башня. Строитель, восседая на вершине ее, кричал народу:

— Несите вы, все, кирпичей, извести, воды и бревен, ибо чем выше выстроим башню, тем счастливее вы будете.

Народ, падая и обливаясь пóтом, таскал цемент и кирпичи. А строитель кричал:

— Все хорошо идет, одно скверно: светочи горят и мешают нам, свет слепит глаза и вселяет беспокойство в народе. Гасите его, как кто может.

Потянулись тысячи отвратительных ртов и стали гасить светочи, швыряя в них камнями и грязью, но державшие их люди по-прежнему стояли на возвышении,

высоко подняв руки, и по-прежнему багровое пламя, дрожа, озаряло до края равнину, по которой убегали тени мрака, озаряло людские несчастья, несправедливость, убийства, правду, слезы. Стоявший у подножия башни товарищ строителя закричал:

— Не слушайтесь старой лисицы: она лжет и обманывает. Башня нужна вовсе не вам, а ему. Он будет восседать на ее вершине, преисполненный гордости, а вы будете так же бедны и несчастны, как и прежде, и еще беднее и несчастнее. Благословен свет, озаривший всю равнину, все зло и несправедливости, на ней совершающиеся.

Лицо у говорившего было доброе и благородное, и он до земли поклонился светившему людям свету. Тогда народ закричал:

— Эй, ты, слезай-ка с башни!..

Строитель слез, посыпал главу пеплом и затерялся в толпе, а на его место воссел другой. Стоявший у подножия поглядел на народ, лицо его было довольно. Потом он обернулся в ту сторону, где багровым пламенем светили светочи,, лицо его сделалось злым и жестоким, и вдруг из-под верхней губы, белея, быстро выросли и загнулись книзу волчьи зубы. Тогда он закричал:

— Эй, вы! Опустите и погасите факелы: свет мелькает и дрожит, и от этого не видишь истинного размера и положения вещей, и... и... и при нем видны мои зубы.

Державшие факелы поглядели на него молча, покачали головами, и по-прежнему багровое пламя озаряло равнину, гоня тени ночи. Тогда стоявший у подножия обнажил все зубы и, изрыгая хулу и клеветы, стал гасить горевшие светочи. И колеблющееся пламя затрепетало, то погасая, то вспыхивая, и по всей равнине снова забегали тени, то покрывая ее, то испуганно убегая к краю равнины, а стоявшие на возвышении делали все усилия, чтобы не дать погаснуть трепетавшему пламени, озарявшему людскую злобу и несчастья, правду и бесстыдство, клевету и слезы.

СУМЕРКИ БУРЖУАЗИИ

УТРО

Золотая Медведица стала опускать хвост на спину черного хребта, который стоял стеной, и играющие кругом звезды тоже торопливо сползали. Их неверный мерцающий блеск сквозил по зубчатому лесистому краю гор.

Зияло чернотой ущелье.

Моря не было видно, но слышалось в темноте внизу мерное тяжелое вздымание.

За ущельем отвратительно, раздирающим кошачьим криком закричала рысь, и кто-то смотрел из чащи синевато-искрящимися зрачками.

И черные горы, и зияющее ущелье, и чаща, густая и смутная,— все загадочно заткано тьмою, южной тьмой, полной пряных запахов и невидимой таинственной игры.

Тонко белеет в темноте домик, говоря о человеческом одиночестве.

Залаяла собака, и разом повеяло жильем, хозяйственным уютом. Неясной грудой чернеют дворовые постройки.

Тяжело скрипя рассохшимися половицами, вышел на крылечко человек, и даже в темноте чувствовалась массивность его фигуры. Постоял, держа в руках смутно чернеющее ружье, прислушался.

И хотя было все то же, как всегда,— мерно и тяжело вздымалось невидимое море, наполняя ночь,— но, как и всегда, в этом вздымающемся и падающем шуме чуялось новое, еще не досказанное.

Человек сошел со ступенек. Сапоги лизнула собака и стала ласкаться. Тот остановился:

— Пошла прочь!

Он сказал негромко, а собака, жалобно взвизгнув, поползла на животе в конуру. Мерно жевали лошади.

За конюшней потянулся сад. Молчаливые и черные, стояли деревья, все в том же немом согласии с тьмой, со сползающими за черноту хребта звездами, с мерно вливающимся через ущелье тяжким шумом.

Так же немо чернели за садом пчелиные домики.

Сюда любят приходить медведи и хозяйничать.

Человек вслушался: ни шороха. И вверх к хребту, и вниз к морю, и по боковым отрогам густела чернота лесной чащи.

Опять отвратительным кошачьим голосом закричала рысь сначала близко, потом за ущельем.

От пчельника черно и плоско потянулась бахча, но не видно было ни плетней, ни арбузов.

Осторожно хрустнула земля. Человек остро вглядывался, вдруг вскинул ружье, выстрелил.

Отблеск на секунду вызвал из темноты деревья сада, край чащи, горло расширяющегося ущелья, и пронесся заячий злой крик, а по ущелью, по отрогам, перекатываясь и ломаясь, грохотало эхо. Потом все стихло.

К человеку, стоявшему с ружьем, подходила в темноте небольшая фигурка, прихрамывая. Заячий тонкий злой голос заметался:

— Ты что в людей стреляешь?!. Глот!.. Жадный дьявол... всех сожрал... Coquin!.. Sauvage! [1] Ты, черт, помни, расхлопают тебе кубышку...

Маленький человечек наскакивал на большого, охал и хватался за ногу, а большой брезгливо отодвигал его стволами двухстволки.

Надоел, как липучка. Будь это прежде, ахнул бы его прикладом; валялся бы теперь молча на земле. Оттащил бы за изгородь, бросил в чаще. Коли пришел бы в себя — выполз, нет — звери бы растаскали.

Да, прежде, а теперь...

Теперь камень в груди, тяжелый и холодный. И уже не слышит мерно вздымающегося ропота, не видит черного хребта, сползающих за него звезд, этого надоедливо скулящего человечка... Все заслоняя, смотрят тихие серые глаза, в которых такая затаенная ласковость, что и холодный камень в груди дрогнет, меркнет суровая напряженность, чем жил до сих пор.

---

[1] Негодяй!.. Дикарь! (*франц.*)

Спокойные, тихие, полные внутренней ласки, жаления глаза... И милое такое лицо... тихий свет... Как будто делает усилие, и тогда улыбка точно печальною лаской осветится.

— Это тебе даром не пройдет!.. не-ет, не пройдет... Ты думаешь, ты тут — царь и бог... Не-ет, прошли времена... врешь... Перевязывай... перевязывай, тебе говорят, кровью изойду... У-у, тать нощной!..

«Тысячи ведь женщин с такими же глазами, с такими же серыми глазами... И жалеть — удел женщины. Ну?!.»

— Прочь!

Он сказал это негромко, как тогда собаке. Но маленький человечек вскипел еще больше:

— Voleur!..[1] Тебе и задушить недолго... Сейчас сбегаю в поселок, подыму народ,— на убийство пошел, в живых людей стрелять...

— Не воруй.

— Подавись, черт жадный. Арбузик взять, так он стрелять. Все одно птица склюет.

Большой оттолкнул его и зашагал к изгороди. Перелез и потонул в черной чаще, как в погребе, чутьем угадывая невидимую тропу.

А маленький постоял, плюнул и пошел через сад к домику.

«Если собака спущена, заест... Coquin!..»

Он осторожно подходил, вглядываясь в темноту. Уже мутно забелел домик. Ревущий собачий лай наполнил темный сад. Маленький человечек торопливо полез на дерево, обдирая руки и колени и умильно уговаривая:

— Кор, сердце мое... на, на, на!..

Кор подпрыгнул, схватил за штаны и стал тащить, мотая головой.

— Караул!.. Спасайте от хищника!..

— Ты чего орешь? — раздался заспанный голос работника.— Ишь ветки все обломал.

Работник отогнал собаку, оба прошли к домику и сели на ступеньки.

— Есть, что ль, табак?

— Есть, есть.

Маленький человек достал завернутый в бумагу та-

---

[1] Вор! (*франц.*)

бак, оба свернули папиросы, и в темноте, то разгораясь, то чуть прокалывая темноту, закраснелись два огонька.

— Было застрелил меня сейчас ваш.

— Воровал?

— Еще чего!.. Просто шел по дороге за изгородью, а он как ахнет. По рыси стрелял, а не попал, да в меня, идол.

Помолчали, красновато освещая на минуту лица снизу папиросами.

— В которое же он тебя место?

— Сидеть больно... Ты бы, Сема, дал перевязать.

— Присохнет. Бекасинником. Кабы поядреней дробь, прохватило бы, это — одна мораль, хлыстнет, и все.

— Я, Сема, из княжеской породы, мне это не подобает.

— И кто вас суды гонит, босая команда! И идут, и идут, как прорвало их,— чисто по весь Кавказ набились, плюнуть некуда, везде — босявка. Много вашего босого батальона шатается. Как весна, почуют тепло, так и потянут вереницами.

— Ты это, Сема, не говори. Сказать бы — я. Родился, брат, я в палатах, а сегодня вон портки мне разодрал ваш Кор. Нет ли у тебя поцелее, браток?

Работник молча курил.

— А все, брат, из-за женщины. Если б ты глянул на нее — чудесная. Charmante!..[1] А мы, брат, сюда, как на дачу: поработаешь, на винограднике или в саду выколотил пятерку, ступай на берег,— пляж называется,— ложись врастяжку, принимай солнечные ванны, успокаивай нервы. Хозяин ваш лют, живьем глотает. Вешать бы таких. Мне вице-губернаторство предлагали, отказался, а то бы вешал таких.

— Тебя бы повесить за энто место.

Звезды все завалились за хребет.

Небо зеленело.

Большой человек, когда перелез через изгородь, вошел в чащу и стал спускаться в ущелье. Тьма была непроглядная. Он шел, как в глубоком погребе, протянув ружье, чтобы не выколоть ветками глаза. Море шумело глухо, неясно.

---

[1] Очаровательная!.. *(франц.)*

Место он определял по числу сделанных шагов, по крутизне ската. Выбрался из ущелья, забелела дорога, вверху бледно показались умирающие звезды. Море опять стало вздыматься отчетливо и тяжко.

Человек шел большими, твердыми шагами, не было тяжело, как будто нес всю свою жизнь, всю до единого дня.

Юношей без средств ушел из богатого купеческого дома, все бросив, унося родительское проклятье, с головой ринулся в борьбу! Убил урядника. Участвовал в покушении на губернатора. Бежал. Кавказ громоздился сияющими снегами, лесами нетронутыми, таинственными ущельями,— тут можно жить по-своему, по правде, слушаясь только совести.

Тут встретила девственная природа, лесные звери, горная тишина, горные опасности и красоты. Встретил кучку людей, как и он, жадно искавших совести жизни. Только земля, нетронутая земля среди дикой прекрасной природы дает людям душевный покой и удовлетворение трудовой жизни.

И они сели на землю братской общиной, отдаваясь совместному труду, отдавая все силы земле, не как рабы и работники, а как товарищи и братья. И закипел молодой труд, закипела молодая жизнь. На полянах подымали плугом новь, по уступам разводили виноградники, сажали сады, прорубали лес, рыли колодцы.

Но в первый же год затемнились над головами тучки. Он, бросивший для трудовой жизни богатство, семью, чуявший в себе неизбывную силу строительства и труда, опускал тяжелую свою руку на товарищей, давил их железной волей. Откуда-то взялась сноровка в незнакомых условиях, но потому, что он в большинстве случаев был прав, против его указаний восставали, тиранию его умения и находчивости старались сбросить. Завязалась борьба. Во время смуты он поднялся во весь свой громадный рост и крикнул:

— Так будьте ж вы прокляты!

И ушел.

Тяжкая жизнь началась. В глухой чаще он бился, как лесной зверь. Спал на земле, дождливую зиму провел в шалаше. Жилы тянулись от нечеловеческого труда и напряжения.

А через десять лет, через десять лет он — стяжатель, какого округа еще не видала. Он умеет выжать из

людей все и бросить пустую, смятую кожу. Его ненавидят и боятся,— так и надо.

Люди, как зверье: полезных приручи, воспользуйся, вредных уничтожь. И женщины,— возьми, когда нужно, и выбрось, когда не нужно. И, может быть, потому они так и льнули к нему всегда: «Рабье поколение, ищущее господина и хозяина своего».

Любовь?.. Он усмехнулся. Любовь — это очень элементарно и просто.

А в темноте проступили серые глаза, полные доброй ласки и затаенно грустные...

Он скрипнул зубами и стал огибать чащу по свернувшей дороге. Здесь в прошлом месяце застрелил медведицу с медвежонком.

Прошел верст пять; все время справа, отдаваясь гулом в земле, тяжко вздымалось и падало море. Над черными деревьями стало светлеть, и звезды, все больше бледнея, исчезали.

Потянулись изгороди. Донесся слабо невыспавшийся собачий лай. Жильем потянуло. Он остановился. Справа раздвинулась чаща, и глянул молочно-мутный простор.

«Зачем?.. Куда?»

Человек постоял, опираясь на ружье, потом прошел на прогалину и сел на краю, спустив ноги над отвесным обрывом. Внизу все так же тяжко и мерно шумело, и слабо вспыхивала и гасла белеющая кайма. Чуялся огромный молочно-смутный простор, и на краю его тянулась все светлеющая полоса.

— Ну, чего жду? Зачем забрался сюда?.. Как мальчишка, как собачонка... жду чего-то...

Вздыбилась вся гордость. Но что-то сильнее гордости, сильнее всего, чем наполнялась жизнь, заставляло сидеть, свесив ноги над скалистым обрывом, жадно уходящим в бездну, где слабо мерцает всплывающая и гаснущая пенистая кайма.

И стало открываться море до самого края, до разгорающейся красной зари. А направо, налево потянулся скалистый обрыв, поверху закудрявившийся деревьями, внизу лениво надвигались мерные, успокаивающиеся волны.

В одном месте берег выгнулся широким песчано-отлогим заливом; на песке чернели опрокинутые лодки, поодаль крохотно белели домики.

Но один домик под черепичной крышей, казалось, поглощал море, и разгорающуюся зарю, и огромное, во все стороны открывшееся небо. Один домик под черепичной крышей.

Долго смотрел туда сидящий человек, разглядывая крохотные, немые, чернеющие окна. И вдруг то, чего больше всего боялся и чего тайно всем существом ждал, произошло: отворилась дверь, и на пороге показалась маленькая фигурка.

Видно было, как она стояла и смотрела на море, потом одиноко пошла по дороге.

Человек встал, закинул ружье и зашагал. На повороте они увидели друг друга и остановились.

— Вы?!.— проговорила она полуиспуганно, полурадостно.

Он усмехнулся:

— Не ждали?..

И вдруг стал спокоен, чувствуя, что овладел собою. Самое лучшее — повернуться и, не прощаясь, молча уйти.

Глянул,— румянец разлился по ее лицу, порозовело от разгорающейся зари. Верхушки деревьев тоже зарумянились.

— Я... всю ночь не спала... должно быть... море очень шумело... билось...

Он опять зло и жестоко усмехнулся:

— То-то вы в эту сторону пошли, не куда-нибудь...

У нее чуть дрогнули тонкие брови, но сейчас же, точно подавляя протест, глаза залучились такой ласковой болью, таким нежным участием.

— Не надо... так...

Он насупился. Они пошли, не говоря ни слова, рядом по дороге. Вышли на полянку к обрыву. Море вздыхало мягко и слабо, и открывшийся простор вливался в душу спокойствием и умиротворением.

— Нет, я не принесу вам счастья,— сказала она, подавляя вздох,— не принесу счастья. А без счастья зачем? Нет, не надо.

— Мне решать, дадите вы мне счастья или нет, мне решать, а не вам.

Она опять тихонько подавила вздох и так же тихонько сказала:

— Нет, не вам... мне видней. Вы — особенный, сильный, и вам нужно подчинение, а я... Я... господи, ведь знаете, я все, все для вас, всю себя...

— Мне этого не надо...

— ...только знаю, независимо от себя, вопреки собственной воле, незаметно буду высвобождаться из-под вашей воли, а это будет точить жизнь, тут уж не будет счастья...

Охота за женщиной — самая увлекательная из охот,— это где-то у Мопассана. Но тут, стоя около нее, вдруг почувствовал — есть какой-то остаток вне страсти, вне борьбы за обладание, неделимый остаток, крупица которого, оброненная в жизнь, светится тихим, неугасимым светом счастья.

И, нахмурившись, сказал:

— Знаю, я для вас — стяжатель, скопидом, кулак. А я скажу: у меня босяк — сегодня подстрелил,— приду и все швырну ему: земли, дом, сады — все, что вытянул железным трудом, и уйду опять с голыми руками, как пришел.

Она не подымала подрагивающих ресниц.

— Вот за это... за это-то вас можно... Вы —сильный, только, как тот сказочный богатырь, идете и тонете по колено в землю от силы, которую не знаете, не умеете направить, и она давит и вас и всех людей кругом.

Оба стали смотреть на море, не видя его. А по морю уже пробежали, вспыхивая и погасая, все цвета: розовый, оранжевый, фиолетовый, и теперь оно глубоко и спокойно засинело от огромного высокого синего неба. Солнце встало, и весело засветился весь берег.

Он взял ее нежную, маленькую руку своей крепкой, большой и сказал незнакомым себе глухим голосом:

— Любишь?

Она спрятала на его груди лицо с завлажневшими глазами.

— Люблю... милый... люблю, родной...

Потом высвободилась, глянула на него сияющими от слез, полными бесконечного жаления глазами:

— Прощай!..

И пошла, не оглядываясь.

Он постоял, вскинул ружье и тоже пошел, не оглядываясь, в другую сторону, криво усмехаясь и шепча:

— Вот и все...

СО ЗВЕРЯМИ

Утром солнце всегда било в мое окно, и я,— как ни прятал голову под подушку, как ни закручивал, задыхаясь от духоты, на голову простыню,— поднимался, раздирая слипающиеся глаза, и, ища спасения от невыносимого блеска, перебегал в другой угол.

А сегодня сам проснулся, еще не было солнца. В растворенное окно матово смотрело утро, лилась прохлада, разговаривали куры, кричал ишак, и над лесистыми горами порозовели снеговые хребты — до того отчетливые, что ясно различались глубокие синие складки.

Когда вышел с ружьем и оглянулся, за белой полосой шоссе утреннее море, такое спокойное, что глаз не улавливал, неоглядно уходило и лишь на самом краю, теряясь, чуть задымленное, порозовело, как и снега на вершинах.

Так было свежо, прозрачно, умыто, что я, подняв руки, глубоко вдыхал свежесть розовых снегов, синь бесконечно уходящего моря, в котором такое же бесконечное небо, тоже заалевшее с краю. Манила узенькая белевшая поворотами полоска шоссе, так же бесконечно уходившего, как и горы, как и море.

За каменной стеной, бело обнявшей тесный двор с каменным флигелем, тоже белым, лицом к морю, потянулись вверх табачные плантации. От белых раскрывающихся цветов табака шел одуряющий запах. Золотисто жужжали пчелы, таская ядовитый табачный мед.

Белели пятнами девушки, возившиеся с табаком, как с капризным, своенравным ребенком.

Хозяин мой, елецкий мещанин, рыжеватый, с бровями кверху кисточками, стоял между ними с кнутом и — не то в шутку, не то с озлоблением крича: «Атть тты!!» — вытягивал зазевавшуюся.

Если это была и шутка, так такая, от которой ложился синий рубец, и работница, занесенная сюда из Полтавщины, хваталась за обожженное место.

— Чего бьёсся!..

Пот градом бежал по ее лицу, а мотыга мелькала — глазом не уследишь.

Впрочем, девушкам жилось у рыжего, как у Христа за пазухой: он отвел для жилья сарай, даже позволил взять для подстилки сухой травы, и до сих пор еще ни одна не упала от истощения и голода.

Я уже карабкаюсь в лесу. Тропинка, засоренная старыми листьями, оползает обомшелые, укоренившиеся по обрывам дубы, либо юркнет в непролазную кустарниковую чащу,— и, когда я оттуда, после большой драки, с усилиями вылезаю и оглядываюсь, на сучьях сереют клочки от моего пиджака.

Отовсюду наперерыв несется бестолковый птичий гам, такой наглый, всезаполняющий, что кажется, на свете только и есть этот гам.

В просветах живой листвы, от которой всюду лениво шевелящиеся зеленые тени, нет-нет да и кинется в глаза редкая, так отличная ото всего кругом далекая синева, подержится и пропадет — и опять дубы, карагачи да буки, и опять я лезу на четвереньках, продвигая ружье в проклятых кустах, а сзади на иглах и колючках клочки моей одежды, и свежие царапины сияют, сочась.

Зелено сверкнула, раздвинув лес, вся в траве и цветах, полянка, срываясь с одного края бесконечным обрывом. И поражая глаз неестественно густой синевой, как на картине Рериха, во все небо стало стеной море.

Почему море стоит стеной? И почему неестественно синий цвет его похож на краски художника, а не наоборот?

Я растягиваюсь на краю, приминаю траву и цветы. Мелко зеленеют до самого низу леса. Не видно ни нашего двора, ни белой ленты шоссе, а только в густой синеве стоит море стеною.

Над соседним лесистым отрогом сияющее солнце лукаво улыбается,— это то самое, которое каждое утро забирается в мое окно и будит меня. Как я его сегодня опередил!

А море стоит синей стеною в полнеба.

Я лежу и, щурясь, гляжу — лень... Не видно снеговых вершин — лес закрывает.

Лишь в кустах мечется как угорелая певчая мелкота. Точно сговорились, все провалилось, и около меня пустой круг.

Все равно буду лежать дремотно на этом уступе и слушать, как гудят золотые пчелы. Здесь они собирают чудесный янтарный мед.

А море синей стеною...

Я всматриваюсь не отрываясь и вижу крохотное белое пятнышко на синеве. И как только увидел, сейчас же увидел, что море не стеной стоит, а бесконечно уходит от меня — синее, и на самом краю его чуть белеет парус. И уж не оторвешься.

Проходит час, два. Солнце колюче забирается под веки. Дальние горы начинают чуть трепетать знойным трепетанием, и море становится не синее, а голубое, бездонное. Небо тоже становится неуловимое, без облачка.

Проплывает дремота, путая море, горы, обрывы. Всплывает прошлое кусками; встает давно забытое радостное ощущение, так знакомое в юности — ощущение своего тела, напряженности мускулов, радостной внутренней близости этих гор, зелени, камней, трепещущей знойной дали.

Качается дремота, и я забываю голубое море, хребты, мелкую зелень лесов внизу, а назойливо стоят перед глазами рысьи брови хозяина, и хвостики у них кверху, как у оперного Мефистофеля.

Кто-то знакомо хохочет.

Торопливо оборачиваюсь: стоит хозяин, прыгают рыжеватые брови хвостиками, в руках старенькая проржавленная двустволочка, и совсем он иной, чем дома,— не люблю я его дома.

— Вы как тут очутились? — говорю я, сумрачно глядя в сторону.

Но, извиняя его, синеют задымленные горы, поражает своей далекой глубиной море, как трава, зеленеют неуловимо внизу леса.

Он, понимая, спускает с плеч набитую походную суму, осторожно кладет ружьишко, усаживается на траву, поджав под себя по-турецки ноги.

— Первое дело, как вы ходите? Требуется, ходи весело, уши на макушке, хвост кольцом... Опять же провьянт... и рюмочка... Недаром Кана Галилейская, и вино, и закуска, и водочка...

— Водки тогда не было.

— Ну, как не было... А хочь и не было... Это не чудо: пошел в казенку да взял за двугривенный, не из-за чего и рук марать. А вот что не была да сделалась — это понимай. Опять идете в горы! Нешто так идут без ничего? Тут зайцы жареные в рот сами не полезут. Хлоп дождь, гроза, али забился в трущобу, не вылезешь, что такое! Не обозначишь, где такое, да и ná! Вот тут сумку-то и сымай с себя. Погляжу я на вас, ходите в горы, ходите, в каком смысле — неизвестно. Он, зверь-то, смеется над вами, ей-богу!.. Что ж, вы думаете, зверь — так без понятия? Он нам с вами десять очков вперед даст. Ведьмедя, да его в жисть не увидишь. Тут возле него десять раз пройдешь, а не увидишь. Он на тебя смотрит, а ты дурак дураком, как слепой щенок, тыкаешься. Хочешь увидать ведьмедя? Хочешь? Ну, дождись дождичка. Не то чтоб ливень али с грозой, не-ет, а тихой теплый дождик, вот что зарядит на два-три дня, сеется да сеется — ме-елкий, как сквозь сито. Мо-окро, и горы мокрые, и лес мокрый, и облака мокрые по деревьям цепляются. Вот тут ступай. И зараз шасть! Вот он, и ведьмедь, прямо на тебя. Ну, ничего, не полыхайся, он тебя больше испужался; иной, прямо сказать, себя обгадит с перепугу-то. А почему? — Рысьи брови нагнулись к самому моему лицу и зашептали: — Лист-то мокрый не шуршит, тебя и не слыхать, а он в сырость носом плохо чует, вот и напорется прямо на тебя. В дождик надо. — И стал доставать из сумки снедь. — А то, что без толку ходить? Кругом тебя и козы, и олени, и зайцы, а ничего нету, — умей подойтить.

Море в истоме разлеглось молочное, побледнело, и не было конца, и не было краю.

Раскаленно пылали желтые скалы, остро выпираясь внизу среди зеленеющих лесов, и верхушки деревьев, зубцы обрыва, трава и камни знойно струились. Боже мой, да ведь это счастье!

— Угощайтесь.

Мы закусили, а рысьи брови рассолодели от водки.

— Ты думаешь, человек — хитрый, а зверь хитрей? Нет хитрее зверя, как человек. К ведьмедю крадешься — надо повадку знать, с человеком живешь — надо десять знать. Давеча я хлеснул девку, морду ты заворо-

тил: дескать, живодер. А того не знаешь, не ведаешь — для хитрости, для глаза. Ты не женатый? Знаю, не женатый: в пачпорте — холост. А-а, то-то! Не суйся, коли своей шеей не мылился. Что я тебе скажу... Как женился-то,— зашептал он, странно подняв рысьи брови,— два раза топиться ходил. Глянет, бывалыча, так у меня в мозгах круги пойдут, и зараз оглохну!.. Ни-и-чегосеньки не слышу. Лупаю на нее бельмами, и ни в одном ухе. Вот до чего! Из себя маленькая — знаешь мою хозяйку, тупоносенькая,— а до чего, ей-богу! Приказала бы человека убить, убил бы, вот те крест, убил бы. И что такое. двинуть раз, мокро только останется, а сам ходишь за ней, как баран на привязи. И чего скажет, голову повернет али глазом поведет,— конченый я человек... И-и, миляга! Ну-ка, единую...

Черт с ним, пусть себе мелет. Я лежу, остро подняв колени, заложив руки под голову. Не видно ни моря, ни хребтов, глаз бездонно тонет в золотисто играющем небе. Мириады неуловимо вспыхивающих искр. Так и смотришь не отрываясь, без дела, без времени, без скуки. Рысьи брови храпят, а на мне лежит голубая тень от темной буковой листвы. «Сколько этому буку лет?»

Да так и остался с этой мыслью, которая потянулась нескончаемо смутно, то раздваиваясь, то свиваясь в одну тоненькую бесконечную нить. И ее оборвал тот же смех.

— А-ахотник!.. А-ахота веселая... Царство небесное проспишь...

Я открываю глаза: тень тянется в другую сторону — солнце не над горами, а над морем, и море ослепительно — смотреть больно.

Хозяин вскочил по-собачьи на четвереньки и вытянул шею к дальнему обрыву, подняв хвостатые брови. Долго стоял и вдруг стал рваться, как бешеный.

— Ну, скоряе! Слышьтя, скоряе!..

Его тревога передалась мне. Я схватил ружье и побежал. Он, как хорек, мелькал в чаще, быстро карабкался, постоянно роняя из-под сбившихся каблуков прыгающие на меня камни. Обливаясь потом, крепко держа в одной руке ружье, другой хватаясь за выпиравшие из земли корни, за ползучую траву, цапаясь за землю, падая на осыпающиеся камни грудью, я едва поспевал за ним, не спрашивая, куда и зачем, и совершенно

забыв, что у него с кисточками рысьи брови. Куда-то и почему-то нужно было, и поминутно подхлестывало:

— Скоряе!.. Скоряе!..

Перевалили лесной отрог, спустились, падая и скатываясь на спине, опять вскарабкались.

Тут он присел и, обернув ко мне ненавидящее лицо, прошипел:

— Тссс... шшш... цыц!.. Гонют...

И, подняв кисточки, прислушался.

— Слышь?.. Гонют...

Я ничего не слышал и отдавался в его власть.

Он пополз. Я пополз за ним.

Мы подползли до края. Обрывалось узкое каменистое ущелье. Потрескавшиеся стены отвесны; внизу мглисто, прохладно, и шумит, белея, скачущий ручей.

Суживаясь, щель упирается в тупик, и по отвесной стене белой летящей полосой кипит низвергающаяся вода.

Мы лежим на краю, свесив головы, затаив дыхание. Сквозь немолчный, то усиливающийся, то спадающий водяной шум ухо поразил легкий живой скок. Под рысьими бровями вылезли рачьи глаза.

В ущелье из-за каменного поворота вынесся великолепный козел. Закинув рога, вытянувшись в нитку, чудовищными скачками перелетал через кипящую воду, едва касаясь шумно омываемых камней, блестевших темным блеском.

За ним вылетели весело, грациозно, с изумительной упругостью, как развернувшиеся пружины, пять коз.

Какая-то веселая, необычайная по своей напряженности игра велась в горах среди лесов и ущелий неведомо для кого,— своя игра. И, подтверждая это, из-за того же каменного поворота, тяжело поспевая, вывалилась серая стая волков с нагнутыми, неповорачивающимися толстыми шеями, неся откинутые, толстые, как и шеи, полена; они поспевали неуклюже, угрюмо и уверенно.

— Бей!.. бе-ей!.. бей!.. бе-е-й-ии!..— завизжал нестерпимо пронзительным поросячьим голосом хозяин,— в ушах зазвенело.

Подавляя боль и сожаление, я стал стрелять по козам, которые безумно метались на отвесную, обдаваемую водой стену.

Хозяин с искаженным, оскаленным лицом,— кисточ-

ки на бровях поднялись, как шерсть у кота,— завизжал, брызжа слюной, еще пронзительней:

— Волков!.. Волков! Дурррак!.. Сукин сын... супоста-ат!! Волков... волко-о-ов, те говорят!!

Я выстрелил по волкам, но было поздно: в ущелье скатался огромный серый клубок, а через секунду, когда развернулся, от коз разбросанно валялись кровавые клочки шерсти да рога. Волки под выстрелами пошли наутек. Стояли отвесно исщелившиеся каменистые стены; пустынно, мглисто шумел в непрерывном белом мелькании ручей.

— Экк... сожрали!

Постоял, поправил суму за плечами, махнул рукой и, не оглядываясь, пошел, презирая меня. Я виновато — за ним.

Мы долго карабкались, потом, цепляясь за деревья, спускались, опять карабкались. Уже пот каплями капал со лба, стучало в висках, а мы все карабкались неведомо куда. Все так же недостижимо белели снега. На обнаженной каменистой лысине, наконец, остановились. Тот локтем отер пот с лица.

Неоглядно и бесконечно внизу засинело море. И от неохватимой дали оно было такое нежное, недотрагиваемое, тающее. Солнце стояло над самым краем, незлобивое, обезвреженное, затуманенное, и море в той стороне раскраснелось, как утром, но по-иному.

Рысьи брови стояли передо мною растерянно, руки обминали шапку, и лицо глупое, испуганное.

— Сделайте милость, не серчайте... Прощенья прошу, сделайте милость... Не держите зла... Согрубил, сердце сошлось! Не попомните зла на мне, дураке... сделайте милость!..

Он кланялся, опуская голову почти до колен, кланялся, не прерывая.

— Сделайте милость... Прикажите, на коленки стану... По необразованию моему, мужичьему... одно слово... хряп...

— Ну, да ладно.

— Прикажите, на коленки стану... сделайте милость.

— Ну, да хорошо... ладно... Как вы узнали... откуда вы узнали, что они гонят?

Он стоял все с виновато непокрытой головою.

— Как же! Завсегда волки в такие места вгоняют. Так козла волк не настигнет, где ему! — вот он хитростью его. Где ущелье жерлом выходит, обсядут по сторонам, а другая компания гонит. Козы кинутся влево, чтобы в лес, оттуда зараз волки; они вправо — и оттуда выскочут, и сзади гонют — ну, тут козе каюк. И ведь сволочь серая: беспременно в такую щель, что козлу выскочить некуда. Человек хитрый... Да он те, зверь, десять очков даст вперед.

— Да откуда же вы узнали, что именно сейчас тут гон?

— Да так. Услыхал — козленок заверещал, махонький, отстал, они и сцапали; заверещал,— ага! Стало быть, гонют. Места-то я знаю. Тут дураком не будь, с прибылью бы были. Козел да пять коз, мяса на целый месяц, опять и шкуры, мех худо-бедно по зелененькой. Я же те кричал: «Бей волков!..» — Он сердито нахлобучил шапку.— Стои-ит, губы распустил... Истукан! Лупит по козам... Козе деться все одно некуда, коза — наша, а волков надо было отогнать... Который понимающий человек, ему замечание одно, а который с приглупостью, мамка уронила, тому хочь кол застругай на башке.

Он опять с ненавистью отвернулся и стал смотреть на море, а я молчал.

Он постоял немного, потух и опять засуетился.

— Садитесь, садитесь, сделайте милость... вот суды, на камушек... Камушек гладенький, не хуже табуретки... Подзакусим чем бог послал!.. А вы говорите, водки не надо. Как же без запасу... Вот, теперешним бытом сдохли бы с голоду... Козы сами просились в рот, кабы дурака не сваляли... Дураками-то хоть пруд пру... Гм... ну, да... я не про то... Гляньте... гляньте!.. солнышко-то, уголек красный, прямо в море опущается... кра-аснень-кий краюшек, зараз потонет, зашипит... Ей-богу!.. Что вы думаете? Горцы которые, они, может, тыщи годов тут живут, знают, сказывают, как потонет краюшек, так зашипит... от воды...

Он наставил ухо, насторожив кисточки бровей и скосив глаза. Красный уголек померк.

— Слыхали?!! шшш... зашипело. Дивно!.. У нас в России энтого ничего не услышишь, не увидишь... Уточ-

ки кусочек, сделайте милость. Много нонче исходили с вами... Жареная... Огурчика...

На краю неба узко и длинно краснела полоса. Таким же узким отблеском краснело море.

Не было теней. Лесистые хребты внизу мглисто задремывали. Сверху веяло снеговой прохладой. В прозрачном воздухе все выступало еще в красках, и вечерняя тишина благословляла горы.

Мы усердно закусывали, расположившись на вековом камне, когда-то низринутом с вершин.

— Они, сукины псы, тут в горах все насквозь знают, каждую щель, каждого зверя. Под землей на три аршина видят. Ехидные супостаты. Прошлой зимой денек выдался свеженький. Выглянул, трошечки запорошило снежком. Дай, думаю, покеда не потаял,— к обеду потает,— дай, думаю, пройдусь по шаше, зайчишек постреляю: их тьмы там на шаше по обочинам, в кустах, по канавам. Иду это, ружьишко, вот эту самую двустволочку, на руку положил стволами вперед,— дескать, выскочит, так приложиться сразу. Да, иду это, поглядываю, никакой это у меня философии нету, так просто поглядаю... Пирожка, пожалуйста, колбаски — домашняя; жалко, не пьете, растворяет пищу, препятствует завалам... Да, поглядаю, абхаз навстречу. В бурке, папаха, кинжал у пояса, идет легко этак веселыми ногами... Легко ходят, надо сказать... Н-да, я себе без внимания. Идет, глаза опустил, на носки себе смотрит. Невинный младенец. Поравнялись, он — цоп! За стволы ка-ак рванет... Думал вырвать сразу. Нет, стой!.. Удержался я, оправился да ка-ак к себе рвану, он аж навалился на меня. Ну, уперся да к себе меня опять, а я к себе, а он к себе, так и зачали качать друг друга. И каждый знает: ежели энтот вырвет, так энтому весь заряд. Дергаем, никак не одолеем — ни он, ни я. А у него глаза, как у ястреба, и усы рыжие подстрижены. И все норовит рукой за кинжал, да я не даю,— только за кинжал, а я как дерну, он опять ухватится за ружье. Взъярился я, в глазах позеленело. А уж ежели я взъярюсь, быка сверну, ничего не разбираю. Собрал силу — ка-ак дерну!.. А энтот прохвост видит — не сдюжает, пустил. Я так и задрал ноги, зад ему показал, а он, сколько видно, по шаше пустился, и-их засеребрил! Ну, я вскочил, приложился: ах-ах — из обоих стволов в спину ему. Да разве

возьмешь дробью бурку! Залился, сколько видно было. Не-ет, тут палец в ро...

Он пресекся на полуслове, глаза округлились, и пальцы и кусок колбасы так и остались около раскрытого чернеющего рта. Я застыл в полусогнутом положении, гляжу. И хотя не слышал — чувствовал, стоит непроизносимый шепот:

— Не ворочайся... не ворочайся...

Хозяин не шевелился ни одним мускулом.

Из-за края, на который, перегибаясь, выбиралась каменистая тропинка, показалась темная длинная с короткими ушами медвежья голова, потом мохнатые плечи и вся длинная неуклюжая, снизу в бурых лохмах туша. Медведица шла, не глядя на нас, мерно покачивая головой, точно соглашалась с какими-то своими особенными мыслями, и от тяжелой поступи выступали и прятались по очереди в плечах лопатки.

За ней высунулась такая же темная, но гораздо бо̀льшая, голова медведя, поднялось постепенно огромное черное туловище, и от тяжелой поступи так же выступали и прятались, шевеля шерстью, лопатки. Он грузно шел за медведицей, повторяя все ее движения, так же мерно покачивая головой, слегка справа налево, не глядя на нас отлично видящими с искорками ненависти глазами.

Я все так же неподвижен в полусогнутом неловком положении, и все так же пальцы и колбаса перед чернеюще открытым ртом хозяина, и на старом мшистом камне закуска, откупоренная полбутылка, недопитая с выщербленным краешком толстая рюмка, два заряженных ружья на земле и револьверы в карманах.

А из-за каменистого края третья, но поменьше, темная голова и грузное с играющими лопатками тело.

Медведица была от нас уже шагах в двадцати, а из-за края один за другим выбирались медведи все меньше ростом, выбирались и шли гуськом, и шестой, самый последний и маленький, был комичен: полуоблезлая, побуревшая, клочковатая шерсть, кривые лапы, худые запалые бока, но он так же ступал человечьими стопами, так же, как медведица и большие медведи, мерно, в такт поступи, кивая головой на подвешенной на шарнирах шее слегка справа налево, и в этом сказывались особенные, свои собственные мысли: так же шел, не глядя на

нас отлично видящими глазками, и в них — искорки той же ненависти.

Пусть он был самый захудалый, слабый и паршивенький; пусть после брачных торжеств насытившихся любовью сильных на его долю достанутся только крохи ласк, пусть,— он все же будет неотступно следовать за своими соперниками, из которых каждый занимает место по рангу своей силы.

Была торжественность в этом свадебном шествии среди вековых сосен, у которых никогда не звенел топор, среди разросшихся ущелий, обрывов и скал, где никаких дорог, а только изредка намек на звериную тропу по лесистым хребтам, пустынно и дико протянувшимся от синеющего моря в глубь земли,— была торжественность, значительность и сила, каких не бывает у людей.

В десяти шагах, поравнявшись, медведица, все так же мерно покачивая шеей, повернула к нам голову. Бело оскалились зубы, глянули маленькие уколовшие глазки, в которых свое, звериное, понимающее: она коротко зарычала, пренебрежительно отвернулась и так же мерно в такт поступи качала шеей, играли лопатки, тяжело ступали человечьи ступни, только с когтями, удаляясь.

На том же самом месте, тем же самым движением повернул черную голову большой косматый медведь, блеснув зубами, глянул глазками, в которых — ненависть, зарычал и пошел, покачивая шеей, грузно ступая за медведицей.

Один за другим повернули головы и рыкнули, блеснув на нас белыми зубами, по порядку и остальные медведи.

Даже последний, никудышный, дойдя до отмеченного медведицей места, повернул к нам облезлую голову, глянул маленькими загноившимися глазками, в которых то же отчуждение ненависти, рыкнул мальчишеским старающимся баском: нате, мол,— и пошел, помахивая головой.

Каменистая площадка давно пуста, а мы сидим все в тех же положениях.

Хозяин быстро положил в рот колбасу, опрокинул недопитую рюмку и, торопливо прожевывая, засуетился:

— А?! Видал!.. Видал!.. Баба повела за собой, как на веревочке... Так-то — у меня: хожу за ней, как баран... сделай милость...

— Разорвать нас могли.

— Не до того им... Одно боялся, чтоб не заворочался, али не стал стрелять... Все зависит от бабы: не тронула, ну, энти не тронут. Как она велит, так они без прекословия. А ежели б она огорчилась, только бы мигнула,— от нас бы клочков не осталось. Э-э, брат, все от бабы, в какое царство ни сунься. Самая малая насекомая — и той баба верховодит. Да возьми меня. Встретился я со своей хозяйкой... Кушайте, сделайте милость: напрасно водочки не хотите, отлично кровь полирует... Да, с хозяйкой... Видал — субтильная, носик ровненький, ну, а как встретился, то — глянул — кончено, на веревочке, вот как эта самая прошла. И скажи на милость, теперь вспомнишь, самое наичудесное время было. И не то что там чего-нибудь, а просто от сердца, по совести. Скажи она: убей человека, не передохнул бы — раз! — готово. Не я один, и другие так табунком за ней и ходят, как за этой. А лютой я был,— полтора месяца в больнице вылежал: бутылкой голову проломил одному, так волочили. И чего, самое главное, глянешь на нее, а она хоть бы что, глазом не поведет. Ахх, ты, резвая!.. И не то чтоб отвернулась — нет, рассказывает, когда и засмеется, а только глядит, и свое у ней, в глазах сурьезность; глядит, а сама как будто скрозь тебя — не то ты тут, не то нету тебя, как все одно... За ваше здоровьице!.. Эх, матть честна, и водку нонче казенное ведомство искусственно стало выделывать: сороковка на двадцать на три копейки, а удовольствия на полтора целковых, даже в пятках загорается.

Я сидел спокойно и радостно. Может быть, оно так и полагается в кем-то предопределенном порядке в этой пустыне гор, среди каменистых обрывов, среди пахнущих смолою сосен, которые родятся и умирают своею смертью, не зная топора,— может быть, так и полагается, чтоб ходили медвежьи свадьбы и чтоб от расположения духа молодой зависело — лежать тебе в кровавых клочках или всей грудью вдыхать смолистый аромат разогретой за день хвои, тонуть глазом в поглощающих все больше сумерках, и чтоб непротиворечиво всему елецкий мещанин рассказывал о своей жизни.

Уже нет темной зелени дальних лесистых хребтов, а неподвижной стеной загораживают невидимое небо. Смутны, как видения, дремотно пахнущие сосны, потонул обрыв, сузилась площадка,— я да хозяин. Он торопливо закусывает, наверстывая, выпивает и говорит, говорит без конца, точно его зарядили.

А внизу за соснами бархатная ночь, и вверху ночь, ни одной звезды,— мягко застлано невидимыми безветренными молчаливыми тучами... А в этой черной ночи стоят горы. И стоит свой от века порядок, в котором всему — свое место: и нам с хозяином — свое и его неумолкающему рассказу — свое.

— Да, тупоносенькая. Рассказывают,— женишься, а она тебе делается все равно: кажный день видишь, кажный день жена тебе. Ну, это не так. Кажный день вижу, кажный день жена она мне, а я все распаляюсь. Ей-богу! Что ты?! Проснешься утром, глаза разинешь, перво — где она? Увидал — ну, отлегнет. И ведь до чего ненасытимо! И не то чтоб, а душой, просто сказать, сердцем хочь полозить округ нее да руки ей лизать. Скажи вопрос,— академия в тупик встанет.

Он чиркнул спичкой, и впервые вспыхнул огонек, крохотный, такой чуждый всему, что кругом. На секунду лишь проступили рыжевато заросшие изнутри ноздри, и опять все пропало, и опять лишь первозданная безграничная ночь, и в молчаливой тьме ее невидимо — горы, которые часть ее.

И человеческий голос:

— Э-э, браток ты мой! Разве в человеческую утробу вникнешь? Думаешь, красота? А что ж красивее не видал? Нету их, что ли? До чего есть которые с выражением. Картинка, и больше ничего. Не об том дело. Главное, глянешь на нее, а она, как дом запертый: окна заколочены, двери заколочены, а знаешь — живут там. Ходишь вокруг да около да прислушиваешься.

— Не любила?

— Кабы не любила, не пошла бы,— не из таковских. Гордая. Глянет — королева голландская, и все. Это, брат, не штука — бабу облапить, дело ежедневное, а вот в глаза ей хочешь заглянуть, да никак не видать тебе, чего за глазами, об чем она об своем,— свое у ней там. Вот она, брат, в чем профессия. И до чего это измызгало. Скажет что, ведро примет али самовар по-

даст, комнаты станет прибирать али, видать в окно, по двору идет, юбка белеется, а у меня все гвоздем вертит,— что такое? Вижу ее, говорю, а сам как один. И не то что,— все приберет с охотой по хозяйству, по домашности. Я в Ельце бараниной торговал,— бывало, в чайнике чайку принесет на базар, напекет пышек, а я без внимания, ссёть сердце, как глиста.

Он опять пыхнул огоньком, на секунду — ноздри, из которых выглянули волосья, и опять — темь, и опять безграничность, и опять невидимые, но чувствуемые громады.

Я почувствовал,— он в темноте встал на ноги, молча постоял и опять сел. И еще почувствовал — в этом человеке большое выросло, большое в странном соответствии с громадностью ночи.

— Кабы тебе рассказать, и рассказывать нечего, слов нету таких, а я хотел...— он, должно быть, наклонился, в черноте почуялось его пропитанное табаком дыхание, зашептал: — хотел удавиться... На чердак лазил, место приглядел, возле борова, балка под крышей, ловко захлестнуть; паутиной все заросло, а на паутине сажа. Так и решил: гокну ее рраз, чтоб сразу, не мучилась бы, а сам на чердак. И до чего дошло: ночью проснусь, возле меня спит, дышит, а я боюсь глянуть, на ее голову боюсь глянуть: так под локоть кто-то — сразу проломи, и не проснется, без муки, а перед глазами — боровок и паутина, а на паутине сажа, ну, вот стоит, как живое! Зажмуришься, а оно стоит; на икону зачну глядеть, а заместь иконы — паутина, а на ней сажа, и куда ни повернусь...

Почудилось, он опустил голову. Молчали.

Отчего беспричинно сердце болит? И не угадал ли елецкий мещанин, не тронул ли больно елецкий мещанин, торгующий бараниной? Отчего же? Ведь слышит же он, как зашипит, потухая в море, красный уголек солнышка.

Захохотала, забилась в истерике дама, да не одна. И хохотом ее, истерическим визгом, воплем наполнилась вся тьма, и мрачно и спокойно откликнулись во тьме горы. И откуда в ночных горах дамы, да еще истерические?

А мещанин сказал:

— Проклятые! Всю ночь не дадут покою.

И опять красноватый круг от папиросы бегло озарил бело метнувшуюся в глаза от неубранной закуски бумагу.

— Костер бы развесть.

— Не стоит. Полчасика посидим, на оленей пойдем. Со полуночи засядем. Место знаю,— по тропке к водопою ходют. Ну, только сидеть — ни дыхания.

А истерический визг, хохот мечутся во тьме.

Чудится в этой истерике окончание где-то разыгранной пьесы, бездарной пьесы, как бывает иной раз бездарная жизнь.

Впрочем, пустяки: просто шакалки в темноте надрываются хохотом и визгом.

— Выстрелить разве?

— Ни-ни-ни! И думать не моги! Хочь и далече, а ни один олень не пройдет на водопой,— ни дыхания.

Мещанин поднялся, и я среди темноты перестал различать черное пятно его смутной фигуры. А в темноте, как по мановению, смолкло. Беспредельная, ненарушимая тишина стояла неповторяемо среди ночи. Я не знаю, сколько прошло времени.

Захрустел каменистый хрящ под ногами, и возле черным пятном съежилась фигура хозяина.

— Слово такое знаю от них. Теперь ни один не подойдет.

Я привалился к камню и, глядя в темноту, стал думать о своем, сидя на твердых голышах.

Он хозяйски пошуршал скорее угадываемой, чем смутно белевшей в темноте бумагой, убирая в сумку провизию. Потом тоже привалился к камню спиной, слабо озаряя папиросой.

— В лесу-то помягче, иглы,— хорошо бы прикорнули.

— Так пойдемте.

— Нельзя, уснем, проспим. К полуночи можно тронуться. Тут небось не уснешь,— проговорил он насмешливо.

Не хотелось лезть за часами, да и темь была ровная, сплошная, без времени.

Мещанин завозился и потушил папиросу.

— Слыштя, а теперича видали ее: ходит, поджавши губы, глаз с меня не сводит, а я вот до вас удрал. А? Она и не видала, обманул. А ее хитрей, как зверя, обой-

тить. Там приметливая да хитроглазая — соринку не упустит.

Мне хотелось думать о своем; впрочем, пусть себе! В стороне справа пронеслось шорканье,— птица, что ли?

Где-то теперь медведи? Где-нибудь устроились в трущобе, и, должно быть, все той же компанией.

Мещанин придвинулся; в темноте я не видел, но чувствовал его расширенные глаза.

— А с чего началось,— странно зашептал он.— Единожды так-то стала на коленки у постели, взяла меня за плечи, отодвинула, смотрела-смотрела да как заплачет. Я туды-суды. «Вы чего, Лукерья Петровна?! Ай недовольны? Ай изобидел кто?» Плачет-разливается, слова не выговорит, все держит меня, все смотрит, слезы заливают ей глаза. Потом прилипла, вот не оторвешь. Да я что же, я с удовольствием... А она, как повитель округ жердочки.

Замолчал. И все та же темнота и все те же горы в темноте — невидимые и молчащие.

— Да. С того и пошло. И будто ничего, стали жить еще ласковее, а у меня солоно во рту сделалось, до чего солоно, аж слюна бегить — одно слово, язык распух. Ей-богу, не поверишь. И как сказать, стал вспоминать прошедшее время, слышь, хотел удавиться, а теперь оглянусь, а золотое было. И весь я прежде, как пружиной был, как сжали меня,— вот так, вот распрямлюсь до разу, зашибу кого. Да, а после того скучно стало, и во рту солоно,— баба как баба, как прочие бабы; так же ревнует, так же меня желает...

— А раньше не так, что ли, было?

— Так было, да не так. Да она, бывало, слова там про баб али про девок не скажет, куды-ы! В гордости непомерной бровью не шевельнет, не подумает, куды-ы! Да мне и в голову не приходило хочь вполглаза на девку али на бабу оком накинуть, хочь тебе писаная краля — без надобности, как их не было. А теперича... хо-хо-хо... х-ха... ххо-хо-хо!..

Он корчился тут возле меня у камня в темноте, а в горах, таинственно-невидимых, кто-то хохотал необузданно, перекликаясь, отдаваясь все дальше и дальше, замирая в этой густой неподвижной глубокой тьме.

И, задыхаясь, перехватываемый, сказал:

— А теперича... кобеля кладу в кровать.

«ФОКУСНИКИ»

«ХОЛОДНАЯ РАВНИНА»

— То есть?

— Да так. Видали, у нас цунек бегает? Лопоухонький, на волчонка похож, с хвоста кудластый, из себя серый. Ну, видали? Так вот его... хо-хо-хо-хо!..

Я посидел и пожалел, что не курю.

— Видали, нонче стегнул девку кнутом? Это я для отвода глаз. Девок-то моя запирает на ночь в сарае на замок, а ключ к себе. Вот ягода! Запрет, и нá, ей-богу! Да рази их запрешь? Им посули полтинник, так они те крышу разберут, ей-богу! Разберут крышу да и в дирю, как кошка. А ведь это мне убыток. Как вы думаете? И до чего, сороки, наловчились: залезет позадь дома в кусты да по-шакаличьи,— чистая шакалка, так и выводит голосом, не хуже, как эти зараз. Но тут уж не улежишь! Али улежишь? А, между прочим, моя-то ехидина, чуть половица скрипнет: «Ты куды, Гарасим?» — «Да никуды... (чтоб ты сдохла!) блохи кусают...» Прислушаешься, она носом этак тихонечко: ти-и, ти-и... а сама как кошка: один глаз спит, а другой глядит, ей-богу! Измучит, проклятая... Да что! Извините за выражение, до ветру встанешь, и то зараз: «Ты куды, Гарасим?» Ах, тты!! Так всю ночь... А под зорю сон-то сомлеет, я поманю Шарика, влезет он на мою кровать, положу, накрою одеялом, оттреплю за ухи: лежи, мол, ни гу-гу! А сам в окно. Моя-то нет-нет, откроет глаз, глянет, а Шарик под одеялом ворочается, блохи собачьи кусают,— и опять заведет глаз: тут, мол.

И вдруг злобный голос в темноте:

— Оседлать вздумала... На-кось, выкуси!

А ведь для него не просто солнце садится в восемь часов вечера, а красный уголек зашипит в море, и он слышит.

Может быть, теперь уже полночь, и олени ждут.

Ничего, посидим молча в этой заполненной темноте — такой чуждой и такой близкой, родной.

Тот вздохнул и, должно быть, подперся рукой.

— Дочка ко мне приедет на каникулы... Как же, как же, во втором классе, одиннадцатый годок. С аттестатом, сказывают, переведут; в прошлом году с аттестатом перевели, архиерей собственноручно аттестат выдал при всем генералитете; понятливая больно — с лёту... без промаха... Строгая, молчит, глаза серые, чистая мать. Вот приедет... Тогда опять... Чудно делает-

ся. Хожу я, хозяйка моя никакого внимания. И не то что серчает, а просто глядит скрозь меня, как я стеклянный, все позадь видит, а меня нету. Да хочь я на тот свет залейся, ей все одно. Ну, вот точь-в-точь как прежде, а? Скажи на милость. Хожу вокруг да около, заколоченный дом, и знаю — живут там, а в каком смысле — мучаюсь. Опять же для утешения думаю — баба, обыкновенно, а тоска ссёть. Глядит на дочь, у них там свое, и глаза живые, а на меня скрозь.

И раздраженным, крикливым голосом, в котором зазвенела злоба ко мне, бросил:

— Думаешь, девки! Да ну их к черту! Чтоб они передохли! Думаешь, так, для отводу глаз? Я их, стервов, луплю, аж кожа лоскутами...

По смутным движениям я почувствовал — он крестится в темноте, и недовольный голос:

— Не к ночи будь помянут. Айда на тропу!

Он поднялся, выросши темным пятном. Я шел шаг в шаг, с трудом глядя в черноту его качающейся спины. Все та же тишина, все та же темь и те же невидимые, все наполняющие расселинами, скалами, пропастями горы.

В лесу лезли через бурелом, цапали шипы. На четвереньках карабкались на невидимые кручи, и я поминутно хватался за сапоги моего хозяина. Я одного смертельно боялся,— потерять это черное мелькающее в темноте живое пятно. Почем я знаю, как он разбирается в этой кромешной тьме? Иногда я скатывался за ним на спине.

Он остановился, торопливо дыша, и я обрадованно подошел вплотную к нему: тут, не упустил. Постояли. Мне казалось, он хочет сказать: «Тоска ссёть»,— но он ничего не сказал, и мы пошли дальше.

Я мучительно устал. Казалось, не будет конца этой ночи, этим невидимым кручам, этому горному лесу, молчаливому, безымянному, как пустыня.

Выбрались, должно быть, на плоскогорье, и долго шли по ровному месту, скользя в прошлогодних хвоях, и у самого лица проходили чернеющие стволы сосен.

Над самым ухом едва уловимый шепот хозяина:

— Тут... Ни дыхания! —исчез, и я больше не видел.

Я пошарил руками по скользко устилавшей невидимую землю хвое, сел, прислонившись спиной к шершавой коре неохватимой сосны, поставил кверху колени, между коленями положил ружье,— устроился, как дома, и стал ждать.

Чего? Оленей?

Нет,— покоя, тишины, душевного покоя и тишины, которые придут и сольются с темным покоем и тишиной, первозданно разлитыми кругом.

Долго ли тянулась эта спокойная, важная ночь — было все равно. Спокойно дышалось, и плыл тихий теплый смолистый запах распаренной за день и все еще не остывшей хвои. Точно кто-то беззвучно дышал, и его теплое дыхание неслышно наплывало смолистым ароматом.

Потом на секунду тот задерживал дыхание, и кто-то другой дышал холодным чистым дыханием с покалывающим запахом девственных снегов, а временами, тонко пробегая, как узкий зигзаг, возникал живой звериный запах,— лисица ль в темноте посылала мускусный дух своего хитрого тела или чистоплотный барсук,— но это мимолетно. И опять тихое дыхание теплой хвои и строгое дыхание снегов.

Сладко забывающейся дремотой дремлется. Кто-то толкнет: не спи!

Вскинешь глазами — а?! Нет, ничего — это смолой пахнет, прошлогодней хвоей, сгнившей корой; или сверху из беспредельной темноты хлынет ясный, отчетливый холодок снегов, и опять дремота, и черные сгустки ночи —не то деревьев, не то тучи всюду.

Я нагнулся поправиться. И у самых ног из глубины, из черной бездонной пропасти, о которой я не подозревал, разом поднялся неуловимо быстрым движением человек; он был смутен и неизмеримого роста, потому что голова его пришлась у самых сапог моих. Мы с секунду оставались в одном положении. Потом я откинулся, и он исчез в черном провале тем же мгновенно неуловимым движением.

Ничего... Нужно только переждать, пока сердце перестанет судорожно колотиться.

Я долго сижу, и стоит темная пустота — уже не слышу ничьего дыхания.

Долго сижу без времени и знаю — если нагнусь,

опять неизбежно произойдет то же. И я нагибаюсь, и из провала неуловимо подымается человек; откидываюсь — он исчезает в черную пропасть.

Опять долго сижу. Не странно ли — кругом все ведь такое, как было: тьма, во тьме горы — и, может быть, они только притворяются, что спят. Я на самом краю черной невидимой пропасти; не шевелю ногами, чтобы туда не посыпалась земля. Даже если придет утро, я не знаю, что оно принесет.

Сколько бы ни ждал, я знаю — повторится то же. Тогда нагибаюсь и смотрю; *он* подымается, и голова его неподвижна. Я гляжу, но не могу разглядеть — вижу только темный абрис. Долго гляжу, неглубоко дыша.

И вдруг глаз поражает тоненькая лучистая звездочка на самом дне провала. Быстро подымаю голову: вверху, в темноте точно такая же звездочка.

Торопливо сую ружьем в бездну — чернота ее заколебалась, запрыгала и исчезла звездочка, задрожал и пропал человек. Сунул руку — влажно, обежал пальцами — огромный выгнивший пень, и в середке вода от дождей, отражающая меня.

Только-то? Стало скучно. Прислонился, закрыл глаза и долго сидел. Ждать-то нечего. Когда-то люди были счастливы по-звериному. Когда-то будут счастливы, но... иначе.

И вдруг огромным усилием воли я попытался унестись на крыльях сна туда, где елецкий мещанин слышал, как шипит в море краешек красного солнца, где из черной бездонной пропасти неуловимо мгновенным движением подымается человек несказанного роста. Но туда не унесешься.

Между просветами черных сосен чуть зазеленело утреннее небо с погасшей звездочкой.

ХОЛОДНАЯ РАВНИНА

Лежала неподвижно холодная снежная степь, и стояла над ней одинокая луна и робкие при луне, дрожащие звездочки. Чистое, без пятнышка, чуть голубоватое небо, казалось, снежно искрилось.

С той высоты, откуда холодно глядела луна, такая спокойная, открывалась вся безбрежная зимняя равнина, смутная и безгранично теряющаяся.

Мириадами голубоватых искорок играла она, мириадами переливающихся искорок первозданного холода. И не было на ней живого пятна, нигде не светился огонек человеческого жилища, не подымался незримым движением белый теплый дым, не скрипел снег под ногами.

Но откуда-то шла тонко-незримая волна потерявшейся среди первозданной ночи теплоты. Точно безгранично малый комочек незримо теплился, затерянный на необозримой морозно-играющей равнине.

И от этой неведомой, неуловимой теплоты поколебались звезды и расплылась луна. А равнина стянулась небольшим снежным пространством, и зажглись окна человеческого жилища.

Это был просторный, вроде помещичьего, дом, сквозил по окнам тюль, ходили по освещенным комнатам люди.

И он подошел к ней, склонившейся обвитой черною косою головкой над освещенной из-под абажура книгой.

— Нравится?

— Знаешь, милый, произведение то достойно, если в нем есть закон жизни... то есть... ну, например... Видишь, если человек один и отдает себя другому, то это закон...

Он наклонил голову. Он понимал. Он понимал не эти не совсем складные слова, а понимал то, что всегда было: спокойствие, ровность, что оба они любят друг друга и что в соседней комнате, на кроватке, разметался их крошка.

Это случилось так, как всегда случается: юноша и девушка встретились, полюбили друг друга, и теперь — семья. Каждый день уходил такой спокойный, наполненный, удовлетворенный.

Мальчик рос. Друзья, родные, окружающие люди несли им те человеческие отношения, которыми только и полна жизнь, которые только и дают ей смысл. А книги, а искусство, а мысль, как цветы, как благоухающие цветы, красивыми пятнами проступали по ней.

И они никогда себя не спрашивали, чего бы они хотели, потому что наполнен был их день.

Однажды не было мороза, не было спокойной, мертвой луны, а стоял летний день, жаркий летний день.

Не шевелились сквозные узорчатые пятна по песку дорожек, потому что не шевелилась в дремотном зное листва. От крыльца, от дома лежала по земле короткая, обрезанная жаркая летняя тень.

А на крыльце шумел послеобеденный самовар, звенела посуда; в белой сквозящей кофточке, с головкой, обвитой черной косой, сидела жена, шуршал газетами он, и, зыбко становясь столбиком на голенькие ножки, с подоткнутой рубашонкой, с удивлением смотрел крохотный, пухленький и беленький человечек на самовар, на посуду, на мать, на отца, на мгновенно влетающих под потолок черных ласточек, на жужжащую в паутине муху и говорил, заложив розовенький пальчик в полуоткрытый ротик: «Тце-тце...»

И все улыбались и кивали головами в знак того, что это полно особенного смысла, а дебелая, с перетянутой грудью няня смотрела важно и торжественно, как королева в своих владениях.

И закурилось далеко на дороге, переваливавшей через гребень. Смутно закурилось, и не разберешь — стадо ли идет, едет ли кто, или степной ветер закрутил и поднял придорожную солому и пыль.

Все посмотрели и отвели глаза, и стоял зной, который говорил, что жизнь медленна и хороша в своей медленности.

— Тце-тце...

А облачко пыли катится все ближе и ближе. Уже различишь колеблющуюся дугу, мерно потряхивающую в дуге лошадиную голову и в сером бегущем облаке — небольшой тарантас и смутно проступающая голова кучера и седока, которые временами совсем тонут, и ничего не разберешь.

— Кто-то едет.

— Должно быть, со станции.

— В деревню.

— В деревню они давно бы уж свернули.

— Посмотри, да ведь к нам!.. На плотину сворачивают.

И через минуту смех, крики, суета. Из тарантасика слезает в сером от пыли парусиновом балахоне девушка. У нее серые смеющиеся глаза, серые волосы — нет, каштановые, это пыль насела.

— Ле-оля!.. Ты!.. Вот не ждали-то...— И черноволосая, обвив руками, страстно целует сестру.

Та тоже не оторвется и смеется, и слезы звенят.

— Господи, я уж думала, не увижу вас... Маруся, дорогая моя, отчего ты так редко писала?.. У нас лошадь дорогой распряглась, я чуть не побежала пешком... А если бы знали, сколько сусликов в степи...

Она крепко целует зятя и вбегает по ступенькам.

— Боже мой, да это Юрик!.. Да неужели он?.. Да неужели же такой большой?.. А ножки-то, ножки, голенькие... Миленький ты мой... славненький ты мой... ненаглядный...

А он так же важно, сосредоточенно и вдумчиво, держа палец во рту и делая круглые глаза:

— Тце-тце...

Та так и раскатилась заразительно и подмывающе:

— Да он говорит... Да он говорит, моя крошка!.. Да вы слышите?.. Слышите, господа?.. Няня, милая, слышали?

— Тце-тце...

Она схватывает его, тормошит, танцует с ним, покрывает его тепленькое тельце звонкими поцелуями.

Девственная радость и напряжение не испытанного еще материнства брызжут в ее искрящемся смехе, искрящихся глазах и разгоревшемся лице.

— Ну, повтори, повтори, мой милый, моя прелесть... повтори... скажи: «Те-ття!»

— Ты его затормошишь, Леля.

— Да сядь ты, пожалуйста. Пей чай и расскажи нам про столицы.

— Ну нет, надо сначала умыться и снять с себя пуды пыли. Посмотри, волосы какие-то серые. А у вас хорошо тут. Ужасно люблю этот неподвижный послеобеденный зной. Ну, бегу. Я у тебя, Маруся.

— Там все есть.

Слышно — из спальни доносится шум воды, плесканье, плещется как утка. Потом все трое сидят за самоваром, и она со своими влажными приглаженными волосами и с свежим, зарумянившимся лицом рассказывает о шумной столичной жизни, о литературных, политических новостях, в промежутках схватывая и целуя «Тце-тце».

— Я желаю эти два месяца отдыхать, ничего, ничего не делать, не читать...

— Не мыслить, не чувствовать, не быть,— подхватывает Николай Иванович, прихлебывая чай.

— Варенье будем с тобой варить,— говорит Маруся.

— Купаться, а главное, с «Тце-тце» гулять, бегать. Ну, отчего ты, как желе, весь трясешься? Побегать с тобой нельзя? Кто у вас бывает из соседей?

— Да вот Петр Иванович наезжает. А у Колосовых два студента. Вот тебе и весело будет.

— Ну, ни за что. Я от всего питерского хочу освободиться. Студенческую тужурку видеть не могу... Впрочем, пожалуй... Познакомиться... только познакомиться... А вы, Николай Иванович, точно выросли, больше стали... А загорел-то!..

— Походила бы ты так по жнивью в жару. Это тебе не Питер, не Невский.

...Жизнь потекла, как прежде. Тот же долгий летний день, те же желанные вечерние тени, те же чудесные звенящие ночи, то переполненные звездами, смутные и таинственные, то бесконечно посеребренные,— и тогда никто не хотел ложиться спать, и гуляли по степи, и за ними неотступно ходили лунные тени, или часами сидели на плотине и слушали, как звенят серебряно падающие капли и тихонько моет вода под неподвижно стоящими, черно-дремлющими колесами.

И казалось, так и надо было, чтобы приехала тройка и чтоб жизнь шла так же, как прежде, ничем не нарушаясь.

Раз набежала тучка, и посыпался дождь на жадную землю. Тогда зажгли лампу, все уселись за большим освещенным столом на террасе, и с двух сторон черной непроглядной тенью стояла ночь, и в ней слышался невидимый дождь.

Читали только что полученную книжку журнала. Николай Иванович читал, покачивая заложенной на ногу ногой и прикуривая от времени до времени тухнущую папиросу.

«Когда на море стала ночь, во мраке где-то бесконечно далеко загорелся тонкий зеленоватый огонек. Люди перегнулись через борт и измученными глазами гляде-

ли не отрываясь, одного бесконечно страшась, что он потухнет... Как густое черное масло, подымала и опускала их во тьме волна...»

Он поднял глаза: два глаза, два серых глаза пристально, не мигая, глядели на него. Он на секунду опустил глаза на освещенную книгу, поднял, опять опустил и стал спокойно читать.

«Так вот что!..»

Барабанил дождь. Спокойно, не нарушаясь, продолжалось чтение.

С тех пор началось... В сущности ничего не произошло, ничего не изменилось. Так же начинался каждый день, так же стояло безоблачное небо, так же в горячей степи шли работы. Так же собирались за вечерним чаем, и за столом белели сквозящие кофточки, и одну голову облегала черная коса, а другую обрамляли каштановые волосы. Перебрасывались шуткой, смехом, играли с «Тце-тце», таким же серьезным и сосредоточенным и дрожащим на толстеньких ножках, как желе.

— На будущий год попробую искусственное бактерийное удобрение, уже списался с представителями в Германии. Леля, отчего ты не берешь иноходца? Ведь ты же так хотела ездить верхом. Я приказал Семену всегда держать наготове для тебя.

— Не хочется. Вот вы носитесь со всякими вашими удобрениями. Скучно. Люди должны научиться искусственно приготовлять пищу на фабриках, как приготовляют на фабриках платье, а поля, леса, луга оставить для красоты, для поэзии, для зверей, птиц — для людей, чтобы они с природой...

— Живет в Петербурге, в самом прозаическом каменном городе, а сама мечтательница.

Голос Маруси спокоен, ровен, как ровны спокойные красивые, черно обрамленные карие глаза. И в этих приспущенных ресницах — медлительное и чуть ленивое, и полудетски обрисован подбородок.

— Везде кругом высокая, высокая трава, по оврагам, по балкам дремучий лес, звенят ручьи... Николай Иванович, вы в нынешнем году будете в Петербурге?

— Нет, мы эту зиму месяца на два в Киев. Маруся, вели подать масла.

Со степи неслась песня. Девки ворочались с работ и голосили, но расстояние, но молчаливо лежащая степь

смягчали, и сюда доплывала мягко и грустно девичья печаль и тоска.

«Так вот что...»

Куда бы ни оборачивался, что бы ни делал, с кем бы ни говорил, два серых глаза немеркнущим представлением стояли перед ним.

Он утомлял себя, безумно много ходил по степи в жару, в палящий зной, но так же внимательно, не отрываясь, не потупляя взора, стояли два серые глаза.

И он стал защищаться.

«Но ведь я люблю Марусю. Она — чудесный человек».

Тогда молча, не приводя никаких доводов, проступали серые глаза. И то, что проступали без усилий и никаких не нужно было им доводов, было страшно.

Тогда он опять защищался. «Я люблю Марусю. У нее чудесная душа и полудетский подбородок. И что-то еще детское в ее лице, движениях. Бесконечно дорога ее милая, как вороновым крылом, повитая головка...»

«Ну, так что ж!..» «Но ведь они — погодки. В сущности Маруся почти девушка и по душевным своим движениям, и по внешнему своему облику».

Он ловил себя на этих мыслях и со страхом, ужасом и отчаянием мял их и давил себя работой и внешним напряжением.

Но несмотря ни на что, несмотря на то, что жизнь текла все в том же мирном и покойном, раз определившемся, ничем не нарушаемом порядке, подавляемые мысли воровски, неуловимо-извилисто, точно смеясь, втихомолку выползали и понемногу овладевали им.

Маруся для него была единственна. Весь мир распадался на нее и на всех остальных. А теперь рядом с ней неуклонно, спокойно и неустранимо всегда появлялась другая фигура, чуть ниже ростом... каштановые волосы... серые, спокойные, внимательные глаза, и в них затаенность: не то искорки дрожащего смеха, не то непотухающей печали.

А раз она сказала:

— Боже мой, как время безумно летит,— скоро надо уезжать.

Он посмотрел на далекий изволок, по пыльному гребню которого, как игрушечные, длинной вереницей

тянулись арбы, доверху нагруженные хлебом, на ток, где без устали гудела паровая молотилка. И проговорил:

— Да, время уносится, и ни одной секунды не вернешь.

С этих пор он стал угрюм и молчалив. Точно все свое внешнее внимание он отдал всему, что совершалось кругом, но замкнулся и вечно прислушивался к тихой мелодичной печали, порою тоске, что, никогда не затихая, звучала в сердце, звучала небольшою фигуркой... каштановые волосы... серые глаза...

Вот пришел и последний день. У крыльца запряженные лошади. Последние поцелуи, блеснувшие слезинкой глаза, просьбы, наставления, последнее прости. Она схватила «Тце-тце», окрепшего за лето, уже не шатавшегося, как желе, покрыла безумными поцелуями, а он схватил ее ручонками, и обслюнявил ее лицо, и проговорил: «Те-ття!..»

Порывисто обняла сестру, крепко, как брата, как родного, поцеловала Николая Ивановича и торопливо взобралась в экипаж. Лошади тронулись.

Все было, как всегда бывает при отъезде. Но в последний момент, в самый последний, она обернулась, и на секунду на нем остановились серые глаза... Что это? Не безграничная ли печаль в них?.. Не слезой ли тоски и отчаяния блеснули?..

Но уже далеко за экипажем катится клуб пыли... Все меньше и меньше... Покрутился на верхушке гребня и... пропал.

Пустая степь.

«Ага, так вот что!..»

Далекий звук лопнувшей струны, никогда, никогда не умирающий...

Все проходило законной чередой — пришла осень с черными дождями, пришла зима, и побелела степь, потом все растаяло, приходили и уходили заботы, огорчения, радости, пришли в мир новые дети,— но все тот же звучал отзвук, тихий и умирающий: «Никогда!», но все звучащий через всю жизнь.

И среди ночи, когда и дом, и сад, и степь спали в молчании, вдруг отчетливо и ясно глядели грустные, спокойные глаза, и острая тоска впивалась в сердце; он садился на постели и начинал бороться, ибо хотел жизни, а не тоски, и воспоминаний, и печали.

«Но если бы *она* была моей женой, а приехала бы Маруся-девушка, тогда что же? Повторилось бы наоборот? И Маруся имела бы какую-то особенную цену? Видишь, как это все нелепо, надуманно, искусственно. Нужно выбросить из головы и жить здоровой и нормальной жизнью, какой раньше жил...»

И это было так убедительно, просто, ясно и логически неотразимо, что он совершенно успокаивался.

Но, дав ему маленький промежуток, без всякого вызова и повода, отчетливо, до осязательности, вставала маленькая фигурка, личико, обрамленное каштановыми волосами, и смотрели ясные серые глаза. «Вот я!»

И это опрокидывало все его доводы, все логические построения. Ясные серые глаза, внимательно на него глядящие... А что, если любящие?!

Он одевался, бросался из дому и бродил по степи, покрытой молчаливой темнотой, пока бледно и безнадежно не начиналось утро.

Благоуханный белый цветок, унесенный вихрем годов. Тонкий, тихо-печальный музыкальный напев, незримо звучащий в сердце.

Уж виски у него белели. Уже морщины легли на чело его жены. Уже скоро...

. . . .

Неподвижно лежит холодная снежная равнина, и стоит над ней одинокая мертвая луна и робко дрожащие звезды. Чистое, без пятнышка, небо холодно искрится.

С той высоты, откуда глядит луна, такая спокойная, мертвая и белая, открывается вся снежная безбрежность, смутно и безгранично теряющаяся.

И нет живого пятна, нигде не светится огонек человеческого жилища, не подымается незримым движением белый теплый дым, не скрипит снег под ногами.

1905 ГОД

ПО СЛЕДАМ

I

Из-за мелькающего снега на секунду проступали местами темные окна многоэтажных домов, столбы фонарей, запорошенные головы бегущих лошадей,— и снова всюду только одно белое, живое, изменчивое, угрюмо-веселое мелькание.

Мягко шли люди, и белели их черные одежды, беззвучно скользили на минуту чернеющие сани, словно это белое, весело-мертвое мелькание поглощало все звуки, все краски. Даже конки, вырастая движущейся громадой, катились глухо и мягко и сейчас же тонули в неугомонно колеблющемся, играющем белом воздухе.

Человек в черной барашковой шапочке, черном, белеющем от снега пальто, с наглым лицом и жадно устремленными вперед глазами, стараясь запихать в тесные карманы не влезавшие красные, иззябшие руки, торопливо шел по мягкой от снега панели, обгоняя прохожих.

Он шел странно, нервно и торопливо; вдруг останавливался, подходил к белому занесенному окну магазина, кося боковым взглядом, или тихонько и задумчиво шел назад, или внезапно срывался и, ускоренно дыша, толкая и обгоняя прохожих, бежал вперед, жадно стараясь проникнуть за эту неустанно мелькающую пелену.

Если бы люди хоть на минуту приостановились и обратили на него внимание, их бы поразили эти странные движения, но все по-прежнему беззвучно торопились со свертками, с покупками, сердито, озабоченно отворачиваясь от весело мелькавшего перед глазами и обтаивавшего на лице снега.

Возле огромного со сводчатыми воротами дома человек остановился и долго стоял. Потом стал ходить взад и вперед, стряхивая пластами наседавший снег, бегая глазами по прохожим и сторожко и чутко каждый раз взглядывая на глубоко зияющие под домом ворота.

Каждый раз, как кто-нибудь выходил оттуда, заставлял его быстро и напряженно оборачиваться; потом опять с разочарованным видом ходил взад и вперед.

Бесконечно мелькали прохожие, мелькали снежинки, проходили часы. Ноги от усталости подламывались, и хотелось есть. Представлялся трактир, рюмка обжигающей водки, тепло и уют знакомой обстановки. Днем в бильярдной бывает мало народу и приятно пахнет жареной рыбой. Кии глухо постукивают, зеленое поле простирается широко и ровно.

— Дуплет в угол!

Раз, раз!..

— Эй, челаэек... десяток «Експрессу»!..

От солянки идет вкусный пар и соленый запах. Зачерпнул и, следя, как дымится ложка, понес ко рту...

Из ворот быстро вышел высокий. Как ветром, снесло трактир, бильярд, солянку, вкусный запах. Бросился. Сквозь мелькание снега торопливо шли прохожие; толкался о них, но уже не выпускал знакомой высокой спины, высокой шапки. Странное, несознанное беспокойство торопливо билось, как будто сделал не то, как будто что-то упустил, ошибся, и кто-то, издеваясь, посмеивался.

Все так же толкаясь и ни на секунду не упуская в белом мелькании высокой, темно колеблющейся спины, он догнал и пошел по пятам вплотную сзади и обмер: спина была высокая, но вокруг шеи облегал бобровый воротник, а у *того* был барашковый; у этого шапка котиковая, а у *того* такая же высокая, но барашковая, и этот шел прямо, а *тот* слегка припадал на правую ногу.

И опять толкая и обгоняя, бросился назад к воротам.

— Нахал!..

— Что толкаетесь?

— В участок захотел...

Но он бежал что есть силы и остановился у ворот, тяжело дыша и испуганно глядя на их темное зияние.

Все то же бесшумное белое мелькание, поглотившее все уличные звуки, и, напрягая все силы, он старался

по неуловимым, не оставляющим следа признакам угадать, вышел ли *тот*, или нет, сидит ли *он* где-нибудь там, в этих бесчисленных комнатах огромных домов, или добыча верная, так крепко схваченная, бывшая почти в руках добыча ускользнула.

С отчаянием ходил перед воротами, то и дело взглядывая в их глубину, уже не принимая мер предосторожности, переходя от отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию. Время неумолимо проходило, казалось бесстрастно сливаясь с этим белым мельканием, ничего не изменяя, все так же не отдергивая пелены неизвестности.

Качаясь взад и вперед, как маятник, на небольшом пространстве перед воротами, усталый, продрогший и проголодавшийся, он минутами совсем решал уходить, но сейчас же насмешливо и зло вставало: «А вдруг там!..» И опять пять шагов вперед, пять шагов назад, опять сквозь белое мелькание торопливые прохожие, бесшумные, темно появляющиеся и исчезающие конки, белые лошадиные головы и темно зияющие томительной и злой насмешкой ворота.

От постоянной ходьбы, бесконечных поворотов охватывало равнодушие, тупое и усталое. Казалось, огромным кольцом вокруг бесшумно неслась улица, полная странной, молчаливо и темно мелькающей непонятной жизни. На минуту то там, то сям она проступала чернеющими пятнами, и ничего нельзя было понять, и опять был один белый колеблющийся воздух.

Стряхнул целый пласт насевшего снега с барашкового воротника и шапки, а когда был молодым неуклюжим деревенским парнем, так же стряхивал наседавший снег с вонючего рваного овчинного тулупа. Но и овчинный тулуп и деревенская околица, покосившиеся избы, скотина, березовый лесок на угорье, пашни, нищета и убогость деревенской жизни далеко и смутно маячили, а перед глазами — трепетное мелькание, и в этом белом мелькании темные проступающие и пропадающие пятна.

Было скучно, однообразно и томительно, и даже снег, утомленный этим однообразием, стал падать реже, и стали выступать по обеим сторонам улицы сплошные здания. И конки обрисовывались почти доверху, но катились так же мягко и беззвучно.

Было все бело. Когда из деревни попал половым в трактир, было самое тяжелое время, пока новая непри-

вычная жизнь жестко и беспощадно обламывала. Назад уже не было возврата.

С ног сваливающая беготня и работа с утра и до вечера. Кругом разгул, пьянство, деньги, смех, песни. И эта дурманящая жизнь стала нужной, неизбежной, не давала опомниться, и далеко потонула деревня. Служил кучером, в дворниках, лакеем, но не хотелось идти на фабрику, в мастерскую, тянуло служить у господ: господская еда, господское обращение, и всегда на чай.

Когда остался без места, долго голодал с семьей. Поступил сюда. Была трудная, тяжелая и опасная служба, но, когда удавалось словить, выпадали крупные деньги: тогда пьянствовал, гулял и жил в свое удовольствие.

Жизнь стала игрой, и только одного хотелось, отличиться, изловить. Он не думал о *них*, о тех, кого ловил, кем набивали тюрьмы; перед глазами только стояли высокие и низкие фигуры, разных форм шапки и шляпы, с малейшими признаками отличия в походке, к которым так наметался глаз.

II

Уже потускнел воздух, дома, терявшаяся вдали улица, откуда выползали и где терялись люди. Одиноко попархивали редкие снежинки. Сумрак вползал в улицу незаметно и предательски, и все молчаливо говорило о холодной надвигающейся ночи, в которой громадный город, блестя огнями, медленно замирал, свертываясь огромным клубком на покой.

— Ну... стало быть, идтить!..

Он прошептал это и с удивлением услышал звук своего голоса.

— Эхх, ты!.. Ну, что ж... упустил,— не спрашивай...

И, делая последнее усилие оторваться от гипнотизирующих и тянущих к себе ворот, повернулся и с щемящим ощущением пошел прочь.

Толстяк с огромным животом, с красными отвислыми щеками, шел, колыхаясь и отдуваясь.

«Обтрескался, черт!..» Сосала злоба. Шел понуро, ни на кого не глядя. По непонятному побуждению остановился и... глянул назад: из ворот торопливо и уверенно, чуть припадая на правую ногу, вышел высокий, быстро глянул направо, налево и так же быстро и реши-

тельно пошел в противоположную от остолбеневшего человека сторону. У него была длинная спина, барашковый воротник и высокая украинская барашковая шапка.

Сбивая с ног, в растегнувшемся пальто, дыша открытым ртом, кинулся за ним. Вцепился глазами в эту высокую качающуюся спину и теперь уже не оторвется, не оторвется, если бы его даже рвали на куски. Вытянув шею, с раздувающимися ноздрями, со сладострастием гончей, которой в чутко вздрагивающие ноздри вдруг ударил острый, захватывающий запах звериного следа, торопился он по пятам среди странных, чужих и ненужных людей, которых перестал видеть и слышать.

Шли по улицам, заворачивали в переулки, переходили площади, напряженно связанные, точно их было только двое среди огромного, сторожко и чутко примолкшего города. Улицы, бесчисленно темневшие окна зданий, зажигавшиеся фонари — все теряло свой прямой смысл и назначение и застыло во внимательном и напряженном ожидании.

На секунду у ворот они встретились глазами, и эти серые, сверкнувшие в сумеречной мгле глаза, маленькие черные усики немеркнущим представлением стояли, неотделимо связываясь с качающейся длинной спиной и большими, неровными, журавлиными шагами.

Все стерлось: ощущение голода, усталости; стояло одно только остро захватывающее, раздражающее ощущение близости момента, когда он схватит этого гибкого, упругого, сильного, с огромной сноровкой зверя.

Когда проходили перекрестки и посредине улицы смутно рисовалась фигура городового, этот момент был так близок, что сердце замирало. Стоило только свистнуть, и городовой бросился бы на помощь. Но он имел дело с редкой дичью: малейшая неосторожность, упущенное мгновение — и все пропало.

И они шли и шли под потемневшим небом по угрюмым улицам, на которых лежали тени, и тысячи холодных огней глядели на них чуждо и сурово.

Раза два терял из виду за движущейся толпой и, стиснув зубы, кидался вперед, готовый хоть револьвером прокладывать путь, и снова нагонял и снова, вцепившись глазами в качающуюся спину, ни на секунду не упуская, шел за ним, как приросший.

Не было конца улицам, не было конца зданиям, светящимся линиям фонарей, перепутавшимся в чудовищный лабиринт; не было конца темной, безликой, неведомо откуда выползавшей, неведомо куда вползавшей, чернеющей бесконечными звеньями толпе.

Фонари стали редеть, глядели тускло, уже не бросали широко на панель ослепительного света магазины, дома пошли ниже, с перерывами, темно глядели пустыри, и редко и одиноко чернели прохожие. А они шли.

Улица упиралась в поперечную, тянувшуюся глухим и длинным забором. Смутно рисовалась фигура городового. Когда длинная спина, качаясь, скрылась за угол, подбежал к городовому, показал значок. Городовой насторожился.

— Проходной двор... Беги наперерез, через... дворников... высокий, в высокой шапке — как свистну, хватайте... четвертную, а то больше... а я за угол сейчас...

И уже на ходу, задыхаясь, крикнул:

— Да смотри, ухо востро... а то...

Городовой, придерживая шашку, пропал в калитке.

На улице никого. Переводя торопливое дыхание, держа свисток у губ и сжимая в кармане револьвер, кинулся наискось по улице к углу.

Из-за угла по панели вывернулась навстречу зачерневшая фигура. Что-то стукнуло в груди, но фигура была ниже, в маленькой, приплюснутой шапке, и не припадала на одну ногу. Они быстро сблизились, и при тусклом свете снега и дальнего фонаря, не давая опомниться, сверкнули серые глаза и глянули маленькие черненькие усики.

И прежде чем успел выхватить револьвер или свистнуть, тот широко замахнулся. Инстинктивно закрылся рукой, но снизу неожиданно и со всего размаху пришелся тяжелый удар в челюсть.

На секунду взметнулся лучистый свет дальнего фонаря, угол стены, и, с мгновенным ощущением теплой полноты во рту от раздробленных зубов и перекушенного языка, опрокинулся и тяжело и глухо стукнул затылком о каменную холодную плиту.

Пусто. Смутно белел снег. Неподвижно и немо простиралось над улицей черное небо.

ОЦЕНЕННАЯ ГОЛОВА

I

— Так едешь?

— Еду.

Они курили, в промежутках прихлебывая густой застывший чай. Лампа из-под абажура низко и желто освещала разбросанные газеты, рукописи, книги, перевесившиеся через стул штаны, а выше абажура ровная пепельная тень поглощала незатейливую обстановку полустуденческой комнаты.

Молчал потухший самовар.

— Тебя всюду ищут.

— Знаю.

— Твоя голова оценена.

— Знаю.

Хозяин, с рыжей бородкой, в синей суконной, без пояса, рубахе, прошелся из угла в угол, сильно затягиваясь. Подошел к столу и ткнул в зашуршавший листок:

— «...Из достоверных источников мы получили сведение, что за поимку товарища Богуна правительство назначило три тысячи рублей...»

Гость усмехнулся и погладил небольшую, но густую и окладистую черную бороду:

— Дешево... Я думал, дороже стою.

Ничего не было замечательного в этой трехтысячерублевой фигуре, но все в нем было удивительно пропорционально. Грудь, плечи, руки, ноги — все было в меру, все было полно живой, упругой, сдержанно сквозившей в каждом движении силой. Лицо некрасивое; но злое добродушие, державшееся постоянной улыбкой в углах глаз, смягчало его.

— На юге снова провалы,— заговорил он деловым тоном, как бы желая сказать, что разговор на прежнюю тему исчерпан,— одного не понимаю, зачем эта кислятина, эти студни лезут в дело?.. Для того, чтоб фигурировать в статистике арестов?

— Милый мой, точно высчитано: средняя продолжительность работы — два месяца.

Богун быстро, упруго поднялся.

— А я тебе говорю, а я тебе говорю,— смегчавшая его лицо постоянная скептическая улыбка в углах глаз

пропала, и жестокостью, холодной и непреклонной, веяло от этих резко определенных черт,— я тебе говорю: «Через шесть месяцев правительство назначит за мою голову шесть тысяч».

Хозяин покачал головой. В соседней комнате укачивали ребенка, и мерно и неясно доносилось: «аа-аа-аа»... и поскрипывали кольца колыбели. Не отводя глаз, черно глядела темнота в стекла.

Богун ходил, заложив руки за спину, и думал...

— Наконец, если ты так скучаешь по семье,— проговорил хозяин, вертя над лампой потухшую папиросу,— так лучше выписать ее в какое-нибудь укромное место, куда и ты приедешь и поживешь. Ведь уж за твоей квартирой неослабно следят.

— То-то, что не скучаю,— усмехнулся Богун, продолжая ходить,— я уехал от них два года назад... Жена... Жену я... люблю,— проговорил он с расстановкой, как бы решая сам для себя этот вопрос и приглядываясь к воспоминаниям прошлого,— да... откровенно сказать, меня и не тянет туда... Жена как жена, хорошая женщина... Девочку я оставил крохотной, ей было около трех лет... я даже себе не представляю, что она теперь такое, ну... Нашему брату насчет семейной жизни... не до того... некогда, брат...

Помолчали. Всё поскрипывали кольца, и мерно, как маятник, усыпляюще доносилось: «аа-аа-аа»...

— Тогда я тебя не понимаю...

— И все-таки я поеду,— проговорил Богун, и добродушно-злая усмешка сбежала с лица, и было оно жестко, сурово и непреклонно.— Не понимаешь? Ну, просто... просто встряхнуться хочу...

— Ну-у, голубчик,— протянул хозяин,— имеешь ли ты право распоряжаться так собой? Ты принадлежишь партии, а не себе, ты должен считаться только с интересами партии, а не с своими капризами, и во имя партийной этики тебя всегда осудят.

Надменно зазвучал голос Богуна:

— У меня петля на шее, и рано или поздно я в ней повисну, а этого для удовольствия не делают, но никому никогда я не принадлежал, никому никогда я никаких обязательств не давал...

И, вдруг остановившись, насмешливо-злобно бросил:

— Этика... партийная этика!.. Я сам себе этика!..

II

Богун всегда спал крепким, глубоким и в то же время чутким в одном направлении сном, каким спят моряки. Грохот и шум, стоявшие кругом, его нисколько не беспокоили и не нарушали безмятежности сна, но присутствие нового человека, хотя бы он сидел тихо, не шевелясь, пробегало моментально, как электрическая искра.

И сейчас Богун вдруг почувствовал знакомое беспокойство, и первое, что он ощутил среди гула и тряски вагона, это — присутствие человека, которого раньше тут не было. Сквозь слегка приоткрытые ресницы, при зачинающемся утре, он увидел большие красные руки на коленях, огромное тело, большое, лошадиное лицо и внимательные бесцветно-водяные глаза. Из-под белобрысых бровей они неподвижно глядели на Богуна, не моргая голыми, без ресниц, веками. И было в этом внимательном взгляде водяных глаз что-то холодное и непредотвратимое.

Богун, медленно позевывая, открыл глаза, как бы не замечая визави. И сейчас же голые, без ресниц, веки сомкнулись под белобрысыми бровями, и большое тело колыхалось от тряски на скамье сонно и лениво.

«А-а, голубчик!»

Богун почесал переносицу, как бы соображая, спать ему еще или довольно, глянул на мелькающую в окне сырую, осеннюю черную землю и оглядел вагон: все так же в пыльном табачном дыму покачивались все те же фигуры пассажиров.

— Али женился? — слышалось сквозь дым и гул качающегося вагона.

— Женился... высокая да длинная...

— Вот не люблю, как высокая да тонкая.

— Тонкая да ухи большие, страсть не люблю.

— А по мне абы баба, в хозяйстве все одно.

— Дозвольте чайничек...

Богун бегло взглянул на *него*: все та же покачивающаяся массивная фигура, огромные руки на коленях и неподвижно затянутые облезлыми веками глаза. Но и сквозь веки, казалось, он глядел все тем же внимательным, бесцветным, водяным взглядом.

Богун захотел проверить: прислонился в угол, и, чувствуя тряску вагонной стенки, закрыл глаза, осто-

рожно глядя сквозь ресницы. И тогда тихонько поднялись голые веки, и бесцветные, водяные глаза снова, не моргая, неподвижно глядели на него, упорно, внимательно, разглядывая каждую линию, каждую черту лица.

«Да, это — *он*... сомнений нет»,— думал Богун, и ощущение злой усмешки проползло у него в душе. И тогда Богун смело и прямо глянул в глаза. *Тот* было закрыл, но сейчас же поднял веки и тоже глянул прямо и упорно,— нечего было скрывать, они поняли друг друга. Так с секунду глядели друг на друга два человека, потом спокойно перевели глаза и стали глядеть в окно на убегающую влажную землю, постоянно чувствуя друг друга, постоянно чувствуя завязавшийся узел жизни и смерти.

«Сколько нужно наблюдательности, сметки, характера, сколько потрачено выдержки, нервного напряжения,— думал Богун,— чтоб среди ежеминутно меняющегося людского моря открыть затерянную песчинку. И теперь этот, с водяными глазами, огромный, массивный, спокойно везет жертву, зная, что некуда деться, не ускользнуть, не вырваться из огромных красных рук».

И нет у него злобы, нет у него ненависти к преследуемому и открытому им человеку. Быть может, в глубине души он думает,— прав человек, которого он ни за что теперь не выпустит из рук, которого предает на виселицу. Только особенное чувство озлобленной любви, так знакомое охотнику, к не дающемуся в руки, ускользающему и манящему зверю, наполняло его.

Настоящая жгучая ненависть загоралась в этих водяных глазах, когда вставала личная опасность, когда преследуемый оборачивался, оскаливал зубы и мог укусить. Но были страшной силы огромные красные руки, в боковом кармане топорщился револьвер, и всегда бросятся на помощь все эти мирно разговаривающие о женитьбе, о чайниках, о дороге люди.

Богун опустил глаза. Он почувствовал спокойствие, холодное и жесткое, и такую же холодную, спокойную решимость. Кончится перегон, войдут жандармы, и бесполезна будет самая мысль о сопротивлении. Перевел глаза на сидящие на скамьях, покачивающиеся среди вагонного гула и говора в пыльном дыму фигуры. В простоте душевной, эти картузники, эти мужички с изборо-

жденными лицами, черные от черной земли, будут помогать вязать жандармам и человеку с водяными глазами.

А в окне все летела назад сырая осенней сыростью земля, и воронье над ней, и низкое бегущее серое небо. И два человека сидели друг против друга, и каждый делал неизбежное для него.

III

Богун поднялся и пошел из вагона. В дверях оглянулся. *Тот* тоже поднялся и пошел за ним.

Богун вышел в коридорчик. Тут стояло несколько человек. Рассказывали анекдоты, и сквозь гул поезда раздавались взрывы хохота. Богун быстро перешел через двигавшиеся, качавшиеся между вагонами чугунные площадки, из-под которых бешено рвался с удесятеренной силой грохот мчавшегося поезда, и быстро, чтоб разгорячить *того*, пошел по душному, переполненному сизым дымом другому вагону, цепляя торчавшие отовсюду узлы и чемоданы. *Тот* следовал по пятам.

Так они прошли два вагона, и Богун перебрался в коридорчик третьего, присев за открытой с площадки дверью. Никого не было. Показался *тот*. Он быстро глянул наверх, опасаясь, чтоб преследуемый не взобрался на крышу, и торопливо и осторожно перебрался между вагонами. В ту же секунду что-то с страшной силой толкнуло его. Богун, упершись в стенку коридорчика, изо всех сил хлопнул дверью и почувствовал, как под его напряженными руками тяжелая дубовая, окованная железом дверь глухо и массивно плюхнула во что-то мягкое. На секунду взмахнули в воздухе красные руки, и потом сквозь стекла, покачиваясь, ходила из стороны в сторону только зеленая стенка противоположного вагона.

Богун рванул дверь и наклонился между колыхавшимися в грохоте из стороны в сторону вагонами. Снизу, между ходившими ходуном площадками, на него глядело изуродованное ужасом окровавленное лицо. Все тело волоклось под буферами по шпалам, и огромная рука последним судорожным зажатием впилась в край чугунной площадки.

Окровавленный рот, круглый и темный, кричал о чем-то. Он не молил о спасении,— тут не могло быть ре-

чи о пощаде,— он просто кричал о животном ужасе смерти, но для Богуна был нем этот круглый, черный, исковерканный, судорожно меняющийся на окровавленном лице рот. В безумном грохоте железа и стали бурно крутившийся ураган пожирал все звуки. Только глаза, огромные, бесцветные, водяные, выкатившиеся из-под белобрысых бровей глаза глядели на него взглядом издыхающей собаки, которая не видит смысла своей гибели, и тоже кричали о последнем ужасе ничем не смягчаемой, ничем не искупаемой смерти.

Держась за железную скобу, Богун быстро нагнулся и с размаху ударил между этими глазами, чтоб потушить их страшный немой крик. Окровавленное лицо мельнуло, и внизу уже никого не было, только с неукротимой быстротой, сливаясь, неслись шпалы, и несся злобно, упорно, торжествующе грохочущий говор колес.

Богун вошел в коридорчик и отер капли холодного пота со лба. Постоял. Никого не было. Прошел в свой вагон, сел и долго глядел на уносящуюся сырую, черную, немую землю, с вьющимся над ней вороньем и низко бежавшим серым небом,— и против него была пустая скамейка.

На скрещении пересел в другой поезд и снова потерялся, как иголка, среди миллиона людей.

IV

Комната была небольшая, но в ней было светло и уютно, а на дворе из темноты кто-то кланялся, заглядывал и стучал голыми, прилипавшими к стеклам ветвями, и в трубе возились, слышался непонятный разговор, чудилось пение без слов, без мотива.

Как засветившаяся искорка, среди темных звуков прозвенел тоненький голосок:

— Мама, кто в трубе разговаривает, он — живой?

— Нет, дружок, это — ветер.

Девочка, лет четырех, сидела в кроватке и пересматривала тысячу раз пересмотренные картинки в книжке. На стене темная тень мерно взмахивала черной рукой, и казалось, ее плоские движения по стене имели загадочное отношение ко всем спутанным, неясным, разбросанным в доме звукам осенней ночи.

— Мамочка, ты сегодня не будешь плакать?

— Нет, дружочек.

Кто-то плакал, стучал и просился в окна, в стены, в двери, у кого-то не было счастья и ласки, или ему не нужно их было, и он смеялся, издеваясь над теплом, уютом, над светлой комнатой, над тоненьким голоском ребенка.

— Мама, отчего козерог — козерог?

— Так назвали, детка.

— Смешной козерог.

Тень перестала двигаться, черная рука слилась с общим контуром, и было неподвижно, задумчиво, точно тонкий налет грусти подергивал предметы. Молодая женщина сидела неподвижно, как и тень на стене, неподвижно лежало на коленях шитье, не поблескивала игла. Бледное лицо говорило застывшим выражением: «Что бы я ни делала, куда бы ни шла, как бы ни были сухи глаза,— слезы, слезы всегда стоят в горле... Дни уходят, молодость уходит, жизнь уходит...»

А за окном снова кто-то кланяется, заглядывает и шуршит мокрыми ветвями, кто-то плачет, кто-то стонет, не то смеется и издевается. И по-прежнему в этом черном мраке ведется свой собственный особенный разговор, в котором нет человеческого смысла. И среди мертвых мятущихся ночных звуков раздался живой человеческий звук, точно кто стукнул под окном.

— Ай!..

В комнате все заполнилось чутким напряжением внимания. Девочка глядела широко раскрытыми глазами.

— Мама, это — *он*?

— Да нет, моя крошка... не выдумывай, моя птичка.

— У *него* белые зубы, лохматые ноги...

— Будет, будет... рассматривай свои картинки.

— *Он* разговаривает в трубе и стучит в окна...

— Да это ветер веткой. Успокойся, дружочек.

— Мама, у волка, который съел Красную Шапочку, длинные зубы?

Снова тень на стене, наклонившись, плоско взмахивает черной рукой, тянется вечер, бродят по дому смятенные ночные звуки.

Стук, стук!

Да, ясно, кто-то стучит. Как жутко вдвоем с ребенком! Девочка торопливо слезает с кроватки босыми ножками на пол.

— Кто там?.. Ах, боже мой, Киса, разве можно на холодный пол,— торопливо берет девочку на руки,— у тебя и без того головка горячая... Но кто там?.. Что вам нужно?.. Что?.. не разберу... что?.. Но я ведь не знаю, что вы за человек... Нет, не узнаю голоса, приходите днем...

Но там настойчивы,— стучат под окном, стучат у дверей, и этот живой стук в тысячу раз страшнее мертвых звуков ночи. Слышны шаги от дверей к окну, и к черному стеклу приникает белое пятно лица с темными пятнами глаз.

Девочка в ужасе охватывает мать за шею ручонками и прячет личико. Женщина вскрикивает, отрывает от себя ребенка, сажает в постельку и через минуту с плачем, с судорожным смехом, с рыданием обнимает человека с черной окладистой бородой.

V

— Нет, ты не мой папа.

— А кто же я?

Девочка деловито смотрит на мать, потом в черное окно.

— У того, который в трубе разговаривает, ноги лохматые, а ты ведь добрей его?

Ее глазки светятся лукавством. Они сидят вдвоем,— мать хлопочет с чаем,— но девочка держит своего гостя на почтительном расстоянии.

— Но ведь и мама говорит, что я — твой папа.

— Подожди, не спеши,— раздумчиво заявляет маленькая женщина, нахмуривая крохотные бровки,— мама мне рассказывала, какой мой папа.

— Какой же?

— Он большо-ой, большой... с нашу крышу, и сильный, такой сильный, такой сильный, льва поборет, у него нога с мамину кровать, а глаз...— девочка поискала глазками по стене,— с окно...

Человек с черной бородой смеется.

— Ты знаешь козерога?

— Я знаю не только козерога, но и мою милую крошку, мою дочурку, которая будет любить своего папу.

Та качает головкой.

— Когда мама мне рассказывала про моего папу, всегда плакала, а теперь смеется... Нет, ты — не мой папа.

Но на другой день они были друзьями. Она сидела на кроватке со своими игрушками и книжками, а он в простенке между окнами, плотно прислонившись к стене, совсем избегая ходить по комнате, чтоб не было видно со двора, и держал крохотную тепленькую ручку в своей сильной руке. Они говорили о самых разнообразных вещах и выясняли друг другу свое миросозерцание.

— Знаешь, меня начинает ревность глодать,— говорила молодая женщина, оторвавшись на минуту от хозяйских хлопот и смеясь счастливым смехом,— то тебя революция отнимает у меня, а теперь дочка забрала. Павлуша, милый, надень, тебе будет очень удобно... это я папаше вышивала к именинам, все равно, надень.

Богун просунул руки в рукава и запахнул мягкие теплые полы расшитого халата. Жена любовно завязала концы шнура с болтающимися кистями.

— Вот те раз!..— проговорил Богун, оглядывая себя,— не угодно ли!.. Недостает ермолки с кисточкой. От вис...— но вовремя прикусил язык.

«От виселицы до халата — один шаг» — мелькнуло у него.

Начались странные дни, странные дни тайного семейного счастья, скрытого от людских глаз. Когда просыпались, уже день загорался звенящим детским голоском, искрился милый смех, и наполнял комнату детский лепет, наивный и полный своеобразного и неожиданного для взрослых смысла.

Пили чай с коврижками, говорили, беспричинно смеялись, играли в лото, рассказывали длинные сказки, чудесные истории. И чудилась ленивая река, желтеющие пески, дремлющий лес, и опрокинутые в дремлющей воде белые облака, и истома, и зной сонного летнего дня. Как будто не нужно было усилий, как будто не было резких звуков, красок, как будто дремотно клонился весь мир, и кругом было тихо, спокойно и легко.

VI

Как-то вечером Богун сбросил халат, надел свой пиджак, шляпу.

— Я иду.

Женщина затрепетала.

— Куда?

— В комитет... Нет ли чего, кстати поручения дать на юг.

Она обвила его, спрятала голову на груди, неудержимо рыдая.

— Я знаю... я... знаю... тебя... у... меня... отнимут!..

Он гладил ее голову, но глаза смотрели жестко и холодно, и она знала: никакими силами нельзя было его удержать. Он ушел и поздно ночью вернулся. На другой день опять ушел и стал уходить каждый день и возвращаться ночью.

Стали и к нему приходить.

Все это был молодой народ, плохо одетый, с худыми лицами и беспокойно горевшими глазами.

Целыми часами, понизив голос, говорили о делах, о выступлениях партии, о готовящихся покушениях, расшифровывали и зашифровывали письма.

Ребенок внимательно вглядывался в этих людей, надевал маленькие туфельки, тихонько слезал с кроватки и, забрав все свое имущество, карабкался к отцу. Тот брал к себе на колени, и по суровым чертам проходило выражение внутренней мягкости и ласки, так не вязавшееся с этими чертами и так неожиданно присущее им.

А голос его все так же деловито звучал:

— Так говорите, есть народ, а денег не хватает? Да ведь в местном комитете у них же есть средства. Наконец можно снестись с центральным...

— Папочка, если нет денег, я своего козерога могу подарить. Вот.

Все смеются, а она смотрит на них не по-детски внимательными глазками, и черточка напряжения и мысли хмурит ее лобик. Что в отце теперь что-то новое и не весь он принадлежит ей, это она отчетливо понимает. И ей опять хочется забрать своего папу.

В окна по-прежнему черно смотрит ночь, но она давно перестала быть живой. Уже никто там не кланяется, не плачет, не стучит, не заглядывает, а если и стучит, так это просто мокрые ветви о холодное стекло. Никто не возится и не разговаривает в трубе, а если и возится и воет, так это просто ветер.

Зато целое море новых понятий хлынуло в ее маленькую головку, и она хлопотливо их сортирует. И она хо-

чет опять забрать себе своего папу, обвивает его шею и целует:

— Я тебя крепко, крепко люблю, папочка.

И, бессознательно ища слабого места в его сердце, говорит:

— А мама опять стала плакать.

А они ласково гладят ее головку, и их суровые речи о делах, спаянных с жизнью и смертью, перевиваются смехом, шуткою, и лаской, и маленькой сказочкой.

Отец прижимает к губам эту головку с мягкими льняными волосами, и странное ощущение нарастающего в этом теплом комочке сознания проникает его каким-то новым, незнакомым, не испытанным дотоле чувством.

— Ой!.. Какая твоя борода!.. Щекочет... Отчего она такая черная? Ты ее красишь?

VII

Как-то вечером в комнату ворвался запыхавшийся бледный человек и, с трудом переводя дыхание, крикнул:

— Дом оцепляют!..

Богун выпрямился, спокойный и холодный.

— Где?

— В Кривом переулке... возле фабрики... Скорее... иначе поздно!..

Женщина, захлебываясь, с безумными глазами, обнимая одной рукой и толкая другой к двери, шептала побелевшими губами:

— Павлуша... уходи... сию минуту... уезжай... не ворочайся больше, не медли... уходи... ради всего...

Он обнял жену, легонько отстранил и наклонился над девочкой. Та лежала, с блестящими глазами и горящим личиком, и сосредоточенно перебирала края простынки.

— Ну, девочка, прощай... будь здорова, весела, не забывай своего папу...

Он крепко поцеловал ее. Девочка, равнодушно относившаяся ко всему, что происходило, занятая своей простынкой, вдруг обвила отца и улыбнулась:

— Нет, ты мой.

— Скорее... уже в воротах...

— Павлуша, уходи...

— Уходите же!..

— Крошка моя... но ведь мне надо ехать далеко... мне очень надо ехать...

Она нахмурила бровки, как хмурил их Богун.

— Хорошо, папочка, только...— губки ее дрогнули,— приди ко мне еще разочек... мамочка ждала, плакала... теперь я буду ждать... буду пла...кать... буду... дол...го пла...кать...

Губки ее опять задрожали.

— Павлуша... Павлуша... ты погиб...

Женщина металась, ломая руки.

Богун взял девочку, посадил на колени, обнял и, чувствуя ее горячее тельце, потерявшееся в его сильных руках, стал говорить, удерживая трепетание голоса, сам не узнавая себя, сам удивляясь неиссякаемому источнику бившей в нем нежности:

— Мой дружочек... мой милый, мой ласковый дружочек... моя крошка, моя ненаглядная... папа придет... папа твой придет... папа твой во что бы то ни стало придет... будь покойна, моя ласточка, и жди своего папу... только будь здорова, у тебя что-то горячая головка...

— Двор наполнен людьми...— теперь только через крышу сарая...

Еще раз поцеловал, положил в кроватку и бросился к двери.

Ворвалась орда, но нашла рыдавшую женщину и ребенка.

VIII

И он пришел.

Он пришел в глухую, темную, ветреную осеннюю ночь.

Ветер бился в воротах и крышах, бегал по улицам, по двору, рвал и путал клочками темноту, колебал пламя газовых рожков, заглядывал во все углы, где особенно густо лежала ночная темь.

Из-за забора фонарь, колеблясь и моргая желтым глазом, то смеясь, то хмуро заглядывал во двор, и трепетные тени суетно и торопливо, сновали по всему двору, беспокойно ища кого-то.

Было пусто, немо и неподвижно, хотя ночь была заполнена шумом, суетой и мельканием, и чудилось напря-

«БОМБЫ»

«ЗАРЕВА»

женное внимание враждебного и скрытого. Кто-то пытливо вслушивался и, не отрываясь, всматривался в темноту.

И ветер, не находя покоя, опять пустился на поиски, и, трепетно мелькая, засновали тени. Сторожко пробрался вдоль забора, где особенно подозрительно густели колеблющиеся деревья, и устремился к маленькому домику, тихо и уютно глядевшему освещенными окнами в глубине двора. И вместо того, чтобы петь в трубе скверным голосом и греметь листами крыши, приник к окнам.

Должно быть, он увидел там неожиданное, потому что воровски, низом побежал назад, забрался в самую глушь и притаился. А вместо него к освещенным окнам прилипли десятки жадных глаз.

И тени перестали сновать по двору, и фонарь уже не заглядывал через забор, а горел ровно, спокойно и строго выполняя свое прямое назначение освещать улицу, ибо теперь начиналось человеческое.

Глаза, жадно прилипшие к окнам, увидели небольшую комнату, освещенную лампой, кроватку посредине. У кровати на коленях, уронив голову на руки, рыдала женщина. Возле стоял чернобородый мужчина. В кроватке, разметавшись, спал ребенок.

С треском сорвались с петель двери, раздались выстрелы, крики, брань... Чернобородый мужчина моментально исчез, а в другой комнате зазвенели стекла. По двору тяжело затопотали, и опять крики, блеск, выстрелы, брань...

— Дьяволы!.. Да ведь это — Миколка!.. Сволочи, свово душите, а энтот убёг!..

— Го-го... дяржи... дяржи... в угол!..

— Бей!!.

Снова выстрелы, снова крики и брань, тяжелое сопение, хрип...

Ветер по-прежнему воровски таился. Только фонарь из-за забора искоса повел желтым глазом, и все тени, узкие и длинные, повело в угол, где тяжело и трудно ворочался черный клубок.

Клубок притих, развернулся, выпрямился и распался на отдельные фигуры. В темноте послышалось сморкание, смех, радостный говор.

— С благополучием!.. Опять, думал, убегёт... каждый день караулили... Ну и, сволочь, здоровый, чистый

кабан... будет теперя помнить, проклятый... Слава те, господи, царица небесная, заработали ребятишкам на молочишко...— И, сняв поблескивавшую бляхой в темноте фуражку, перекрестился.

СТЕНА

I

Он шел, осунувшись, глядя в землю, а те двое шли тяжело и прямо, позвякивая шпорами, и ярко-голубые пятна их мундиров двигались перед глазами, хотя он не глядел на них.

В последний раз мелькнули громадные многоэтажные дома, огромная площадь, как муравьи, кишевшие на ней люди, лошади, конки, экипажи, голубовато-дымчатый весенний воздух, и над всем несмолкаемо колыхающийся гул и торжественно подымающееся солнце.

Загремела со звоном калитка в огромных железных воротах, приоткрылась, и когда он шагнул, снова с звенящим металлическим грохотом захлопнулась, придавив и отрезав многоголосую уличную жизнь. Придушенные, смятенные звуки воровски поползли сквозь железо ворот, упорно напоминая о той ни на минуту не устающей жизни, поползли в этот немой, пустой дворик, звонко звучащий асфальтом. И со всех сторон так же немо, неподвижно, недосягаемо высились стены, и с них бесчисленно чернели решетчатые окна.

В конторе писали люди. У них были свои семьи, свои дела, своя жизнь, и они даже не взглянули на приведенного, одного из многих тысяч здесь перебывавших. Обыскали. Произвели измерения. Записали приметы.

Когда пошли по коридору, было пусто и звонко, и коридор терялся в сумеречной дали. Стена, немая и белая, давя колоссальностью, отвесно высилась, и бесчисленное множество железных дверей молчаливо темнело по ней под самую крышу, и железные сквозные балкончики лепились, как гнезда ласточек.

Мягко ступая войлочными подошвами, спереди и сзади шли люди в темно-синей форме с голубыми кантами.

Его поразили неподвижные, как маска, лица и опущенные мертвые глаза этих людей.

Он мучительно хотел заглянуть в их опущенные очи, поймать живой взор, светлые точечки, которые живут в глазу живого человека, но мертвы были неподвижные маски, не дрогнули опущенные веки.

Охватило непреоборимое желание остановиться, закричать: «А-а-а-а!» — и кричать долго, безостановочно ровным, одинаковым голосом.

Его шаги по асфальту звонко и крикливо носились в пустоте, и прыгавшее по стенам эхо тонуло в немых, беззвучных шагах шедших с ним людей.

Тогда все уплыло и отступило, и пара голубей, сверкая белыми крыльями, пролетела над песчаной косой и, описав полукруг, села к воде, тихо и ласково сверкавшей на полуденном солнце, и стала пить ее, сверкавшую, подымая сизые головки. На белевшем над рекой обрыве стояли дома, золотились главы.

Здесь прошло детство, ранняя юность, здесь заронился первый яд понимания ужаса рабьей жизни, здесь робко постучалась первая любовь, но изо всего перед глазами с поразительной яркостью стояла только тихо сверкающая река, белеющий обрыв, домики, золотившиеся главы да пара голубей у воды, подымавших сизые головки.

Звук шагов по асфальту звонко и крикливо носился в молчаливой пустоте, прыгавшее по стенам эхо тонуло в беззвучных, немых шагах шедших рядом людей, и лица их были неподвижны, как маска, и мертвые веки опущены.

II

Дни в этой тесной, узкой, задавленной молчаливыми стенами камере тянулись безумно медленно, но когда он оглядывался, время уносилось с безумной быстротой.

И он торопливо просыпался утром, торопливо умывался, брал кипяток, пил чай, торопливо кормил голубей, торопливо и бесконечно ходил из угла в угол, спеша жить.

Жизнь уходила, молодая, прекрасная жизнь, та жизнь, о которой он никогда не думал, к которой небрежно, так расточительно, не ценя, относился. И он

хватался теперь за каждый день, за каждый час, за каждую минуту и с горем, с отчаянием глядел, как они невозвратно уносились.

И опять наступала ночь, мертвая, неподвижная, немая, но полная вокруг тысячей таких же уходящих жизней, тысячей неслышных вздохов, тысячей бесплодно гаснущих мыслей, глохнущих чувств.

Стояла могильная тишина, но полная странного шепота-шороха, точно невидимые мыши бесчисленно грызли толстые стены, точно любовь и надежда, отчаяние и неумирающая ненависть точили могильный склеп, точно уходящая, ускользающая жизнь все же неудержимо совершалась.

Он жадно читал без отдыха, пока пробивался сверху скудный свет сквозь тесное, чернеющее решетками окно, торопясь жить вымыслом, картинами минувшего, сложной игрой художественной выдумки. А когда приходили долгие печальные серые сумерки, опять ходил без перерыва, без отдыха, все с одной и той же неотвязной думой, все с одним и тем же неотвязным ощущением. Холодным и влажным клубком свивалось оно в груди, вытесняя другие ощущения, другие чувства, безнадежно заполняя душу.

И он останавливался, прислушивался к тому, что творилось в душе. Тогда отовсюду в сумрачной мгле, сверху, снизу, с боков, неслись воровски шуршащие, шепчущие, таинственные и страшные своей бесчисленностью шаги. Точно в эти медленные печальные сумерки оживало все огромное здание, оживали холодные, тяжелые, перепутанные железом, залитые цементом, украшенные решетками камни. Множество людей ходили в бесчисленных клетках, как и он, и каждый думал свою думу, и каждый торопился жить. И эти шуршащие бесчисленные шаги говорили об усталых, разбитых и измученных, вычеркнутых из жизни, говорили о сильных, гордых и смелых, надменно хранящих в груди неугасимую ненависть, говорили об испытанных, спокойно и упорно ждущих своей очереди борьбы или своего конца. А там опять приходила ночь, немая, безмолвная и неустанно шепчущая в этом могильном безмолвии.

Однажды, разыскивая по стенам надписи тех, чьи жаркие сердца бились тут до него, чьи очи гасли в этих

вечных сумерках, он наткнулся на нацарапанное булавкой на стене:

Скучно, товарищи, мне одинокому
В душной каморке моей,
Скучно по родине, краю далекому,
Скучно, товарищи, здесь одинокому
Мне без родных, без друзей.
С полной надеждой на общее счастие
С юга за тысячи верст
Я прилетел, чтоб принять мне участие
В трудной борьбе за народное счастие,
Был я, товарищи, прост.
Нет, не придется мне песню победную
Слышать. Да все ведь равно,
Кто за толпу эту, голую, бедную,
Не пропоет песню славе победную,
Что всеми ждется давно.
Буду же смело идти на распятие,
Верный идее своей,
К вам же, друзья, простираю объятия,
А на врагов призываю проклятия
Братьев и света друзей.
Я же привык и к несчастью жестокому.
Только б в дорогу скорей,
Хоть по сибирскому снегу глубокому,
Все же бы лучше, чем здесь одинокому
В душной каморке моей.

А внизу чьей-то украинской рукой было написано карандашом: «Та нема ему конца, и краю нема!»

Он насупился и отошел от стены. С тех пор бросил читать, перестал кормить голубей, перестал торопиться жить и только ходил, ходил, ходил, и время беззвучно и неумолимо проносилось.

— Вы обвиняетесь в принадлежности к тайному сообществу...

Он смотрит на этот мундир, на лежащую на столе в синем рукаве руку, смотрит, не мигая, в лицо, и одно чувство, одно ощущение заливает, бьется в висках, стучит в сердце — ненависть жгучая, ни на минуту не теряющая своей остроты.

— Вам знаком? — И рука в синем сукне быстро открывает фотографическую карточку.

— Нет,— говорит он, взглядывая на знакомое милое лицо товарища и взвешивая, как выгоднее отвечать.

«Но ведь этот в синем сукне — такой же человек, как и ты,— говорит чей-то странный голос,— как и у тебя, у него — мать, у него — семья, дети, он их любит, воспитывает... спит после обеда...»

— А скажите, пожалуйста, за месяц до вашего ареста не квартировали вы у некоего...

«Нет, неправда,— твердит другой голос упрямо, с мрачной убедительностью,— неправда, у него нет друзей, знакомых, нет своего жилища, нет семьи, нет детей... он их не любит и не может воспитывать, у него нет и никогда не было матери... у него никогда не было матери, и после обеда он никогда не спит...»

— Мой билет у вас, и по отметкам в участках вы...

Он на полуслове смолкает. Человек в синем мундире продолжает изысканно любезно и настойчиво задавать вопросы, но встречает то же молчание, то же спокойное лицо, на котором написаны совсем другие мысли, слегка бледнеет, потом густо краснеет, зовет людей и приказывает увести.

III

Он шел, осунувшись и глядя в землю, а те двое шли тяжело и прямо, позвякивая шпорами, и ярко-голубые пятна их мундиров двигались перед глазами.

Неслась трескотня беспрерывно подъезжавших извозчиков. Торопливо пробегали носильщики с оттягивавшими руки чемоданами, узлами, картонками.

Было тесно. Отъезжающие, провожающие, приехавшие толклись с озабоченными, или равнодушными, или рассеянными лицами. Стоял неясный, смутный говор, гул, наполняя огромное здание по самый купол, сквозь стекла которого пробивались синевшие полосы яркого света, и тонкая пыль весело играла в них.

Трое чуждо и обособленно шли в толпе — двое по бокам, один в середине, шли строго, как будто знали нечто, чего не знала эта колеблющаяся, переливающаяся, меняющаяся толпа.

— Нет, сюда пожалуйте...— вежливо проговорил молодой в синем, с гладкими щеками и тоненькими крысиными белобрысыми хвостиками над губой,— сюда пожалуйте...— усиленно вежливо проговорил он, напирая плечом и хмуря брови, как будто хотел сказать: «Убью при малейшей попытке...»

— А-а...— торопливо проговорил человек в длинном, бившем его по коленам пальто, и все трое, такие же чуждые и враждебные окружающей толпе, прошли через багажное отделение и пошли по платформе.

Поезд, длинный и странный своей неподвижностью, тая могучую силу бега, покорно стоял, темнея окнами.

— Ах, прелесть!.. Мама пишет: «Горы, море, чудные виды...» Я вам завидую...

— А я вам завидую или лучше завидую всем, кто будет у князя и будет любоваться вами. Вы будете царицей праздника...

Стройная, молодая, она не взглянула из-под длинных черных ресниц на троих проходивших. Он — гвардеец, с красным, отъевшимся лицом, почти с женской огромной грудью, затянутый, стоял у вагона первого класса с той преувеличенной почтительностью, с которой обращаются к женщине, когда ценят только ее тело.

— Ты же пиши... ты пиши...

Старушка, слабая, маленькая, положив голову на грудь сына в потертой, поношенной шинели врача, тихонько и жалобно, как ребенок, всхлипывала.

— Пи...ши...

— Ванькя-а!.. Куды, песья голова, мяшок с хлебом засунул... Ванькя-а!

— Позвольте... позвольте...

Гул по асфальту тележки, удаляясь, бежал.

— Сюда пожалуйте,— проговорил молодой, решительно заступая дорогу и показывая на оторванную дверь вагонной площадки.— Селиванов, ступай вперед,— злобно и строго добавил он.

Селиванов, высокий и рябой, с огромным безволосым, нескладным лицом, звякая шпорами, прошел вперед и, поминутно оглядываясь, стал в проходе.

Поместились в маленьком купе третьего класса...

Солнце не проникало сюда, было сумрачно, ничего не слышно, что делалось за стенами вагона на платформе.

Изредка за стеклом проплывала голова в шапке или платке, часть плеча, и опять неподвижно и смутно глядели под навесом станционные окна и в них над аппаратами склонившиеся фигуры телеграфистов.

Далеко и слабо едва уловимым звуком долетел третий звонок. Так же слабо и глухо отозвался паровоз. Вагон дрогнул, мягко качнулся, кто-то угрюмо и равно-

душно стукнул и стал мерно постукивать под полом, чуть потряхивая. Ускоряя, побежали окна, склонившиеся телеграфисты, красная голова начальника и вся платформа с стоящими на ней людьми.

Разом сделалось светло, и солнце, горячее, веселое, радостное, залило скамьи и синие одежды сидящих.

Один из них, с большим нескладным лицом, приподняв синюю фуражку, перекрестился два раза и проговорил:

— Тронулись.

Пролетели последние дома, последние вагоны на запасных путях. Поля, веселые, радостные, залитые солнцем поля развернулись широким, зеленеющим, позабытым за два года простором и побежали в необузданном диком радостном танце, кружась в огромном синеющем горизонте, открывая на смену деревни, дальние пашни, перелески, покосы, красные овраги.

Улыбалось ласково-голубое небо, ласково улыбались проносившиеся домики путевых сторожей уютом, бегающими ребятишками, роющимися в навозе курами, грядками картофеля.

И человек в длинном пальто улыбнулся. И чтобы скрыть радость, он закрыл глаза, но и сквозь закрытые веки радостно пробивался красный свет.

Из-под пола угрюмый и равнодушный бесстрастно и торопливо выговаривал:

«Мы — тут... мы — тут... мы — тут...»

Человек поднял веки,— лак стенок и стекла окон отражали синий цвет.

Опять закрыл. Вот — дом. Как все знакомо, близко, дорого. Стоят акации. Лениво скрипит водовоз. Пыль золотится, долго виснет в воздухе...

«Мы — тут... мы — тут... мы — тут...»

На телеграфных проволоках беспомощно повис змей. Извозчик дремлет на козлах, клюет. Дремлет, закрыв глаза, лошадь, покачивается и, очнувшись, вскидывает головой, сонно открывая глаза, и опять дремлет... Воробьи оглушительно...

«Мы — тут... мы — тут... мы — тут...»

«Да... так о чем это я... лет семь мне, должно быть, было, с покойным отцом поехали в Ново-Александровскую станицу... Далеко за Медведицей синели прибрежные меловые горы... Сколько ни ехали, они стояли все

такие же синие, таинственные. Мне страшно хотелось побывать и посмотреть, что там. Так и стояла в душе их далекая недоступная таинственность до тех пор, пока... побывал. Белели обыкновенные меловые обрывы, размытые и неровные... под монастырским лесом хорошо ловились на удочку стерляди... монашенки-послушницы, бледные, робкие... а ведь молодость раз дается...»

«Мы — тут... мы — тут... мы тут...»

Дремота набегала затемняющей сладкой волной.

«Если б уснуть... спать... спать... спать... до самого места... спать годы... проснуться и...»

— Ежели угодно, господин, можно с чайничком за кипятком сбегать. Тут долго стоит.

Он очнулся, вскинув головой. Неподвижная тишина. Под полом молчали.

— Не нужно,— и опять закрыл веки.

Но дрема, вспугнутая, улетела, и воспоминания и представления, злые и непрошеные, назойливо лезли в голову.

Свиваясь холодным клубком, шевельнулось в груди знакомое злое чувство. И снова встала кругом холодная, бесстрастная тюрьма, но не из камня и железа, не с беззвучными шагами надсмотрщиков, не со страшными ночами, полными безмолвного шепота, а тюрьма живых людей, которые кругом жили, плодились, разговаривали, смеялись, ездили по улицам, читали книги, ходили по театрам.

И у каждого было неподвижное лицо и потухшие зрачки, и каждый как бы хотел сказать: «Мы — сами по себе, ты — сам по себе».

И эта живая тюремная стена была в тысячу крат страшнее и беспощаднее тюремного камня холодных и неподвижных стен...

«Мы — тут... мы — тут... мы — тут...»

IV

В колонии первое время было оживленно и весело. Встречали новых членов, знакомились, и было радостное настроение впервые очутиться среди живых людей, среди живых мыслей, языка и понятий. Повеяло живой жизнью, хотя кругом угрюмо белели туманы, стояли леса, болота и тундры.

Женщины были нежны и непринужденно, по-товарищески просты. И среди угрюмой мглы, день и ночь облегавшей серый горизонт, уже веяло дыханием любви. Как-то так случалось, что во время жарких споров по самым принципиальным вопросам понемногу разбивались на пары, и в полутьме блестели молодые глаза и слышался радостный смех. А кругом, угрюмо дожидаясь, стояла глухая осенняя тьма и мертвые зимние ночи.

И они дождались своего. Потухли глаза, потускнели первые радости, все узнали друг друга, исчезла новизна, и угрюмое одиночество, отрезанность, отсутствие настоящей работы и деятельности стало давить людей. И заползали мелкие недоразумения, мелкие споры и ничем не сдерживаемое раздражение.

Собирались каждый вечер вместе, читали, просматривали газеты и почти всегда кончали мелкой пикировкой и нападками.

За зиму один застрелился в лесу, и когда пришли, он сидел, прислонившись спиной к дереву, твердый, хрупкий и звонкий от мороза, и кругом алел снег. Другую вытащили из петли, и долго все ходили, подозрительно глядя друг другу в глаза, молчаливо спрашивая, чья очередь.

А полярная ночь неподвижно смотрела слепыми, белесыми, невидящими очами.

— А когда на этой земле, удобренной нашей кровью, нашими слезами, нашей жизнью и молодостью, раскинется широкое дерево свободы,— говорил Варуков, заложив за спину руки, опустив голову и меряя большими шагами из угла в угол комнату,— о-о!.. тогда все придут под тень его, все — и мужик, и купец, и чиновник, и адвокат, и женщины, и дети,— и все будут любить его и дорожить им, а самые имена наши будут смыты забвением, как смывает дождь с аспидной доски написанное беглой рукой.

— Они, эти мужики, женщины и дети, так же страдают, как вы,— сумрачно бросил черноволосый, глядя блестящими глазами, и на его ввалившихся щеках лихорадочно пробивался румянец, а позади мертво глядел промерзший угол сруба, тихо дыша морозною мглой.

Двое, наклонившись над столом, освещенным лампой, шуршали толстыми лексиконами,— изучали туркестанские наречия. Хрупкая, прозрачная девушка, скло-

нившись, мерно взмахивала иглой, далекая от этой обстановки, от товарищей, от разговоров. Быть может, ей снились тополя, хаты под лунным светом, дивчата и парубки милой Украины, и сама она чудилась песней без слов, печальной и грустной, как малороссийские напевы, странно заброшенной в снежную пустыню, где носятся только темные напевы метелей, глухих ночей да угрюмые стоны одиночества.

— Не только, как вы, а тысячу раз больше, чем вы,— бросил на минуту оторвавшийся от туркестанских наречий.

— Вы в ссылке барином живете, а они вымирают.

— Каждый из них с наслаждением променяет ужас своего существования на вашу барскую ссылку.

— Ах, какое мне дело до них, до их страданий.— И Варуков чувствовал, как вскипает в нем раздражение.— Я знаю только одно: когда меня не будет, все они выползут, чтобы пользоваться добытым мною. И я их ненавижу... понимаете ли, не-на-ви-жу!

— Странно слышать... поговорим, пожалуй, и не до того договоримся,— едко усмехнулся черноволосый,— в этих случаях не останавливаются и катятся под гору.

— Да-а, тут уж надо быть последовательным и на полдороге не задерживаться.

Водворилось обычное, плохо сдерживаемое злое раздражение. Жалили друг друга колкостями, мало слушая. Угрюмо замолкали.

Тени недвижно темнели. Тихо дышали холодом стены. Мертво глядел морозный угол. В окнах все та же белесая ночь.

Варуков прошел в соседнюю комнату и ходил тут в полумраке большими шагами, стараясь не ступать на протянувшуюся из двери полосу света.

«Благородные люди!.. черт бы вас взял...» И он подбирал язвительные и злые слова.

— А по-моему... уж не знаю, будет ли это на полдороге или не на полдороге,— говорил он, входя опять в освещенную комнату,— по-моему, с вашей стороны это просто...

Девушка оторвалась от тополей, уронила руки на колени и улыбнулась. И эта улыбка, такая же прозрачная, печально-ласковая, как она сама, была как последний аккорд молчаливо отзвучавшей песни.

— А почему это до сих пор остальные не собираются? Скажите, Евгений Александрович, правда — вы пишете?

Варуков хмуро прошелся, стараясь удержать расплывавшееся раздражение:

— Ну-ну...— Он махнул рукой.

В комнате невольно повеселело, точно угрюмое и тяжелое сползало.

— Да, он говорит, как пишет,— улыбнулся черноволосый.

— Как, как вы сказали: «Смыты дождем забвения»?

— Он сказал: «Самые имена наши будут смыты, как прах на могильных плитах смывается слезами склонившейся прекрасной женщины с распущенными волосами».

— Почему женщины, а не девушки?

— Потому, что девушка на пороге жизни, а женщина изведала ее и оплакивает прошлое.

— Да ну, ну, будет,— добродушно отмахивался Варуков.

— А ей-богу, господа, он — писатель.

— Ну?

— Честное слово! Я видел... под заглавием...

— Да будет, будет вам...

— Товарищи, а что скажете насчет галушек?

— Браво!..

— Идет!..

— Очень рады... просим!..

— Вы, Иван Иваныч, бегите за компанией, ты, Карась, валяй за дровами, а вы, Марусенько, до галушкив.

Через час весело пылал огонь, а вокруг большого стола с дымящимися галушками сидела многочисленная и оживленная компания.

V

Тянулись полярные ночи, как сумерки в огромной тюрьме.

«Почему это,— думал Варуков,— когда говоришь, выходит неубедительно, смешно и странно, подчас цинично и отвратительно, а когда думаешь, это — страшная правда».

И каждый раз он заводил старые разговоры:

— Когда я работал до тюрьмы, я был так поглощен

самой техникой работы, что ни на что больше не обращал внимания. Кругом меня волновался холодный, равнодушный океан, а я его не видел. Я не видел этого удивительного тупого и мертвого равнодушия к судьбе горсти людей, которые бились и истекали кровью. И вот меня арестовали. Пришли на квартиру и арестовали. Моя хозяйка равнодушно глядела на совершающееся в ее квартире. Когда меня вели по лестнице, квартиранты провожали глазами. Внизу мужичок-извозчик добродушно повез меня в участок, как будто я был тюк старой газетной бумаги. Из участка два мужичка Рязанской и Калужской губернии в синих мундирах повезли меня в тюрьму. По дороге во все стороны шли и ехали мужчины, женщины, дети. Торговали магазины, выкрикивали газетчики, ребятишки играли на бульваре в серсо. И опять так было, как будто ровным счетом ничего не случилось, как будто не обрывалась моя жизнь, как будто не была оборвана жизнь тысяч таких, как я.

— Да чего же вы, собственно, хотели?

— В тюрьме то же самое,— продолжал, не слушая, Варуков,— мужички, одетые в форму, повели меня, беззвучно ступая войлочными подошвами, в камеру и неукоснительно караулили. В окно мне видно было, как другие мужички выводили новый корпус для таких, как я. Я сидел в клетке, а кругом меня шумела жизнь. И однажды я с ужасом понял, что попал в тюрьму не тогда, когда меня схватили жандармы, а гораздо раньше, когда начал работать. Кругом меня стояла живая людская тюремная стена, гораздо прочнее, гораздо страшнее жандармов и каменных тюремных стен. Что жандармы! что каменные тюрьмы!.. игрушка по сравнению с ужасом и беспощадностью людской тюрьмы. А я, наивный, с энтузиазмом, с молодым увлечением бился в этой страшной тюрьме, стараясь пробить брешь в тупых и жестоких стенах.

— Ну что ж, теперь самая пора самому встать в стену этой тюрьмы...

Варуков презрительно передернул плечами.

— Вы меня... не уязвите, но позвольте мне...

— Тогда я вас совершенно не понимаю. Ну да, кругом вас непонимание, невежество, тьма, тупость, своекорыстие, ну, что ж из этого? В обществе происходит определенный, вполне закономерный процесс, и мы

должны иметь дело только с этим процессом, а не с людьми как таковыми. И процесс этот заключается в расслаивании всего народа на классы, и по мере того как развивается классовая борьба в своем чистом виде, нарождается материал для нашего воздействия, нарождается понимание, проходит тьма, рушатся стены живой тюрьмы.

— Ах, оставьте меня с этой классовой борьбой, с этим идиотским...

— Извозчики тоже ругаются.

— Хорошо, я беру назад свои слова, но факт остается фактом... Печка горяча, я отлично знаю, что теплота — только молекулярное движение, но позвольте же, разрешите же и поймите закономерность моих ощущений... позвольте же мне ощущать теплоту ванны, нежную теплоту женской руки, наивную теплоту ребенка, которого я держу на руках... позвольте же мне ощущать эту теплоту как таковую, а не выскакивать поминутно с заявлением, что она не больше как движение молекул.

— Ну, так теперь вам остается только опустить руки.

— Нет, я буду бороться, я буду бороться. Но тогда, когда я отдавал свою юность, отдавал первые впечатления бытия, отдавал лучшее, что было заложено во мне, я боролся с энтузиазмом, я боролся с восторгом, с любовью, я бился в живую стену, ожидая, что вот-вот она дрогнет и расступится. Теперь я буду биться мрачно, безнадежно, с постоянной глухой злобой, буду биться с мыслью, что мне-то никогда не увидеть результатов моей борьбы... Почему буду все-таки биться? Да потому, что встать в ряды обывателей я уже не могу, я отравлен, потому же не могу, почему не могу по году носить вонючего белья, почему не могу жить без книг, без газет, без мыслей, без общения с себе подобными.

И снова в комнате, в которой лежали неподвижно темные тени, и за столом, желто освещенным из-под абажура, сидели, наклонившись над лексиконами, послышалось вспыхнувшее раздражение.

Прозрачная девушка поднялась, подошла к Варукову и положила ему на плечи руки:

— Евгений Александрович.

Он опустил голову и тихонько снял ее руки.

Она стала ходить по комнате с морщинкой важности и думы, заложив руки назад.

— В тысяча шестьсот шестьдесят седьмом году,— заговорила она сосредоточенно,— в городе Нюренберге произошло событие...— голос ее запнулся, дрогнул, она насильственной болезненной улыбкой хотела подавить судорожное трепетание губ,— в шесть... сот ты-ся-ча.. шесть-сот а-а-а...— Тонкий заячий вопль, в котором билось рыдание и судорожный истерический хохот, затрепетал и заметался по комнате.

Бросились, подхватили ее с запрокинутой головой, уложили. Холодная вода, снег, лед. Все ходили на цыпочках, говорили шепотом. Потом придвинули стол к кровати и сидели возле нее, занимаясь каждый своим делом.

— Фу, какая я! — заговорила она, стараясь улыбнуться сквозь непросохшие на глазах слезы.— Сама не знаю, с чего это со мной. Грицко, милый, достаньте «Кобзаря», вот там налево на полке, да почитайте нам.

Грицко, угрюмый украинец в широчайших штанах, достал «Кобзаря» и раскрыл:

Мынають дни, мынають ночи,
Мынае лито, шелестыть
Пожовкле листя; гаснуть очи...

Тихо дышат холодом стены, мертво и бело глядит прокаленный морозом угол.

VI

Как гром, прокатилось от края до края: «Свобода!» — и докатилось отголосками до сумрачных лесов и пустынных тундр.

Колония оживленно и радостно собиралась в дорогу, оставались только те, кто лежал за околицей в вечной мерзлоте.

Солнце каждый день низко и подолгу ходило над начавшим синеть снежным горизонтом. Зачернели проталины, и под снегом хлюпала вода. Тянулись откуда-то гагары, утки, дикие гуси, лебеди, и в безоблачном небе целый день стояли говор, и гомон, и птичий стон.

Варуков тоже собирался, но угрюмо и молча.

В дороге не раз ворочалась зима, крутились и гуде-

ли метели, но чем дальше ехал, тем сильнее припекало солнце, сбегал снег, по рекам шумел ледоход.

И города и деревни он не узнавал,— там шумел людской ледоход.

Отражаясь, далеко огибает залив гранитная набережная. Позади амфитеатром подымается веселый городок. За ним, загораживая небосклон, стоят изрытые морщинистые горы, и верхушки их еще белеют, запорошенные снегом.

Вдали по светлому лицу моря узко и серо тянется мол, и возле угрюмо дымят пароходы, чернеют суда, весело белеют паруса лодок.

Море неподвижно-зеркальное.

Косо печет солнце.

Но это — не тяжелый расслабляющий зной, это — радостный блеск, все заливающий: и тихий залив, и белизну снега на вершинах, и дома, белые, желтые, серые, с красными, коричневыми, зелеными крышами, которые так ярко выступают, точно видишь все в панораме.

От солнечного блеска, от яркости красок невольно смежаются веки и веет дремой, сладкой, похожей на полузабытье, с не сходящей с лица улыбкой.

Усиливая блеск и яркость, простирается вдаль море. Оно по горизонту даже не круглое, а неправильной растянутой формы.

Больно смотреть.

На краю сквозит полупрозрачная молочная дымка, неясная, без очертаний, без границ! Не знаешь, где кончается эта водная гладь.

Едва уловимо идут стекловидные мягкие отлогие волны, идут издалека, но замечаешь их только у берега. Дальше море не дает смотреть — оно слепит, отражая, как зеркало.

Где-нибудь далеко, далеко оно колышется.

Приближаясь к берегу, медленно ползет лодка с повисшим парусом, ленивая от зноя, от ослепительного света, и весла, поблескивая, как будто с усилием медленно и редко опускаются в воду.

Залитая светом, теплом, ласковым блеском чуть плещущегося моря публика, разнеженная, в ленивой истоме

расположилась по набережной на скамьях. Белеют раскрытые кружевные зонтики, сереют весенние шляпы, сверкают стекла моноклей, звякают шпоры офицеров.

Варуков сидит на скамье и весь отдается солнцу, и морю, и блеску, и весенней истоме, и неге. Ни о чем не думает, ничего не вспоминает.

«Остался бы здесь дышать, смотреть и слушать век!..»

Как будто ничего нет позади, как будто расплылись в тумане прошлого тюремные годы, пропали дымившие холодною мглой стены, тихонько растаяли вычеркнутые годы, и на душе тихо и дремотно.

— Евгений Александрович, пора, собираются,— говорит, подходя, с озабоченным лицом юноша.

Варуков поднялся, и они пошли прочь от набережной, и толпы народа шли в одном с ними направлении.

Солнце заливает тополя и кипарисы, зеленые лужайки и синеющую сирень, сизые горы и веселое, яркое сверканье бегущей между камнями воды.

Море человеческих голов разливается по всему пространству между редкими деревьями, на которых, как груши, густо висят ребятишки. Все головы повернуты в одну сторону, тысячи глаз обращены на небольшую кучку людей, фигуры которых четко вырисовываются по синему небу высоко, на парапете стены. Поверх стены пролегает улица, идут прохожие, течет будничная жизнь.

— Свобода слова, печати, сходок, собраний... без этого людям нельзя жить... это вот что значит...— слышится оттуда, сверху, куда устремлены все глаза, молодой голос.

Он объясняет эти понятия, доказывает, что без этого жить нельзя и что только одно народное представительство освободит всех.

Варуков вмешивается в толпу. Мужичок в теплой рваной шапке, с сизым носом и потным лицом, охваченный этой необычной обстановкой, не слушая оратора, поминутно сморкается и всхлипывает:

— Во, во... это самое... в аккурате... ах, намочи тебя дожжем... за самое за серче!..

Барыни обмахиваются платками, не стесняясь сомнительного для них соседства потного, попахивающего рабочего люда.

— Как красиво он говорит...
— И сам красивый...
— Это — адвокат...
— За самое за серче...
— Бог-то сверху глядит, до поры до времени терпит.
— Опасный народ скубенты...
— Пройда-народ...
— Они теперича в чижолом положении, умножение народонаселения ихнего сильно пошло, а местов не хватает, вот и бунтуют...
— Правление, свобода печати, а мы с голоду дохнем.

Варуков проталкивается из толпы, подымается на парапет, и в глазах его бегают злые огоньки.

Легкое движение.

— Варуков, Варуков...
— Евгений Александрович, может быть, вы скажете?.. Я отказываюсь от записи в пользу товарища Варукова.
— И я.
— И я.

Варуков подходит к самому краю парапета. У ног волнуется человеческое море. Как степные тюльпаны, пестреют красными пятнами раскрытые зонтики. Колеблются цветы на шляпах. Чернеют цилиндры, котелки. По сторонам жмутся картузы. Блестят в толпе офицерские перевязи и портупеи.

Варуков подымает руку, и по толпе перекатывается из конца в конец:

— Да здра-а-авствует сво-бо-да-а-а!..

Он набирает побольше воздуха, и голос над смолкшей толпой добегает до самого края:

— Зачем вы собрались сюда? Зачем?

Воцарилась мертвая тишина.

— Почему? Почему вы бросили ваши обязанности тюремщиков? Почему колыхнулись стены живой тюрьмы и вы пришли сюда слушать ваших узников?.. Светит солнце, вы, как тараканы, высыпали на тепло, на свет, на солнце.

— Товарищ, это не годится,— слышится сзади него растерянный, удивленный шепот.

— ...где же вы были, когда бились ваши дети?

И не вы ли сторожили их, как заклятые враги, как жестокие тюремщики!.. Нет, не жандармы стояли по обеим сторонам торной широкой дороги, густо устланной костями борцов, торной дороги в Сибирь, на каторгу, на эшафот, а вы!

— Что он говорит!

— Это возмутительно!..

— Зачем таких выпускают!!.

— ...светит солнце, но через час, быть может, подует ветер с гор, нахмурится море, а вы трусливо побежите исполнять обязанности тюремщиков. И скатертью дорога. Ваше место там. Не стоило бы жить, если бы у толпы было только ваше лицо. Но я вижу измученные лица, которые умирали и будут умирать... пусть с голоду, пусть от непосильного скотского труда, пусть тупые, бредущие во тьме, нагнув голову в землю, в рабьей покорности, но эта тьма жадно ждет искры, чтобы забушевал пожар, и он уже никогда не потухнет, его не залить...

Торопливо складываются зонтики, в разные стороны разбредаются мелькающие цветные фигуры. Толпа все больше и больше чернеет, теряет краски и плотно придвигается к парапету, и Варуков чувствует, на него глядят тысячи глаз, тысячи живых человеческих глаз, скорбных, переполненных мукой и болью... И он с любовью, с жгучей, щемящей нежностью еще раз глянул в эти бесчисленные скорбные очи.

— Я, братцы, десять лет в Сибири провел... в лесу среди зверей, без человечьего слова, а у вас... а у вас тут Сибирь была, всегда была, есть и будет, пока вы не поймете, не подымете...

И разом над толпой поднялся лес рук, и, как буря, пронеслось над ней:

— С голоду дохнем, мы, дети наши... и нету этому конца и краю нету!..

И, подхваченный этими голосами, Варуков крикнул, точно помолодевший, точно скинувший с себя десяток лет:

— Так освободитесь и вы от своей Сибири. Скиньте с себя цепи рабства и угнетения, что въелись вам до самых костей. Скиньте с себя помещиков, что насосались вашего пота. Скиньте капиталистов, кулаков, мироедов и тогда дневной свет увидите.

И опять поднялся над толпой лес рук, и до самых последних рядов пронеслось:

— Жисть свою положим!.. Кровь свою отдадим!..

И пересиливая их, крикнул Варуков:

— Теперь будете свободны!..

СРЕДИ НОЧИ

I

Они взбирались среди молчаливой ночи между угрюмо и неподвижно черневшими соснами. Под ногами с хрустением расступался невидимый мокрый снег или чмокала так же невидимая, липкая, надоедливая, тяжело хватавшаяся за сапоги грязь.

Внизу, у моря, тепло стлалась синяя весенняя ночь, а здесь ни одна звезда не заглядывала сквозь мрачную тучу простиравшейся над головами хвои, и все глуше, все строже становилось по мере подъема.

Тот, который пробирался впереди и которого так же не видно было, как и всех остальных, остановился, должно быть снял шапку и стал отирать взмокший лоб, лицо. И все остановились, смутно выделяясь, шумно дыша, сморкаясь, вытирая пот, и заговорили разом и беспорядочно.

— Ну, дорога — могила!..

— Ложись, зараз закопаем.

— Братцы, кисет утерял... сука твоя мать!

Загорелись спички, красновато зажглись двигавшиеся в разных местах папиросы, освещая временами кусок носа, ус, часть заросшей щеки или выставившийся мохнатый конец сосновой ветви. И когда немного отдохнули и дыхание стало ровное и спокойное, опять стояло строгое, всепоглощающее молчание.

— Вот, когда в Грузии служил, тоже горы... фу-у, ну и высокие... Так там завсегда — зима, и летом — зима, так снег и лежит, нанизу — жара, а там — снег.

Снова слышны тяжелые срывающиеся шаги, глубокое дыхание и хруст невидимого снега, становившегося морознее, суше, скрипучее. И воздух был острый, звонкий, покусывавший за уши. Иной раз люди проваливa-

лись, слышалась возня, крепкие слова и учащенное, прерывистое дыхание.

Давно погасли папиросы. Последние окурки, тонко чертя огнистый след и рассыпая золотые искры, полетели и несколько секунд во тьме красновато светились на снегу и тоже потухли.

— Должно, года через два дойдем...

— Сдохнешь где-нибудь под сосной, покеда дойдешь.

— Да куда мы идем, ребята?!. Киселя хлебать...

— А все Ехвим... Пойдем да пойдем, а куда пойдем — сам не знает...

И все шли. Нельзя было остановиться, остаться одному, свернуть, пойти назад. Кругом — кромешная темь, молчаливые сосны. Невидимая тропка уже на втором шагу терялась под ногами.

Временами наплывало мутное и влажное, и, хотя было темно, хоть глаз коли, оно казалось белесым, бесформенным и меняющимся. Тогда охватывала расслабленность и апатия, хотелось лечь на снег и лежать неподвижно в поту и испарине. Потом так же беззвучно и бесследно проносилось и стояло молчание и нешевелящаяся тьма.

В темноте высоко засветился огонек. Пробираясь, скрипя по холодному снегу, то и дело подымали головы и глядели на него, а он так же одиноко глядел на них в пустыне черной ночи.

— В жисть не узнаешь, где мы теперь.

— Вот, братцы...

— Ехвим Сазонтыч, голову тебе оторвем, ежели да как заведешь...

— Так лезть будем, скоро до царствия небесного долезем.

— Ей-богу, долезем... Хо-хо-хо!..

И в горах, поглощенных тьмой, хохотом перекликнулись человеческие голоса.

Ночь сурово покрыла строгой тишиной говорящих.

— А-а... гляди, гляди!..

— Братцы, чего такое?

— Наваждение!..

Посыпались восклицания удивления. Им ответили ночные голоса. Все разом остановились. Все по-прежнему было поглощено зияющей тьмой, но снеговая стена, уходившая в черное небо, слабо выступала таинствен-

ной синевой. Призрачно чудился тихий, странный, неведомый отсвет. По снежной, едва проступавшей стене двигались гигантские силуэты, так же внезапно остановились и стали оживленно жестикулировать, как жестикулировали остановившиеся люди.

Все, как по команде, обернулись. Черная бездна, до краев заполненная густой тьмой, простиралась, и не было ей конца и краю. Далеко внизу, на самом дне, голубым сиянием сияло множество огней. Они ничего не освещали, кругом было так же мрачно, но казались веселыми, отсвет их добегал через десяток верст, и от людей призрачно ложились смутные, едва уловимые тени на слабо озаренный снег.

Это был город.

Долго стояли и молча смотрели на далекие сияющие огни.

— Ночь, а господа теперича самое гуляют по трактирам да по гостиницам али в карты.

— Господа гуляют, а нас нелегкая несет не знать куда.

— Диковина... далече, а светит.

— Электричество, известно.

— Ну, айда, что рот-то разинули, не видали.

Огонек, державшийся впереди среди черной ночи, пропал, потом опять мелькнул, вызывая надежду, снова пропал, и разом раздвинулся между смутно выступившими соснами красновато освещенный четырехугольник окна, слабо ложась полосой на снег и ближние стволы.

Все шумно столпились у неясно обрисовавшейся стены и дверей. Стукнули кольцом, и эхо гор откликнулось. Отзвук, длительный, мягкий и унылый, далеко покатился среди ночи. Ночь простиралась ровная, одинаковая, всепоглощающая, как будто в ней не было ни леса, ни гор, а одна ненасытимая, заполненная мраком, звучащая пустота.

— Эй, дядя Семен, отпирай!

«...а-а-а-ай!..» — мягко слабея, пропадало во мгле.

II

Стоны женщины неслись, то слабея, то усиливаясь, то совсем замолкая. Все те же приступы невыносимой боли, тот же безжалостно давивший, черный от копоти

потолок и тоненький, как змейка, звук коптящей лампочки на стене.

Бесконечная ночь, упорно-тяжело глядевшая в слепые окна, мутно белела снегами. Ребятишки, измученные за день, забытые и голодные, в самых неудобных положениях спали, разметавшись по нарам.

— Оо... о-о-ооох-ох... ох... о-о-о!.. Господи, смертынька моя... ой-ой-ой... батюшки!..

Совсем молоденькая, с горячечным румянцем на щеках, со свесившимися на одну сторону волосами, беременная баба, в пестрядинной рубахе, корчилась на застланной соломой и покрытой дерюгой кровати, и голова ее металась из стороны в сторону.

Бородатый, лет за сорок, второй раз женатый мужик, с пятерыми детьми от первой жены, наклонившись, сосредоточенно, молча и неуклюже месил засученными, в волосах, руками тесто. Оно пучилось, лопалось пузырями, назойливо липло к рукам, особенно цепко держась на волосках, а он хмуро соскребал и сильным движением сбрасывал плюхавший в общую массу комок.

— Тять... тять... бб... бл... бллезли... двя... двя... двя...— торопливо и сонно забормотал кто-то из ребятишек.

Мягко ступая, степенно вышел на середину кот, прижмурившись поглядел на хозяина, на тоненько поющую лампочку, повел хвостом и так же медленно и важно направился к печке, свернулся клубочком и, зажмуриваясь, сладко замурлыкал.

— Ооо... ооххоо-хо-хо... ооохх!.. смерть моя!.. Сем, а, Сем!..

— Чево?

— Помираю я... попа бы... господи...

Она заплакала.

Мужик, с одной и той же, никогда не покидавшей думой на лице, молча месил, потом сосредоточенно стал обирать с мускулистой руки налипшее тесто.

— Все бабы родят, не ты первая.

И, помолчав, мотнул головой на нары.

— Вона... пятеро.

Кот, задремывая и заводя веки, перестал мурлыкать. Женщина замолкла. Только лампочка тоненько тянула жалобу, да ночь мутно глядела в окно, и все

та же, никогда не оставляющая дума лежала на обветренном, с заросшей бородой, лице мужика.

Нарушая тишину, безлюдье и неподвижный ночной покой, стукнуло снаружи кольцо, послышались голоса, скрип шагов по снегу, и в горах многоголосо откликнулись ночные голоса, слабея и замирая.

Мужик перестал месить, поднял голову, прислушался и стал счищать с рук налипшее и падавшее кусками тесто.

— Ты, Ехвим?

— Я... отворь!

Дверь отворилась, и вместе с клубами холодного воздуха вошел плечистый, с ухватками лесного медведя парень, с голым, безбородым, безусым лицом. За ним, толпясь, стали пробираться другие, заполняя маленький чуланчик.

— Во, народу привалило.

Хозяин крякнул:

— Э-эхх!.. А у меня дела,— и почесал в затылке.

— Что?

— Жана родит.

— Н-у? Что так рано?

— Да, рано... так мекал: две недели еще, а она во, не спросилась.

Парень тоже снял шапку и поскреб голову...

— Эк ты!.. куды жа мы теперича?.. Народ... гляди, сколь перли, замучились.

— Чево стали! — раздалось из задних рядов, толпившихся перед дверью.

Хозяин подумал.

— Ступайте в холодную... и рад бы, сами видите, каки дела...

— Ну, ничего, не будем раздеваться, миром дыхать станем, обогреем... чайничек поставить можно?

— Чайник можно, все одно бабе воду буду греть.

Все повалили из чуланчика в холодную половину шоссейной казармы.

Дыхание тонким паром носилось в воздухе и играло радужным ореолом вокруг принесенной лампочки.

В углу навалены лопаты, кирки, топоры, массивные ломы, опрокинуто несколько тачек. Принесли доски, положили концами на обрубки и стали располагаться, усталые, мокрые и довольные, что добрались.

— Сказывал, до царства небесного долезем, вот и долезли.

Когда вскипел чайник и все, взяв по крохотному кусочку сахара, вооружились кто потускневшим от времени стаканом, кто таким же почернелым блюдцем, кружкой, а то и поржавевшим жестяным черпаком от воды, стали дуть на дымящийся кипяток, прихлебывая и обжигаясь,— в угрюмом, холодном и молчаливом до того помещении совсем повеселело.

— Стало быть, зять письмо получил от свово брата с войны. Пишет так, что сам видал: в отдельном поезде везут нашего енерала в Питербурх, и он — прикованный цепями в вагоне, и рука прикована так вот, как к присяге когда приводят,— рассказчик поднял правую руку, сложил два пальца и среди молчания подержал некоторое время,— а возле, стало, него куча золота, стало быть японские деньги. Ей-богу, не вру.

— Накрыли?

— Знамо дело!.. Протить негде — одне деньги... сам сидит по колено в золоте, а рука прикована, как на присяге.

— Оххо... ооох... ооо. Царица небесная... матушка!..— глухо и скорбно проникало из-за стены.

— Вот и хорошо, пару-другую генералов наших купят, нам прибыль.

— В Расеи подати перестанут брать.

— Нам меньше отседа высылать придется домой.

— Здорово!

— Держи карман ширше. Тоже да дураков нашли. Она, сказывают, Япония косоглазая, сколько миллиенов тыщ уж с нас взяла. Начальство-то наше, сказывают, скоро в лаптях пойдет.

— Как наш брат, мужик.

— Не признachишь, чи генерал, чи мужик.

— Ванька, кабы не прошиблись, тебя за генерала не обознали.

Ванька, распаренный, красный, с капельками на ресницах, на носу, выкатив глаза и сложив трубой губы, с шумом втянул воздух, и дымившийся кипяток разом исчез с блюдца, стоявшего перед губами на трех пальцах. Он перевернул блюдце, положил крохотный огрызок сахара, размашисто перекрестился и, обернувшись, бросил крепкое забористое словцо.

Все засмеялись.

— По-енеральски.

— Чисто енерал и спереду и сзаду.

Те, кто заморил червячка, сплеснув, передавали посудину и огрызок сахара дальше. Было человек тридцать — каменщики, плотники, ремесленники, несколько человек из местного завода, сторожа шоссейных казарм, чернорабочие.

Ремесленники и заводские, щуплые и мелкие ростом, бойкие, подвижные, в сапогах дудкой, говорили бойко, много, споро, вставляя «ералаш», «безобразие», «ерунда». Чернорабочие и шоссейные — кряжистые, неуклюжие, в лаптях, малоречивые, с деревенскими оборотами, наивные своей нетронутой силой.

Маленький человечек, подмастерье из портняжной мастерской с тонкими, слабыми от постоянного сиденья, поджавшись на катке, ногами и, как писанка, пестрым веснушчатым лицом, залез на опрокинутую тачку и тонким голосом торопливо прокричал:

— Товарищи!.. вот мы собрались... братцы!.. потому жизнь рабочего человека... так сказать, трудящегося люду... потому что, что мы видим?.. экономическое производство капитализма производит буржуазию и кризисы, а буржуазия и общественный строй — сила, захочет — купит, захочет — продаст, захочет — дом выстроит... а куда нашему брату, пролетарию... потому, собственно, одна голая эксплуатация... хозяин, который на готовых хлебах, спит себе с женой или брандахлыстает по театрам да по трактирам, а, между прочим, рабочий человек когда отдыхает? когда свое семейство видит? какие радости видит?.. Товарищи, ввиду всего этого... единственная возможность... потому вспомните веник: раздергай — и весь по прутику ломай, а свяжи, попробуй-ка переломить!

Он утер зажатым в руке в комок платочком выступивший от горячего чая и внутреннего напряжения пот на лице и лбу, радостно взглянул на всех, хлебнул воздуху, и, прислушиваясь к важным и торжественным мыслям в голове и ища для них и не находя старых и не справляясь с новыми словами, он начал снова высоким фальцетом:

— Братцы, счастье наше в наших руках!.. Оглянитесь, сколько нас, голодных... и все это — эксплуатация,

и все это — народ... пролетарий... ведь ежели все да встанут... все до единого человека, что будет?.. Товарищи, крикнемте же «ура!..». «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Точно радостное похмелье разливалось по всему его тщедушному телу, пробиваясь на бледных щеках непривычным румянцем. Все эти новые понятия, новые слова: «буржуазия» вместо «хозяин», «эксплуатация» вместо «кровь нашу пьют», «пролетарии всех стран, соединяйтесь» вместо «ребята, не выдавай» — ворвались в его серую, замкнутую жизнь, жизнь изо дня в день, которую он проводил, поджав ноги на катке, ворвались чем-то праздничным, ярким, сверкающим и огромным. И хотя эта серая, скучная жизнь все так же серо, монотонно тянулась, над ней, как утреннее солнце, стояла, заслоняя жестокую, неумолимую действительность, каторжный труд, стояла радость ожидания огромного, всеобъемлющего счастья грядущего освобождения.

В молчании и неподвижной тишине слушали тяжело и трудно этого маленького человека с востреньким носом и тонким голосом.

Бородатые, обветренные, изборожденные лица были неподвижны, и было на них что-то свое, давнишнее и старое, не пускавшее в глубину сознания эти новые, странные и в то же время близкие в своей новизне и непонятности слова и мысли. Молодые, безусые, как соколы, приготовившиеся лететь, не спуская глаз, с напряженным ожиданием глядели на говорившего товарища. Некоторые из них прошли уже школу известного политического воспитания, и эти чуждые массе слова, обороты и термины соединялись более или менее ясно с определенными понятиями, но каждый раз все же звучали ново и призывающе на что-то сильное, большое и захватывающее.

Хозяин то входил, то выходил и теперь стоял, опершись о притолоку, точно подпирая стену, нагнув голову и глядя исподлобья. И все та же одна, не сходящая с лица дума лежала на нем.

Кто-то кашлянул. Переглядывались, ожидая, что еще будет. Все свое, тоненькое и заунывное, тянула лампочка.

С впалой грудью, с втянутыми щеками и длинными морщинами на лбу вышел слесарь. Он был не стар, а

пальто и сапоги были стары, потерты и рыжи. Он постоял, расставив ноги, сутулый, шевеля черными от масла и железа пальцами, и вдруг густой, какого не ожидали от него, с хрипотой голос наполнил казарму:

— Все на свете меняется, одно, товарищи, не переменяется — рабочий люд,— как был, так и есть гол как сокол, ни кола, ни двора, один хребет да руки мозолистые.

— Правильно,— сдержанно и угрюмо отозвались голоса.

— ...О-о-хх... ох-ох... ооохх... Мать божия...— тускло и слабо, все же пытаясь напомнить о себе, проникало сквозь стену.

— Была прежде барщина, теперь барщины нету, ну что ж, легче стало народу? Как не так! Все одно: гни спину по четырнадцати часов в сутки да виляй хвостом перед хозяином...

— Куды-ы!.. Легче! Кабы не так... по миру идет народ...

— Край приходит, рази жизнь?.. Могила...

И в пустом, с холодными стенами помещении шевельнулось что-то живое, беспокойное, понятное и близкое всем.

— Так вот, братцы, речь о том, чтоб помочь рабочему люду. Кто ж ему поможет? не хозяин ли да подрядчик?

— Помогут! подставляй шею...

— Жмут они нас, аж сок из нас бегить...

— Ну, попы, может?

— Тоже... им что! отзвонил — да с колокольни долой...

— Ему хабаров набрать, больше ему ничего не надоть... Карманы у них что твоя мотня мотаются...

— Ну, так полиция, может?

— Гляди, эта зараз поможет... Вот брат второй месяц в больнице.

— Что?

— Да помогли... с подрядчиком зарезонился, не доплатил, вишь,— ну, в участок... Теперь ребра заращивают дохтора...

— Так вот, братцы, куда же деваться? На кого понадеяться?

— На гроб надейся, больше ничего.

— В могилу закопают, вот и спокой... тогда все хозяева добрые станут.

И, точно ветер тронул, закачалось, заговорило поверх леса, подержался над толпой говор укоризны и насмешек. Но и этот говор как бы говорил: «Знаем мы это... давно знаем».

— Э-эххх-вы!..— тяжелым комом кинул слесарь.— Овечье стадо... козлы отпущения... вас гни, вы кланяться будете да благодарить...

— Не лайся... что лаешься!

— Сам — из козлова царства...

— Да што, не правда, что ли? — выкрикнул, раздув ноздри, блестя раскосыми глазами, молодой рабочий, в сапогах дудкой и с вытянутой, как у зашипевшего гусака, шеей.— Вон у нас сорок ден стачка была... с голоду пухли... жена в ногах валяется: «брось»... у ребят голова не держится, вповалку лежат... руку бы свою вырвал, сварил... вот... а добились своего, а то могила!..

— Тебе хорошо... вишь, сапоги — гармония... продашь — восемь целковых, месяц и сыт, а на нас лапти,— угрюмо протянул грязную, обвитую веревкой по онучам ногу шоссейный.

— Не украл... слава те господи, не доводилось еще... Я, брат, их заработал... во, соком...

— Стой, ребята, помолчите...

— Товарищи, не об этом речь...

— Это все одно, как у нас в Панафидине... Приходит единожды пономарь...

— Помолчите...

— Братцы... ведь все мы пролетарии,— остро выделяясь из всех голосов, зазвенел тонкий голос,— все пролетарии... а пролетарии всех стран, соединяйтесь!..

И он оглядывался, ловя блестящими, остро сверкающими глазами глаза товарищей.

— Я и говорю,— вдруг снова покрыл всех густой голос, и все голоса смолкли.— Я и говорю: овца, когда с нее шкуру дерут, только мемекает, а мы — люди. Ежели будем по-овечьи, так и дети, и внуки, и правнуки наши... Поэтому надо дружно стать всем, да не в розницу...

Он с минуту молча оглядел всех. Все слушали и глядели на него.

— Матери вашей кила!..— вдруг неистово заорал слесарь.— Да ведь понимать надо, за что стоять, чего нужно добиваться, в чем спасение рабочего люду... Бурдюги проклятые! Вот, как собаки, перли сюда по ночам... темь, того и гляди голову сломишь, а почему?.. Что ж нам о своих делах поговорить нельзя?.. Как воры... да ведь люди мы!.. А соберись, зараз за шиворот... бедность заела, хозяева давят, а нам нельзя собраться, поговорить, обстроить свою судьбу... Нас таскают, избивают по участкам, гноят в тюрьмах, гонят в Сибирь... А от кого это все?.. Ну?.. Понимаете вы... чего нужно рабочему люду?..

Тяжело, злыми глазами обвел он всех, торопливо шевеля черными от масла и опилок пальцами. И среди выжидающего молчания раздался голос:

— Землицы бы...

В ту же секунду дрогнули самые стены.

— Земли... Земли...

— Наделы нарезать...

— ...потому земля...

— ...кормилица...

— ...без нее, матушки...

— ...куда мы без земли... бездомники...

— ...семейство, его и не видишь, так и бродишь, как Каин, по чужой стороне...

Красные, мгновенно вспотевшие лица со сверкающими глазами поминутно оборачивались друг к другу, гневно ловя несогласно мыслящих, тянулись руки, сжимались кулаки, дергали друг друга за плечи. Не помещаясь в тесной и низкой казарме, стоял ни на минуту не ослабевающий гул разорванных голосов, в котором совершенно тонули пробивавшиеся из-за стены стоны. Точно всплывая в водовороте, оторванно выделялось:

— Да ты трескать будешь ее, землю-то?

— Панов покрываете...

— Голыми руками...

— Все одно, и с землей сожрет барин да начальство...

— ...она, матушка, все сделает, все произведет... всем хорошо будет...

— Вошь земляная... гнида!..

— Да ты, сволочь, старуху обобрал, с которой живешь... все знают...

— Брешешь!..

— Помолчите!..

— А вон у нас как по восьминке на душу...

— Товарищи!..

— Братцы, пролетарии!..

Хозяин, опершись одной рукой о косяк, другой колотит себя по ситцевой рубахе на груди.

— Десять годов... во... как дикой... сладко, што ль...

Понемногу гомон затихал, и стало слышно:

— ...о-о-о... охо-о-оохх...

— Десять годов бьюсь... зимою во... снегом занесет под крышу, голоса человеческого не слыхать, так и сидишь... А все зачем? Все об одном: вот-вот сколотишься, соберешь... сколько детей, кажного знаешь,— так копейку: ее кажную знаешь, кажную помнишь... с потом, с кровью, с мясом... А все зачем?.. Все об одном... день и ночь... хошь бы четыре десятинки... в вечность... земля-то у нас, господи боже ты мой!..

Он со страстью, с разгоревшимися глазами бросал кому-то путаные, неясные, но полные для него всеохватывающего, всеобъемлющего значения слова. Десять лет гнездится он в этих безлюдных горах. Рождались и умирали дети, похоронил одну хозяйку, взял новую, сила не та, поясницу ломит, старость подбирается, а кругом все те же молчаливые горы так же, как и в первый момент, равнодушно стоят и не выпускают его, и он дробит булыжник, равняет для кого-то ненужное ему шоссе и не знает, когда придет его черед крестьянствовать.

Дикие, обезумевшие, животные крики ворвались, опрокинув здоровые мужичьи голоса, из-за стены. Хозяин кинулся в двери.

Среди разбившегося неровного гула голосов вырастал хриплый голос слесаря. Он со злобой бросал ядовитые, язвительные слова, вставляя неписаные выражения:

— Задолбили... кабы можно, всю бы землю забрали. Я б и сам в первую голову... да то-то вот, которые все земли дожидают, давно без порток ходят, а вон он земли не дожидает, вишь — сапоги гармонией... потому гужом друг за дружку, а не как вы, как баранье стадо, куда вас гонят, туда и идете все мордой в землю... Э-эхх, остолопье!.. Вон Митрич десять годов из казар-

мы не выходит, все землю дожидает, тут и сдохнет, и отец его сдох, пухлый с голоду, все дожидался... Кабы понимали, анафемы!..

Он ненавидел эту толпу, ненавидел острой, жадной ненавистью фанатика. Лет двенадцать скитается он из города в город, из мастерской в мастерскую, с завода на завод, перебиваясь и голодая с семьей и всегда пользуясь вниманием полиции. И каждый раз, когда, высланный, он снова пристраивался и попадал в рабочую толпу, его опять охватывала ненависть, едкая, жгучая ненависть к этому непроходимому, самопожирающему непониманию и темноте. И его агитация состояла в том, что он жгуче, отборно клеймил своих слушателей. Иногда подымался протест, но большей частью покорно сносили брань и уходили со сходки, унося конфузливо в душе зерно просыпающегося сознания.

И теперь угрюмо и молча слушали этого лохматого черного человека, такого же заскорузлого, мозолистого, покрытого морщинами трудовой жизни, как и они сами. И если они не отказались от того, что было так же неизбежно и неуничтожимо для них, как жизнь и смерть, то впервые за всю жизнь в цельном, нетронутом, как гранит, представлении «землица» что-то надтреснуло тонкой, невидимой, не доступной глазу трещиной.

— Зачем мы тут!.. На кой дьявол возимся с вами... Да пухните себе, оголтелые черти, пухните с голоду, и чтоб вас били до второго пришествия в морду, в брюхо, в шею!.. Чтоб вас запрягали в дроги и ездили на вас бесперечь полиция, паны и все псы их дворовые!.. Чтоб вас на веревке водили за шею, как рабочую скотину... чтоб...

— Тю, скаженный!..

— На свою голову...

— Чтоб ты сдох!..

. . . .

Огонек лампочки побелел, и в углах уже не лежала тьма. Все выступало без красок, серое, проступающее. Прильнув к стеклам, пристально глядело в окно мутноматовое, все больше и больше светлевшее. Из-за стены не доносилось ни звука.

— Теперича бы выспаться.

— Выспишся... цельное воскресенье.

— Стало, как в швейцарском королевстве. Там, братцы... народ пределяет. Скажем...

Дверь распахнулась, показался хозяин с засученными рукавами. На перекошенном лице дергалась улыбка, прыгала борода.

— Бог сына дал.

— А-аа!!.

— Вот это хорошо: работничек в дом.

— Дай господи...

Поздравляем... дай господи благополучия... и чтоб вырос, и чтоб не по-нашему, а зычно да гордо: сторонись, богачи!..

И в казарме постояло что-то свое собственное, независимое, и всем почудилось, точно теплый маленький комочек коснулся сердца.

III

Когда вывалили из казармы, совсем рассвело. Неподвижно и важно стояли сосны. Белел снег.

От самых ног необозримо тянулась молочная равнина тумана, изрытая, глубоко и мрачно зиявшая черными провалами. Не было видно ни города, ни долин, ни лесистых склонов, ни синеющей дали, только холодно и сурово зыбилась серая пелена, бесконечно клубясь и волнуясь. Стояла точно от сотворения мира ненарушимая тишина, и человеческие голоса одиноко, слабо и затерянно тонули в ней...

— Как же спущаться будем: ничего не видать внизу!

— А ты не спускайся.

— Не жрамши?

Ге-эй, па-алочки, чу-у-ба-рочки...

— Вот, братцы, семь годов в городе живу, никогда не видал этого... равнина, а?.. будто в церкви, и будто кадила, и дым плавает, а?.. семь годов...

Когда б могла поднять ты рыло...

— Ванька, подари сапоги... ах, сапоги!

— Рылом не вышел... и в лаптях хорош...

Вставай, по-ды-ма-а-айся, ру-у-сский нар-ррод!
Встава-а-ай...
...народ...рооод...ооод...
Встава-ай на вра-га,
...бра-ат го-ло-од-ны-ый!..—

дружно подхватили молодые голоса, и над все так же чуждо, сурово и равнодушно волнующейся равниной поплыло, теряясь умирающими отголосками:

...а а-аат оооо-оодны-ы...

— Товарищи, кабы да отсюда, да гаркнуть всему рабочему люду, да так, чтобы по всему миру слыхать было:

«Пролетарии всех стра-ан, со-еди-няйтесь!»
...аааа... аа... аай...

Когда спустились в полосу тумана, за сапоги снова стала хватать тяжелая липкая грязь, каждый видел в молочно-мутной мгле только спину идущего впереди товарища, и отовсюду беззвучно капали с невидимых ветвей холодные капли.

БОМБЫ

I

Маленького роста, тщедушная, в оборванной юбке и грязной сорочке, все сползавшей с костлявого плеча, она, нагнувшись над корытом, усердно терла взмокшее, отяжелевшее белье в мыльной пене. Пар тяжело и влажно бродил под низким темным потолком. На широкой кровати в куче тряпья, как черви, копошились ребятишки.

Когда женщина на минуту выпрямлялась, расправляя занывшую спину, с отцветшего лица глядели синие, еще молодые, тянувшие к себе, добрые, усталые глаза.

Ухватив тряпками чугунный котелок, она лила кипяток в корыто, теряясь в белесых выбивающихся клубах, и опять, наклонившись и роняя со лба, с ресниц капельки пота, продолжала тереть красными стертыми руками обжигающее мыльное белье. Капал пот, а может, слезы, а может, мешаясь, то и другое. На дворе перед низким, почти вровень с землею, окном лежала, похрюкивая, свинья и двенадцать розовых поросят, напряженно упираясь и торопливо тыча в отвислый, как кисель, живот, взапуски сосали. Петух сосредоточенно задерживал в воздухе лапу, повернув голову, прислушиваясь, шагая и для вида только редко постукивая клювом по крепкой

земле, сдержанно переговариваясь с словоохотливыми хохлатками.

— Ох, господи Иисусе, мати божия, пресвятая богородица... И чего это...

Пена взбилась над корытом целой горой, и пузыри, играя радугой на заглядывавшем в окно солнце, лопались, тихонько шипя.

— Конца-краю нету!..— как вздох, мешалось с плесканьем воды, с подавленным шепотом и смехом ребятишек, затыкавших руками друг другу рты.

Кто-то за дверью громко колол орехи, и их сухой треск то приостанавливался, то сыпался наперебой. Орехи, должно быть, были каленые, крепкие, и сыпалось их много. Потом начинали щелкать прямо перед окном, хотя на дворе никого не было, кроме свиньи с двенадцатью поросятами.

Между сухим треском коловшихся орехов вставлялись глухие удары, как будто кто сильно, с размаху захлопывал дубовые двери, и стены и пол вздрагивали, и чуть звенели подернувшиеся от старости радужными цветами стекла в низеньких окнах. При каждом тяжелом ударе свинья вопросительно хрюкала и шевелила длинными белесыми ресницами. А стертые, красные и припухшие руки продолжали тереть, и капали в мыльную воду не то пот, не то слезы.

— Мамуньке сказу...

— А ты не сказывай, а я те дам тоже такую.

— А я ее исть хоцу.

— А ее не едять... Вишь, крепка...— носился детский шепот и подавленный смех и возня.

II

В окно заглядывала темная ночь, шурша ветром и стуча дождем. Ребятишки спали. Марья возилась около печи, ставя тесто. Снаружи стукнули кольцом. Она отперла. Вошел муж с несколькими товарищами и *он*. Это было два года тому назад.

Вытерли ноги и прошли в чистую половину. Сели. У *него* было молодое, строгое и безусое лицо. *Он* сел под образами, и все молчали, покашливая в кулак.

Когда посидели, *он* сказал:

— Что же, больше никого не будет?

Муж откашлянулся и сказал:

— Нет... никого... Потому, собственно, погода, и народ занятой...

И хотя был очень молод, *он* сидел, нахмурив брови, и все глядели на пол, на свои сапоги, изредка украдкой поглядывая на *него*. *Он* сказал:

— Тогда приступим.

И, поднявшись, басом, которого нельзя было ожидать от такого молодого, сказал:

— Товарищи, вы видите перед собой социалиста.

Точно в комнату невидимо вошел кто-то страшный. Марья стояла за дверью и прижалась к притолоке. Все перестали покашливать, перестали смотреть себе на ноги и на пол, а, не отрываясь, глядели на *него*. А *он* говорил, говорил, говорил...

У Марьи дрожали руки, и она тыкалась возле печки без толку, брала то кочергу, то миску, то без надобности подымала полотенце и заглядывала на теплое пузырившееся тесто.

— Ах ты господи, кабы дети не проснулись!..— шептала она.

А безусый все говорил. Марья ничего не разбирала, о чем шла речь, без толку возясь с посудой и схватывая только отдельные слова. И ей пришла дикая мысль, что *он* сейчас скажет: «Бабу повесить у притолоки, а ребят — в лежанку головой...» И хотя *он* этого не говорил и — она знала — не скажет, руки у нее ходили ходуном. Или скажет: «Будет им, хозяевам-то, носить шелки да бархаты, нехай твоя баба поносит... Сделать ей шерстяную юбку да кофточку шелковую...»

Но *он* и этого не говорил, и она знала, что не скажет. Слесаря, когда *он* к ним обращался: «Не так ли, товарищи?» — отвечали хрипло срывающимися голосами:

— Верно... это так.

Они робели пред ним, и это наводило на нее еще больший страх. А в окно все внимательнее заглядывала ночь, и шуршал ветер, и плескался дождь.

И когда ложилась с мужем, Марья проговорила, крестясь и испуганно глядя в темноту:

— Вась, а Вась... кабы беды не нажить?.. Сицилист вить... Мало ли что...

Муж сердито повернулся на другой бок.

— Молчи, ничего не понимаешь.

III

Свинья по-прежнему неподвижно лежала, и двенадцать розовых поросят, подкидывая мордами, толкали ее в живот. Очевидно, им уже нечего было сосать, но доставляло удовольствие колыхать этот большой, упруго подававшийся живот.

Важно и медленно густой, черный дым подымался над городом в нескольких местах, и орехи продолжали торопливо щелкать, и бухали дубовые двери... То вдруг все затихало, и это имело какое-то отношение к этому медленно и важно подымавшемуся дыму, и на мыльную воду и на красные руки капали капли не то пота, не то слез...

Безусый приходил после того несколько раз, и хотя он больше не говорил, что он социалист, и она угощала его чаем,— все-таки продолжала его бояться и чуждаться.

По субботам маленькая комната битком набивалась рабочими. Красные и потные, они сидели чинно, пока *он* говорил, но понемногу вступали в разговор, разгорались, перебивали друг друга, стучали кулаками в грудь, и подымался такой содом, что хоть святых выноси.

Что-то странное, новое и непонятное вошло неуловимо в их домишко. Марье казалось, как будто проломили стену и через пролом стало светлее, и неслись с улицы звуки, но она боялась, что будет непогода, и сюда будет нести дождь и снег, и будет заглядывать осенняя ночь.

Очень хорошо она знала, что завод давит рабочих, что муж каждый день приходит истомленный, что у него, когда-то краснощекого, здорового и веселого, ввалилась грудь, впали щеки, и при каждом расчете излишка рабочих они дрожали. И все это было неизбежно привычно и тянулось, как тянется день, наступает вечер, ложатся спать, и опять день, и опять работа, ребятишки, заботы... Теперь же то, что было привычно, буднично и неизбежно и о чем не думалось, да и некогда было думать, теперь это называли вслух, об этом говорили, спорили, и оно обернулось к Марье какой-то иной, новой, тревожной и беспокойной стороной.

И опять ей показалось, что придет кто-то, строгий, недоступный и суровый, и скажет:

— Будет хозяевам-то с чаями да с сахарами... Пора и вам, сердягам, передохнуть...

И кто-то другой, ухмыляясь поганой рожей, скажет:

— А в тюрьму хочешь?!

Безусый стал приводить с собой товарища. Этот был постарше, с лысиной и черной бородкой. На обоих были синие блузы и высокие сапоги, но руки у них были белые и мягкие. Нельзя было понять, что они говорили, но у обоих были чистые и ясные голоса, и все хотелось их слушать.

— Вась, а Вась...— говорила Марья, ложась возле мужа.

Она виделась и успевала перекинуться с мужем двумя-тремя словами только перед сном. Уходил он до свету, а приходил ночью, черный, пропитанный железом, нефтью, усталый и сердитый.

— Вась, кабы беды не нажить... Неровен час... У Микулихи, сказывают, забрали мужа и брата, ей-богу!.. Жандармы, сказывают, приходили, все обшарили, перину пороли, вот как пред истинным!..

— Много ты понимаешь!

Он сердито отвернулся к стене, но не захрапел, как это обыкновенно бывало, а полежал, молча и торопливо сел на постели. Ворот рубахи отстегнулся, показывая волосатую грудь.

— *Они* — благодетели наши... А то как же?.. Что я понимал! Пень бессловесный, и больше ничего...

Он посидел, строго покачивая головой, и почесал поясницу.

От синей полосы лунного света по всей комнате лежали длинные, ломаные, уродливые тени.

— Блох ноне множество.

— Блох — сила. Пропадать бы надо, а они кипят.

Он опять почесал поясницу.

— Главное, понять... Нашему брату, рабочему, понять только, а там захватит и поволокет... Все одно как пьяницей сделался — не оторвешься... Никак кто-то калиткой стукнул?

Они прислушались, но было тихо, и лунная полоса по-прежнему неподвижно лежала на кровати и в комнате, прорезанная тенями. И в этой полосе сидел человек, всклокоченный, костлявый, с глубокими впадинами над

ключицами. Жена глядела на него, и тонкая, щемящая боль кольнула сердце. Ей захотелось приласкать этого человека.

— Вась, а Вась... худой ты...

IV

Марья стала разбираться. Она понимала, что «эксплуатация» значит — хозяева мучат, что «прибавочная стоимость» — это что хозяева сладко едят, сладко пьют вместо нее с мужем, вместо ее детей, и прочее.

И двоилось у нее: все это было старое и известное, и все это поражало остротой новизны и несло в себе зерно муки и погибели. И она внимательно слушала, когда в тесной комнатке стоял гул голосов, с тайной надеждой и радостью, что изменится жизнь, что еще в тумане и неясно, но идут уже светлые дни какой-то иной, незнаемой, но радостной, легкой и справедливой жизни. А когда оставалась одна и сходилась с соседками, сердито говорила:

— И чего зря языками болтают. Так, невесть что. И будто умные люди, из панов, а так абы что говорят. Ну, как это можно, чтоб хозяев не было? А кто же управляться будет, а страховку кто будет делать, а жалованье платить?

— И не говори!.. Вон у Микулихи-то забрали, доси не выпускают... Дотрезвонятся и эти.

Но когда приносили литературу, прокламации или мешочки со шрифтом и муж отдавал ей, она тщательно и бережно запрятывала и хранила их.

В глухую полночь пришли жандармы и арестовали мужа. Марья обезумела. Бегала в жандармское, в полицию, к прокурору, валялась в ногах и выла. Под конец ее отовсюду стали гнать. Потом она съежилась, замолчала, никого ни о чем не просила, и когда приходила на свидание в острог, глаза у нее были сухие и горячие. Она непременно приносила бублик, или пирожок, или яиц. Не волновалась, не плакала, не упрекала, а рассказывала о детях, о соседях, про заводских.

Дома работала как лошадь, и никто не знал, когда она спит. Надо было прокормить семью, и она билась как рыба об лед.

Раз как-то пришел безусый проведать и навести какие-то справки. Когда она увидела его, лицо исказилось, она схватила полено и бросилась на него.

— Вы погубители наши!.. Вы кровососцы... Будь вы трижды прокляты!.. И чтоб вас, анафемов...

Из тюрьмы муж вышел совсем больной и несколько месяцев был без работы. Это было самое тяжелое время для Марьи. Она работала с неослабной энергией, и одно только жгучее чувство светилось в ее сухих и горячих глазах — ненависть. При одном имени: жандарм — она трепетала от злобы.

Снова по ночам стал таинственно собираться народ в их домишке. Назревали события. В воздухе пахло порохом и кровью. То там, то здесь находили убитыми городовых и шпионов.

V

Клубы черного дыма важно подымались над городом, свинья кормила поросят, грохот захлопывающихся дверей сливался в протяжный гул. Женщина торопливо домывала... Кто-то, несмотря на этот черный день, несмотря на трескотню и грохот, кто-то должен был носить тонкое чистое белье, не мог оставаться без белья. И ребятишки, возившиеся на кровати, не могли оставаться без хлеба. И она запаривала, намыливала и терла, терла, терла.

Низенькая дверь отворилась. Нагнув голову, торопливо шагнул молодой парень. Женщина разогнула спину, глянула и всплеснула руками.

— Савелий!..

У него было почернелое, осунувшееся — как будто он не спал целую неделю — лицо и темный сгусток запекшейся крови под правым глазом.

— Тетка Марья... во...

Он с усилием улыбнулся запекшимися губами, тяжело опустился на табуретку и завел веки. Потом торопливо вскочил и, глядя испуганными красными глазами, проговорил:

— Дай глотку промочить да достань поскорей... энти... знаешь, которые спрятать тогда приносили.

Она с отчаянием хлопнула руками.

— А мой-то, мой где?.. Что с ним такое?.. Что он

не идет?.. Господи, да разнесчастная я, несчастная... Да милый ты мой соколик... Да куды же я теперь голову приклоню...

Она уставилась на парня злыми глазами и шипела:

— Где мой?.. Говори, где... не бреши... говори!..

Он бегал глазами по комнате и оглядывал себя.

— Вишь, шрапнель всю полу, как горохом, дырочки проделала...

Она взяла ведро и, рыдая и сморкаясь в руку, пошла во двор. Парень прислонился к стене, запрокинул голову; веки тихонько полузакрылись, рот открылся, показывая белые зубы. Он тихонько подсвистывал носом, покойно дышала грудь, и мирное, спокойное, счастливое выражение разливалось по измученному лицу.

Было тихо. Ребятишки притаились и хитрыми смеющимися глазами следили за спящим. В углу грызла мышь. Петух подошел к самому окну, постоял, поворачивая голову, и вдруг заорал что есть силы: ку-ка-реку-у!.. Свинья хрюкнула, ребятишки прыснули со смеху.

Вошла Марья с оттягивающим руку ведром. Парень вскочил, как безумный, шаря у себя на груди и оглядывая комнату дикими глазами.

— Где?.. Куда?.. Постой!.. Фу-у, а я думал...

— Испей, касатик... Покормила бы тебя,— нечем, родимый: корочки сухой в доме нет.— И она опять заголосила: — Да куды мы денемся? Да куды мы голову приклоним?.. Да родимый ты наш батюшка!..

Он жадно пил, запрокидывая голову и проливая прыгавшую по одежде серебряными каплями воду.

— Спасибо, Ивановна!.. Прощай!.. Будь тебе, чего сама пожелаешь.— И вдруг нервно заторопился: — Скорей... скорей!..

— Да куды он их дел, не помню.

— В подполье будто, сказывал.

— Вытащил... Где-то в коробке под кроватью...

Она лазила на коленях, шаря рукой под кроватью, под скамьями, и вытащила небольшой ящик.

Оба нагнулись.

— Пустой!!

— Куды же делись?

— Взял разве?

— То-то, что нет... Послали. Непременно надо.

Ребятишки хихикали.

Странный звук пронесся по комнате. Парень стоял белей стены, протянув растопыренные пальцы. Марья, не поднявшись еще с колен, глянула по направлению его взгляда и застыла, и глаза у нее сделались огромные и круглые: перед сбившимися в кучу ребятишками лежали небрежно на кровати два металлических цилиндра, грубо обделанные напильником. Что-то в них было необыкновенное, потому что люди в застывших позах несколько секунд не могли оторваться глазами.

Потом Марья, как кошка, подобралась к перепуганным детям и с ненавистью прошипела:

— Тссс... нишкни!..

Парень, у которого лицо стало отходить, шагнул, осторожно взял и положил, пожимаясь от холодного прикосновения, один цилиндр за пазуху, а другой опустил в карман.

И когда был уже у двери, обернулся и покачал головой.

— Крошки бы от дому не осталось...

И из-за притворенной двери донеслось:

— Прощай, Ивановна. Спасибо... Не поминай лихом!

Свинья поднялась на ноги, постояла и подумала. Поросята играли, боком подкидывая мордами друг друга. Потом опять грузно легла на бок, и поросята снова взапуски, тыкая мордами, стали сосать ее.

Из орудий продолжали стрелять, и дым клубами подымался к небу.

Сыпались орехи, громко хлопали дубовые двери, и столб, густой и черный, медленно и важно подымался к небу. А Марья терла скользкое мыльное полотно, и пот, как роса, проступил на ее лице, и капли, соленые и едкие, капали в мыльную воду.

ПОХОРОННЫЙ МАРШ

I

Они шли среди огромного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочившей их до самого древка.

Они шли между фасадами гигантских домов, испещренных лепными орнаментами, статуями, мозаикой, живописью, равнодушно и холодно глядевших на них блеском зеркальных окон. Город шумел обычной, неизменяемой жизнью. И среди каменных громад, среди заботливо, равнодушно торопящейся по тротуарам публики — над их бесчисленными рядами, как тысячеголосое эхо, носилось:

— Да здравствует свобода... Да здравствует рабочий народ!..

И гордо и чуждо неслись эти клики.

Гордо неслись над черными рядами, бесконечно терявшимися в изломах улиц.

Чуждо звучали среди каменных громад, среди роскоши зеркальных витрин.

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово-сосредоточенно шли старики, быть может все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших. И с испуганным изумлением оглядывались они на руины вчерашнего дня.

Мелькали черные козырьки, сапоги бутылкой, пиджаки, черные пальто. Носились шутки и остроты, вместе с толпой плыл говор, гомон и, местами покрывая, веселыми взрывами вырывался смех.

— Товарищи, держите равнение!..

— Да все Ванька выпирает.

— Вишь, у него брюхо колесом, и забастовка его не берет...

— С запасом, стало...

. . . .

— Да-а... приходим, сейчас дежурный: что угодно? Так и так, депутация от рабочих. Ждем. Выходит генерал. Ну, мы скинули шапки...

— А вы бы и штаны скинули...

— Ласковее бы стал.

— К ноге дал бы приложиться...

Рассказчик конфузливо-сердито замолкает, и по рядам густо несется добродушно-иронический смех.

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые, прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначе-

ны для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почуявшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет:

Нам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-и-ры...

и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, могучее не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почуявшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя.

II

— Товарищи!

Его высоко поднимали над чернеющим морем голов, и далеко был виден он, и голос его звучал отчетливо и ясно. Передние ряды задерживались, задние подходили, становились все гуще, и текучая людская река останавливалась, как в молчании останавливаются шумные воды, прегражденные в русле своем.

Звук шагов замер и только глухо и мощно доносился из дальних улиц.

— Товарищи!.. Даже окинуть я не могу ваших рядов. Но...— он поднял руку, и голос его скрепчал,— не в численности наша сила. Вот мы идем, идем безоружные, с голыми руками, на которых только мозоли. Перед физической силой мы — слабее ребенка. Десяток вооруженных людей может затопить нашей кровью улицы. Почему же враги в злобном ужасе озираются на нас?

Он приостановился. И стояло великое молчание. И он окинул неподвижное чернеющее море и прислушался к далекому мощному гулу еще идущих.

— Не руки наши страшны врагам — страшны сердца, страшно наше прозрение, страшны горячие сердца, бьющиеся неутолимо жаждой свободы! Как черная зияющая бездна, раскрылось наше сознание. Мы увидели наше глубокое рабство, мы увидели наших поработителей. Собравшись, мы стали на одном краю бездны, а наши поработители — на другом, и поняли мы: нет

нам примирения. И они поняли: нет им примирения. И в этом ужас наших врагов!..

Он говорил им о вечной борьбе поработителей и порабощенных, говорил о железном ходе исторической жизни, который неумолимо сотрет главу змия власти человека над человеком, говорил о вещах, которые они тысячи раз слышали, знали наизусть, сами могли говорить, и все-таки жадно, не отрываясь, ловили его слова, ловили много раз слышанное, ибо оно не утрачивало для них девственной прелести новизны. Как любовь для юноши, старое для человечества было вечно ново для человека.

И снова течет черная река между неподвижными громадами, яркими пятнами краснеют знамена, и слышится говор, гомон и смех, и, мешаясь с непрерывным гулом шагов, торжественно плывет:

На-ам не ну-ужны зла-ты-ые ку-у-ми-и-ры...

А из дальних улиц все выходят и выходят ряды.

Далеко в дымке теряющейся улицы смутно засерело, как сереет печальная отмель в пустынном море, плоская и безлюдная, печальная отмель, над которой носятся белые чайки. Все подняли головы, раздулись ноздри, собрались складки между бровями.

III

— А-а!..
— Где?..
— Вон...
— Какие?..
— Не видишь...
— Они!.. Они!..

Как тревожные ночные звуки, срывался говор, передаваясь трепетом неопределившегося беспокойства.

А серая отмель вырастала и из печальной и скучной становилась грозной. Ясно стало: это люди, серые, одинаковые. Солнце играло на остриях оружия.

Было у них одно лицо, неподвижное, немое, как каменное лицо валуна среди мшистых скал, от века нагроможденных. Тусклые глаза мутно глядели на приближавшихся.

А те шли тесно, взявшись за руки, и над чернотой бесконечных рядов кроваво реяли знамена, и стоял все тот же густой, непреградимый, упорный, все заполняющий гул шагов.

IV

Офицер полуобернулся к солдатам и сказал слова команды.

Горнист поднял рожок, раздвинул усы, приставил к губам, надул щеки. И разом вся огромность, все значение больно сверкавших штыков, черно зиявших пулеметов перешло к одному человеку в серой шинели.

Словно испытывая всю мощь, весь ужас, который сосредоточился в нем, он оторванно бросил этим тысячам жизней три коротких звука.

Дружно блеснув, покачнулись штыки, и сотни их послушно легли на руку, остро протянувшись к надвигавшемуся живому морю и безмолвно глядя чернеющими дулами. Передняя шеренга серых людей опустилась на колено, и пулеметы жадно глядели на неумолимо приближавшиеся живые тела.

Смолк говор, потух смех. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов. И этот нарастающий гул шагов наполнял мертвое молчание и стоял над улицами, площадями, царил над примолкшим городом.

Разрушая напряжение, над тысячами обреченных тысячами молодых и старых голосов могуче зазвучал похоронный марш:

Мы же-ер-тво-ю па-а-ли в борьбе-е ро-ко-вой...

Как прощание, восходило пение к бледному небу, к кровавому солнцу, к каменному городу, затаившему шумное дыхание, и народ, толпившийся по переулкам, жавшийся вдоль тротуаров, народ снимал шапки им, идущим.

...лю-бви без-за-вет-ной к на-ро-о-ду...

Как погребальный звон, плыло над ними:

...мы от-да-ли все, что могли за не-го...

Лица были бледные, глаза светились, и шли они как обреченные.

Розовато дымящийся туман окрашивал солнце, дома, лица, и острой волной набегал кровавый запах, и чувствовался на языке приторно знакомый привкус.

Пространство между надвигающимся погребальным шествием и серыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, как догорающая жизнь.

...но гроз-ны-е бук-вы дав-но на сте-не
чер-тит ру-ка ог-не-ва-я!..

Тысячи людей шли, тысячи людских голосов звучали погребальной песнью, торжествующей песнью смерти, и на лицах и на белых стенах домов траурно реяли черные тени знамен.

V

Офицер, с бережно зачесанными кверху усами, холодно мерил привычным глазом неумолимо сокращающееся расстояние, блеснул, подняв руку, саблей, и губы шевельнулись, произнеся последнее слово команды.

Страшные секунды ожидания покрылись:

...прощайте же, бра-атья!..

И в то же мгновение исчезло пространство смерти, затопленное живыми, движущимися рядами. Как сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшие к земле штыки, и солдаты, растерянно и радостно улыбаясь, потонули в человеческом потоке; лица их были бледны, и у каждого было свое особое молодое лицо. Растворилась серая преграда в бесконечно чернеющих надвинувшихся рядах, как скатившийся с кремнистого берега гранитный валун в набегающих волнах.

Отвернувшись, офицер опустил ненужную холодную саблю. Глупо глядели пулеметы.

Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона вырастала яркая, молодая, радостная жизнь, и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей; и народ, густо черневший вдоль улиц, несмолкаемо и исступленно приветствовал их.

Кровавая дымка подобралась и растаяла. Исчез приторный привкус и острый, раздражающий запах.

Солнце сияло, и город снова зашумел тысячами задержанных звуков.

НА ПРЕСНЕ

I

«Бумм!..»

Он донесся издалека, этот глухо-тупой удар, от которого слабо дрогнули стекла, донесся из центральных улиц.

«Началось!..»

И что бы ни делал, куда бы ни ходил, с кем бы ни разговаривал, ко всему примешивалось: «Но ведь началось...» Вырвется детский смех из комнат, стукнет дверь, громко кто-нибудь кашлянет, и в памяти угрюмо встает звук смолкшего орудийного удара... «Началось!..» И сердце сжалось, сцепив грудь тоскливым предчувствием огромного несчастья или огромного счастья, и уже не отпускало до конца.

— Матушки-и мои!..— просунув голову в дверь, приседая и хлопая себя по бедрам, говорила кухарка, рязанская баба.— Народу-ти наваляли-и...— конца-краю нету!.. Вся Тверская черна, один на одном лежат, как тараканы... Со Штрашного монастыря содют из пушек.

Я вышел. Орудийные выстрелы доносились с томительными перерывами. Народ обычно шел по панели вверх и вниз по улице. Хрустел снег.

На морозном небе вырисовывалась вдали каланча. Хотелось побольше полной грудью забрать этого славного, бодрого, покусывавшего за уши, за щеки воздуха, не думая ни о чем, но глухие удары, доносившиеся *оттуда*, и каланча на морозном небе говорили: «Началось...»

Все было обычно, только, когда проходили мимо кучки, слышалось:

— А *она* вдарилась возле, так и обсыпала...

Да лавки хмуро глядели наглухо заколоченными ставнями и щитами. Но, по мере того как я шел, народу больше попадалось навстречу, и слышался беспорядочный, торопливый говор. Останавливались, моментально образовывалась кучка, и говорили, говорили нервно, торопливо, как будто эти люди, никогда не видавшие друг друга, были знакомы много лет.

Какая-то пожилая дама, должно быть немка, придерживая трясущиеся руки на груди, говорила, придыхая, и перья прыгали у нее на шляпе:

— Я кофорю, пойдем, я боюсь... а она кофорит: не бойся... Смотрим: баххх!.. а у него колофы нет, а из шеи крофь... а из шеи крофь, как фонтан...

И она с перекошенным лицом теребит ближайшего слушателя за пуговицу пальто... Угрюмо слушают, не умея еще разобраться, не решаясь довериться рассказчице, но орудийные удары подтверждают истинность рассказа.

Вот и баррикады. Торопливо снимают ворота, выворачивают решетки, валят столбы. На протянутых через улицу веревках трепещут красные флаги. Оставлены узкие проходы по тротуарам. Все пролезают, покорно сгибаясь, под протянутые проволоки.

Орудийные выстрелы все ясней, и при каждом ударе тяжко вздрагивает земля. Теперь уже не идут, а бегут *оттуда* с растерянными, бледными, как будто помятыми лицами.

— Куда идешь?..— со злобой, прибавляя непечатную брань, кричит мне в самое лицо какой-то маленький старичишка.— Черту в зубы?.. Из пулеметов бьют...

— А-а... пусть... пусть натешатся...— с такой же злобой кричит молодой парень, грозя по *тому* направлению кулаками,— пусть натешатся... пусть...— И он торопливо обгоняет меня.

Как роковая полоса, пустынно тянется через перекресток Тверская. Никого нет, но на углах кучки любопытных — дети, женщины, мужики, торговцы. Вытягивают шеи, выглядывают за угол — и опять назад.

Я замедляю шаг. Впереди у самого угла раздается оглушительный взрыв. С дымом и огнем веерообразно взлетают вверх куски чего-то черного. Навстречу, что есть силы, бегут люди. Впереди молча несется, стиснув зубы, сжав кулаки, огромный рыжебородый мужчина, и алая полоска — со лба по носу, по щеке — теряется в густой рыжей бороде. Девочка, лет двенадцати, кричит нечеловеческим голосом:

— Ай, родные мои... ай, родные!

И долго, теряясь где-то в конце улицы, доносится:

— Родные... ро-одные мои!..

Бежит старушка с огромными, навыкате, белками.

— Свят, свят, свят, господь Саваоф, исполнь небо и земля!..

Из кучки любопытных шрапнель вырвала шестнадцать человек. Часть раненых разбежалась, часть растаскивают по дворам, а на снегу неподвижно чернеют четверо. Пятый стоит в изумленной позе, потом постепенно валится и, не сгибаясь, падает лицом в снег и так же лежит неподвижно, как и остальные. Возле — воронкообразная яма. Кругом кровяные пятна и какие-то черные обрывки не то одежды, не то человеческого тела.

Никого нет. Хочется заглянуть за угол. И страшно и мучительно тянет, как тянет заглянуть в черную бездну.

С замиранием сердца делаю шаг.

— Погодите...

Я оборачиваюсь. Парень, кричавший «пусть натешатся», отделяется от соседней калитки.

— Обождите трошки — зараз вторая вдарит.

В ту же секунду раздается такой же оглушительный взрыв у противоположного угла. Дым и огонь расходящимися струями несутся кверху, с соседних домов густо сыплется штукатурка, и со звоном летят изо всех окон стекла.

— Теперича можно.

Чувствуя, как холодеет затылок, я заглядываю. Тверская мертвенно-пустынно тянется в обе стороны. Только где-то далеко, в морозной дали, маленькие, игрушечные люди маячат около маленьких, игрушечных пушек.

— Отходите.

Я отошел дома за два.

— В кого же они стреляют?

— А так, глупость одна.

Я гляжу на кобуру от револьвера, которая топорщится из-под расстегнутого пальто.

— Вы дружинник?

— Да.

— Как же так... мало?

— Мало, а видишь, сколько пушек навезли.

— В мирных бьют?

— Потому публика необразованная, зря суется... Умей выйти, умей схорониться, а она лезет. За сегод-

няшний день эва набили их, а в нашем отряде не ранен еще никто.

Я пошел назад. Орудийные удары, то вздваиваясь, то порознь, стояли в воздухе.

Наплывали сумерки. На площади красновато бросалось из стороны в сторону пламя костров: жгли ворота домовладельцев, которые их запирали. На стенах смутно белели объявления генерал-губернатора о штрафе в три тысячи рублей, если ворота не будут заперты.

Уже царила ночь, темная, глухая. Ни одного фонаря, ни одного огня. Орудийные выстрелы смолкли. Зато то там, то здесь раздавались одиночные или целыми букетами ружейные выстрелы. Где стреляют, кто стреляет — нельзя было сказать. И среди глухой темноты эти щелкающие короткие звуки впивались болезненно и угрожающе. Винтовочные пули без прицела летят на несколько верст и поражают совершенно случайных людей.

Скрипел снег. На улицах ни души.

II

С утра обыкновенно бывало тихо, но к часу разыгрывалась орудийная стрельба. Улицы — как вымерли. Зато у каждых ворот, у каждой калитки, на каждом перекрестке кучки народу. Передают случаи расправы войск и полиции, подвигов дружинников и горячо обсуждают шансы победы той или другой стороны в развертывающейся кровавой драме.

— И у нас баррикады строят,— и испуганно и радостно говорит прислуга.

— Где?

— У заставы.

С представлением революции, восстания вяжется что-то необычайное, поражающее. Но когда я подходил к заставе, все было необыкновенно просто. С пением, со смехом, с шутками валили столбы, тащили ворота, доски, бревна, сани со снегом — и баррикада вырастала в несколько минут, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У ворот и по тротуару толпился народ.

— Ну, братцы, и бабы пошли на баррикады... Дело Дубасова — дрянь... Хо-хо-хо...

Все весело подхватывают и смеются.

Баррикады одна за одной вырастают вниз по улице, по направлению к Пресненскому мосту. Вдруг публика исчезла. Улица пустынно, мертво и грозно белела снегом. Бревна, доски, столбы, перевернутые сани, неподвижные и беспорядочно наваленные поперек улицы, придают этим домам, окнам, наглухо закрытым лавкам, зияющим воротам вид молчаливого и напряженного ожидания.

Я тоже захожу за угол в переулок.

— Что такое?

— Казаки.

И это короткое слово разом освещает пустынную улицу и наваленные бревна ровным, немигающим серым светом, в котором чуется: «Для кого-то в последний раз?..» Любопытные жались к воротам. Молодой парень, подняв руку, крикнул:

— Пе-ервый номер!..

Несколько человек с револьверами в руках сгруппировались у ближайшей к углу калитки.

— А вы отойдите... отойдите, пожалуйста... а то подойдут — вы побежите, паники наделаете,— говорил парень, обращаясь к публике.

— Это — дружинник,— передавали, отходя, шепотом друг другу, и в этом шепоте и во взглядах, которыми его провожали, таилось уважение, смешанное со страхом, и надежда на что-то большое, что сделают эти люди.

Я выглянул. Серым развернутым строем поперек всей улицы шли вдали спешенные казаки. Когда взошли на мост, их серый ряд разом блеснул огнем, и раздалось: рррр... рррр... рррр... точно рвали громадный кусок сухого накрахмаленного ситца. По баррикадам, по водосточным трубам, по вывескам и окнам, а особенно по калиткам дворов, щелкая, посыпались орехи... Рррр...рррр... рррр-ы!.. Я вбежал в калитку переулка. Тут толпилось человек двадцать прохожих и любопытных. Металась какая-то женщина:

— Ой, батюшки, да куда же я...

А ситец продолжали рвать. В промежутках нежно защелкали браунинги. На противоположном перекрестке дружинник спокойно опустился на колено, прицелил-

ся из винтовки, блеснул огонь,— и вдруг среди стрелявших раздались крики и радостный смех:

— Браво... браво... браво!..

Ситец перестали рвать. Публика опять высыпала на улицу. Я тоже вышел. Везде стояли кучки. Подобрав четырех раненых, свернувшись повзводно, серели вдали, уходя, казаки.

Снова закипела работа. Баррикады росли одна за другой. Внизу улицы, возле моста, выросла последняя. Красный флаг победно волновался над нею. А вдали угрюмо и молча глядела на нее пресненская каланча.

III

Ночью город вымирал. Мутно белел снег. Черными неясными громадами в глухой неподвижной тьме тонули дома. Ни одного огонька. Ни одного звука. Только собаки лаяли, перекликаясь, и в промежутках стояло молчание. Казалось, среди ночи раскинулась большая деревня и покоем и мирным сном веяло над нею.

Половина одиннадцатого ночи.

...Рррр...рррр...рррр...

Залпы раздирают ночное молчание и гонят иллюзии... Рррр...

Это уже у нас внизу, во дворе. Я осторожно отворяю форточку. Стреляют в воротах. Пули, как из решета, сыплются в забор, в парадные двери. Весь дом — как мертвый. Дружинников тут нет, потому что им неудобно скрываться и оперировать,— двор, как мешок, с одним выходом, и их легко всех захватить. Тем не менее солдаты стреляют во двор, в окна обывателей, чтобы нагнать страху, чтобы никто не показывался, и главное потому, что в дружинников стрелять не приходится: они неуловимы.

Выстрелы стихают. С улицы доносятся говор и голоса. Небо понемногу багровеет. Несутся искры, коробится и трещит дерево,— жгут баррикады.

Кто-то громко высморкался, и этот мирный звук звонко и как-то умиротворяюще разнесся в морозном ночном воздухе, и представился солдатик, отирающий о полы шинели пальцы, обветренное добродушно-туповатое лицо мужичка, оторванного от землицы, около которой он и теперь бы с наслаждением ковырялся.

Зарево разгоралось. Дома угрюмо выступили, кроваво озаренные, с мертвыми, незрячими окнами. Потом понемногу потухло, все стихло, солдаты ушли,— и снова угрюмо царил мертвый, молчаливый мрак и лаяли собаки.

«Конец!»

Грудь давило, как наваленной могильной плитой. Впереди чудился кошмар кровавой расправы. Каково же было удивление утром, когда я увидел, что это еще не конец: вновь возведенные баррикады гордо красовались, и непреклонно веял красный флаг. В городе все было подавлено, только Пресня, пустынная и вся связанная баррикадами, угрюмо и гордо давала последний бой.

Мне пришлось ворочаться из города, и я попал на Пресню со стороны Горбатого моста. Надо было перейти через Большую Пресню. Меня остановили.

— Не ходите.

— А что?

— С каланчи охотятся... беспременно подстрелят...

Я глянул. На каланче действительно вырисовывались фигурки, и иногда доносился оттуда звук выстрела. Городовые и солдаты, обозленные бессилием взять Пресню, охотились на обывателей. Достаточно было кому-нибудь показаться, как его клали. Пули обстреливали вдоль всю большую улицу, летали по дворам, пронизывали окна.

Большая Пресня безлюдно тянулась в обе стороны, но во всех переулках, укрытых от каланчи, чернел народ. В эти дни невозможно было усидеть в комнатах. Я прислушался.

— Ночью у Горбатого моста студента арестовали, обыскали — револьвер; потом девушку, потом рабочего. Офицер ничего не спросил, не узнал, кто они, как и что, мотнул головой — ну, и...

— Что?

— Расстреляли.

Стояло угрюмое и суровое молчание.

— Как же мне теперь перебраться?

— А я вас переведу.

Мальчуган лет десяти, шустрый и проворный, глядел на меня ясными глазенками.

— Как же ты? — удивился я.

— Пожалуйте.

Он подвел к углу, от которого поперек улицы тянулась баррикада.

— Ложитесь на пузо.

— Что такое?

— Беспременно на пузо, а то все одно подстрелят.

Делать нечего. Мы поползли по холодному снегу, укрываясь от каланчи за баррикадой. На той стороне, уже за углом переулка, поднялись, отряхнулись. Я заплатил, и мальчуган весело, как ящерица, завилял назад, ожидая случая еще кого-нибудь переправить, пока не уложит пуля караулящих на каланче городовых.

«На Москву-реку!..»

«На Москву-реку!..»

Это, как кошмар, стояло в мозгу, ни на минуту не отпуская ни днем, ни ночью, ни за работой, ни во сне... Они шли, шли трое, быть может не зная друг друга, шли молча. И с трех сторон шли мужички Рязанской, Калужской и других еще губерний, положив ружья на плечи.

И тоже шли молча.

И не надо было просить, плакать, сопротивляться, ибо было бесполезно. И была морозная мгла. По бокам отходили назад дома, черные, мертвые, немые. Там, внутри, может быть, спали или ходили, разговаривали, ужинали, раздевались, раздавался детский плач, а эти шли мимо черных и мертвых снаружи домов.

Потом потянулись заборы и пустыри. Потом была одна морозная мгла да низко белел снег. Остановились. Поставили, чтобы было удобно. На секунду водворилось великое молчание. И эти трое и мужички из Рязанской и других губерний думали. О чем?

Потом...

Когда мужички ушли, по мутно белевшему снегу чернели три пятна.

IV

Меня разбудили тяжелые, потрясающие удары. Было темно. Я приподнялся. Дети спали. Няня возилась в соседней комнате. Орудийная канонада разрасталась, дом трясся. В промежутках слышно было, как трещали пулеметы и рассыпались ружейные залпы. Странные,

скрежещущие звуки, точно много железа тащили по железу, тянулись в стоящей за окном мгле, и это наводило неподавимую тоску.

Вдруг: чок! С коротким звуком пуля, продырявив два оконных стекла, впилась в стену. Штукатурка, шурша, посыпалась на пол.

— Ой-ой-ой... убили, убили!.. Родимые!..— заголосила нянька, мечась по комнате.

По голосу, каким она голосила, я угадал, что она не ранена.

— Няня, сядьте... сядьте!.. Не подымайтесь выше подоконника... Сядьте на пол...— старался перекричать я гул канонады.

Я сполз на пол, оделся на полу и — увы! — по Руссо, на четвереньках пробрался к детям. Оба мальчика тихо спали, ничего не подозревая. Я стащил их и по полу потащил во вторую половину квартиры, которая выходила окнами не к стреляющим.

Маленький стал отчаянно реветь, а старший тревожно говорил:

— Папа, пусти меня, я сам пойду...

— Нет, ничего,— говорил я, проползая в двери,— только не подымай головы.

— Разве опасно?

— Нет, нет... только не подымай головы!..

В дальней комнате собралась прислуга, хозяева с детьми. Мы лежали, прижимаясь, на диванах, на стульях.

Здесь, оказывается, тоже нельзя было стать во весь рост: трехлинейные пули, пробив две дырочки в окне, пронизывали внутренние стенки квартиры и впивались в кирпичи противоположной наружной стены вершка на полтора. То и дело слышалось: «чок, чок...» Осыпалась и падала штукатурка, подергивая пол белым налетом.

Стало светать. Время ползло томительно медленно. Орудия гремели. Женщины, уткнувшись лицом, плакали. Детишки расширенными глазами молча глядели на непривычную обстановку.

— Пойдемте посмотрим,— проговорил хозяин, бледный, с подергивающимися губами.

Нагибаясь, мы прошли в мою комнату и, прижавшись в угол, стали глядеть наискось в окна. Рассвело.

С нашего пятого этажа улица и Пресненский мост, с которого стреляли, видны как на ладони.

— Да они расстреливают дома!..— вскрикнул хозяин, белый как полотно.

Действительно, каждый раз, как из жерла орудия вырывалась длинная огненная полоса, в одном из домов таял клубочек дыма, брызгами разлетались осколки, валились кирпичи, чернея, зияли бреши, и мертво глядели провалы вместо окон.

Под нашим полом раздался гул. Густое облако зеленоватого дыма проплыло, относимое ветром, заслонив на секунду все, мимо окна. Под нами, в квартиру четвертого этажа попала граната.

Как сумасшедший я кинулся, уже не соблюдая никаких предосторожностей, схватил мальчиков и бегом бросился по коридору. За мной бежали хозяева с детьми, прислуга. Пули то и дело чокали, и сыпалась штукатурка. Надо было бежать по громадной, проходящей все пять этажей лестнице. Сквозные окна, освещавшие ее, были пестры от пулевых дырок. Громадные огни орудийных выстрелов, вспыхивающие на мосту, мелькали в глазах. Изо всех дверей квартир выскакивали полуодетые трясущиеся люди и бежали вниз. Дети, старики, женщины, мужчины — все смешалось в живом потоке.

Мальчики крепко обвивали мою шею, и я каждую секунду ждал, что эти ручонки разом обмякнут и тельце безжизненно обвиснет у меня на руках. Не разбирая ступеней, бешено мчался вниз, мелькая мимо безмолвно и страшно глядевших окон. Последняя площадка где-то далеко терялась внизу. Ноги подкашивались, стучало в висках.

Наконец выскочил во двор и облегченно вздохнул: двор был закрыт зданиями и заборами. Но пришлось и отсюда бежать: пули шуршали, дымясь снежком, по земле, по груде угля, наваленного у забора. На обывателя охотились с каланчи.

Я вбежал с мальчиками на руках в подвальное помещение.

Было темновато и сыро, и пахло мышами. Смутно виднелись силуэты сидевших, стоявших, прохаживающихся людей. Звуки выстрелов глухо доносились сюда. Страшная, никогда не испытанная усталость овладела,

руки и ноги отваливались. Я сел на какой-то ящик. Надо было собраться с мыслями.

— Ня-няя!..— капризно протянул маленький.

— Тсс... тсс...— испуганно прошептала какая-то женщина, бросаясь к ребенку и зажимая ему рот.

Все говорили шепотом, ходили на цыпочках, как будто в доме был покойник и как будто это от чего-то могло спасти.

В самом деле, где же старуха? Она или убита, или забежала в подвал другого корпуса.

Среди шепота слышалось:

— О-о господи, за что наказуешь?..

Таким же придушенным шепотом кто-то молился в углу, и доносилось урывками:

— Боже правый... боже всесильный... в твоих руцех... избави и помилуй... от глада, труса и нашествия иноплеменников...

— Если разрушат верхние этажи — обвалятся, и нас тут раздавит...

Кто-то поднялся и стал щупать руками своды.

— Крепко.

— Да еще балки железные, пять домов выдержат.

— Да-а, выдержат!.. Если б люди строили, а то подрядчики...

— Не знали, что вы тут будете сидеть, а то бы прочно выстроили.

В другом отделении чернела громадная печь центрального отопления. Из-под колосников, дрожа, ложились на земляной пол красные полосы. Приходили и, протягивая, грели руки.

На кучке угля, сливаясь с темнотой, сидел кочегар, угрюмый и черный. Он был из Тульской губернии, ходил без места, и его из милости приютил управляющий. Он помогал около печки, и за это ему давали ночлег и кормили.

— Что, Иван, страшно?

— Все одно,— угрюмо послышалось из темноты.

— А как убьют?

— И убьют — не откажешься.

И, помолчав, прибавил:

— Нас давно убивают, не в диковину.

— Как?

— А так. У меня в семействе, опрочь меня с женой, было восьмеро детей, а теперя — двое.

— Куда же те?

— Померли... с голоду... голодная губерния...

Опять в темноте постояло молчание. Дрожали красные полосы, и выскакивали, прыгая, раскаленные добела угольки. Все незаметно ушли в другое отделение. И мне вспомнилось, как бежал я по лестнице, прижимая ребят. И этот человек так же прижимал своих детей, и у одного за другим разжимались у них руки и обвисало исхудалое, изможденное тельце...

Я вышел, перебежал под пулями двор и стал подыматься по лестнице к себе на квартиру: надо было достать мальчикам потеплее одежду — в подвале было сыро.

Хрустя штукатуркой по полу в пустых комнатах, я прижался к стене и глянул в окно вниз.

Там, где еще час тому назад стояли громадные дома, полные детей, женщин, полные труда, забот и жизни,— бушевало море огня.

В раскаленных окнах среди ослепительно струящегося света безумно прыгало, металось, кроваво кивало острыми головами, хитро высовывалось и пряталось что-то неуловимо призрачное, и, дрожа, мелькали, появляясь и исчезая, светлые одежды. И столько было в этом необузданного, мелькающего, змеино-хитрого, что я иногда с ужасом видел живые существа. Торопливо, безумно весело играли в таинственно непонятную игру, и продолжалась необузданно дикая пляска.

Временами в раскаленной атмосфере разверзались черные провалы, и оттуда глядели обуглившиеся балки, и змеились перебегавшие искорки добела накаленного железа.

Это веселье и движение было мертво.

Огонь бушевал, пожирая целый ряд домов. На другой стороне тоже горело. За Средней Пресней подымался колоссальный столб дыма. Дома загорались разом во многих местах. Изо всех окон, дверей необыкновенно дружно выбивался дым, клубясь и застилая. Десятки языков со всех сторон лизали стены, крышу. Слышался треск, шорох, несло дым и искры. За Пресненским мостом море пожара. Крыши обрушивались, и

уцелевшие почернелые трубы, как призраки разрушения, высились среди дыма и пламени.

Было что-то громадное, что-то непередаваемое, противоестественное. Было разрушение города.

Я оцепенело глядел на совершающееся, как вдруг сухой мгновенный звук цоканья заставил вздрогнуть: пуля, пробив стекло, расщепляя дерево, пронизала две двери и пропала в стене другой квартиры. Надо было уходить. Я взглянул в последний раз вниз и не мог оторваться. У бушующих пожаром зданий бегали торопливые фигуры.

Они прибегали откуда-то, молитвенно подняв руки вверх, подбегали к загорающемуся дому, бросались вперед головой, и в клубах густо валившего из окна дыма воровато мелькали ноги.

Несколько секунд тянулись мучительно медленно. В окнах молча крутился черный дым. Потом разом появлялась опаленная голова и вся закопченная фигура. Отбежав несколько шагов, задымленный человек, ловко вышибая ударом в дно ладонью пробку из сотки или полубутылки и далеко запрокинув голову, торопливо лил дрожащей рукой в рот весело колеблющуюся, кроваво искрящуюся на огне водку. Горела казенная винная лавка.

А кругом реяли пули, гудел пожар, лопались стены, проваливались крыши.

V

В подвале по-прежнему стоял гнетущий шепот. Пробравшаяся сюда няня рассказывала детям сказки:

— Вот серый волк и говорит Ивану-царевичу: «Иван-царевич, садись ты на меня, понесу я тебя через луга и леса, через горы и дубравы, через моря и реки...»

Детские глазенки широко глядят на морщинистое лицо.

— Няня, ты чего плачешь?

— Боже мой, неужели мы не выберемся отсюда? — шепотом, полным слез и отчаяния, говорит больная, неподвижно лежа на кровати.

— Не волнуйся, дорогая... тебе так вредно волноваться,— говорит, наклоняясь у изголовья, брат.

— Вредно волноваться,— горько усмехается она.

Глухо доносятся теперь где-то дальше выстрелы передвинутых орудий.

— А серый волк откинул полено и пустился скоком...

— Что такое полено? — звенит тоненький голосок.

— Тише. Это волчий хвост.

Никто ничего не ел. Детей поят холодным чаем.

— Нет, это невозможно. Надо же отсюда выбраться.

— Да вот подите и узнайте.

— Куда же я пойду — стреляют... Подите вы.

— Я бы пошел, да ведь... дети. Что они будут делать, вдруг... понимаете...

— Я бы тоже пошел — мать у меня... в Туле... единственный кормилец...

— Надо дворника. Яков!

— Чего изволите?

— Сходи узнай,— можно нам отсюда выбраться?

Все дружно накидываются на дворника.

— Ведь это же невозможно...

— Не сидеть же нам тут, пока расстреляют или сожгут...

— Черт знает что такое... Надо же меры принимать, чего же ты ждешь?..

Дворник уходит.

— А я вот что скажу,— слышится глухой ровный голос,— я вот что скажу: пожар подбирается и к нам...

— Ах, оставьте, оставьте, пожалуйста... Терпеть не могу, когда начинают...

— Какой там пожар?.. Куда подбирается?.. За десять верст от нас...

— Слава тебе господи, наш дом громадный, кирпичный и стоит отдельно...

— Вы — вечно!..

Его ненавидят. А он, помолчав, так же ровно и глухо говорит:

— Отдельно!.. А ведь заборы-то тянутся к нашему. А возле забора у нас, сами знаете, какая громада угля... Загорится — косяки, двери, полы начнут гореть. А то — кирпичный!.. Ну, а тогда не выскочишь: ход-то один, мимо угля, а полезем в окна в переулок,— в первую голову расстреляют, сами понимаете...

Все понимают — он говорит правду, но его продолжают ненавидеть, отворачиваются, перестают говорить.

Входит человек в картузе и фартуке.

— Вы кто такой?

— Приказчик из мелочной лавки.

— А-а, это которая горит... От гранаты загорелась?

— От гранаты! — злобно говорит приказчик.— От гранаты бы не загорелась. Ни один дом от гранаты не загорелся. После стрельбы, когда весь квартал очистили от дружинников, пришли солдаты. Ну, мы обрадовались,— значит, успокоилось все. Входит офицер и говорит: «Уходите все из дому». Мы рот раскрыли. «Уходите сейчас, жечь будем». Стали просить. «Некогда нам дожидаться, сейчас же уходите». Насилу хозяин на коленях умолил — четыре ящика товару позволили взять. Солдаты сейчас же облили керосином и зажгли в пяти местах. А сколько квартирантов,— битком, и у всех имущество.

Что-то слепое, холодное и липкое заползало, постепенно наполняя подвал... Точно чудовище с громадным мокрым тяжелым брюхом улеглось и бессмысленно глядело на нас невидящими очами, глядело безумием жестокости.

— А сейчас подожгли дом с угла, возле вас; видят — ветер в ту сторону, ну и подожгли, чтобы весь порядок...

— А-а!!

У всех разом охрипли голоса.

— Господа... сию минуту... надо завесить... Ведь генерал-губернатор... И тише... ради бога, тише...

И окна завесили, и все ходили на цыпочках, и опять говорили шепотом. Стало совсем темно, только на потолке, пробиваясь сквозь щель окна, ложилось отражение зарева. И эта кровавая полоса то разгоралась, то бледнела, и все с замиранием следили за ней.

— Да где же дворник?.. Боже мой, где же дворник?..— разносился истерический шепот.

— Яков, что же ты пропал? Что ж ты не узнаешь, когда нам можно отсюда выбраться?

— Да, узнаешь... Подите да узнайте. Я вон высунулся, а солдат мне отмахнул. Я говорю: «Дозвольте объяснить»,— а он как ахнет — так угол у ворот и сколол.

Тихий, покладистый и услужливый Яков сейчас говорит, держит себя свободно и независимо: он уже не дворник, он теперь ровня всем, кто тут есть, ибо подвергается одинаковой опасности сгореть заживо или быть расстрелянным.

Ночь или день — трудно различить; должно быть, ночь, и полоса на потолке становится кровавее.

— Да мне одно ведро!..— звонко и дерзко, нарушая, как искра темноту, напряжение и оцепенелость, раздается среди подавленности, тишины и мертвого шепота мальчишеский голос.

— Тссс!.. Тише!..— шипят все, выскакивая, и машут руками.— Тише... ради создателя, тише!

Мальчуган лет одиннадцати, краснощекий, с круглым лицом, скаля веселые белые зубы, ловко подставляет под кран ведро, и струя, пенясь, наполняет шумом угрюмое помещение.

Его обступают.

— Да ты откуда?

— А во, наискось, из белого дома...

— Значит, по улице ходить можно?

— С превеликим удовольствием... куда угодно.

Разом распадается давившая тяжесть, чудовище исчезает. Все шумно, наперебой говорят, торопливо и радостно.

— Ну вот, я же вам говорил: не звери же они. С какой стати они будут жечь и расстреливать больных, детей, женщин... людей, совершенно ни к чему не причастных.

— Слава тебе господи... слава тебе, царю и создателю...— безумно-радостно крестится, приподнявшись на локте, больная, подняв глаза к потолку.

Слышатся счастливые всхлипывания.

— Дети, одевайтесь!

— Иван Иваныч, куда вы мои калоши дели?

— Значит, не стреляют?

— Стреляют! — весело бросает мальчишка, заворачивает кран, и мгновенно наступает мучительная, давящая тишина.— Двоих зараз подстрелили. Лупят и по переулку, и по улице, и из Зоологического.

— Как же... как же ты?

—Да хозяин грит: «Чайку хоцца... Сбегай, грит, Ванька, принеси ведро...» У нас водопроводу-ти нету, во-

довозы боятся, не ездиють... А хозяин-ти с хозяйкой в погребу сидят, со страху рябиновку тянут, как пуговички...— мальчишка заразительно хохочет, подхватывает ведро и исчезает.

Снова давящая тишина, снова шепот, снова покойник в доме.

Ребята бегают между наваленным хламом, ссорятся, плачут, смеются, визжат, и взрослые, останавливая, поминутно шипят на них.

VI

— А пожар-то больше,— слышится спокойный, ровный глухой голос.

— Да вы откуда знаете?! — злобно и с ненавистью накидываются на него.

— А вон!

И все подымают глаза к кровавой полоске на потолке. Она яркая. Потом понемногу тускнеет, тускнеет. И все жадно тянутся к ней воспаленным горячечным взором.

— Ну, вот видите, тухнет.

— Боже мой, неужели же!

— Деточки... дорогие мои... родные мои... вы спасены...

Все подымаются, и все, даже дети, глядят в одно место на потолке.

— Да это дымом заволокло,— угрюмо слышится все тот же спокойный глухой голос.

— А-а, оставьте!.. Каркает ворона на свою голову...

Но на потолке становится опять светлее, и кровавая полоса, мигая и шевелясь, равнодушно смотрит как приговор.

Все опускают головы. Что-то чудовищное по своей нелепости охватывает душу. Иногда кажется, все — сон, и хочется проснуться. Я гляжу в пол и прячу преступную мысль: все сгорят, а я останусь с детьми цел.

И я торопливо и беспокойно бегаю воображением по двору, заглядываю в сарай, за заборы,— ищу маленькой дырки, в которую бы можно пролезть. Взять детей и проползти на животе через Зоологический сад — но там особенно усердно расстреливают и расстреляли сегодня служителя, который шел кормить зверей. С другой сто-

роны колышется пожар. По переулку свистят пули... Выхода нет...

Я с усилием дышу стесненной грудью. Подымаю голову, встречаюсь с злобно сверкающими глазами и в них ловлю ту же мысль: все сгорят, а он один останется.

— Гм... дымком отдает...

И хотя его ненавидят, ненавидят его глухой голос, но не возражают; и в горле у всех щекочет горечью, а глаза ест. Дыма на самом деле нет, так как ветер пока клонит его в другую сторону, но все чувствуют его.

Кровавая полоса разгорается. Глухо отдается выстрел: кого-то еще?.. А те, кого прикалывают штыками?.. Ткнут в сердце, другого, третьего по порядку,— спокойно и без хлопот.

— Ночь бесконечна.

— Который час?

— Должно быть, около трех.

— Боже мой, еще четыре часа муки!..

Я достаю часы, гляжу, протираю глаза, опять гляжу.

— *Восемь часов!*

— Не может быть... не может быть...— шелестом ужаса проносится.— Ваши стоят...

И изо всех карманов лезут часы.

— Восемь...

— Без пяти восемь...

— Десять девятого...— подавленно слышится со всех сторон, и все прикладывают часы к уху.

И тогда все замолкают и сидят неподвижно, как каменные. Дети в разнообразных положениях в разных местах спят.

Все молчат, но подвал полон странных шепчущих звуков, шороха, беспокойного и трепетного, тревожного потрескивания. Разгорающийся пожар ведет свой собственный разговор, и шипение, треск дерева, звуки осыпающихся кирпичей воровски вползают, приглушенные, придавленные тяжелыми сводами, толстыми стенами, наполняя глухую темноту тревожным ропотом отчаяния и тоски.

Слышатся чьи-то всхлипывания, подавляемые рыдания. Больше, больше. Вырываются неудержимо, заполняют подвал, подавляя стоящий в нем шорох и шепот.

Молодая женщина упала на колени, спрятала лицо в ладони, рыдает.

— Зачем... зачем обман?! Любовь, счастье... Если это для того, чтобы на твоих глазах погибли дети, не надо, не хочу... не надо счастья... не надо обмана... не хочу!..

Рыдания неудержимо бьют ее. Все молчат. Ни у кого не находится слова утешения. Каждому мучительно жалко самого себя. Грозно рдеет кровавый потолок.

А время остановилось, остановилась ночь, остановилась мысль, только тесный круг одних и тех же ощущений устало давит душу.

VII

— Они пришли!.. Они пришли!! — исступленно несется истерический крик.

Все вскакивают с изуродованными страхом лицами, готовые на самое худшее.

— Кто?! Солдаты?.. Артиллерия?.. Расстрел?..

— Они пришли... они пришли!..

— Да кто?.. Кто?..

Ее злобно трясут за плечи, а она бьется в судорожной истерике...

— Кто же? Кто? Говорите!..

— Они... пожарные...

— Тушат пожар?..

— Нет... разбирают заборы, которые тянутся к нам... Нас не хотят жечь...

Всеобщая истерика заполняет подвал. Женщины на коленях ползут в угол, где, по предположениям, икона, крестятся, хохочут, обнимают друг друга, целуют детей. Проснувшиеся перепуганные дети отчаянно ревут. Я выскакиваю в кочегарку.

Печь почти потухла. Иван полудремлет, прислонившись к углю,— для него все равно. Публика понемногу успокаивается. Все входят с радостными, улыбающимися лицами, пожимают руки, говорят громко. Всем жалко друг друга, все любят друг друга. Ночь быстро проходит. Уже десять... Половина одиннадцатого...

Хочется спать, и чувствуешь, как сладко, как крепко заснул бы, но негде прилечь: все занято. Детишки понемногу угомонились. Красная полоса рдеет на потолке, но на нее никто не обращает внимания.

— А знаете ли,— слышится глухой голос,— я бы убрался подобру-поздорову; по крайней мере, воспользовался бы мирным настроением и вывел бы женщин и детей... Вернее было бы...

Но ему прощают, даже его теперь любят.

— Зачем же? — говорят ему мягко, и в этой мягкости слышится: «Что с вас возьмешь? закон вам не писан».— Раз приняли меры против угрожающего нам пожара, значит, находят, что в доме сидит ни в чем не повинный народ.

Неодолимая усталость охватывает. Я ставлю локти на колени, кладу голову на руки и отдаюсь полудремоте. Иногда мне хочется расхохотаться — до того нелепо и бессмысленно наше положение.

Потом мне начинает сниться, бессвязно и запутанно, и я борюсь со сном и сновидениями, с усилиями подымая брови, открываю веки, и они опять, отяжелевшие, незаметно падают. И все кажется красным, и в этой густой, приторной красноте отражаются мохнатые человеческие лица, слышится кровавый шепот разгорающегося пожара, и солдаты трудятся, стараясь всадить в меня штыки, и штыки заворачиваются в мое тело, солдаты торопливо их распрямляют и опять всаживают, и я кричу им: «Скорей... скорей!..»

И кто-то кричит над моим ухом: «Скорей... скорей!..» — и трясет меня за плечи. Я открываю глаза: красный потолок, в красноватой полумгле — головы, руки, ноги, как будто оторванные и лежащие в беспорядке, и опять закрываю. Но опять трясут. Я подымаюсь.

Стоит дворник. Лицо тревожное.

— Солдаты... Страсть их сколько... В окна в сторожку заглядывают... Сказывают, зараз расстреливать дом будут...

Разбросанные в беспорядке руки, ноги, головы шевелятся, отовсюду подымаются люди с заспанно-испуганными лицами.

— Что?..

— Кто говорит?..

— Откуда?..

— Уже два часа... а я все думаю — я сплю.

— Боже мой, какая долгая, какая мучительная ночь!..

— Да не может быть. За что будут расстреливать? Забор же разобрали...

— За что? А за что расстреливали целый день?

— Надо кого-нибудь послать.

Все глаза обращаются на обладателя спокойного глухого голоса. Он подымается и уходит. Потом приходит через минуту.

— Там не солдаты, а звери: я думал, меня посадят на штыки.

— Требуйте, чтобы отвели к офицеру.

Опять уходит. Ждем. Проходит двадцать минут, полчаса... Томительное ожидание разрастается в беспокойство. Поминутно лазают за часами.

— Нет его!..

Прислушиваются к малейшему скрипу, но звука шагов нет. Одна и та же страшная мысль проползает в мозгу: «Убит».

— Его убили...— слышу я шелест над своим ухом.— Не говорите только вслух...

— Не говорите только вслух,— шепчут все друг другу.

И каждый ревниво следит в кровавой полумгле, чтобы не прочитали в его глазах страшной мысли. Больше всего боятся ужаса, паники, когда роковое слово будет произнесено.

Вот шаги. Все с секунду напряженно вслушиваются. Может быть, солдаты? *Он.*

Бросаются.

— Что?..

— Сказал?..

— Будут?..

Он ровно говорит таким же спокойным глухим голосом:

— Вывели со двора. Все время штыки на меня. По переулку все освещено пожаром, ни души... «Куда же вы ведете?» — «Иди...» Мне стало казаться — приколют где-нибудь у забора. Одним больше, одним меньше... Сколько таких трупов валяется по Москве. Вывели на улицу. Светло как днем. Стоит офицер. Лица я у него не видал — нету лица, одни усы, холеные, громадные, смотрят к бровям. Излагаю ему: «дети, женщины, больные...» Он стоит ко мне спиной. Потом небрежно цедит сквозь зубы: «Если завесят окна, если никто не будет подходить к ним, никто не выйдет из дому и если...

со стороны дома и двора не раздастся ни одного выстрела, мы... не будем расстреливать...»

В доме снова покойник. Все расходятся по местам. У всех окостеневшие от напряжения лица. Отблеск пожара играет, шевелясь и трепетно озаряя, но в широко и напряженно открытых глазах стоит глухая тьма. Шорох и ропот пожара, по-прежнему придавленно, суетливо и тревожно шепчутся, но в ушах этих страшно прислушивающихся людей — могильная тишина: одного ждут, одно жадно ловят — глухой и слабый звук рокового выстрела, который с секунды на секунду раздастся там, за стеной.

Я с тоской гляжу на ребят и ищу глазами место, куда бы их положить, если начнут стрелять в окна. Но тут нет безопасного уголка: мостовая в уровень с окнами, и пули усеют все пространство. Теперь выгоднее было бы подняться в верхний этаж, но показаться в дверях — быть расстрелянным. Мне опять хочется расхохотаться. Я не гляжу на часы, прислоняюсь и засыпаю крепким, без сновидений, черным сном.

— Сидит, сидит за углом, где забор сходится с нашим домом... там удобно *ему*, не видно...

Этот зловещий шепот входит в мои уши и раскаленными каплями просачивается в мозг. И на меня смотрят хитро злые глаза под хитро поднятыми бровями и голое морщинистое лицо, все перекошенное хитрой и злобной улыбкой.

— ...Он ждет только, чтоб помучить нас... Он наслаждается нашими лицами, нашей мукой ожидания...

— Да зачем ему...

— ...А!.. хи-хи-хи, как же зачем?.. Весь черный, обугленный... Все сгорело: столы, кровати, платье, дети, жена... И он не может смотреть равнодушно на наших детей... гнездится там... и...

И в мои глаза близко-близко впиваются злорадно сверкающие зрачки под косо поднятыми бровями, и заглядывает голое, морщинистое, перекошенное лицо.

— ...И *выстрелит* два раза в воздух!..

Я стряхиваю теребящие меня за плечи крючковатые, костлявые пальцы.

«Настанет день, и все кончится, и все будет по-прежнему, но останется безумие...»

. . . .

Никогда не встречал я с таким ужасом счастья брезжущий день, как теперь. Я вскочил и торопливо одел детей.

— Ну что, можно уходить? — с замиранием спросил я, прислушиваясь к одиночным выстрелам.

— Конечно, ручаться нельзя...— говорит дворник.— Руки кверху, и зараз надо... Никак, опять начинают...

Я схватываю за руки мальчиков и выскакиваю из подвала. Вид обугленного пожарища и разрушения поражает.

Прокаленный мороз перехватывает дыхание. Маленький зевает, как вытащенная рыба, задыхаясь и выпучив глазенки, и изо всех сил бежит рядом, торопливо семеня ножками.

— Папа,— говорит старший, испуганно озираясь, и так же бежит рысцой возле меня,— в нас выстрелят?

— Нет, нет... Только скорей... скорей, детки... Скорей... скорей, пожалуйста!..

В забор сухо плюхает шальная пуля. Я каждую секунду жду сзади залпа. Раздражающе звонко хрустит снег.

— Скорее, скорее до угла... до угла скорее!..

Осталось пятнадцать... десять... пять шагов... Мы добежали... Мы заворачиваем... Мы... спасены!..

СНЕГ И КРОВЬ

В конце 1905 года я был в Москве.

Зима легла глубокая, снежная. Замороженные окна сплошь мшисто белели, а тяжелые белые клубы дыма медленно восходили над крышами.

Все шли и ехали с красными, как мясо, лицами. Кто тер перчатками щеки, кто торопился, не поворачивая головы, втянув в плечи, как будто у всех одна была забота, чтоб не одолел мороз, от которого всюду побелело железо и улицы терялись в холодной синеве.

Жизнь шла обычно, толпились в магазинах, в трактирах, то и дело отворялись двери, выпуская клубы пара, выходили пьяненькие с осоловелыми глазами. Та же толкотня на рынках, в рядах. Казалось, москвичи жили своей неугомонной обычной жизнью.

Но только казалось — тревога таилась всюду: за прикрытыми воротами, за побелевшими окнами,— стучалась за енотовыми шубами, за сермягами. В этом морозном воздухе, чуялось, нарастало еще пока неназываемое.

А по ночам стояли зарева. Стояли зарева, и не разберешь, в какой части города. Просто, выделяясь над упругим электрическим светом, полыхало полнеба, шевелилось, и звезд не видно.

Ночью все торопились, оглядываясь, и переулки глухо и пустынно подкарауливали.

В такую морозную ночь я шел по Садовой. Мигали звезды, бесстрастно светили фонари. Я стал сворачивать на Спиридоновку. Где-то, должно быть на Бронных, глухо, как в вате, стукнул выстрел, и сейчас же за ним сразу два. И опять тихо, морозно, мигают звезды, светят фонари.

Я осторожно свернул на Ермолаевский к Патриаршим. И вдруг мимо по переулку, отбрасывая бегущую косую тень, откинув голову, без шапки пробежал студент в расстегнутой шинели. Мелькнуло у фонаря молодое безусое лицо, почудилось, в крови, и пропал за углом.

«Что это?..»

Я остановился. И сейчас же из-за угла, звонко скрипя снегом, торопливо вышла группа студентов, держа руки в карманах, и тоже скрылась за углом, а один бросил на ходу:

— С оружием не ходить к Патриаршим...

Оглянулся — я один в переулке, стало быть, это относилось ко мне. Но тянуло неодолимое любопытство, и я осторожно пошел к пруду.

Возле серебрившихся деревьев чернела кучка народа. Когда я пересекал наискось улицу, один подбежал ко мне торопливо, испуганно и злобно, обдавая запахом водки, сказал:

— Давай револьвер... Стой!

— Какой револьвер!.. Что вам нужно?

Он, так же торопливо и злобно дыша, шарил по мне рукой.

— Да что вам нужно?

Подбежали остальные, человек пять, двое в валенках, один в теплой и потертой шапке с наушниками. Лица

испитые и все так же испуганно-злобные, и сильно отдает перегаром.

Они все стали шарить по мне. У одного в руках кинжал.

— Нету оружия.

— А крест есть?.. Есть крест?.. Так тебя разъедак!..— злобно обдав подлой руганью и вытаращив глаза, крикнул высокий, худой, с подвязанными под холодным картузом ушами.

— Городовой!

Высокий быстро сунул руку ко мне в карман и переложил мой кошелек к себе. Городовой неподвижно чернел на углу спиной к нам.

Вдруг вся шайка на секунду воззрилась, бросилась за угол и исчезла. С Бронной, похрустывая снегом, вышло человек десять студентов...

Я обратился к ним:

— Что это за субъекты?

— Банды черносотенцев. На себя приняли миссию спасения отечества. Из-за угла подкарауливают прохожих, обшаривают, найдут оружие, избивают, иногда убивают и ранят. Студенчество особенно ненавидят, но осмеливаются нападать шайкой только на одиночек. Вчера двух студентов ранили, а третьего дня на Малой Бронной одного убили. Так шайками и сидят за углами.

Студенты ушли, а я пошел осторожно дальше. И теперь всюду чудилась тревога — в косой синей тени, густо лежавшей на снегу по углам от громадных молчаливых домов, в церковных дворах, над которыми в морозной мгле смутно и слабо сияли главы, по пустынным бульварам, изрезанным по снегу синими же тенями от деревьев — всюду.

И опять где-то далеко, спереди ли, сзади ли, как хлопушка, завязывая в морозе, хлопал выстрел, да вдруг посыплются, как горох, и опять смолкнет. Молчаливы замерзшие окна, молчаливы наглухо запертые ворота — обыватель, как улитка, втянулся в теплые комнаты, в углы и полеживает там.

Около часа возвращался домой. Жил на Пресне, и окна нашего громадного многоэтажного дома глядели на Зоологический сад и на пресненскую каланчу.

В доме, несмотря на поздний час, встретили меня шум, говор и волнение. На средней площадке столпились жильцы сверху и снизу, охали. Виднелся околоточ-

ный, несколько городовых — воры обобрали четыре квартиры и два чердака, утащили шубы, шляпы, шапки, разные вещи, с чердаков — белье.

— Ни днем, ни ночью покою нет,— говорил чахоточный околоточный в очках,— как с ума посошли, каждую ночь краж десять в районе. А все — революционеры.

— Какие же это революционеры, это — жулики,— сказал кто-то мрачно.

— Как ваша фамилия?

Обыватель, работая локтями в толпе, стушевался.

А утром опять уже озабоченная обывательская торопливая суетня. Но обыватели чувствуют, что что-то совершается, что-то назревает еще неназываемое.

В газетах среди откровенных и резких статей письма: «Граждане, торговец такой-то в Охотном ряду — ярый черносотенец: он говорил и делал то-то, то-то и то-то... Приглашаются все бойкотировать этого торговца».

А торговец, засунув руки в карманы, презрительно посматривает злобными черносотенными глазами на проходящую публику.

Проходит день, два, площадка перед его магазином пуста, в магазине ни одного покупателя, все обходят, как зачумленного, а соседи-торговцы, конкуренты, такие же черносотенцы, потирают руки, втихомолку ухмыляясь.

Дня через три черносотенец взвоет, бежит униженно в редакцию и помещает письмо:

«Я действительно был черносотенцем, но теперь переменил свои заблуждения, вижу, как я ошибался, и прошу простить меня».

Странно теперь вспомнить этот дружный натиск общественного мнения. Ведь чтоб результат был ощутителен, нужно было массовое участие в бойкоте, и оно так и было.

Охотнорядцы — самая наглая, вызывающая клика черносотенцев, неизменно поставлявшая кадры при избиении студенчества. Однажды охотнорядцы-мясники, хозяева и приказчики, отстранив полицию, с длинными ножами пошли на манифестировавших студентов. А теперь, придавленные бойкотом, прикусили языки, «переменили свои заблуждения», и по Охотному ряду разлился либерализм.

Эти удары общественного мнения поражали особенно ярых представителей черной сотни в разных частях города и всегда с неизменным результатом «перемены своих заблуждений».

Все возраставшая скрытая тревога наконец не выдержала, тонкая сдерживающая ее оболочка лопнула, и тревога разлилась по улицам Москвы. Москва вдруг стала пешей — остановились трамваи, местами нагромоздившись на площадях в баррикады; смолкли звонки; пропали гудки паровозов, омертвели вокзалы, и неподвижно стояли на путях вагоны. Еще не было столкновений, а тяжелое гнетущее ожидание навалилось на огромный город.

Улицы и площади Москвы закипели народом — сколько глаз видел, скрипя морозным снегом, кутаясь в облаках дыхания, шли и шли вереницей люди по мостовой, по панелям, и шли все одинаково: от центра, от сердца Москвы, к заставам. Шли в тулупах, в полушубках, бежали вприпрыжку в подбитых рыбьим мехом куртках и пальто.

Бабы, закутанные в навернутые по самые глаза платки, вели за руку посиневших от мороза детей, а побольше бежали сзади, играя и подбрасывая ногами мерзлый круглый конский навоз.

Многие везли за собой нагруженные добром и увязанные салазки.

И за заставами, сколько глаз хватал, шевелилась по пропадающему в морозной дали шоссе уходящая толпа.

— Куда путь-дорожку держите? — спрашивал я на Пресне мужичка, тащившего салазки со скарбом.

Он остановился, высвободил бороду и усы от намерзших сосулек и сказал:

— Да что, работенка кое-какая была, да вот забастовщики забастовали, все остановили, делов теперь никаких, там перегожу, а тады опять назад.

Деревенский народ широкими потоками исходил из Москвы, равнодушно предоставляя назревавшую борьбу им, забастовщикам, «ребятам», вообще *им*. Симпатии его интенсивно тянулись в *их* сторону, но сам он отстранялся и шел пережидать в деревню.

Еще не пришло время, еще тяжелый плуг горьких обид, кровавого горя не взрыл до глубины его сознания, не открыл полуопущенных глаз.

Однажды в такой же синевато-белый от мороза день ухнул орудийный выстрел, замер, завяз в морозе,— и у всех остался от него тревожный отпечаток, как неощутимое злое эхо.

И неведомо откуда он прозвучал: не то со стороны Страстной площади, не то из Замоскворечья, не то от Пресненской заставы.

«Началось!..»

Мимо Зоологического проскакал взвод казаков.

Снова грянул орудийный удар и, сдваиваясь, еще. Потом вдруг посыпались горохом пополнее винтовочные выстрелы и пожиже револьверные.

«Да, началось...»

Улицы опустели, но углы на перекрестках вдруг заполнились кучками народа. Неодолимо тянуло на улицу, невозможно было сидеть в комнате. Стояли часами, говорили, жестикулировали. И опять то же: тянуло любопытство,— но борьбу предоставляли *им*,— любопытство с примесью бессознательного, хотя и пассивного сочувствия забастовщикам.

— Бывала, бедным извозчикам житья нету: ды штрафуют, ды номера записывают, прямо хочь ложись ды помирай,— говорит красный мужичок в кучерском армяке,— а теперя городовик отмахнет извозчику, а он ему: «Пошел ты вон куды!..» — и поехал мимо без полного внимания.

— Ну как же, слободнее куда стало,— раздаются голоса,— бывало, праздничными одними задушут. А ноне: вот тебе бог, а вот порог, не прогневайся.

Тут же около стены стоят человека три-четыре, кто с винтовкой, а большинство с поблескивающими в руках браунингами. Это — *они*, таинственные *они*, от которых замер весь город и, сдваиваясь, глухо отдаются где-то орудийные выстрелы.

Они мирно беседовали с публикой,— в черных барашковых шапках, некоторые в папахах, в коротких куртках, перехваченных ремнем, в высоких сапогах. Потом старший говорит:

— Ну-ка, Ваня, сними-ка... Больно уж свободно они там...

Ваня, с южным резким лицом и ястребиными глазами, должно быть горец, выступает за угол на широкую

пропадающую в синей морозной дали улицу и, вскинув винтовку, припадает на одно колено. Раздается выстрел, и горец отбегает назад.

— Снял!.. Снял!.. Снял!..— слышится радостно среди публики.

Все, вытягивая шеи, напирая друг на друга, выглядывают из-за угла.

— Долой! — кричит один из дружинников.

Но прежде чем успевают понять, где-то в потонувшей синеве улицы грохнул орудийный выстрел, в ту же секунду, оборвав приближающийся свист, у противоположного угла воронкой дыма и пламени разорвался снаряд. Зазвенели стекла, посыпались куски водосточных труб и штукатурки. Кто-то закричал высоким заячьим голосом,— там тоже стояла кучка народу.

От нашего угла все прыснули, как перепуганные мыши. Кинулись в калитки, в подворотни; какая-то толстая женщина, перевесившись животом, тщетно лезла на забор, а ребятишки с хохотом стаскивали ее вниз.

Я отошел дома на четыре назад по переулку и остановился. На углу было пусто. Но понемногу снова стали собираться с этой и с той стороны кучки народа и, вытянув шеи и замирая, заглядывали из-за угла туда, откуда каждую секунду могла прилететь смерть. Невозможно было усидеть в комнате, неодолимо тянуло на улицу.

Возвращаться домой труднее. Магазины закрывались, улицы становились все безлюднее, на углах, там, где опасность, кучки народу, и те же вездесущие мальчишки шалят, выталкивают друг друга из-за угла под выстрелы, швыряют мерзлыми комьями.

Попал в Замоскворечье, едва выбрался. На Пятницкой возле дома Сытина стояли грохот и пальба. Когда я вышел от знакомых, путь был отрезан — все переулки продольно обстреливались, поминутно цокали пули в водосточные трубы, в ворота, в стены домов, осыпая штукатурку. Ни на улице, ни в переулках никому нельзя было показаться.

В углу всхлипывала баба и утирала красное мороженое лицо углом теплого платка, накрученного на голову:

— И-и, господи, как я теперь... Ведь детишки дожидают, теперь ревут, а тут носа не высунешь...

— Тебе говорят, садом, а там пустырем,— говорит дворник, облаживая у сарая топор.

За воротами в разных местах то и дело начинали сыпаться выстрелы.

— И вам, господин, этой же дорогой. Зараз этой калиткой в сад, а там пустырь, только пригинаться надо, чтоб из-за стенки не видать было, а то зараз цокнут пулей. Ну, пустырем проползете, там церковный двор, а из церковного двора в тихой переулочек, а там слободно.

Возле стоял и слушал, подняв на меня глаза и поминутно подбирая носом выжимаемые морозом сопли, мальчик лет девяти, должно быть, в материнской кофте— рукава висели до самой земли.

— Я вас провожу,— живо предложил он, подшмурыгнув носом.

— Ну, с богом! — сказал дворник.— Иди за ними,— сказал он бабе.

Мы втроем подошли к калитке; мальчик отодвинул завизжавшую старую задвижку, открылся большой сад.

— Снегу много,— сказал дворник, покачав головой.

Деревья глубоко тонули в снегу: мы стали проваливаться почти по пояс.

Где-то загоралась перестрелка; вверху пели пули, шевелили ветви, а иногда обмерзшие веточки падали, как подрезанные ножом.

Мы болтались в снегу, пригибаясь, иногда почти ползая. В углу сада двое возились над чем-то черневшим в снегу.

Мальчишка воззрился, как гончая на зайца:

— Кого-то волокут.

— Никак убили! — воскликнула баба, совсем легла на живот и, вскидывая руками, точно поплыла.

Когда добрались до людей, оказался, должно быть, рабочий, со слезящимися, намерзающими глазами и в потертом лоснящемся пальто. Возле суетилась франтовато одетая, вероятно, горничная, а на снегу, на широком лубке, застланном ковром, беспомощно лежала на подушке страшно полная дама, в великолепной лисьей шубе. На полном, красном от мороза лице неестественно синевато и густо выступала пудра. Она перевела на нас большие выпуклые, полные ужаса глаза и сказала:

— Боже мой, что же это такое!.. У нас люстру в зале пулей разбило...— и в изнеможении закрыла глаза.

— Али больная? — участливо спросила баба.

— Здоровее нас с тобой,— проговорил рабочий, стоя по колено в снегу, согнувшись и разбирая веревочную лямку на груди, которая шла к лубку.— Муж уехал, а она боится, а идтить не может — разве согнешься при такой корпуленции? Четвертной билет обещала. Вот и волоку, взмок весь, пудов шесть будет...

Он встал на четвереньки, уперся, как бык, и потащил лубок с покачивающейся на подушке барыней. Горничная заботливо помогала.

— Ох ты, господи! Мать пресвятая, до чего дожили,— воскликнула баба.

А мальчишка повалился на спину, задрал ноги и, дрыгая ими и мотая длинными обмерзшими рукавами, неудержимо стал хохотать на весь двор.

— Цыц, ты бесенок! Все ухи оборву... сатана...

Наконец добрались до пустыря. В заборе выломана доска, все пролезли в дыру и с большим трудом протащили барыню. От церковного двора я пошел свободно; вспыхивавшая от времени до времени перестрелка оставалась позади.

По городу стали расти баррикады — по улицам, по переулкам.

С утра до двенадцати часов идет постройка баррикад. Валят столбы, тащат снятые ворота, калитки, будки, газетные киоски, выдранные из заборов доски, все оплетают телеграфной и телефонной проволокой. Поют:

Вы жертвою пали...

Ребятишки всюду скачут, как бесенята... Помогают и бабы и девки, главным образом фабричные работницы.

А обыватели, кухарки, хозяйки с корзинами мирно шествуют в мясные, в зеленные за провизией, и никто не стреляет, и все спокойно и тихо. Нельзя же без обеда оставаться. Спокойно вырезывалась на холодном зимнем небе грозная пресненская каланча.

С двенадцати часов улицы обезлюживались — ни души. Нельзя было носу показать, не только за ворота или калитку, но даже в форточку окна,— сейчас же летела пуля. Только прячась за баррикадами да за углами, чернели напряженные фигуры дружинников. Иногда они припадали на колено, и вспыхивали дымки их выстрелов.

С каланчи, из-за зданий за Зоологическим садом, тоже вспыхивали тоненькими желтыми иголочками огоньки выстрелов или потрясающе бухал орудийный выстрел. Сторож, отправившийся в Зоологический сад кормить зверей, упал, и долго чернел на снегу его труп.

Ночью измученные дневной борьбой дружинники — их была горсточка — уходили передохнуть, поесть. Тогда приходили солдаты: приезжала пожарная команда, обливала расположенные понизу баррикады керосином и жгла их. Огонь трещал, пожирая дерево, и небо багрово шевелилось.

А с утра снова тихо и мирно, с корзинами идут за провизией. А поперек почернелой, обтаявшей до камней, пахнущей дымом мостовой строятся свежие баррикады под «Вы же-ертвою па-али...».

Управляющий нашего огромного дома озабоченно ходил по квартирам, справляясь, действует ли водопровод. Ассенизационный обоз не действовал, и была опасность потонуть в нечистотах.

— Хоть на улицу под пули беги. А знаете что,— сказал он,— что замечательно: ни одного воровства. Вот утром до двенадцати все же свободно ходить, квартиры настежь, хоть бы перышко утащили. Как сквозь землю провалились, а ведь прежде в наших местах целые притоны были, каждую ночь, каждую ночь кражи, взломы, нападения, а теперь жулье как воды в рот набрало.

Скоро идиллия кончилась: улицы стали обстреливать и днем и ночью. Ночью стреляли по освещенным окнам, приходилось завешивать. Фонари всюду погасли. Выйдешь, как стемнеет, украдкой во двор, темная морозная ночь над домами, лишь звезды играют. Тишина. Где-то упорно и долго лают собаки. И чудится — спит мирно деревня, и нет тревоги, нет страха и смерти, лишь собачий лай все стоит, подчеркивая мир и покой.

Нарушая очарование, грохнет орудие, другое, и красивой огневой дугой над крышами летит под звездами снаряд. Слышен взрыв, другой, третий. Помертвели звезды: начинает полыхать багровое пламя — горит фабрика Шмидта.

И все, все, сколько ни есть, обыватели, все сидят по своим комнатам, углам, полуподвалам, предоставляя горсточке людей в морозную ночь биться за то, что и он, обыватель, не прочь бы получить, если бы ему дали.

Так тянется время, и все прислушиваются то к тишине, то к бухающему одинокому орудийному звуку.

Пришла наконец развязка. Еще было темно, часов с четырех загрохотали у Зоологического сада орудия и мелко и дробно затрещали пулеметы. С трудом вставлялись между ними одиночные винтовочные и револьверные выстрелы.

Вдруг пули зачавкали в окна нашей и соседних квартир, звеня стеклом, впиваясь в перегородки комнат и густо обсыпая на пол штукатурку. Женщины с визгом хватали детей, бежали в дальние комнаты и кидались с ними на диван, на постели, загораживаясь подушками. Мужчины лазили по комнатам на четвереньках, чтобы не подыматься выше подоконников и не угодить под пулю.

Пули часто попадали в наши черные окна. В некоторых квартирах, сбивая со стен штукатурку, застилало пол по щиколотку.

Рассвело. У окна одной квартиры разорвался снаряд, начисто высадив раму и все изуродовав в комнате. Тогда из всех квартир, похватав детей, все понеслись вниз, по лестнице, в подвал. В подвале было столпотворение. В соседних дворах горели подожженные солдатами дома. В подвале сидели сутки.

Наконец часам к девяти утра все стихло. Пришел дворник и сказал:

— Вылазьте, можно...

Все повылезли с таким чувством, как будто в первый раз увидели и светлый день, и дома, и людей. На улицах уже стояли городовые.

— Слава тебе, господи, слава тебе,— крестился дрожащей рукой старичок в наваченном кафтане,— вернулись власти предержащие.

Все разошлись по квартирам. И вдруг с разных площадок лестницы понеслись отчаянные крики:

— Батюшки!.. Караул!.. Обобрали!.. Что же это?..

— Слава те, все по-прежнему, все,— крестился старичок,— слава богу, успокоился народ, даже воры вернулись.

— Да идите вы сюда! — кричали женщины, зовя мужчин.

Несколько квартир оказались обобранными до нитки.

Все входило в свою обычную колею.

МАТЬ

Не неслись из-за окон звуки дрожек, не хлопали двери, молчали звонки, погасли все звуки, разнообразные, неуловимые, забываемые, но из которых складывается дневная жизнь. Все стояло на своем месте — мебель, картины, зеркала, но полное иного, таинственного, еще не раскрывшегося смысла.

Больная лежала неподвижно, вся в белом, на белой подушке, с выпростанными на одеяло тонкими руками. И, не выделяясь на белизне подушек, белело лицо. Было оно прозрачно, спокойно. При взгляде на него вспоминались румянец, здоровье, молодость — далекое и милое воспоминание.

Огромные черные глаза глядели, не отрываясь, на дверной крючок, с которого неподвижными складками свешивалось студенческое пальто.

Никого нет. Прислуга разбежалась, и это так и должно быть. Но... мальчик, милый мальчик!

Он сказал:

— Мама, я останусь с тобой.

Да, он должен остаться с ней. Ничто не должно оторвать его от нее. Нет такой силы, нет такой власти!

— Мама, я останусь с тобой.

— Да, милый, ты оставайся. Все, что нужно, там сделают без тебя другие.

И вдруг он ей сказал:

— Мама, но ведь я отлично стреляю и мог бы пригодиться.

Она рассмеялась. Никогда не смеялась так. Он отлично стреляет, он ловок, гибок и смел, но ведь это — только для нее. Это — для нее. Гибкое тело — ведь это ее муками, ловкость и смелость — это ее усилиями, ее бессонными ночами, ее знанием, ее наблюдательностью, ее характером, настойчивостью. Это созидалось день за днем, час за часом, минута за минутой, упорно, медленно, трудно. Это вырывалось у болезней, у обстановки, у школы, у предрассудков, у проклятых общественных условий.

— Мама, я останусь с тобой.

Это естественно, иначе и не может быть. Если бы она физически могла и если бы понадобилось, она, ни минуты не колеблясь, отдала бы жизнь за дело общего счастья, и в свое время она доказала это и целых десять

лучших лет жизни, после трехлетнего тюремного заключения, провела в полярных снегах.

Нет цены, которую нельзя бы отдать за это огромное, страшное дело, только... только не мальчика.

На верхней губе у него пушок, и он очень серьезно, скосив глаза, смотрит на нее, а для нее он такой же голенький, с пухлыми ножками, как и в те времена, когда она подымала его на одной ладони.

«...Но ведь я отлично стреляю».

И она засмеялась, засмеялась тихим счастливым смехом матери, и одиноко и пусто прозвучал ее смех в безмолвной квартире.

Мысли на минуту примолкли, и она взглянула на висевшее складками пальто и улыбнулась, и мысли опять тихо и радостно побежали.

Среди вековой тайги, среди снегов, среди суровой природы, где белели кости народных бойцов, под колеблющимся, фантастическим неверным отсветом полуночной игры родился он. И сколько усилий, сколько нечеловеческих мук, страданий, слез, унижений стоило, чтобы сохранить чуть теплившийся, колеблющийся крохотный огонек жизни и пронести его сквозь вековые дебри, сквозь снега и тундры, сквозь насилия и позор бесправной жизни.

«Мама, я останусь с тобой».

Да...

Часы ударили раз, медленно и протяжно, и звук удара пронесся, дрожа и колеблясь и становясь все тоньше и тоньше, пока не впился смутным предчувствием тоски и страха.

Она широко раскрыла глаза.

«Час, а его нет!»

Она взглянула на пальто и... улыбнулась.

«Мама, я останусь с тобой... я забегу только к Сорину. Они, знаешь, переехали и живут теперь как раз над нами. Пальто я здесь оставлю».

Она никогда не расставалась с ним. Он уходил к товарищам, в театр, на сходку, и она, прикованная к постели, шла с ним, говорила его речами, думала его мыслями, смеялась его смехом, негодовала его негодованием. Он приходил, садился возле и все рассказывал до мельчайших подробностей, и все оказывалось как раз так, как она представляла без него.

Тонкий, нестерпимо звенящий, как комариное пение, звук назойливо стоял в мозгу:

«Отчего его нет?»

За двадцать лет он никогда не солгал ей, даже в шутку.

«Мама, я останусь с тобой... я пойду к Сорину...»

Она взглянула на пальто и улыбнулась.

«Он здесь, наверху... Боже мой, но отчего так неловко лежать? Я не могу разглядеть его лица... как будто темно... и не слышно его голоса... Но ведь он здесь же, наверху? Да?..»

И все свое тянул, нестерпимо повышаясь, комариный звук. И потому, что он был неуловимо тонок, было в нем что-то затаенное. И она прислушалась к нему, и ее поразила тишина. Стоял день, но можно было подумать, что это ненарушимый покой глубокой ночи. И, скосив расширенные ужасом глаза, она огляделась: было все то же, и была неуловимая и страшная новизна.

Тонкий звук оборвался. Раскалывая тишину, кругло пронесся тупо-глухой удар, и в своей глухоте такой потрясающей силы, что дрогнул пол, стены, жалобно зазвенели стекла, ахнул весь город.

— А-а-а!..— вырвалось у нее изумленным криком.

Догоняя, тяжело пронесся второй удар, и, торопясь заполнить промежутки, весело отскакивая, посыпался сухой треск и кто-то зата-атакал: та-та-та-та...

На секунду погасли все мысли, все представления.

«Кто сказал?!. Кто это сказал?!»

Она закричала диким, страшным голосом, и он исступленно пронесся по всем комнатам.

Но промелькнувшее на мгновение представление было так чудовищно, так противоестественно, что она спокойно завела веки и с минуту лежала с закрытыми глазами, чтобы не допустить самой возможности возникновения этого предположения.

И она опять улыбалась своему мальчику, улыбалась высохшей шелухой потрескавшихся губ, улыбалась глазами, в которых горел лихорадочный блеск, улыбалась мертвыми, ввалившимися висками, кожей, высохшей, как пергамент.

Бум-м!.. Бум, бум!..

Наперебой сыпался веселый сухой треск, заполняя промежутки.

И снова ядовитое жало сомнения, по-змеиному качаясь, подымалось в душе.

...Но ведь он не мог сказать неправду. Он не мог этого сделать даже во имя ее покоя. За двадцать лет он не солгал ей даже в шутку. Он сидит наверху, у Сорина.

А неумолимое время, издеваясь пыткой, медленно ползло, ничего не изменяя, и часы медлительно отмечали его мучительный след.

И вдруг затрещала ружейная перестрелка, и, как бы подтверждая весь ужас ее смысла, косо заглянуло в окно солнце, и узенькая полоска красноватого отсвета легла на стене, в то окно, куда заглядывало только при закате.

И стало ясно — *он* там.

И с трясущейся головой, делая нечеловеческие усилия, больная села на постели.

Вся жизнь ее клокотала вокруг бурными приливами, всеми чувствами, всей любовью и ненавистью, наполнявшими эту жизнь. Полный жгучей ненавистью протест подымался, затопляя все ощущения, все чувства. И лицо ее было перекошено злобой, она тряслась, и грозила костлявой рукой, и кричала, покрывая трескотню перестрелки:

— Какое право имеют эти люди? Какое право?! Откуда вы пришли? Кто вы? Это — мой сын! Слышите ли? Это мой сы-ын!! Сын!.. девять месяцев я носила его, девять месяцев я кормила его, и всю, всю жизнь, молодость, всю жизнь я отдала ему... Вы не смеете!.. Это я, я — в нем! Это — мой голос звучит в нем, это мои глаза глядят в нем, это мой румянец на его щеках... О вы!! Вы не смеете! Вы — святотатцы! Вы не смеете!.. Я — мать!

В промежутке затихших ударов воцарилась торжественная тишина, как будто она сказала: «Я — царица мира».

— Я — мать,— прозвучало в зале, в столовой, прозвучало в квартире, во всем доме, выбросилось на улицу, разлилось по площадям и зазвучало гордо и могуче над всем городом.

— Я — мать!

Бум, бум, бум!.. Та-та-та-та!..

— Зачем вы сожрали моего сына, вы, злые звери?! Вам нужна свобода? Вам нужно всеобщее счастье? Но

какой свободой, каким мировым счастьем окупите вы жизнь моего сына, вы, проклятые, жестокие звери?! Слышите ли — мо-е-го сына?

Она прислушалась.

— Что? Вы все дети своих матерей? Да, но это тех, других, чужих матерей. Я — мать *моего* сына, и ничем вы не сотрете, не смоете, не умалите своего преступления!

Бум, бум, бум!.. Та-та-та-та!..

— Возьмите меня,— зашептала она ласково и заискивающе, с хитрым лицом,— возьмите меня... Я буду служить вам, я буду ползать у ваших ног, я буду служить вам прикрытием от вражеских пуль, я буду ползать у ног ваших врагов, я буду грызть им колена, закоченею с пальцами у их горла, но...

Она молитвенно сложила исхудалые руки, и слезы полезли по иссохшим щекам.

— Отдайте сына!..

Отвечая на другое, трещали за окнами выстрелы.

Тогда она злобно захохотала.

— Вы издеваетесь!.. Вам нужно не иссохшее, измученное, вам нужно молодое, живое, здоровое тело, вам нужна горячая, свежая, красная кровь, вам нужны ловкие молодые руки,— и вы взяли моего сына!

Дом трясся от тяжких ударов, и над городом стоял грохот, покрывший мелкую и торопливую трескотню.

— Вы издыхаете, дикие звери, вы заливаете вашей преступной кровью мостовую! Вы покупаете себе свободу, вы отнял у меня сына!..

Она прислушивалась с мучительно изломанными бровями не к канонаде, а к страшной мысли, которая подымалась в ней, и, с ужасом стараясь подавить ее, пронзительно закричала, защищаясь руками:

— Нет, нет, не хочу, не хочу слушать!.. Неправда! Замолчите! Вам никто не поверит!..

И, защищаясь и собрав всю ненависть, кричала:

— Прокляты вы! Ведь есть же в материнстве сила, стоящая вне нашего сознания, вне нашей воли... Есть же в нем что-то чудовищно огромное, иначе мы бы не чувствовали этого... Так во имя его проклинаю вас, убийцы!..

Она тряслась от озноба и качалась.

— Пощадите, пощадите, не мучайте так страшно, так нечеловечески!.. Я умоляю, целую ваши кровавые руки,

сжальтесь!.. Я — *не убийца...* Я отдала ему душу, я не думала об этом, я не представляла, что так кончится, что к этому сведется...

Она дрожала мелкой дрожью неподавимого ужаса, и качалась, и шептала, съежившись и глядя искоса глазами побитой собаки. Эта трескотня, это бесстрастно ползущее время, эти молчаливые комнаты свидетельствовали, что она — такая же убийца, как и *те. Они* убили в несколько часов, она подготовляла это двадцать лет. Мальчик не мог иначе, он не мог не идти на улицу, когда бились за счастье. Его неумолимо вели туда все мысли, все чувства, вся любовь, вся ненависть, взлелеянные ею же. Он пошел потому, что она с колыбели вела туда.

Судорожно ловя дрожащими пальцами воздух, она приподнялась, глядя огромными глазами, и *они* кивали и смеялись ей в лицо разбитыми черепами, оторванными руками и ногами, вытекшими из разорванных животов внутренностями, дрожавшими на мостовой красными лужами остро пахнущей крови.

— *Убийца!!*

Все поплыло... Пусто, черно, немо.

. . . .

Когда вернулось первое ощущение, это было ощущение холодного пола, на котором лежала. Тянуло из дверей. Тикали часы, равнодушно меряя время. Стояла ночь. По карнизам, по стенам, по мебели трепетал красноватый отсвет. Испуганно сновали красные тени.

Наморщив лоб, она болезненно собирала разбредавшиеся мысли. И вдруг в красной темноте огненно вырезалось:

— *Убийца!!*

И уже не погасало.

И она поползла, судорожно хватаясь за пол, как ползет червь, влекущий раздавленное тело. Ночь тянулась, и похоронным боем извещали об этом часы. Каждый вершок давался нечеловеческими муками. Подолгу бессильно лежала, и леденящая мысль, что умрет прежде, чем доберется, опять гнала.

Окно. Женщина оставалась неподвижной. Умерли звуки. Не было слышно дыхания. Невозмутимо царила ночь.

Медленно перевела отуманенные глаза. Что осталось? Одно — увидеть издыхающими убийц.

С нечеловечески искаженным лицом приподнялась и глянула в окно, но в широко открытых глазах, из которых уже глядела смерть, отразилось одно только зарево.

И было оно багрово.

МЕРТВЫЕ НА УЛИЦАХ

I

Над улицами, над домами белеет морозная мгла. Телеграфные столбы, проволоки, заборы, деревья густо запушились, и, как прокаленное, обжигает белое железо.

Снег визжит и плачет.

Низкое зимнее солнце багрово-тускло пробивается сквозь холодную мглу.

Не вызывая ничего тревожного, где-то весело лопаются щелкающие звуки, сухие, короткие, без отзвука вязнущие в густом воздухе. Или угрюмо-одиноко бухает тяжелое, глухое, без раската и откликов.

Потом смолкает. Стоит мгла, седые деревья, толсто белеют протянутые в вышине проволоки. А в холодно-неподвижном молчании из смолкших звуков щемя вырастает тревога и истинный смысл их.

Уже чудится под этим низким негреющим солнцем огромный испуганно-примолкший город. Простираются в пустынном молчании безлюдные улицы, площади; незрячими, ничего не говорящими очами белесо глядят дома, мертво и черно дымятся развалины.

Ухо испуганно-жадно ловит роковые, последние для кого-то страшные звуки, ибо молчание невыносимо.

Снова лопаются щелкающие звуки. Кто-то умирает. Где-то дымится снег, впитывая красную кровь.

В странном соответствии с щемящим молчанием, прерываемым этими звуками смерти, некоторые улицы полны болезненного, ни на минуту не ослабевающего оживления. Снуют фигуры, мелькают лица, скрипит снег, фыркают клубами пара лошадиные морды.

Мужики с заиндевевшими бородами поспешно тянут ручные санки, нагруженные скарбом. Бабы в тяжелых неуклюжих овчинных тулупах, широко запахнув полы, торопливо дыша, несут, оттягиваясь назад, кричащих ре-

бятишек. Детишки побольше, с накрученными на головах платками, бегут в отцовских валенках, хватаясь иззябшими ручонками за тулупы матерей. Кто побогаче — едет в извозчичьих санях, а на санях высятся узлы, сундуки, короба. Улицы, как живые, шевелятся до самого конца, теряясь в мглистой дымке, и стынущий пар дыхания тяжело садится.

Кишит огромный муравейник, на который наступили, или справляют странный, всех захвативший от мала до велика праздник.

Это самый большой человеческий праздник, праздник паники и ужаса. Тысячи людей стремятся к заставам и растекаются по дорогам среди снежных полей, среди угрюмо молчащих в зимнем уборе лесов.

Кто-то умирает за них в пустынных улицах, а они бегут, об одном думая — о жизни в подвалах, в грязи, в нищете, в неустанной бычачьей работе, в беспросветном рабстве. Они бегут, ненавидя тех, кто умирает за них в пустынно-молчаливых улицах, ибо бьется в них великая любовь к жизни, постылой, проклятой, а теперь ставшей вдруг прекрасной жизни.

Я брожу между этими бегущими в одном направлении толпами. На углу у фонарного столба лежит мальчик с застывающим восковым лицом, с синею дырочкой над глазом от неведомо откуда залетевшей шальной пули. К фонарному столбу испуганно подбегают люди и разбегаются, оставляя вокруг воскового белеющего лица пустое и мертвое пространство.

Я вхожу на широкий, весь заставленный лошадьми, санями, ручными санками двор.

Торопливо выносят сундуки, узлы, грузят и спешно выезжают со двора. На всех улицах испуганное, торопливое оживление. Визг полозьев, фырканье лошадей, восклицания — все имеет не прямой свой смысл, а странно говорит о чем-то, что стоит молча и грозно над всеми.

Выделяясь равнодушной фигурой, с большой белой бородой, согнувшись, сидит на бревне старик, расставив колени, глядя красными слезящимися глазами в истоптанный снег.

— Ты что же, дедушка?

— Ась?

Он на минуту подымает на меня красные веки, тусклые глаза и опять в снег.

— Эй, што дорогу загородил, ломовой!..

— Матрешка, бяги скорея в горницу, за божницей пашпорт... забыли, головушка ты моя бедная!..

Кто-то ругается отборными словами. Плачет ребенок жалобно и слабо в захватывающем дыхание морозном воздухе.

— Остаешься, что ль, дедушка?

Его равнодушная, безучастная фигура странно выделяется на этом тревожном, беспокойно мечущемся оживлении.

Он опять глядит на меня, жует губами и вяло говорит тусклым, старческим голосом:

— Стыть, аж дерево дерет.

И снова глядит в снег, равнодушно пожевывая.

— Кха-а!.. господин хороший!..

Этот странный хриповатый голос, казалось, не имеющий никакого отношения к старику, выделяется изо всех звуков, неестественно-неожиданно проносится, как крик ворона, среди скрипа полозьев, среди частого дыхания, среди испуганных восклицаний, призывов, нетерпеливой брани.

Я оборачиваюсь.

Старик, с трясущейся головой, неестественно расширенными глазами, удивленно собравшимися на лбу морщинами, делает шаг ко мне, неверно колеблющимися движениями цепляясь за мое платье.

— Што я изделал?!. А?..

Я отстраняюсь.

— Ты что, дедушка?

Не то злобная, не то страдальческая усмешка тянет сухую кожу.

— Что изделал?!

И вдруг потух, пожевывая, опустился, уставился между коленями. Снова странно выделяется на общем испуганно-тревожном оживлении его равнодушно-неподвижная, согбенная фигура.

— Как зачали стрелять, все у погреб полезли, все, и господа опустились, шутка ли!

Он говорит, но не видит меня, не слышит скрипа полозьев, фырканья лошадей, тревожных восклицаний. Может быть, набирая морщины на лбу, он старается найти смысл чего-то, что за всю его долгую жизнь нико-

гда не открывалось. Мороз скрючивает старые руки, стягивает в кулак изжитое лицо. Губы плохо слушаются.

— Гы-ы... сладко, што ль... не сладко... кому хошь... не знаешь, откеда придет... Все полезли... господа — нежные, руки бе-елые... А?.. Все тут... в погребу сыро, холодно... мы привычны, весь век там прожили, нам што, нам все одно, а?.. Потому в погребу и спишь, в погребу и родишь, и работаешь, и помрешь... никуда не уйдешь... Кому што представлено... господа нежные, руки — белые и... с нами... легко ли!.. чайком их по-всякому ублажали, да рази им наш чай?.. жестью воняет... тоскуют об своем, об своей жисти... Нам што, нам абы прикорнул, с зарей опять за работу, наше дело привышное... А?..

Он трет старые, заскорузлые, морщинистые руки.

— Стыть... дерево ажнык дерет... до турецкой канпании к холере такая стыть стояла.

Я присаживаюсь возле. Он видит меня, глядит широкими глазами.

— Тебе, дедушка, сколько лет?

— Бегить... Бегить... всякий, который в силах, бегить...

Двор пустеет. По белому снегу темнеет мерзлый конский навоз.

— Зачали стрелять, у нас верхи занялись... дым, плач, второй этаж полыхает, в погребу уж не усидишь, тепло стало, дымком заворачивает... сынок и говорит... сынок у меня кормилец... по сапожному мастерству сызмальства... возле него кормился... бобыль я, никого в свете... один сынок... кормилец...

Лицо подергивается усталостью, глаза тускнеют, уходят в провалившиеся черные впадины, и снова усталое равнодушие в согнутой осунувшейся фигуре.

— Так что, дедушка?

— Вылезли все из погреба-то... дом-то полыхает... господа плачут, все роскошество погибает... Сынок-то, кормилец мой... восемнадцать годов на Миколин день... Батюня, грит, подь в сарайчик... Може, чего осталось? Пошел я, а он вяжет посередь двора на салазки сапоги, голенища, подметки, всякий товар, тем и живем, тем и кормимся... нагнулся, вяжет... Вышел я, вышел из сарайчика, бегить из ворот городовой, пузо толстое, глаза стра-ашные, бегить, в руке ружье со штыком... добег до

Ванюши, добег, ды... штыком, штыком ево... весь по самый по ствол... Я... я... кинулся... добег, ды как...

Старик захлебывается и, трясясь и наклоняясь к самому моему лицу, стучит костлявыми старческими кулаками, грозит мне, и лицо его дергается злобной не то усмешкой, не то судорогой:

— ...ды как закричу-у: «Бей!.. бе-ей ево!!. бей ево, забастовщика!.. бей ево, забастовщика!.. А-а-а!!..» А он ево штыком порет, штыком... весь снег окровянился... «Бей ево, забастовщика!.. Не дают нашей жисти спокою... кабы не они, спокой был бы нашей жисти!..» Гляжу, лежит Ванюша, руки раскинул...

И старик глядит на меня изумленными, полными муки и ужаса глазами.

— А?.. Што я изделал... што я изделал, господин?!.

Двор опустел. Я ухожу. Старик остается один.

II

Я снова брожу по пустынным улицам, по молчаливым площадям, по улицам и площадям, залитым бегущим народом.

На углах серые шинели. наивно-тупые лица, штыки, приклады.

— Руки вверх!

Я подымаю руки, стою, меня обшаривают.

— Покурим, што ли,— гостеприимно предлагает солдатик, вытаскивает из моего бокового кармана портсигар, неуклюже берет иззябшими пальцами папиросу, подает товарищам и мне возвращает портсигар.

Мы закуриваем. Дымок синими струйками мирно вьется над серыми шинелями. Из-за домов, холодных и спокойных, доносится одиночный выстрел.

Лавки, ворота, калитки заперты. Медленно догорают черные дымящиеся развалины.

Бродить по улицам опасно, но нет сил сидеть дома.

На площади вокзалов бушует огромный пожар. С гарью и дымом несется торопливый треск, шепот и шорох, и свистящее пламя по-змеиному качается острыми головами, мечется и лижет быстро тающий снег, обнажая черную дымящуюся землю.

Орудия молча и длинно глядят хоботами вдоль площади. Серые фигуры часовых мерно прохаживаются вдоль лафетов.

На площади в разных местах, черно выделяясь на снегу, лежат убитые. Возле них собираются кучки народа. Подъезжают широкие с брезентом сани, похожие на те, на которых возят с бойни мясо, на них валят застывшие, раскорячившиеся, упрямо не влезающие трупы, покрывают брезентом и развозят по участкам.

Я подхожу к одной кучке. Стоят молча, угрюмо смотрят. У ног в пустом кругу лежит парень. В застывших скрюченных руках — смерть, но лицо полно молодой энергии, отваги и воодушевления. Рот раскрыт, должно быть, кричал товарищам, и пуля в сердце мгновенно захватила и не дала сбежать с лица живому выражению.

На него смотрят тупо и неподвижно, как смотрят, опустив рога, быки на кровавое место, где только что свежевали тушу. И я стою и смотрю.

С некоторого времени что-то странное, тяжелое стоит у меня за плечами. Несознанное, смутное беспокойство давит, и я шарю по карманам, не потерял ли, не забыл ли чего. Люди уходят, приходят, а тревога моя растет. Я не могу одолеть этого неприятного, давящего, не определившегося беспокойства.

Наконец не выдерживаю и оборачиваюсь: два глаза, два круглых расширенных глаза острым блеском глядят, не моргнув, из-за плеч стоящих людей. И в этом взгляде столько остроты, столько дикого и поражающего, что я отворачиваюсь, но сейчас, словно меня тянет, опять подымаю глаза и слежу за ним. Он смотрит мимо меня, мимо людей, туда, в тот пустой и мертвый круг, где видны скрюченные руки.

Что-то болезненно поражает меня, и я перевожу глаза то на молодое мертвое лицо, то на чернобородое лицо, на котором видны одни только дикие глаза.

И вдруг схватываю сходство: сын!

С болезненным любопытством всматриваюсь в бородатого человека, у которого одни только дикие глаза — да ведь это Михайло Иваныч, маляр, часто работавший на даче у моего хозяина!

Но что-то не позволяет мне заговорить с ним, а он, не отрываясь, смотрит на юное мертвое лицо.

Он не подходит к убитому сыну, не наклоняется, не плачет, не рассказывает своего горя.

Среди нас глухо и отрывочно перебрасываются:

— Совсем молодой...

— Крови не видать...

— Должно, в сердце...

— Много их тут легло.

— Гляди, и отец, и мать есть...

Я тоже не могу оторваться и уйти, хотя стоять тут долго небезопасно — кругом шныряют шпионы, полиция, и тех, в ком признают знакомых или родных убитого, уводят в участок, но неизвестно, доводят ли их туда и не лежат ли они так же где-нибудь на снегу.

Подъезжают сани. Взваливают мертвеца со скрюченными руками. Я не гляжу, но чувствую сзади остроту диких, безумных глаз. Сани уезжают. Я ухожу. Несколько раз меня обыскивают патрули.

Чьи-то тяжелые, торопливые, измученные шаги догоняют. Он идет рядом со мной.

— Во... сын.

Я не расспрашиваю, идем молча.

Его степенное бородатое лицо, лицо артельного старосты или подрядчика, строгие под нависшими бровями глаза, неторопливые движения глубоко сосредоточенны и покойны. Он идет с опущенными глазами, и от этого лицо тяжело и неподвижно, как каменное. И говорит глухо:

— Ничего... ничего!..

Хрустит снег под тяжелыми одинокими шагами.

— Не признался к нему... это ничего... ничего, еще будет дело...

Улицы пусты. Одиноко стоят дома. Я по-прежнему иду молча; к тому непоправимо огромному, роковому, что в этом человеке, я ничего не могу прибавить.

— Руки вверх!.. Есть оружие?

Обшаривают.

И вдруг он засмеялся, засмеялся им в лицо, засмеялся ртом, щеками, личными мускулами, но глаза не смеются, а глядят с тем же безумным блеском, как на мертвеца, глядят пылающей, неугасимой, нечеловеческой ненавистью, и из-за этих страшных глаз не видно и не слышно смеха.

— Ха-ха!.. ведь какая это сволочь!.. Вот вы наколошматили их, как тараканы дохлые лежат... ха-ха! лежат дохлые... а ведь которые остались... разве их узнаешь... которые остались?.. Ведь теперича они вас день и ночь караулить будут... ползе-ет... ползе-ет... на брю-

хе... из-за забора... из-за угла... с крыши бац! и готов ваш брат!.. Разве от него, от идола, убережешься, ежели ему все одно, сам себя к петле присудил. А? Хе-хе!.. кажную минуту готов будь...

Лица пасмурно темнеют.

— Ну, ну, ну... ступай... ступай, ладно.

С исковерканным злобой лицом к нему подскакивает плюгавенький солдатик, стуча прикладом о хрустящий снег:

— Сволочь!.. Али захотел... зараз тебя на месте...— и осекается на полуслове: на него глядят дикие глаза.

Они стоят друг перед другом, потом солдатик отворачивается, отходит.

Мы идем дальше.

— Ну, прощайте.

— Прощайте... ничего!..

Я иду один по пустынной улице, сзади снова догоняют хрустящие шаги.

— Помните, на даче у вас работали... маляр, маляр-то какой был... другого такого мастера не найтить.

Лицо его дернулось судорогой, но глаза были сухи и блестящи.

КАК ВЕШАЛИ

Было странно, почти невероятно, что такая маленькая, тщедушная старушка могла выплакать так много слез.

Целые недели она не ложилась спать, задремывая на минутку перед зарей, прислонившись головой к стене. Что бы ни делала, прибирала ли по дому, ходила ли по бесконечным учреждениям и влиятельным лицам,— одно: слезы, слезы, слезы...

Была она у всех: у губернатора, у полицмейстера, у приставов, у председателя судебной палаты, у знаменитых адвокатов, ходила в канцелярию ведомства императрицы Марии, к попечителю учебного округа, была в обществе покровительства животным,— и везде было одно и то же:

— Что вам угодно?

Она глотала слезы, глядела измученными глазами, которые умоляли:

— Сы...сыночек у меня...

Но не выдерживала и рыдала неудержимыми, неподавимыми рыданиями. И, дрожа, что ее не дослушают, не дадут досказать, била земной поклон, уже не в силах сдерживать рвущиеся рыдания.

— Один... о-дин он у меня... Ванюшечка...

Люди разом смолкали, смотрели на нее, потом долго какими-то другими голосами уговаривали:

— Матушка, мы ведь ничего не можем сделать... вы не туда попали... обратитесь туда-то и туда-то...

Потом сторожа бережно и осторожно выводили на подъезд и говорили:

— Иди, иди, мать... иди... Ничего тут не помогут...

И она шла и плакала неудержимо слезами, которых никогда не выплакать, и тащилась в другое учреждение.

Она не помнит, прошел ли с тех пор месяц или день, отворилась низенькая дверь, и в комнату шагнул высокий, с ражим, отъевшимся лицом городовой в темной шинели.

Так и кинулась к нему, так и залилась:

— Матвеич, рòдный мой... ты бы узнал, что...

Они были из одной деревни, но городовой уже давно служил, и город, и полиция, и казарменная жизнь по-своему обработали его лицо, фигуру, душу.

— Постой... вишь ты...— И стал отстегивать, долго возясь, саблю, а старушка рыдала у него на груди, выговаривая сквозь слезы:

— Ванюшечка... родной мой... сы-нок мой...

Тот отстегнул саблю, поставил в угол, снял шинель, не торопясь и оттягивая время. Помолился на угол.

— День нонче слободный... дай, думаю, зайду... Эх, служба наша!..

И он присел на лавку за стол.

— Родимый мой, чем мне тебя попотчевать?.. Не варила я... с тех самых пор не варила... о-о-о-о!..

Городовой крякнул, почесал за ухом:

— Мозоль у меня... вот до чего... стоять на посту нельзя,— и, помолчав, опять добавил: — Эх, служба наша!..

— Самоварчик либо поставить... постой, родимый, я зараз...

Она возилась у печки, щепля лучину, а слезы капали, и городовой лазал глазами по потолку, проводил ладонью по усам, то собирал, то распускал кожу над переносицей...

— Хочь бы одним глазком... что там с ним делают.

Тот откашлялся, поскреб под мышкой, повозился на лавке, как будто было колко сидеть.

— Трудно в деревне, грязно и необразованность, чаю до дела напиться не умеют, а, ей-богу, в иной черед снял бы саблю, ливорверт бросил приставу: вот тебе хомут и дуга, а я тебе больше не слуга! И махнул бы в деревню. Вот как перед истинным!.. И харч и помещение тебе в казарме, одежа казенная и при господах завсегда: пристав, полицмейстер приезжает, прокурор,— хороший господин, дом свой трехэтажный на Воловьей, а то и сам жандар, полковник ихний,— все при господах, а вот иной случай все бы бросил, прямо в деревню залился. Ей-богу! Скажем к примеру, политику нужно али депламатию, ну, трудно мне насчет депламатии, инда взопреешь... Какая тут веселость!..

Он откусил сахару, подул, сложив губы дудочкой, и с шумом втянул воздух с дымящимся чаем.

— Позавчера в наряде был. Теперь у нас под *это* сарай отвели; прежде пожарные лошади стояли, так очистить велено,— за город далече господам ездить. Да. Ночью часа в три ввели нас. Сарай здоровенный, конца не видать и крыши не видать, темь, только что фонарь на стенке возле дверей да посередке у стола. На столе, стало быть, черная скатерть, чернильница, перья, весь причендал. За скатертью — прокурор, возле — поп, отец Варсонофий, а этак-то — доктор. Фонарь над ними. Доктор как сел, закрылся руками, локти поставил на стол, так и сидит, ни разу не глянул. Батюшка все цепь крутит с крестом на груде,— вот, думаю, перекрутит, рассыпется. Серебряная, золоченая... Нда-а, стоим. Четверо нас. Да от охраны человека три стоят поодаль в темноте. Ну... На каланче к пожару прозвонили; слыхать, во дворе забегали, зазвонили, выкатывают и загремели в ворота. Стихло. Стоим, дожидаем. Прокурор все ногти чистит. Ножичек такой, там чего-чего хочешь: и ножички, и подпильники, и уховертка, и в зубах ковырять, и гребеночка усы расчесывать... Спрячет, посидит, опять достанет, опять чистить, так, думаю, наскрозь прочистил. И время-то много, и стоять скучно, и боишься, что скоро пройдет. Крыша худая, подымешь голову — звезды пробиваются.

Вошли двое. Глянул, так на сердце заскребло: замест лица маски черные, только что видать бороду да усы, да глаза ворочаются. Где потемней прошел один, потом другой. Тут я увидал, две веревки в темноте спущаются от самой от крыши, а под кажной под веревкой по табуретке. Один взялся, подтянулся — крепко; другой — крепко. Стали, дожидаются.

Гляжу я на них, и сволочь жадная! У одного дома на Березовой, за мостом, акурат против богадельни, как перед истинным!.. Так мало ему, суды лезет, еще хругваносец... Тьфу, прости, господи!.. За кажного они по сту целковых получают. Мы уж подавали начальству: чем им платить, так мы сами... все одно, не мы, так другие, конец один, а нам на брата по четвертной придется,— четверо нас. Ну, пока ответа нету еще... Ффу-у-у! Жарко... взопрел!.. Али еще стакашек? Ну, вот, стоим, ноги отстояли. Прокурор было спрятал, опять достал, опять зачал чистить... Только загремело по мостовой. Думали, пожарные назад, ан нет, у самых у дверей остановились. Шибко застучали. Глухо по всему сараю, как в гробу... Сразу двери распахнулись, ввалились двое городовых, а промежду их человек, бородатый, под руки его крепко держут. Впереди, сзади городовые, с ружьями; чиновник за ними, портфель под мышкой. Подошел к прокурору, рапортует: так и так, мол, доставил из дома заключения арестанта за номером. Прокурор поднялся, взял бумаги, расписался.

«Вы, говорит, господин Ушаков?» — «Да».— «Вы имеете полное право напоследок распоряжение сделать».— «Я хочу письмо жене написать».— «Можно, можно».

Прокурор заспешил, подал ему бумаги.

Энтот сел к столу, макнул, стал писать. И те-емь такая в сарае стала, просто темь. Долго писал, лист кругом исписал.

«Дайте мне, говорит, конверт».— «Да зачем конверт?» — прокурор-то. «А как же я адрес напишу?»

Прокурор забеспокоился,— да, адрес действительно негде. Порылся, достал конверт: «Извольте».

Взял конверт, лизнул, запечатал, стал писать адрес, долго писал, как будто и конца этому не будет. Опять загремело по мостовой, остановились и опять ввалились

городовые, и двое держут. Молоденький,— ни усов, ни бороды, я его и не признал спервоначалу. Зирк, зирк, во все стороны. Как увидал — петля спущается с крыши, как забьется у них в руках.

«Вы,— говорит прокурор,— господин Николюкин?»

Как завизжит, как закричит не своим голосом:

«Не-ет!.. не-ет!.. не-ет!.. Я — не Николюкин... я — не Николюкин... я — не Николюкин... я — Николаев...»

«Как, Николаев?»

Прокурор аж вскочил... Так по всему сараю шелест шепота: шшу... шшу... шшу... Доктор даже руки отнял, впервой глянул. Охранники — и те уши наставили.

«Я — не Николю-укин... я — Николаев!»

Прокурор прытко побежал к телефону. Дзинь, дзинь, дзинь!.. «Вы, говорит, прислали к нам по ошибке арестанта под фамилией Николюкин, а он — Николаев...» Помолчал. Все притаились. И опять кричит в телефон: «Николаев... он сам заявляет...»

Опять помолчал. Тихо. Никто не дышит... «Да как же так!..— сердится, значит, не хочет отойтить.— Тут недоумение... Я пришлю вам его назад...»

Опять послушал, потом потемне-ел с лица, положил трубку — и к столу. А к энтому, к первому-то, поп подошел, крест зажал. «На последних твоих минутах, говорит, принеси покаяние перед господом, он облегчит...» А тот попа за плечи обернул и — так: «Иди, иди, батюшка, иди...» Отец Варсонофий пригнулся, крест прижал, оглядывается, боком этак, боком поспешает, благословляет его, сам скорей к столу. Доктор лицо закрыл. Тихо и опять те-емь... Прокурор стоит, бородку крутит. И слышим из темноты: «Бороду петлей прихватил... больно... выпростай!..» И опять: «Сними с меня пальто... неловко... не тебе висеть...» И ахнуло в сарае: полетела из-под него на пол табуретка. А по сараю аж в ушах юзжит.

«Я — не Николюкин... я — Николаев... у меня мать... спросите у матери... у ма-атери... у ма-атери... у ма-а-те-ри...» — покеда голос не захлестнуло...

Думал, покеда к тебе сходят да наведут справки, все ночь, денек, другой поживет на белом свете, оттянуть хотел... Ну, вот!.. вот оно. Что мне теперь с тобою делать? Эх, служба!.. Куда шинель-то положил? Ну, чего? Не вернешь... а сама спрашивала... лучше б не приходил... Пойдем, что ль, могилку покажу...

У ОБРЫВА

I

Уже посинело над далеким поворотом реки, над желтеющими песками, над обрывистым берегом, над примолкшим на той стороне лесом.

Тускнели звуки, меркли краски, и лицо земли тихонько затягивалось дымкой покоя, усталости под спокойным, глубоко синевшим, с редкими белыми звездами небом.

Баржа и лодка возле нее, понемногу терявшие очертания, неясно и темно рисовались у берега. Отражаясь и дробясь багровым отблеском, у самой воды горел костер, и поплескивал на шипевшие уголья сбегавшей пеной подвешенный котелок, ползали и шевелились, ища чего-то по узкой полосе прибрежного песка, длинные тени, и задумчиво возвышался обрыв, смутно краснея глиной.

Было тихо, и эту тишину наполняло немолчное роптание бегущей воды, непрерывающийся шепот, беспокойный и торопливый, то сонный и затихающий, то задорный и насмешливый, но река была спокойна, и светлеющая поверхность не оскорблялась ни одной морщиной.

Всплеск рыбы, или крик ночной птицы, или шорох осыпающегося песку, или едва уловимый шум пароходного колеса, или почудилось — и снова дремотное, невнятное шептание, то замирающее и сонное, то встрепенувшееся и торопливое, и светлый, ничем не нарушимый покой реки под все густеющей синевой надвигающейся ночи.

— «Ермак» никак идет.

— Где ему!.. Теперича небось на Собачьих Песках сидит...

И человеческие слова, такие простые и ясные, прозвучали и погасли в этом непонятно-беспокойном шепоте спокойно-недвижной реки.

Короткая, притаившаяся у колебавшегося огня тень разом вытянулась, побежала от костра; уродливо перегнулась через обрыв и пропала в степном сумраке, откуда неслись крики перепелов и запахи скошенных трав, а над костром поднялся высокий, здоровенный, с длинны-

ми руками и ногами, в пестрядинной рубахе человек и, скинув ложкой сбегавшую через края пену, всыпал в бившую ключом воду пригоршню пшена. Вода мгновенно успокоилась, а тень скользнула по обрыву, вернулась из степи и опять притаилась у огня. Длинный человек сидел, неподвижно обняв колени, глядя на светлеющую реку, на пропадающий в сумеречной дымке лес, дальний берег.

Поодаль на песке, протянувшись, неподвижно и мертво чернела человеческая фигура.

Не было видно лица.

Спал ли он, или думал, или был болен, или уже не дышал — нельзя было разобрать.

Уже потонул в темнеющей синеве и не стал видим лес, и поворот реки, и дальние пески, только вода попрежнему поблескивала, но уже черным, вороненым блеском, и звезды в ней бездонно повисли, яркие и бесчисленные.

И казалось, так и нужно, чтоб в эту синюю ночь у дремотно-шепчущей воды возле обрыва горел костер, и красный отсвет трепетал, неверно озаряя багровым светом костра высокую, нескладную, но точно выкованную фигуру человека, могуче охватившего руками колени, и неподвижную темную фигуру на песке, и третьего — с широкой бородой старика, со спокойным и строгим лицом, отлитым из бронзы.

Как будто кто-то задумчиво, без слов пел, и не было слышно голоса, и только представлялась потонувшая в ночной синеве река, и костер, и смутный обрыв, и в темной глубине чуть зыблемые звезды.

— Пришло время... Жисть-то она человеческая, как трава полезла...

Голос был ровный, спокойный, медлительный, и так было спокойно кругом, что нельзя было сказать, кому принадлежит голос.

И среди ни на секунду не прерывающегося, немолчного, дремотного шепота голос, казалось, принадлежал синей ночи, как и угрюмо стоящий обрыв, как ропот воды, как костер с беззвучно ползающими по песку тенями.

— ...как трава молодая на провесень из черной земли...

— Нда-а... Теперича полезла, ничем ее не уторкаешь.

И кто-то на том берегу смутно и неясно отозвался, слабея: «...да-а-а!»

Сидевший обняв колени замолчал. Молчал и тот, чей темно простертый силуэт смутно рисовался на песке. Молчал старик с бронзово-багровым шевелившимся лицом, изредка лениво вбрасывая в костер голыми руками выскакивающие оттуда раскаленные угольки, и в этом молчании чудилась недоконченная дума,— думала сама синяя ночь.

Тонкий, щемящий крик пронесся над рекой.

Опять тихо, задумчиво-сумрачно, снова непрерывающийся беспокойно-торопливый шорох-шепот бегущей воды. Молчал в наступившей со всех сторон темноте смутно подымающийся обрыв, молчала степь за ним. Котелок лениво вскипал, сонно подергиваясь пеной.

Тонкий крик повторился против, над рекой. Водяной играл. А может быть, летела над самой водой невидимая птица,— нельзя было сказать. Ночь теснилась со всех сторон, молчаливая и темная.

— По реке далече слыхать... Хошь у самого Кривого Колена, и то будет слышно...

И оба наклонили головы, чутко ловя смутный, неясный звук. Ухо хотело поймать приближающийся шум пароходных колес, но звуки ночи, тихие, неясные, тысячу раз слышанные и все-таки особенные и странные, говорили об отсутствии человека.

Горел костер, у костра сидели двое, третий недвижимо чернел на песке.

II

Длинный поднялся, снял котелок. Тени засуетились, и одна опять скользнула вверх по обрыву и пропала в степи.

— Упрела.

Он поставил котелок и покрутил в песке.

— Часов девять есть... Охо-хо-хо...

И за рекой кто-то: «О-о-о-о...»

— Скажи парню, нехай садится с нами, вишь, отощал.

Старик достал из кармана ложку и вытер заскорузлым пальцем.

— Эй, паря!.. Хошь, поешь с нами.— Длинный наклонился над неподвижно черневшей фигурой.

— А?.. а?.. а?.. Куда... Постой!.. Братцы, держитесь!..— закричал тот, вскакивая, трясясь.

— Что ты... что ты, парень... Говорю, поешь с нами...

Тот обвел вокруг удивленным взглядом, не понимая этой темноты, смутно рисующихся контуров, этого ночного молчания, заполненного немолчно шепчущим ропотом, этого трепещущего, красноватого, поблескивающего в воде отсвета, и провел рукой, как будто снимал с лица паутину. Он точно весь обмяк и улыбнулся бессильной, измученной улыбкой.

— Ишь ты... опять попритчилось.

При свете костра поражали исхудалость и измученность, завалившиеся щеки, черные круги, горячечно блиставшие, беспокойные, как будто глядящие мимо предметов глаза.

Сели кругом котелка, поджав на песке ноги, и стали есть и громко дули на кашу. И, повторяя движения, суетились по песку тени.

Долго и молча ели, и долго в дремотно шепчущий ночной ропот чуждо вторгался звук усердно работающих человеческих челюстей.

Первая острота голода притупилась; парень, на лице которого землисто отпечатался призрак смерти, вздохнул:

— У-ух-х!.. Маленько отошел.

И, опять улыбнувшись бессильной и измученной улыбкой, добавил:

— Два дня не ел.

— Да ты откуда?

— Из города.— И снова усталая и теперь доверчивая улыбка.— Из самого из пекла вырвался. Как и вырвался, сам не знаю...

— Да мы это догадались, как ты еще шел по берегу,— усмехнулся длинный,— да не стали расспрашивать: что человека зря беспокоить.

— Не бойсь, ничего... По степи патрули разъезжают, хватают, которые успели из города убежать. Ну схватят, разговор короткий — пуля либо петля. Мы не одного переправили... Артель-то на баржах, да и команда на пароходе — свой народ... К нам вот не догадаются на баржу заглянуть, а... то бы была им пожива. Да ты в городу-то чем был?

— Наборщиком.— И он повел плечами, точно ему холодно было, и боязливо оглянулся.

Длинный черпнул, подул на ложку и, вытянув губы, с шумом втянул воздух вместе с кашей.

На реке завозился водяной или ночная птица. Всплеснула рыба, но в темноте не было видно расходящихся кругов. Старик ел молча.

— Все по реке шел, как чуть чего — в воду... Вчерашний день до самой ночи в воде сидел, закопался в грязь, а голова в камыше, так и сидел.

Он отложил ложку и сидел, осунувшись, и мысли, далекие от теплой ночи, от костра, бродили в голове, туманя глаза.

— Что было — страшно вспомнить... Крови-то, крови!.. Народу сколько легло!..

И опять боязливо огляделся и передернул, как от холода, плечами.

— Устал я... устал, замучился, и... и не то что руками или ногами, душой замучился. Все у меня подалось, как обвисло...

И он опять обвел кругом, глядя куда-то мимо этой темноты, мимо костра, реки, мимо товарищей,— точно, заслоняя все, стояли призраки разрушения, развалины, и некуда было идти.

— Главное что!..— вспыхивая, заговорил он.— Трудов, сколько трудов убито. Нашего брата разве легко поднять да вбить в башку?.. Ему долби да долби, его учи да учи, а он себе тянется, как кляча под кнутом, с голоду сдыхает да водку хлещет... Покуда все наладилось, да сгрудились, сбились в кружки, да читать, да думать стали, да расчухали, ой-ёй-ёй сколько времени, сколько трудов стоило!.. А сколько народу пропало по тюрьмам, да в ссылке, да на каторге,— да какого народу!.. Кирпич за кирпичом выводили, и вот трраххх!.. Готово! Все кончено!.. Шабаш!..

И он отвернулся и опять глядел, не замечая, мимо синеющей ночи, мимо шепчущих звуков, мимо тихого покоя, которым веял дремлющий берег.

— А-а-а-а...— И он мерно качался над костром, сдавливая обеими руками голову, точно опасаясь, что она лопнет и разлетится вдребезги. И качалась тень, уродливая, изогнувшаяся, так же держась обеими руками за голову, тоже уродливую и нелепо вытянутую.

Но, обходя развалины, разбитые надежды и отчаяние, о чем-то о своем немолчно и дремотно журчали

струи, чуть-чуть глубоко колебалось во влажной тьме звездное небо. Несколько хворостинок, подкинутых в костер, никак не могли загореться, и едва уловимый дымок, не колеблемый, как тень, скользил вверх.

И этот покой и тишина, погруженные в ночную темноту, были величаво полны чего-то иного, глубокого, еще не раскрытого, недосказанного.

— Глянь-ко, паря, вишь ты: ночь, спокой, все спит, все отдыхает,— и голос старика был глубоко спокоен,— все: и зверь, и человек, и гад, трава и та примялась, а утресь опять подымется, опять в рост. Все спокой, тишь... да-а!..

Над водой удалялись тонкие тилиликающие звуки — должно быть, летели на ночлег кулички.

— Да-а, спокой... Потому намотались за день, намаялись, натрудили плечи, руки, лапы... во-о... И заснула вся земля, а наутресь опять кажный за свое — птица за свое, зверь за свое, человек за свое. Только солнушко проглянет, а тут готово, начинай снаизнова. Так-тось, паренек...

Долго стояла тишина. Рабочий, сутулясь и подняв голову, глядел на дымчатую дорогу на небе. Длинный уписывал кашу.

— Дедушка,— болезненно раздался надтреснутый голос,— да ведь все наутро проснутся, а энти, которые в городе лежат, ведь они-то уж не подымутся.

— А ты ешь, паренек, ешь,— говорил старик, вытирая ладонью усы и бороду.— Да-а... мужичок, хрестьянин вышел пахать... Вспахал. Вспахал, взял лукошко и зачал сеять. Высеял, заскородил, дождичек прошел, и погнало из земли зеленя, погнало, словно те выпирает. Да-а, радуется хрестьянин. Нашему брату что: вспахал, посеял, собрал и сыт. Да-а. Колоситься зачало. И вот откуда ни возьмись туча, черная-пречерная. Вдарила грозой, градом, все дочиста сровняла, где хлеб был — одна чернота. Вдарил об полы сердяга! Что же, думаешь, бросил, руки опустил? Не-ет, ребята-то бесперечь есть хотят. Пошел на чугунку, на чугунке стал зарабатывать. И отрежь ему колесами ноги. Поболел, поболел и богу душу отдал. Что же, думаешь, тем дело кончилось? Не слухай, парень. Нивка его не осталась сиротой, зачали ее пахать да сеять братаны да зятья. Опять пробились зеленя, опять стал наливаться колос. И

сколько ни изводили мужика,— и на войну-то его гнали, и по тюрьмам гноили, и нищета давила, и с голоду пух и помирал, а кажную весну зеленели нивы, да-а...

Он помолчал.

Стояла сама себя слушавшая тишина.

А?

И кто-то, внимательный, полувопросом, полуутвердительно отозвался из-за реки: «А-а-а!..» Наборщик молча стал носить из котелка.

— Ишь звезда покатилась,— проговорил длинный и рыгнул.

— Так-тось, братику... Сколь ни топчи траву, она все распрямляется, все тянется кверху. И народ, сколь его ни дави, сколь ни тирань, а он, братику, помаленечку распрямляется. Пущай жгут, пущай бьют, ноне город разорят, завтра деревню сожгут, а наместо того приходится громить пять городов, приходится жечь сто деревень — народ распрямляется, как притоптанная трава. Глядим мы на тебя давеча, идешь ты, ковыляешь, глядишь исподлобья, и кажут тебе вокруг только вороги, и к нам ты подошел — и нас боишься. А мы сметили давно, что ты за птица, да я Митюхе говорю: «Не трожь его, пущай обойдется». Ан вот теперь и оказалось, дело-то одно делаем. Вона у нас,— старик мотнул головой на баржу,— чего хошь, в каждой деревне выгружаем. Пущай народ любопытствует, пущай трава выпрямляется... Охо-хо-хо!..

И за рекой: «Хо-хо-хо-о!..»

III

— Ды вы чего тут стоите, дядя?

— На перекатах, вишь, не проходят баржи, глубоко сидят, а река нонче рано обмелела, так пароход часть отгрузил и пошел через перекаты. Потом вернется, с этой баржи снимет часть грузу и поволокет.

Наборщик лениво лазил в котелок. И вдруг мягко, с улыбкой огляделся кругом. И впервые увидел тихую, молчаливую, задумчиво-спокойную ночь, тонко дрожащие в глубине звезды, дремотный шепот невидимо бегущей воды. Глубоко вздохнул и проговорил:

— Ночка-то!..

Усталость, мягкая, зовущая ко сну и отдыху, овладевала.

— Теперь хоть и вздремнуть бы,— две ночи глаз не смыкал.

— Погодь трошки, махотка с кислым молоком еще есть.

И длинный лениво поднялся, вместе со своей тенью прошел к лодке, покопался и, держа в руках небольшую миску, вернулся и сел. Тень тоже подобралась на свое место.

— Ну, ешьте. Доброе молочко.

В неумолкаемый ропот бегущей воды, который забывался, сливаясь со стоявшей вокруг тишиной, грубо и непрошенно ворвался чуждый звук. Был неясный, смутный, неопределенный, но разрастался, становился отчетливее и наполнял ночь чем-то, чего до сих пор не было.

Трое повернули к обрыву головы и стали слушать.

И костер, дрожа и колеблясь отсветом, беспокойно взглядывал красными очами на выступивший на секунду из темноты обрыв. Тени торопливо и испуганно сновали по песку, ища чего-то и не находя, с усилием вытянулись, перегнулись и заглянули через обрыв в степь. Оттуда, все приближаясь, неслись дробные, мерно топочущие звуки.

Ближе, ближе... Чувствовалось, что там наверху иссохшая, крепкая и звонкая земля.

Костер, истратив последние усилия и догадавшись, в чем дело, стал погасать, засыпая и подергиваясь пеплом, и тени разочарованно расплылись, сливаясь со стоявшей вокруг чернотой, но головы все так же были обращены к обрыву.

Топот оборвался. Над ровно обрезанным по звездному небу краем обрыва темно вырисовывался уродливый силуэт чудовища. Оно неподвижно вздымалось, широкое и неровное, как глыба, оторвавшаяся от горы, загораживая ярко игравшие звезды.

Несколько секунд стояло молчание, поглотившее все звуки ночи.

— Эй... Что за люди?

Голос сорвался оттуда хриплый и грубый, и за рекой нехотя и глухо повторили его.

— А тебе что?..— лениво и небрежно бросил длинный, таская ложкой молоко.

— Что за люди?! Мать...— И грубая ругань оскорбила настороживщуюся ночную тишину.

Длинный по-медвежьи, неповоротливо поднялся.

— Чего надо?.. Ступай... отчаливай... Неположенного ищешь...

Костер осторожно глянул из-под полуспущенного красневшего века, и на минуту можно было различить над самым обрывом в красноватом отблеске конскую голову и над ней человеческую и рядом еще конскую голову и над ней человеческую. В ту же секунду блеснул длинный огонь, и грянул выстрел, и, негодуя, понеслись по реке, по лесу, будя ночную тишь, рокочущие отголоски, долго перекликаясь и угрюмо замирая.

И уже не было тихой ночи, ни темной реки с дрожащими звездами, ни дремотного шепота, ни обрыва, ни смутной степи, откуда неслись крики перепелов и медвяные запахи скошенных трав. Стояло тяжелое и жестокое в своей бессмысленности.

— Казаки!..— шептал наборщик, поднявшись.— Прощайте, побегу...

Старик придержал за руку:

— Погодь...

— Ничего...

— Не пужай... не из пужливых... А вот только когонибудь зацепишь версты за три, за четыре позадь леса, неповинного,— так это верно... Пуля-то куда летит... Сволочи!..— Длинный тяжело и злобно погрозил кулаком.

Костер снова подернулся пеплом, и темные силуэты над чернотой обрыва шевельнулись, стали делаться меньше, понижаясь и прячась за край.

Звезды снова играли, небеспокоимые, из степи несся удаляющийся, замирающий топот, оставляя в молчании и темноте неосязаемый след угрозы и предчувствия. Напрасно торопливый, бегущий шепот воды старался попрежнему заполнить тишину и темноту дремой и наплывающим забвением — молчание замершего вдали топота, полное зловещей угрозы, пересиливало дремотно-шепчущий покой.

Снова сели.

— Поисть не дадут, стервы!

— Подлый народ!.. Земли у него сколь хошь, хочь обожрись, ну и измываются над народом...

Было тихо, но ночь все не могла успокоиться, и тихий покой и сонную дрему, которыми все было подернуто, точно сдунуло; стояла только темнота, с беспокой-

ной чуткостью ждущая чего-то. И как бы оправдывая это напряженное ожидание, среди тьмы металлически звякнуло... Через минуту опять. Головы снова повернулись, но теперь они внимательно глядели низом в темь вдоль берега.

Снова звякнуло, и стал доноситься влажный, торопливо размеренный хруст прибрежного песка. И в темноте под обрывом над самой рекой зачернело, выделяясь чернотой даже среди темноты ночи. Ближе, ближе. Уже можно различить темные силуэты потряхивающих головами лошадей и черные фигуры всадников.

Они подъехали вплотную к костру, сдерживая мотающих головами, сторожко похрапывающих лошадей, сидя прямо и крепко в седлах, и концы винтовок поблескивали из-за спин.

— Что за люди?

— А тебе что?

Все трое поднялись.

Сыпалась отборная ругань.

— Шашки захотели отведать? Так это можно... Две половинки из тебя сделаю... Что за люди, спрашиваю?

— Ослеп, что ль?.. Сторожа при барже.

— Рябов, вяжи их, дьяволов, да погоним к командиру.

Молодой казак, с серым лицом, выпятившимися челюстями, спрыгнул с коня и, держа его в поводу и звякая оружием, подошел.

— Знаем мы этих сторожов. Поворачивайся-ка...

— А тебя, сволочь длинная, всю дорогу нагайкой буду гнать, чтоб ты не огрызался, погань проклятая.

— Связать недолго,— спокойно заговорил старик,— и угнать можно, самое ваша занятия, но только кто кашу-то потом расхлебывать будет? Нас-то угонят, а баржа доверху товаром набита, к утру ее ловко обчистят. Пароход-то придет, голо будет, как за пазухой... нда-а! Пожалуй, смекнет народ — казачки и обчистили, для того и сторожов угнали, они на этот счет мастаки...

— Бреши больше, старый черт,— и в голосе бородатого казака послышалась неуверенность,— погоди, Рябов... Покажь пачпорт, ты, сиволдай.

— Да ты что, али только родился, мокренький...— усмехнулся длинный,— пачпорта обыкновенно у хозяина, ступай к капитану, он те и пачпорта даст.

Казак в нерешительности натягивал поводья.

— А этот?

— И этот сторож... водоливом на барже...

— Брешешь, сучий подхвостник... Не видать, что ль,— из городу убёг. Ага!.. Его-то нам и надо... Погляди, Рябов, може, которые разбежались. Погляди, нет ли следов от костра в энту сторону.

Молодой сунул в уголья хворостинку, подержал, пока вспыхнул конец, и, наклонившись и освещая, прошел несколько шагов, внимательно вглядываясь в песок, по которому судорожно трепетали тени.

— Нету, оттуда следы, как раз из города шел.

— А-а, сиволапые, отбрехаться хотели, люцинеров укрывать. Погодите, будет и вам, не увернетесь! А между протчим, Рябов, обратай-ка этого.

— Веревки-то нету.

— А ты чумбуром [1], чумбуром округ шеи. Погоним, как собаку.

Молодой взял свободный конец свешивающегося от уздечки длинного ремня, за который водят лошадь, и подошел к наборщику.

— Ну, ты, паскуда, повернись, что ль.

Тот оттолкнул его, пятясь назад.

— Пошел ты к черту!..

Металлически звякнул затвор. Наборщик невольно поднял глаза: на него глядело дуло винтовки, целился с лошади бородач.

— Ежели еще шаг, на месте положу!..

Рябов накинул на шею чумбур и стал завязывать петлей, бородач закинул винтовку за плечи. Рабочий равнодушно и устало глядел во мглу над рекой. Ночь стояла густая, мрачная, и давила со всех сторон, и нечем было дышать.

Старик и длинный как-то особенно переглянулись и продолжали спокойно глядеть на совершающееся.

— Завязал? Ну, садись и айда! Да гони нагайкой перед конем.

Молодой, вдев одну ногу в стремя, взялся за луку и напружился, чтоб разом вскочить в седло, и в темноте чернел чумбур от морды лошади к шее человека.

---

[1] Чумбур — длинный ремень к уздечке. *(Прим. автора.)*

Дед подошел к молодому, и в тот момент, как тот заносил ногу в седло, наклонился к нему, что-то сообщая по секрету, потом тот, отвалившись от коня, прильнул к дедову плечу и крикнул перервавшимся голосом.

В ту же самую минуту длинный подошел к бородатому казаку, сидевшему на лошади, и, протягивая с чем-то ладонь, проговорил:

— Никак, потерял, ваше благородие?

Казак перегнулся с седла, разглядывая, и вдруг почувствовал, как с железной силой толстая змея обвила шею. Он мгновенно толкнул ногами лошадь, чтобы заставить ее вынести, но другая змея, такая же толстая, с такой же железной силой обвилась вокруг поясницы, и огромная лапа из-за спины сгребла поводья и так натянула, что лошадь, закинув голову и приседая на задние ноги, пятилась и уперлась задом в обрыв.

— О-го-го!.. Ссво...о...лочь!.. Ря...бов... ссу...ды...

— Нни...чего... дя...дя...

— По...го...ди, я... тте ша...шшкой!

— Го...жу... Ва...лись...ка!..

Они тяжело, прерывисто и хрипло обдавали друг друга горячим обжигающим дыханием, лошадь билась под тяжестью двух людей, и с обрыва на них сыпались глина и ссохшиеся комья.

— Ого-го-го... Рря-бов...

Казак изо всех сил старался выпростать руку и все искал головку шашки, но облапивший его дьявол с нечеловеческой силой ломал спинной хребет, и, несмотря на отчаянное нечеловеческое напряжение, бородач тяжело, грузно гнулся с седла. Уже поднялись тускло поблескивавшие стремена на раскорячившихся ногах, уже под брюхо бьющейся лошади лезет взмокшая от пота голова. Что-то хрустнуло, и под вздыбившейся лошадью ухнула земля от тяжко свалившихся тел.

Ночь невозмутимо и мрачно стояла над ними, дожидаясь, и в ее тяжелой тишине лишь слышалось хриплое дыхание да задавленные стоны, а проклятье и брань застревали в бешено стиснутых зубах.

Лошадь почувствовала свободу и, наступая на конец волочившегося по песку повода и низко кланяясь каждый раз головой, пугливо побежала прочь от того места, где тяжело ворочался черный ком.

Дед с освободившимся наборщиком туго вязали молодого, беспомощно лежавшего на песке.

— Эй, давай-ка чумбур!..— хрипел длинный, наступив коленом на грудь задыхающегося казака.

Дед с наборщиком поймали лошадь, подбежали к лежавшему на песке хозяину, и в захрустевшие в суставах руки жестко впился ремень.

— Фу-у, дьявол, насилу стащил, еще бы трошки, вырвался бы, лошадь увезла бы. Ну, давай же молоко доедать, никак не дают повечерять... Возжакайся тут с ними, с иродами.

IV

Они сели в кружок, веселые, торопливо дышащие, отирая потные лица, и снова принялись за ужин.

— Ну, этот молодой и крякнуть не поспел, как дедушка его зараз на песок.

— А этот — здоровый, откормился кабан...

— Ишь, а то за шею... ах ты моченая голова!..

Подбросили хворосту, и костер, совсем было задремавший, снова глянул, и снова засуетились по песку тени. Неподвижно лежали связанные казаки, и неподвижно стояли над ними лошади, понурив головы.

— В прошлом году стояли тут на перекате,— заговорил длинный и, отложив ложку и отвернувшись, шумно высморкался, придавив ноздрю пальцем,— так гроза сделалась, н-но и гроза! Мимо шар си-иний пролетел, так и отнесло меня духом сажени на две. И вдарился этот шар в дерево саженях в пятидесяти по берегу — от дерева лишь пенек остался, ей-богу!

— Прошлое лето грозовое было, в городе два дома спалило.

Бородатый казак понемногу приходил в себя от изумления, от неожиданности всего совершившегося и, сам себе не доверяя и скашивая глаза, оглядывал, что мог, в своем положении. Да, он лежал, туго связанный чумбуром, над ним стояла лошадь, а те преспокойно таскали кислое молоко, белевшее у них в ложках. Рябова не было видно, он лежал у него за спиной.

— Да вы что же это, пропойцы сиволапые, али головы вам своей не жалко, али обтрескались?

— Как не жалко — жалко,— усмехнулся длинный,— потому и связали вас.

— Да вы что же думаете, нас двое, что ли? Там целая сотня стоит, патрули везде ездют... Завернут сюда, тут уж вам беспременно расстрел... Развязывай зáраз!

— Да за что же нам расстрел, ежели никаких казаков у нас не будет?

— А ты бреши, да не забрехивайся. Слышь, зáраз развязывай!.. Мать вашу...

— За что же расстрел, ежели казаков у нас не будет? — невинно продолжал длинный.— Ты трошки потерпи, зáраз поедим, коней ваших расседлаем, в штаны вам и за пазуху песку насыпем, да и в реку обоих.

Воцарилось гробовое молчание. У казака глаза сделались круглыми, и даже в темноте белели белки. Он стал часто и трудно дышать и, пересиливая себя, проговорил глухо:

— Не пужай, не испужаюсь... Казак — не иголка, все одно дознаются... Лошадей не утопите, по лошадям и до вас доберутся.

Длинный весело загоготал, и так же весело откликнулось ему из-за реки.

— Мели, Емеля, твоя неделя... Об нас не тужи, станишничек... Лошадей мы расседлаем, седла вам на шею для верности: они чижолые, не всплывете, а лошадей выведем в степь, сымем уздечки, ухнем, только их и видали, так и пойдут писать по степи. А в степи им, брат, хозяева зáраз найдутся. К хутору прибьются, кажный с превеликим удовольствием приблудную лошадь возьмет для хозяйства. А нет, так конокрады бесперечь по степи ездют, обрадуются дареному коню, зáраз обратают. Так-тося, станишничек...

Замолчали. Ночь над казаками стояла густая, черная, полная предсмертного ожидания и не ждущая пощады... И вдруг среди неподвижной, грозно молчащей мглы раздались хлюпающие, переливающиеся, прерывистые, воющие звуки, как будто выл молодой волк, подняв морду. Бородач насупился и, скосив глаза, следил, как носили ложки с молоком. Делали это не спеша, умирать ведь не им, и страшно было спокойствие этих людей. А волчьи прерывистые ноты раздирали ночную тишь, испуганные носились над рекой и горькими, рыдающе-воющими отголосками пропадали в сумрачно и неподвижно раскинувшейся степи.

— А-а, жидок на расправу, а людеи неповинных, беззащитных убить али искалечить — это ты можешь. Как с-собаку за шею привязал. Не то что там за руку али за пояс, а за шею, а-а!..

Бородач стиснул зубы и процедил:

— Не вой, сволочь!..

Но волчий вой все носился у него за спиной и над рекой и над степью. И бородач с напряжением следил за спокойно ужинавшими людьми и одного только мучительно, с замирающим трепетом хотел, чтоб никогда не кончилось это молоко,— но глубже опускались ложки.

— Братцы,— заговорил он глухо,— отпустите...

— Вишь, паренек,— заговорил спокойно старик,— ехал ты убивать и калечить людей, ни об чем не думал, а теперича сам лежишь и ждешь.— И, забрав с ложки губами и вытерев усы, продолжал: — Да-а, придет время, так-то и народ нежданно-негаданно подымется, и будете вы лежать и ждать, и будете удивляться, и душа у вас смертно заскорбит и возопиет: эх, кабы воротить, по-иному бы жили.

— Служба наша такая, разве мы от себе... У меня дома хозяйство, семья, тоже скучаешь, сладко ли по степи шаландаться...

— Что служба!.. Ежели тебя служба заставит образа рубить, али будешь?

— А как же! Потому присяга престол-отечеству...— И ему чудилось, как проворно убегает время на этом пустынном, темном, молчаливо ожидающем берегу, и уже с самого дна берут опускающиеся ложки.

— Присяга!..— Голос старика зазвучал желчью.— Присяга!.. Вот она, присяга,— и старик вдохновенно поднял руку,— перед святыми звездами, перед ясным месяцем, перед темным лесом, перед чистой водой, перед зверем лесным, перед птицей полевой, перед человеком,— потому жисть она — человеческая, а не перед попом волосатым, ему абы хабары. Вот она, присяга истинная! Вот кому присягали мученики. Вот кому должон присягать всякий, у кого душа не в мозолях... А вы, несчастненькие, замозолилась у вас душа, тыкаетесь, как слепые щенята... Жисть, вот она кругом,— он широко повел рукой,— ей присягать надо, а не попу, а вы ее топчете конями, да колете пиками, да рубите шашками,

да бьете из ружей... Ишь пустил пулю, куда она полетела!..

Темно и неподвижно было кругом. Не было ни живой, говорящей смутным говором в темноте воды, ни смутно прислушивающегося леса за рекой, ни пропадающего в двух шагах берега. Зато с отчетливостью меди краснели в темноте озаренные профили лиц сидевших вокруг костра,— только это и было.

Казак не мог оторвать от них глаз. И чем больше глядел, тем большей силой наполнялись они. Сидели они, как будто отлитые из меди, неведомые богатыри темноты и ночи.

— Охо-хо! Жисть-то она человеческая! — проговорил старик, положил ложку, отер залезавшие в рот усы, потом опять взял и стал неторопливо носить от горшочка к волосатому, заросшему рту, и казак, не отрываясь, следил за ней, белевшей.— Как она выходит... К примеру, по хозяйству сколько заботы примешь: с плугом ходишь, землю месишь-месишь... Потом сердце изболится, покеда щетинкой зеленой пробьется, да все на небо поглядаешь, дожжичка просишь. А там перышко выгонит, да пойдет в трубку, да в колосок, да нальется, а ты все ходишь округ нее, округ пшенички, округ травки-то...

— Звезда покатилась,— проговорил длинный и рыгнул.

Казак повел глазом и увидал темную реку, без счету полную дрожащих звезд, услышал смутное лепетание сонной воды, но все это точно отодвинулось от него, словно это прошлое стояло перед памятью, прошлое, в котором и семья, и хозяйство, и привычная, вросшая в самое сердце степная работа,— все это в прошлом, а настоящее — это темь, и в темноте у костра медно озаренные профили людей.

Лошадь стояла, горестно опустив голову, с печально отвернутыми ушами. По реке удалялось тилиликанье невидимо махавшей над водой ночной птицы.

Старик помолчал, глядя из-под седых насупленных бровей за реку, где смутно чудился лес.

— Травка растет, ты ее побереги, прут гонит из земли, ты его обойди, не сломи... Человек — нешто он дешевле пшеницы, подумай-ка, живой ведь он, и вон звезды-то, звезды-то всем одинаково светят, а ты приехал

тиранить, да убивать, да в тюрьму сажать. Присяга!! Нет больше присяги, как жисть человеческая, самая дорогая, братику, присяга. Вот ты ехал, думал: сила — ты, ан теперя сам лежишь и ждешь...

Казак, закусив губы, с нечеловеческим напряжением напрягся, но сыромятные ремни только глубже въелись.

— Братцы! — заговорил он, отдаваясь бессилию.— Братцы, али я...

Лица ужинавших зашевелились, и костер полностью озарил их, и столько было в них спокойной решимости, что казак отвел глаза. Вытерли ложки, спрятали... и подошли.

Весь сегодняшний день промелькнул перед казаком, и с поразительной отчетливостью все встало в том роковом порядке, в каком привело его сюда, к гибели, бессмысленной смерти. С тоской прислушался: тревожно метались за спиной воющие причитания, из степи не доносилось ни звука. Да и кто мог подъехать? Не было спасения, не было пощады, да и не могло быть, потому что он сам их не щадил.

И это молчание было страшнее смерти. Он вслушивался — вслушивался, болезненно напрягаясь. И вдруг услышал: неслось бесчисленное треньканье кузнечиков, то самое треньканье, что всегда наполняло живую степь и теперь звучало последним прощанием.

Должно быть, к Рябову уже приступили, потому что воющие причитания торопливее и тревожнее неслись оттуда и вдруг смолкли.

У бородача екнуло сердце. Над ним нагнулся длинный и стал возиться с ремнем. И ремень ослаб и выдернулся. Казак быстро поднялся. Рябов, прыгая на одной ноге и звеня оружием, садился в седло. Наконец вскочил, лошадь пошла карьером и скрылась в темноте.

— Ого-го-го!.. Ноги в зубы взял,— смеялся длинный.— Вали, дядя, и ты!

Казак, сдерживаясь и едва справляясь с охватившей его радостью жизни, наружно спокойно подошел к лошади, попробовал подпруги, потом сел и тронул поводья.

— Прощайте, ребята!

— Прощай, паря...

Лошадь не спеша пошла рысцой, хрустя влажным песком, и ночная мгла постепенно поглотила ее.

По-прежнему сонно колебалось дремотное шептание струи, и из темной воды глядело бесчисленными звездами ночное небо.

— Ну, теперя хоша и спать.

— Котелок надо побанить.

И длинный усердно стал оттирать песком, нагнувшись над водой, внутренность котелка.

— Одначе они тягу дали.

— Помирать никому не хочется.

— Исажары как высоко. Поздно... О-о-ха-ха-ха!..

И по реке кто-то сонно и замирая много раз зевнул. Тишина стояла в степи, над рекой, над чудившимся во тьме лесом, навевая чувство покоя, отдыха.

— Тебя как звать-то?

— Алексей.

— А по отцу?

— Николаич.

— Ну вот, что, Миколаич: полезем на баржу спать, там у нас и солома есть. Нешто искупаться перед сном?

— Доброе дело.

Они подошли к самой воде, чуть колебавшейся темным густым отблеском масла и живой изменчивой линией, отделявшейся от неподвижно темневшего берега. Стали раздеваться, и разом руки застыли у поясов, а головы повернулись к обрыву.

— А?

— Неужто?..— коротко и подавленной тревогой прозвучало.

И головы все так же напряженно были обращены к степи: оттуда, все делаясь отчетливее и нарастая, несся приближающийся топот. И опять слышно было, что там земля иссохшая, крепкая и звонкая, и это почему-то вселяло особенное беспокойство. Тревога, как невидимая черная птица, реяла в нахмурившейся ночи. Только старик, не обращая внимания, по-прежнему копался в лодке.

— Эхх!..— досадливо крякнул длинный, завязывая пояс.— Сказывал, не выпущать... Теперь расхлебывай... Ишь карьером лупят, спешат, кабы не упустить.

— На ту бы сторону, что ли, переехать,— проговорил Алексей, и тоска зазвучала в его голосе.

— Ничего, ребята, ничего,— спокойно проговорил старик, продолжая копаться.

Вот уже близко, уже над самым обрывом, потом звуки помягчели и пошли влево — в объезд поехали к спуску. Несколько минут стояла ненарушимая тишина. Потом стал доноситься, приближаясь, мокрый хруст песка. Двое, не отрываясь, глядели в ту сторону.

— Эхх!..— все досадливо чмокал длинный.— Зря отпустили.

Вырисовался среди темноты силуэт лошади. Рысью подъехал бородач и, сдержав разгоряченного коня, заговорил:

— Вот что, ребята... Перегоните зáраз баржу на ту сторону, а парень нехай уходит через лес. Энта стерва поехал докладывать командиру сотни... Хотел перестрелять вас оттеда, с обрыва, насилу уговорил... Сказываю, дескать, живьем надо взять их. А тоже мне наседать-то на него не приходится: зараз доложит, что люцинеров покрываю... Глядите, к утру взвод пришлют, туго вам придется...

— Ххо-о!.. Часа через два пароход придет, к утру нас и след простынет.

— А-а, ну так... То-то, я думаю, ворочусь, скажу... Ну, прощайте!

— Счастливого, дядя... Спасибо тебе...

— Спасибо и вам...— Он придержал немного коня.— Тоже и у нас — не пар, ну, положение такое. А старик у вас — правильный человек.

Лошадь ходко пошла. Некоторое время из степи доносился удаляющийся топот, потом смолкло. Над чертой обрыва свободно, не затеняемые, играли звезды, играли по всему небу, играли в темной глубине реки...

ЗАРЕВА

Песчаная отмель далеко золотилась, протянувшись от темного обрывистого, с нависшими деревьями берега в тихо сверкающую, дремотно светлеющую реку, ленивым поворотом пропавшую за дальним смутным лесом.

Вода живым серебром простиралась до другого берега, который весь отражался высокими белыми меловыми

обрывами гор. И белым облачкам находилось место в глубине и синевшим пятнам неба, только солнце не могло отразиться четко и ярко и плавилось серебром по всей живой, играющей поверхности.

В синем просвете расступившихся гор золотились кресты издали белевшего монастыря. Но и монастырь отсюда кажется спокойным, молчаливым, без звучащих колоколов. Только светлые, прозрачно набегающие морщины моют золотистый песок да чуть приметно шевелятся темные листья задумчиво свесившихся над обрывом с размытыми весеннею водою корнями деревьев.

Ясная, светлая, задумчивая улыбка, улыбка тихого созерцания, лежит на облаках, на белых отражениях гор, на синеве неба, на серебряно-светлой, лениво-ласковой реке.

И эта тихая улыбка, эта задумчивость созерцания не нарушается присутствием человека. Даже наполовину вытащенный на отмель каюк, выдолбленная из дерева лодка кажется не делом человеческих рук, а почернелым от времени, свалившимся с родного берега лесным гигантом, много лет лежащим наполовину в воде и ласково омываемым веселыми струйками.

И рыбачья избушка, приютившаяся под самым темным, с нависшими деревьями обрывом, скорей напоминает старый-престарый, почернелый от дряхлости и дождей гриб с наклонившейся шляпкой.

Все заворожено тихой, ласковой незнаемой таинственной жизнью, которою живет природа вне человеческого сознания.

Далекий слабый удар колокола донесся оттуда, где торопливо, растерянно и с ненужной тревогой блистали в воздухе мелькающим блистанием золоченые кресты. Он приплыл оттуда, слабо колеблясь, стирая эту особенную таинственную улыбку, эту задумчивость созерцания, и поплыл над водой, все слабея, теряя жизнь и вместе с рекой пропадая за поворотом.

Пропала улыбка дня,— просто белели облака, меловые обрывы, сверкала под солнцем река, и было видно, что около каюка песок был истоптан человеческими ногами, валялись чешуя, кости и рыбьи объедки.

Из избушки вышел человек, старый, но крепкий, с сивой бородой, крепкими морщинами, с сердито взлохмаченными бровями. Приложил козырьком черную, про-

смоленную ладонь и поглядел туда, где беспокойным трепетом сверкали кресты и откуда плыли все те же слабые, обессиленные расстоянием, едва гудящие удары колокола.

Шершавые усы сердито шевельнулись.

— Ну, завыли!

И, двигая бровями, как наежившийся кот шерстью, повернулся и, тяжело ступая по хрустящему песку, подошел к разостланной бечеве с навязанными крючьями и стал подтачивать их напильником и протирать сальной тряпкой, чтобы не ржавели в воде.

Рыбу он держал в плетенках, спущенных на веревке в реку, и два-три раза в неделю к нему приезжали скупщики закупать.

В праздники, когда отойдет в монастыре обедня, на той стороне, под белыми горами, зачернеют люди, забелеют бабьи платки и юбки и доплывет:

— Афиногены-ыч!..

А у него только шевелятся брови, и спокойно доделывает свое: спускает рыбу в плетенки или перебирает крючки, насаживая наживу, или наращивает оборвавшийся конец бечевы.

— Афиноге-е-ны-ы-ыч! По-да-ва-а-ай!..

Откликаются белые горы, доносит зеркало реки, шепчут нависшие деревья.

Долго сидят крохотные игрушечные люди под белыми горами у самой воды, а у деда шевелятся сердитые брови, шершавые усы.

Покончив с последним крючком, аккуратно распустив и свернув пальцами бечеву, Афиногеныч берет прислоненное к избушке длинное узкое весло, идет к каюку и, напружившись и навалившись могучими плечами, сталкивает его со скрипучего песка на весело колеблющуюся, ждущую воду. И каюк, освободившись от неподвижной тяжести, тоже начинает шевелиться, покачиваться и легко поворачиваться, точно заражаясь вольным, веселым задором.

Весло мерно и сильно проходит, изламываясь, в прозрачной воде, и под круглым, тупым черным носом бежит стекловидный вал, далеко разбегаясь двумя морщинами.

А солнце уже высоко, и нет расплавленного серебра,— синяя река, синее небо,— и только в одном месте

безумно-ослепительно играет и колеблется нестерпимый блеск.

Уже слышны голоса, говор и смех, но люди еще маленькие, еще не отчетливы промоины, расщелины обрывов,— по воде далеко слышно. Вот и белые отражения гор задрожали под каюком, заволновались, запрыгали, уродливо вытягиваясь и расплываясь. Ближе и ближе...

Каюк мягко насовывается на берег. Люди толпятся, торопясь поскорее забраться в колышущуюся под ногами, живую, вертучую лодку, а Афиногеныч сердито подымает весло.

— Куды-ы? За перевоз подавай... Не пущу... Куды лезете? Перевернете, идолы березовые!

Развязывают затянутые узелками уголки платочков, достают кисеты.

— Афиногеныч, я те отдам после... Вот как перед господом, отдам.

— Ну, после и перевезу.

— Да что ты, зверь лютый, утроба ненасытная, пропасти на тебя нету. Никогда копейки не поверит... Жри, чтоб ты подавился!

Старуха нищенка низко кланяется и причитает:

— Смилуйся, государь ты батюшка, пожалей старуху ледащую!..[1] Только и подали на паперти три копеечки... на цельную на неделю.

— Подавай, сказываю! А нет, так отчаливай... Неколи мне тут с вами тары-бары растабарывать.

Нищенка торопливо роется, моргая красными, слезящимися глазами, подает деньги и лезет в колышущуюся, зыбкую лодку. Афиногеныч суров и неумолим. И только когда все отдали по копейке с рыла, он наваливается на весло, отталкивается от берега, и опять впереди бежит, разбиваясь, стекловидный вал, и зыблются отражения.

В лодке стоит говор, Афиногеныча ругают и живодером и сквалыгой[2], но добродушно,— и он, как будто речь не о нем, сосредоточенно бурлит живую, игристую воду веслом. Вода у самых бортов бежит мимо, лодка загружена, и все сидят смирно, цепко держась за влажные, скользкие края,— при малейшем движении вода хлынет и наружу вывернется круглое черное дно. Белые

---

[1] Ледащая — худая, плохая, слабая. (*Прим. автора.*)

[2] Сквалыга — скаред, скупец, скряга. (*Прим. автора.*)

горы позади все ниже, а навстречу бежит золотистая отмель, свесившиеся деревья, почернелая избушка.

На другом берегу все весело выбираются на песчаную отмель и гурьбой направляются в деревню. Выбирается и старушонка со слезящимися глазами. Афиногеныч аккуратно прилаживает на берегу каюк, ставит весло и, обернувшись, неодобрительно и сурово смотрит вслед плетущейся нищенке. И говорит:

— Ну, куды пошла? Не успеешь с голоду сдохнуть?.. Поспеешь.

Та в недоумении останавливается. Он нагибается над плетенкой и начинает выбрасывать на облипающий ее песок трепещущую рыбу.

— А?..— растерянно говорит старушонка.

— Сулка...[1] Уха из нее добрая... Ребятишки-то знают, как выхлебать... Вот те карасиков, тоже хорошо в уху... Стерлядок...

Старуха, по-прежнему растерянная и радостная, набирает полон подол живой, ворочающейся рыбы и униженно кланяется.

— Спасет те Христос, касатик, мать пресвятая богородица...

— Ну, ну, ступай, ступай! Всем одинаково кланяетесь — и кто дает и кто в шею бьет.

Афиногеныча недолюбливают и сторонятся, но, когда собираются в монастырь, идут к нему, чтобы не делать большого крюка на паром. Хмурый и молчаливый, он перевозит.

Иногда усядутся у обрыва под деревьями посидеть и передохнуть.

— Привел господь, сподобился отстоять утреню и обедню. Дюже хорошо отец Паисий ноне говорил, до слезы даже: любите, грит, друг друга...

— Пели нонче уж хорошо.

— Чисто андельскими голосами.

— Энто, как сделает черняvenький: о-о-о... у-у... а-о-о...

Мужик перекосил лицо, сделал рот круглым и заскрипел на всю реку. Низко летевшие чайки шарахнулись. А Афиногеныч:

---

[1] Сулка — рыба, судак. (*Прим. автора.*)

— Это ангелы так поют?.. А потом, вчерась вечером,— хмуро говорит он, ни к кому в особенности не обращаясь,— пятерых бабенок перевозил... для монахов... на святое дело... Ядреные бабенки...

Все хмуро замолкали. И как-то иначе глядели горы, отмель, иначе золотились кресты. Но потом вскипало раздражение, и с слегка вспотевшими лицами ему кидали злобно:

— Глядим мы на тебя, Афиногеныч, не то ты богопротивник, не то ты беспоповник, не то бусурман,— лба не перекрестит, так бесперечь и живет, ни ему праздники, ни ему воскресный день.

Старик хмуро копается и говорит:

— Рыба вон ходит в воде, тоже праздников нету...— И перебивая самого себя и усмехаясь: — Был я молодой и крепкий, были у меня товарищи. Знали мы праздники. Бывалыча, как праздник, народ перепьется, как свиньи, в грязь рылом тыкаются, потому в праздники полагается скотиной ходить,— перепьются, ну нам праздник: заберемся в церкву да кружку-то и опорожним... Праздник!

На него сыплются ругательства.

— Нехристь!

— Святотатец!

— Иуда-предатель!

— Известно, ты — конокрад, вор и душегубец. Удивление, как господь тебя терпел! Одного тебе надо было — кнутовище в зад. Рыба!.. Да ты хуже рыбы, хуже скота бессловесного! Богопротивник. Церкви даже божии не жалел, что же уже после того... Одно слово — животная!

Было что-то, что упруго сдерживало раздражение. Ведь его надо было избить, изувечить, спустить связанного в воду... Его ругали, а он рассказывал:

— Верно, промышлял лошадьми, с товарищами... Жрать надо было, не святой Антоний, утроба требовала хлеба и протчего... Промышлял.

И, опять рассмеявшись каким-то своим мыслям, продолжал:

— Под весеннего Миколу к помещику забрались. Конюшня каменная, крепкая. Замок никак не свернем... Ах, ешь тя мухи с комарами! Зачали возле притолоки стену разбирать. Разобрали,— ан в стене железный болт

заложен, лошадь-то не пройдет, не подогнется. Что тут делать? Скоро светать... А конь — аглицкий жеребец, для приплоду, тысяч десять, а то и больше стоит. Влезли в конюшню, наклали досок на тарантас, с тарантаса — на сеновал, завязали коню глаза, ввели на сеновал, а в барское окно — трах! — камнем. Выскочили с ружьями, с револьверами к конюшне,— стена разобрана. Отомкнули двери, отворили, коня нету. Хлопают об полы, дивуются, как лошадь могла под болт пролезть,— стало быть, на коленки стала. А мы лежим на сеновале да слушаем. Зараз нарядили погоню человек десять с ружьями, и пан с ними, и залились в степь,— больше, дескать, некуда. Ну, мы подождали трошки, наклали опять досок, свели коня, вывели через двери, прихватили с базу двух меринов да помаленечку и уехали в другую сторону.

Шершавые усы и брови шевелятся.

— Гореть тебе в пещи огненной!

— Го-о-о!.. Ничего, проживу, еще вспоминать будете.

Они хмуро и раздраженно уходили, ругая его, но с странным ощущением, что — да, будут вспоминать, будут его вспоминать. Чем? И мешались в душе неприязнь и раздражение с странным чувством глухого и смутного удивления перед этим человеком.

По-прежнему каждый день загоралась зорька над лесом, загорались кресты в монастыре, а вечером за поворотом, отражаясь, потухал красный закат, но долго в сумерках белели стены монастыря.

Уютно чувствовалось Афиногенычу на его пустом, безлюдном берегу. Одни у него были разговоры — с немыми рыбами, которые его хорошо понимали, и он их отлично понимал. Да чайки вели с ним деловые сношения, постоянно летая и подбирая остатки рыб. Для них у него находилась добродушная шутка, улыбка из-под жестких усов; для людей оставались колкие, язвительные, насмешливые слова. И ничто его не связывало с людьми.

— Афиногеныч,— говорили ему,— и живешь-то ты не по-людски: ни у тебя роду, ни племени, ни семьи, ни у тебя детей...

А у него шевелились усы и брови.

— Будет того, что вы щенков плодите... перво-напер-

во, чтоб половину с голоду уморить, а которая остатняя половина подымется, будет заместо вас скотиной в ярме ходить.

И было все одно и то же: река, лес, дальний поворот и в синей расщелине белый монастырь. Старик в тени обрыва плетет сети, и тихо моет вода отмель, тихо шепчутся нависшие деревья, беззаботно реют ослепительно белые чайки. Точно все отодвинулось кругом — и города, и деревни, и людское горе, и прошлое, и молодость. Тихо, спокойно, задумчиво. И сеть, ложась на песок тонкой сквозной тенью, шевелится, непрерывно растет новыми кольцами.

Думает ли Афиногеныч о далекой молодости, рвущейся неизбытыми еще силами, о борьбе одного против всех, рад ли ласковому солнцу, воде, безлюдному берегу, таким же старым, как и он, деревьям, тоже с подмытыми, свисшими корнями, или просто внимательно следит, чтобы правильнее цеплялись друг за дружку новые глазки?

Ночи приходили такие же ласковые, тихие и задумчивые. И не то маячили на той стороне горы, не то это только казалось. Неподвижной темнотой темнела река, или совсем ее не было, и был провал, бездонный и разверстый, и будто стояла вдоль реки густая караулящая таинственная тень.

У потонувшей избушки слабо краснеет, шевелится костер, такой же древний от века, как эта ночь, и в ней невидимая река, такой же одиноко брошенный, как этот старик, у которого сердито шевелятся брови и усы на красном, отсвечивающем лице.

Потом костер засыпает — и нет старика, нет гор, нет реки.

Из города приезжали скупщики. Они были проворные, ловкие, плутоватые, расчетливые. Торговались, били о полы, по рукам, и пахло от них уснувшей рыбой, лавками и городским духом. Но Афиногеныч был с ними угрюм, малоречив и упорен, как заноровившийся конь. Назначал цену и уже не сдвигался, как глинистая глыба у обрыва. А раз, когда особенно настойчиво предлагали низкую цену, вывалил на их глазах в реку целую лодку живой, трепещущей рыбы.

И долго они грозили ему кулаками, и разносилась скверная крикливая брань по реке, по берегу.

Раз пришел сюда кучками измученный, оборванный, исхудалый, с ввалившимися щеками деревенский народ. Шли в город — либо на суд, либо садиться в тюрьму, либо хлопотать о пропитании. Садились, выставляя под жгучее солнце костлявые, босые, потрескавшиеся ноги, почернелую, ввалившуюся грудь, сидели и ковыряли горячий рассыпчатый песок.

— Мочи нету! Край — больше некуда. Скотина попадала, избы раскрыты, ребятишки мрут.

Старик шевелил усами и как бы нехотя бросал:

— А вы бы того... к Паисию... он ублаготворит: стало быть, любите ближнего и протчее.

— Край пришел! Все одно — ложись помирай.

— У него теперь брюхо-то понадбавилось. Землицы-то они подкупили округ вашей деревни вплоть до Ольхового Рогу... Свечечку подите поставьте.

Белел монастырь.

А деревенские ныли.

— Больше некуда. Край. Нету мочи!..— заунывно стояло над тихой рекой, как припев вековой, никогда не смолкавшей песни.

А старик говорил, накидывая слова, как новые петли в сети, которую вязал:

— Было нас трое о ту пору, молодые. Вывели мы у богатея,— всю округу держал в кулаке,— вывели тройку: дорогая тройка. Да не успели,— нагнали у реки. Я успел в камыши, сижу в воде по горло, а товарищей сцапали. Сбежалась вся деревня. Богатей кровью весь налился, лютый ходит, зверь зверем. «А-а!.. Бейте в мою голову!..» Подступились мужики. Товарищ стоит, руки скручены назад, по лицу кровь. И поднял голову и говорит: «Братцы, сами знаете, никогда ни одного мужика не тронули, жеребенка не взяли, заимствовали мы только у богатеев. Сосут они из вас кровь... Ужли ж за них заступитесь, сами себя по ногам бить будете?..» Насупился народ, глядят в землю, чешут в затылках. Екнуло у меня сердце. Уже совсем поднялся я из камыша, к ним, то есть к мужикам-то: «Дескать, братцы, вместе страдаем, одна у нас чаша горькая». Да мироед как заревет: «Али не видите,— конокрады, душегубы!.. Бейте в мою голову! Три ведра водки ставлю!..» Зашатался народ, зашумел. Вдарил кто-то товарища колом, свалили и зачали... Цельную ночь сидел я и глядел,

не отрывая глаз, а они били, они измывались, они мучили. Не признаешь за человека, а они все молотят по мясу, по красному мясу, во тут, передо мной, рукой подать...

Старик передохнул и глянул красными глазами.

— Цельную ночь глядел... Ушли. Вылез, постоял над товарищем,— говядина красная, боле ничего. Пошел, как пьяный... А после того восемь раз сжег деревню. Из тюрьмы, из Сибири бегал. Прибегу и сожгу... Все разорились. В восьмой раз как сжег, разбрелась вся деревня, одни головни остались... А теперича и место то запахали, ничего нет.

Все так же белел монастырь, стояли горы и за лесом пропадал поворот реки. Оборванные люди сидели, подняв острые колени и раскапывая горячий песок.

Лохматые, нависшие брови грозили кому-то, приподнялись. И старик вдруг злобно бросил:

— Мало с вас шкуру спускают!

У тех тоже блестят озлоблением воспаленные глаза.

— По две дерут с каждого.

— Мало!.. По три, по десятку надо, мясо с вас спускать, в плуги запрягать, да чтоб тут же, на меже, падали и дохли,— может, тогда хоть за ум возьметесь...

— Не лайся, не собака.

— ...Может, морду от земли подымете.

— Ты лучше перевези нас, Афиногеныч.

Старик разом успокаивается и брезгливо обегает их из-под насупленных бровей.

— По копейке с рыла.

— Побойся бога! Не емши целый день, падем нето где на дороге... Десять верст крюку на паром-то, не дойдем.

— Даром не повезу.

— Христа ради!.. Сделай божецкую милость... Ни гроша за душой ни у кого.

Старик молча отворачивается и спокойно принимается за работу, как будто он один. Те обступают, униженно кланяются, просят, голоса становятся хриплее, крикливее.

— Чего на него смотреть! Спихивай каюк!..

Они берутся за лодку, озлобленные, кричащие. Старик, как гигант, размахивает веслом; удары сыплются на головы, на обожженные костлявые плечи. Весло рас-

калывается, и куски летят, сверкая свежей древесиной. Старик схватывает небольшой якорь с растопыренными лапами, и он гудит в воздухе в дюжих руках.

Все кидаются в разные стороны.

— Тю... Объелся белены!.. Зверь бешеный!..

Он смотрит на них, как на побитую собаку.

— Сволочи! Дохлое мясо! Вонь от вас стоит, мир только гноите...

А они идут вялой, шатающейся походкой. Идут, и солнце жжет сквозь рваное тряпье почернелое тело, и накаленный песок палит истрескавшиеся ноги, и река нестерпимым блеском слепит воспаленные, ввалившиеся глаза.

Реже и реже перевозил Афиногеныч богомольцев. Придут бабы с изборожденными вековой усталостью лицами, с покорными глазами, в которых стоит один и тот же, непонятный для них самих, от века безответный вопрос. По целым неделям — никого. Редко когда приплетутся мужики.

По большим праздникам приваливала молодежь. Но они не переезжали на ту сторону, а приносили с собой водки, лузгали семечки, играли на гармонике, пели песни, и над тихой рекой неслись крики, смех, крепкие слова и брань.

Собственно, Афиногеныч ничего не мог им дать и не обращал внимания на их шумную компанию, но его отрывочные, несвязные рассказы о прошлом, о буйной, непокорной молодости, едко и зло оброненные замечания собирали около него кружок.

И из толпы вытягивающих вокруг него шеи парней слышалось:

— Двоих наших лесники убили... порубщиков.

— Десятин сто его, лесу-то...

И все глядели на сумрачный монастырский лес, темной густотой выделявшийся у светлой реки.

— Придет черед...

— Погреем руки...

— Все одно это — не жисть... Одинаково пропадать — тут или на каторге.

— Из каторги каторга не страшна.

— И-и, милые мои,— говорил старик,— чего ерепенитесь? Али плохо овце, как с нее шерсть стригут?..

...Побывал как-то у Афиногеныча и никогда не бывавший дотоле гость — монах, черный, с бородой, с светящимися маленькими пронизывающими глазками, в скуфье.

Старик тесал новое весло, а монах стоял и глядел подозрительно и враждебно.

— Ты что же это, али басурман?

— А что?

— Ни тебе благословения, ни тебе креста не надо?

— Замучились вы и без того, сколько наблагословляли кругом. Надо и вас пожалеть,— вишь, жиру-то у тебя от благословения наперло.

Монах пододвинул обрубок, сел, опустил глаза и молчал, и лицо его было холодно и жестко. Потом заговорил:

— Напрямик тебе скажу: все знаю.

— Тебе так и полагается — во святом месте живешь.

— Все знаю, и давно. Отец игумен велел доложить полиции в городе, чтоб убрали, а я упросил: пущай грехи замаливает, пущай живет. А ты что же это делаешь? В благодарность народ мутишь?

— Мутного не замутишь.

— Ну так вот тебе сказ: ежели еще хоть раз дойдет, что ты смутьянишь народ басурманскими речами,— сейчас же позовем полицию, и крышка тебе!

Топор, тихонько тюкая, заворачивал тоненькую стружку. Старик молчал. Потом опустил топор, усы шевельнулись.

— Кто же бабьят вам будет перевозить? Тоже на паром округ не всякая захочет киселя хлебать...

И опять топор затюкал, заворачивая тоненькую стружку.

Маленькие глазки монаха забегали огоньком, потом опять глядели холодно-враждебно, и лицо было спокойное и жесткое.

— Хулу возводят на ангелов господних, не токмо на иноков, а только ежели ты...

— А... самим вам заводить перевоз не покажется зазорно? Вишь, я вам и пригожаюсь. Ну, полиция-то станет брать, что ж, придется обсказать, как Марьянку-то вытащили из воды, бросилась топиться... Чай, знаешь?

Чернец побагровел и ринулся к деду:

— Т-ты... старик! — Потом сдержался и холодно проговорил: — Язык-то попридержи, старина, попридержи. Даром-то тебе не пройдет...

И пошел, черный и грузный, тяжело вытаскивая ноги из песка, пошел к лесу.

Лето было сухое и жаркое, и, должно быть, от суши по ночам стояли зарева.

С вечера небо бывало бархатно-черное, а к полуночи начинало заниматься, сначала смутно и неясно, а потом разрасталось, и из-за леса глядело зарево, багровое и колеблющееся. Было молчаливо-зловещее в его мертвом шевелящемся взгляде.

А потом понемногу тускнела чернота в другом месте, и смутно нарождался красневший отсвет, и разрастался, и глядел из-за черного края, багровый, мертвый и шевелящийся.

И потонувшие среди ночи горы, и невидимая река, и глухой лес, и монастырь, который стоял во мгле, и слабо плывшие по темной воде глухие темные звуки колокола — все казалось слабым, маленьким и ничтожным перед этим немым, багровым, стоявшим на небе ужасом.

Черное небо пылало в разных местах, но здесь, внизу, по-прежнему было немо, неподвижно, молчаливо, темно и жутко.

Старик много раз вылезал за ночь из избушки, и его темная фигура долго чернела среди молчаливой ночи перед молчаливо, зловеще, ничего не освещая, глядевшим заревом.

Вставала ночь далекого прошлого... Бушевал ураган огня, носились освещенные галки, голуби, дико ревела, задыхаясь в дыму, скотина, метался обезумевший народ. Огонь пожирал, извилисто облизывая, избы ласково-проворными светящимися языками, и зарево охватывало полнеба, но в овраге, где он сидел, глядя из-под насупившихся бровей приподнятыми очами, было темно и немо, как здесь.

Старик глядел на эти неподвижно стоявшие багровые зарева из-под насупленных старых бровей и приговаривал:

— Ага, монастырские экономии полыхают... До́бре, до́бре, ребятки! «Тогда не осталось камня на камне, и самое место вспахано...» До́бре, ребятки!..

Раз старик спал чутким сном, и кто-то сквозь сон толкнул: «Скорее!..»

Он вскочил, выбрался. Насторожившаяся ночь темна и тиха, в разных местах зловеще стоят зарева. Он нагнул голову, прислушался — никого. Смутно темнел обрыв, над ним деревья.

И отвечая предчувствию и темному ожиданию, хрустнул одинокий звук наверху, в лесу. Упала ли веточка, прокрался ли заяц, или шарахнулась неуклюжая сова... Опять повторился. Захрустело, затопало. Кто-то бежал, приближаясь торопливо. Посыпалась глина. Мелькнули фигуры — один, другой... Скатились с обрыва — и в темноте перед Афиногенычем стоят два парня, тяжело, быстро и прерывисто дыша:

— Вези скорей!

— Откеда?

— Из монастырской экономии.

Слова падают коротко, быстро, отрывисто, с особенным, помимо формального, значением. И старик не спрашивает, идет к избушке, берет весло, и они спихивают и садятся в каюк. Берег темно расплывается. В носу говорливо бьется вода, бурлит весло. Лодка неподвижна среди ночи, среди реки. И кажется — это продолжается долго, и кажется — только отошли, а над головами черно нависли уже невидимые, но ощутимые громады. Лодка ткнулась о другой берег.

— Прощай, дядя!..

Опять говорит в носу говорливая вода, а лодка стоит среди темной ночи, среди темной реки, в виду молчаливого багрового зарева. Чудится — все затаилось, примолкло, потонуло в густой мгле, в чутком напряжении ожидания развертывающейся огромной немой драмы. Точно гигантская завеса кроваво вздрагивает и шевелится, охватив полнебосклона, и вот разверзнется, и понесутся крики, и звон, и вопли, и смятение ужаса караемых. Так было в ту последнюю ужасную ночь, когда бушующее пламя пожирало избы, скот, людей...

И была тиха темная река, темная ночь, только темное небо багрово светилось.

Вернулся Афиногеныч, вылез из каюка, вытащил его до половины, прислонил весло и забрался в избушку на сухое душистое сено.

Не спалось. Поминутно прислушивался. За плетеными стенами кто-то шуршал, ходил и хрустел сучьями над обрывом. Но когда выставлял голову наружу, по-прежнему было темно, тихо, невозмутимо.

...Раз почудился как бы выстрел, далекий, глухой и зловещий, и снова тихо. Старик опять послушал: может быть, свалилось подгнившее дерево или плеснула большая рыба? Звуки, тонувшие прежде в ночной тишине, теперь странно и чутко выступали, и ухо жадно ловило.

Опять в лесу захрустело отчетливо и ясно. Слышно было — громко, смело и не таясь хрустели и ломались сухие ветки, и чьи-то тяжелые спешащие шаги отдавались по сухой, крепкой земле. Старик хмуро улегся и не подымал головы.

Уже слышны голоса, крики и переговариванья нескольких человек.

— Да тут голову сломишь!

— Спущаться тут никак нельзя.

— В объезд.

— Да куда в объезд... Темень, зги не видать, бездорожно.

Раздалось фырканье лошадей.

— Лошадей оставим наверху. Спущайтесь сами.

Посыпалась глина, захрустел песок. В стенку раздался удар,— вся избушка затряслась.

— Эй, ты! Выходи... Выходи, что ль...

— Ась?.. Кто там?

— А вот я тебе покажу.

Двери сорвались, и темное отверстие кто-то загородил. Чиркнула спичка, на секунду осветив развешанные сети, сено, старика... И опять глянуло темное четырехугольное отверстие дверей. А за стенкой голос:

— Один, никого нет.

— Эй, вылазь!

Старик выбрался и стоял перед ними угрюмой темной фигурой. Их было пятеро.

— Ну-ка, старый хрен, давай лодку, вези на ту сторону. Тебе говорят...

— Кого зараз перевозил?

— Никого.

— Брешешь. Ну-ка, свети, Миколай.

Вспыхнул пучок сухого хвороста. Пламя трепетало, и трепетали и скользили живые тени. Казаки, нагнувшись, шаг за шагом рассматривали истоптанный песок.

— Вишь, следы, прошли только.

— Что же ты брешешь, сучий сын?

— Мало ли народу утром в монастырь к обедне переправлялось.

— Ну, ну, заговаривай зубы. Садись, ребята.

— А лошади?

— С лошадьми нехай Иван на перевоз скачет.— И, обернувшись к обрыву и приложив ладони ко рту, зычно крикнул: — Ива-ан! Выезжай на дорогу да лупи к парому. А там выедешь, валяй к Сухой Балке, там жди.

Шарахнулась во тьме ночная птица, а с обрыва донеслось:

— Слушаю!

И стал доноситься удаляющийся ночной топот.

— Ну, ты, чертова кукла, вези!..

Они все подошли к лодке...

— Далече не уйдут... тут деться некуды.

Старик положил в каюк весло, попробовал ногой, крепко уперся в песок, навалился плечом и сделал огромное усилие разом спихнуть и далеко оттолкнуть лодку в глубокое место, вскочить и уехать. Каюк скрипнул о песок и всплыл, тихонько покачиваясь у самого берега. Нет, старик, прошла молодость, прошло время, прошла сила... Он вздохнул, угрюмо придерживая колыхающуюся лодку.

Сели. Весло бурлило в темной воде.

Афиногеныч все посматривал в темноту, в ту сторону, где был монастырь. И стало ему чудиться, что среди тьмы мутно проступают его очертания.

Пятеро тихо сидели, крепко держась за мокрые борта, у самого края которых влажно чувствовалась колеблющаяся вода.

— Ну, ты, сыч, греби, что ль... заснул!..

И в ответ над рекой пронесся хищный крик:

— Проснулся!!

В ту же секунду темная фигура старика метнулась в сторону. С шумом бурно устремившейся через борт воды слился крик отчаяния пятерых людей. С минуту слышались всплески нечеловеческой борьбы, потом стихло.

Старик с усилием плыл. Одежда все больше намокала и тянула ко дну. Вода влажно и настойчиво вливалась в рот, руки с трудом подымались. В глазах замотались огненные мухи. С нечеловеческим напряжением, глотая страшно вливавшуюся воду, взмахнул раз... два... и перестал грести.

Река по-прежнему была тиха и спокойна. Но среди ночи, среди неподвижной тьмы стали выступать залитые розоватым отсветом монастырские стены, башенки, колокольни. Стали выступать розоватые верхи прибрежных гор, как розовым шелком, чуть подернулась река,— небо пылало от черной угрюмой линии горизонта до зенита, все было залито багровым заревом.

ПОГРОМ

I

Наташа Цыганкова со свежим от недавнего умывания личиком шла по аллее в гимназию маленькими торопливыми шагами. Отбрасывая косые, не успевшие подобраться тени, провожали ее знакомые неподвижные ряды тополей, и в не проснувшемся еще воздухе не струился их трепетный серебристый лист.

И по аллее и по тротуарам в обе стороны торопливой, деловой походкой, с отдохнувшими лицами шли люди.

Проехал, тарахтя пустой бочкой, водовоз и крикнул бабе у ворот:

— Эй, тетка, не надо ль воды?

И эхо — звонко и весело перекинулось между домами.

Когда гром колес по мостовой смолк, в прозрачно-голубом неподвижном воздухе стояла такая тишина, как будто на теряющейся вдали улице никого не было. Чтоб не нарушить эту свежую, полную радостной улыбки тишину, недавно выехавшие извозчики стояли неподвижно на углах в добродушном ожидании.

Сквозь деревья глянуло белизной большое здание. И смешанное чувство начинающегося трудового дня, привычного и скучного порядка, неоформленное жела-

ние каких-то иных ощущений, чувств, впечатлений, встреч овладело Наташей.

Отовсюду шли фигурки в коричневых платьях и черных передниках. Встречались, здоровались, целовались, стрекотали, и в чутко-звонком воздухе над улицей резво носились детские голоса, точно проворно и резво реявшие, сверкавшие на солнце ласточки.

Наташа потянула большую певучую дверь и с толпой неугомонно шумевших, смеявшихся учениц потонула в смутном гуле огромного здания.

Из раскрытых дверей пятого класса непрерывно несся говор и гомон. И этот гомон, и цифра V над дверьми, и ряды виднеющихся парт, и паутина, обвисшая серой бахромой в углу,— все носило особенный отпечаток, имело особенный смысл и значение, как будто вся гимназия, все интересы, все события и все помыслы начальства и учителей тянулись сюда, концентрируясь как около фокуса.

По мере того как Наташа переходила из класса в класс, это значение центра и средоточия гимназической жизни передвигалось из класса в класс: старшие классы были смутным будущим, младшие — уже отмирающим прошлым.

Она вошла в свой класс, стукнула книжками о парту и возгласила, стараясь говорить мужским голосом:

— Милостивые государыни и милостивые государи, объявляю заседание открытым... Кто не выучил по истории, подымите руки!..

Одни, прижав уши, повторяли уроки, другие, обняв друг друга за талию, гуляли. За доской над чем-то заразительно хохотали.

— Тише, Оса идет!..

Смех, гомон и шум поползли по классу, точно слегка придушенные. Вошла Оса. Оттого что кругом были свежие, юные, с сияющими глазами лица, перед которыми только развертывалось будущее смутной дымкой мечты, счастья, любви и радости,— Оса, невероятно перетянутая, готовая переломиться, с поблекшим лицом, с печально-унылым прошлым, где не было ни счастья, ни любви, ни материнства, казалась еще востроносее, еще злее.

— Mesdames, что за праздник у вас?.. Что за шум? Ведь вы же не в приготовительном классе.

Началось то, чем начинался для Наташи каждый день вот уже пятый год. Ею разом овладел бес злобно-раздраженного веселья.

Все шло заведенным порядком: было скучно, серо, и хотелось не то смеяться, не то плакать. Никто ничего не мог сказать, никто не мог даже формулировать вопроса. Все с недоумением посматривали друг на друга, но читали у каждого на лице такое же недоумение и вопрос. Уроки, перемены, звонки — все шло своим порядком, но рядом стояло что-то свое, особенное, напряженное и непонятное.

— Что такое?

— Да где?

— Кто сказал?..— слышалось то тут, то там.

А на уроках все с серьезными, озабоченными и непонимающими лицами поглядывали на окна, друг на друга, ища причины странной, не проявляющейся, но растущей тревоги.

Слышали, как Оса сказала:

— Они идут!..

Слышали, как в учительской преподаватели горячо, взволнованно о чем-то спорили, и то и дело доносилось:

— Да нет же... не допустят...

— А я вам говорю, будут здесь, и...— Но прихлопнутая дверь отрезала слова, и был слышен только общий говор.

Начальница торопливо прошла по коридору. Лицо ее потеряло всю важность и величие, было бледное, растерянное, и она только повторяла:

— Ах, боже мой, боже мой!..

Тогда тревога достигла высшего напряжения. Гул огромного здания разом упал, точно там никого не было. Вдруг все разрешилось поразительно странно и неожиданно.

Смутные звуки откуда-то извне стали доноситься, все разрастаясь, становясь все шумнее. Все вскочили, как от электрической искры, с испуганным изумлением глядя друг на друга.

Тогда Оса, бледная, с пятнами на щеках, прошипела:

— Не смейте подходить к окнам.

И как только сказала это,— все ринулись, как по команде, роняя книги, ручки, чернильницы, и прилипли к окнам.

Густым колышущимся потоком заливала толпа площадь. Ближе, ближе... Треплются и плывут красные флаги с надписью, но надписей еще нельзя разобрать. Над толпой, над площадью, над соседними улицами с могучей дрожью звучат тысячи голосов, и возносятся к небу, и царят над городом.

Совсем близко. Уже можно различить надписи: «Конституция!»... «Да здравствует свобода!»... «Да здравствует рабочий народ!»... Уже можно различить лица.

Пение смолкает. Над толпой, мелькая и переворачиваясь, летят вверх тысячи шапок, и потрясающее, все покрывающее «ура» раскатывается по площади, по улицам, врывается в гимназию, и стекла жалобно звенят. Гимназистки машут платками, кланяются, смеются, снова машут, оживленные, раскрасневшиеся.

Шумной гурьбой врываются другие классы. Маленькие, цепляясь, карабкаются на подоконники, и только и слышится: «Миленькие, дайте же мне посмотреть хоть одним глазом».

Оса в ужасе мечется, стараясь оттаскивать от окон. Но одну оттащит, а десять уже прилипло.

Тогда в исступлении она кричит тонким голосом:

— А-а... так вы так? Так знайте — они пришли вас перерезать: флаги у них красные от крови, они кричат «свобода», значит, все могут сделать с вами...

На секунду воцаряется мертвая тишина, потом раздается оглушительный визг, крики, плач. Маленькие бросаются бежать; истерические вопли, стоны, заражая, несутся по всей гимназии.

Оса отчаянно кричит:

— Успокойтесь, mesdames... успокойтесь!.. Я пошутила... это все хороший, милый народ... они очень милые!..

Никто не слушает. Бегут по коридору, маленькие цепляются за классных дам, облепили и повалили начальницу. Учителя, сторожа, горничные начинают растаскивать по классам. Вся гимназия бьется в истерически судорожных рыданиях.

Наташа, глядя на всю эту кутерьму, сначала судорожно хохочет, потом, не умея овладеть собой, начинает сквозь смех так же судорожно плакать.

II

Пришла воинская команда, оттеснила манифестантов, очистила площадь. Девочек распустили.

Наташа шла возбужденная и радостная, и странная пустота улиц поразила ее: магазины закрыты, безлюдно, молчаливо.

— Мамочка, милая... Ведь конституция... свобода!..

Они бросились и долго целовали друг друга. Наташа отодвинула лицо матери, с секунду вглядывалась и опять страстно принялась целовать.

— Какая ты у меня красавица, мамочка... королева!..

Пришел Борис в гимназической блузе и с демонстративно серьезным лицом.

— Боря, милый, что у нас было!.. Что у нас было, если бы ты знал!.. Манифестация была...

— Да это мы же и были,— мальчишеским басом проговорил Борис,— а вы хороши, хоть бы один класс вышел.

— Да-а, выйдешь,— одна Оса чего стоит...

Борис важно помолчал и проговорил с сосредоточенным видом:

— Разумеется, манифестации имеют значение постольку, поскольку они пробуждают классовое самосознание...

Наташа, напевая и придерживая двумя пальчиками платье, прошлась мазуркой и остановилась перед матерью.

— Мамочка, а ты знаешь, наше классовое самосознание каждый день бреет усы... чтоб скорей росли.

— Я на глупости не отвечаю...

И, помолчав, сердито добавил:

— Ты должна отлично знать гимназическое правило — не носить бороды и усов...

Наташа подмывающе звонко расхохоталась и захлопала в ладоши.

— Что-то папы долго нет.

Стол был накрыт и сверкал ослепительной скатертью, тарелками, свернутыми трубочкой в кольцах салфетками; и было все так уютно, чисто, привлекательно, что Наташа не могла утерпеть и все пощипывала хлеб.

— Мама, она у черного хлеба всю корочку общипала, а у белого все горбушки съела.

— Наташа, что это!.. А потом сядешь и есть ничего не будешь... отец сейчас придет...

— Врет, врет, врет, мамочка, ей-богу врет... я только две корочки съела, а горбушку... а у горбушки у одной... да и то не съела, а только надкусила... пусть это для меня... пусть это моя будет...

И, наморщив на минуту тоненькие, не умеющие хмуриться черные брови, вдруг весело рассмеялась каким-то своим, внезапно пришедшим мыслям и опять, придерживая черный передник, прошлась из угла в угол, покачиваясь и притопывая через раз мягкими туфельками...

Пришел Цыганков, поцеловал дочь и руку жены. Сели за стол. Отчего-то было особенно весело, и смех дрожал в комнате.

Боря рассказывал, как старухи на окраинах крестились и со слезами умиленно кланялись красным флагам, принимая их за хоругви. Но к концу обеда, как и в гимназии, почудилась странная, неопределившаяся и беспокойная тревога.

— Что такое?

Отец несколько раз подходил к окнам и глядел на улицу, сумрачный и озабоченный.

— Не уходите, пожалуйста, из дому сегодня.

— Почему?

В комнате было все так же уютно, весело, и из окон падали на пол яркие четырехугольники, залитые солнцем. Изредка прогремит извозчик.

Когда Анисья, с рябым, замученным постоянной работой лицом одной прислуги, подала сладкое, она не ушла сейчас, а остановилась и не то недоброжелательно, не то недоумевающе покачала головой.

— Там... пришли...

И то, что она не сказала, кто пришел, разом повысило напряжение тревоги и беспокойства.

Отец и мать быстро поднялись из-за стола и пошли в кухню. Вскочил Борис, и, уронив стул, как коза, прыгнула Наташа.

III

В первый момент ничего нельзя было разобрать в кухне. В густом, жарком, пахнущем маслом и жареным мясом воздухе виднелись головы, руки, детские глазки. Стоял шепот, подавленные стоны, мольбы:

— О бог, бог!..

Было тесно, пройти негде.

Цыганков что-то говорил, сдерживая голос. Ему отвечали страстным, молящим шепотом. Только вглядевшись пристально, Наташа увидала, что это были евреи. И сквозь густой, горячий кухонный воздух она разглядела белые как мел, исковерканные лица, трясущиеся губы. Дети цеплялись ручонками за волосы матерей и издавали беззаботные агукающие звуки, точно ворковали голуби.

— Ах, да о чем же тут разговаривать? — властно и громко сказала госпожа Цыганкова и, взяв за руку стоявших впереди, торопливо повела в комнаты.— Идите сюда, идите скорее сюда, идите все сюда.

И они пошли за ней, такие же дрожащие, жалкие, прижимая детей, но уже с робко разливавшейся по мертвенным лицам краской надежды. А из кухни, из прихожей все шли, шли и шли, старые, молодые, мужчины, женщины, дети. Переполнили комнаты, заняли мебель, сидели на подоконниках, на полу, на столах, под роялем. Воздух сделался густой, тяжелый.

День точно опрокинулся; веселое, смешливое, беспричинно радостное исчезло; глянуло что-то большое, угрюмое и бессмысленное. Но Наташе некогда было думать. Достали все белье из комода, разодрали на полотнища и отдали детям: они были почти голые, так как с ними прибежали впопыхах.

Цыганкова, с чертой властности, настойчивости и непреклонности на красивом, гордом лице, распоряжалась, и дело кипело. Она чувствовала себя так, как будто надо было перевязывать раненых, стонавших и ползавших по окровавленной земле.

Поставили самовары, кипятили в кубах и кастрюлях воду, собрали все, что было можно, в доме, кормили детей, поили чаем. И дом стал похож на бивуак, на раскинувшийся стан, над которым стоял сдержанный говор и гомон. Люди сбивались группами, шепотом говорили. Капризничали дети. Стены и плотно закрытые двери заслоняли совершавшееся в городе, и своя быстро сложившаяся жизнь с минутными интересами продолжалась в квартире; роняли самоварную крышку или, со звоном разбиваясь, падал стакан,— все вздрагивали и с испугом переводили глаза на окна и двери.

Наташа носилась по всем комнатам, присаживалась то там, то тут, и ее смех в этой атмосфере тоски и отчаяния, когда какой-нибудь карапуз начинал торопливо сосать ее палец, звенел необычайной лаской, примирением и мягкостью.

— Мамочка, какие они пресмешные... Отчего они все такие голомозгие? Как думаешь, думают они о чем-нибудь?.. Я думаю, что думают, а то отчего они так брыкаются...

Анисья сбилась с ног, бегая в кухню и из кухни; она то и дело вытирала фартуком красные глаза. И когда давала себе передышку, становилась у притолоки, подпирала рукой локоть и качала головой, глотая слезы.

— И-и-и, болезные мои!.. Горькие мои!.. Младенцы-то несмысленые... неповинные души ангельские... Варвары-то земные вторую улицу бьют, всю пухом застелили, в квартирах-то все дочиста бьют, да ломают, да рвут... Сколько народа загубили неповинного, и ребеночков не жалеют, варвары... и нет на них ни судов, ни расправы, а взыщет господь... это вы мне и не говорите, взыщет с них, иродов, попомните мое слово.

И она опять вытирала фартуком неудержимо выступавшие слезы и снова бегала, кипятила, варила, подавала, помогала матерям убирать за детьми.

— Так вот что!..— с удивлением говорила себе Наташа, глядя вокруг широко раскрытыми глазами.

И хотя *там* делали страшное дело, но это было за стенами, а здесь кипели самовары, детишки расположились табором, как в Ноевом ковчеге. И Наташа всей душой была поглощена тем, что делалось тут.

IV

Сумерки вползали в квартиру. Люди постепенно тонули в безмолвно сгущающейся мгле, и черные окна загадочно-немо глядели, не раскрывая тайны готового совершиться.

Огня не зажигали. Никого не было видно, но чувствовалось, что этот густеющий мрак заполнен дыханием людей.

Слышен шепот:

— О бог, бог!..

Задавленные вздохи да минутный крик ребенка... Кто-то молится в углу, и шепчущие, спутанные, неясные звуки с таинственным шорохом расползаются по черной комнате. Ночь тянется, немая, чреватая неизвестностью. В столовой перестали бить часы, и время потерялось среди мрака, среди ожидания.

Достали ковры, тюфяки, подушки, верхнее платье; все это разостлали по полу, по столам, на рояле и устроили детей. И люди ворочались и шуршали, как раки в темноте.

Ночь тянулась так однообразно темно, так бесконечно долго, что ощущение страха, ощущение тоски и горя притупилось, как будто был только этот шорох, этот подавленный шепот вздоха и ничего не было за окнами, в которые смотрелась молчаливая мгла.

Стало светать, но это не было утро: стояла глухая, глубокая ночь. И это не был утренний рассвет: кровавый, чуть брезжущий отсвет тихонько и незаметно разливался по комнатам. Постепенно выступали, окрашиваясь, стены, лица, мебель, волосы, лежащие на полу люди.

И окна глядели красные.

Евреи стали собираться кучками, нагибаясь и не подымаясь выше красных подоконников, жестикулировали, показывали руками на красные окна; стоял подавленный шепот, и глаза у них были большие и круглые.

Наташа, присевшая на кровати, боролась с молодым, неодолимым сном. Наконец головка свалилась.

Кто-то толкнул.

Наташа вскочила с испуганно бьющимся сердцем. Все было залито кроваво-красным светом, ее руки, платье, и около никого не было.

Наташа прислушалась. В первый момент показалось — стоит тяжело колеблющаяся тишина, но потом она различила, что улица заполнена глухим, мутным гулом. Кто-то огромный хрипло рычал, то падая, то подымаясь, и минутами рычание переходило в рев. И рев стоял, тяжело дрожа, и заглядывал в кровавые окна.

Должно быть, был в этом какой-то особенный смысл, потому что евреи хватали ее за руки и умоляюще шептали:

— Барышня... хорошая барышня, не подходите к окнам... Пусть не знают, что тут люди... пусть не знают, что тут люди...

Наташа задумчиво отошла от окна и, забыв про жавшиеся, согнутые, красневшие фигуры евреев, прислонилась к роялю, на котором из-под пеленок торчали голенькие грязные ножонки. Хотелось вспомнить что-то неотложное и требующее внимания, но это не удавалось. Напрягая память и собрав не умеющие хмуриться брови, она проговорила:

— Мама, что такое?

Мать со строгим и в то же время ласковым лицом успокаивала плачущих женщин. Отец что-то говорил сбившимся около него евреям, и голос его был живой, а рев, рвавшийся в красные окна, был слепой и злобный и казался кровавым. Тогда Наташе пришло в голову:

Хвост чешуею змеиной покрыт,
Весь замирая, свиваясь, дрожит...

Наташа прошла в кухню.

— Анисья!

Анисья, не обращая внимания и не слушая, гремя, мыла тарелки и торопливо и сердито ворчала:

— Дух-то чижолый... не продыхнешь... Все комнаты запакостили...— И плюнула.

Не понимая, о чем идет речь, Наташа пошла в комнаты, и все сверлило:

Хвост, замирая, свиваясь, дрожит...

Как только она отворила дверь, тяжело ревущий вой, казалось под самыми окнами, ринулся на нее, терзая и мучая. Он давил все, топтал живые человеческие голоса и безумно метался в красных окнах.

Наташа гревожно, с болезненным личиком, озиралась, точно ища места скрыться от этого тяжко дрожащего воя, который то бился, то ровно, монотонно, упорно стоял в окнах.

— Мамочка, да что же это такое!.. Боже мой, что же это, наконец, такое!..

— Скажи Анисье, чтобы ставила опять самовары,— надо взрослых поить; ведь ничего не ели, и неизвестно, сколько это протянется.

Анисьи и след простыл. Борис сам засучил рукава и наливал самовары. Наташа помогала, нервно и без причины смеясь.

— Ну, чего ты? — сердито говорил Борис.

А вой, дрожа, стоял в краснеющих окнах, ни на минуту не ослабляя своей силы. И Наташа металась, сдавливая голову обеими руками, точно голова, переполненная этим ревущим, мятущимся воем, готова была лопнуть.

— Мамочка... я не могу, не могу... так не могут реветь люди...

Она затыкала уши, но и сквозь пальцы все стоял он — воющий, слепой и злобно трясущийся. Чудовище тяжело ворочалось, и судороги бежали по его мягкотелому, обвисшему брюху. Наташа торопливо легла на кровать и придавила голову подушкой, но и теперь чувствовала дрожание от глухо замирающего в голове рева.

V

Когда Цыганкова заглянула в кухню, Анисья стояла у стола и перебирала тонкие полотняные сорочки с прошивками. Она улыбалась, подымала брови, причмокивала языком и разговаривала сама с собой.

— Анисья, что ж вы самовары?.. Ведь там же ждут.

— Кабы люди ждали, а то нехристи, прости, господи, душу мою грешную... И удивляюсь я вам, барыня, что вы возитесь с этой нечистью... Христа распяли...

— Да вы с ума сошли! Что это у вас?

— А это, барыня,— лицо Анисьи лучезарно расплылось,— в кои-то веки полотняные сорочки себе завела... такие уж тонкие да гладкие, чисто шелковые...

Цыганкова всплеснула руками.

— Анисья, да ведь это — грабеж!

Лицо Анисьи сразу стало злым и ожесточенным.

— Нас, барыня, весь век грабят, да молчим... Я, барыня, вами оченно довольна, и барышней, и барином, ну только с ранней зари до поздней ночи присесть некогда, а ни во мне, ни на мне... За восемь целковых не токмо руки, душу продала... а сдохну на улице, знаю... а тут само добро в руки просится... А самоваров иудам искариотским не буду подавать. Будя им из младенцев кровь христианскую пить...

И, хлопнув дверьми, Анисья ушла.

Казалось, не будет конца этой томительно красной ночи, этому чудовищно звериному реву, который стоял в окнах страшным предостережением против чего-то не-

известного, готового совершиться. Это томительное ощущение ожидания передалось Наташе, и она смотрела то на красные окна, то на плотно запертые двери, ожидая, что вот-вот войдет особенное и неожиданное.

И *оно* вошло, вошло вместе с высоким, согнутым стариком. У него была большая борода, вся залитая багровым заревом, как и платье, лицо, руки. Он вошел неверной, качающейся походкой, мутно обводя глазами, в которых также отражалось багровое зарево. Тогда все потянулись к нему глазами, в страшном напряжении, как будто с ним пришел приговор. Он опустился на стул и молчал, глядя перед собой. И все молчали. Потом он сказал:

— У меня нет семьи, у меня нет детей, нет дома, все отняли, я — нищий и со спокойной совестью приму от вас милостыню...

Хотя голос у него был старческий и слабый, а за окнами по-прежнему, ни на минуту не смолкая, стоял рев,— все жадно уловили все до последнего слова. И в багровом сумраке смутно пронесся сдавленный стон-вздох:

— О бог, бог!..

— Несчастье на нас и на детях наших!..

Цыганкова неподвижно стояла, слегка наклонившись, не отрывая глаз от старика. Торопливо села с ним, порывисто обняла за плечи и заплакала. И он заплакал, и все плакали, кто был в квартире. Наташа судорожно зажимала платком рот и, казалось, смеялась тонким голоском, а Борис хмуро отворачивался и недовольно моргал глазами. Так сидели люди в красной темноте.

VI

Анисья просунула голову в дверь и прокричала:

— Народ убивает всех, кто жидов прячет... ей-богу, вот вам крест!..

Все вскочили, схватили детей.

Цыганков бросился в кухню, потом пробежал в кабинет, торопливо вышел оттуда и проговорил срывающимся голосом, протягивая болтающиеся на ленточках дешевые медные крестики:

— Наташа, Борис, наденьте... сейчас, сию же минуту... Это необходимо...

— Папочка, да зачем?..

— Наденьте, наденьте же, я говорю... Слышите?

И вдруг в душном, кроваво озаренном воздухе почувствовалась вражда и злоба. Казалось, враг таится в этих затененных багровыми колеблющимися тенями углах, здесь, в душных комнатах.

Про евреев забыли, их уже не угощали чаем, не заботились, а растерянно, точно разыскивая что-то, ходили по комнатам, и чувство напряжения и ожидания росло.

Только Наташа легко и свободно, как будто в классе во время перемены, носилась по всем комнатам, присаживалась перед женщинами на корточки, и ее звонкий, свежий девичий голосок звенел, выделяясь на дрожащем вое:

— Дорогие мои, не бойтесь... не бойтесь... Все пройдет... Никто вас не тронет, никто не смеет сюда войти... Не бойтесь... Уже ничего...

И она боязливо оглядывалась на глядевшие кровавыми стеклами окна.

— Хотя бы рассвет... Хоть бы рассвет скорей!..— И слышно, как хрустят чьи-то пальцы.

Анисья опять просовывает голову, и в полуотворенную дверь с дьявольской силой врывается дикий рев. Пересиливая его, она кричит:

— Вот и дождались: анжинера Хвирсова, что через улицу, убили... И жену и детей побили,— жидов нашли на квартире.

Воцарилась мертвая тишина,— мертвая тишина, в которой, как в зияющем провале, потонули все звуки; не слышно было рева, не слышно было шороха платья, не слышно было дыхания людей. И когда нестерпимая острота молчания достигла предела, тонкий, скрипуче визгливый крик, крик хищной ночной птицы, пронесся по комнатам:

— Уходите!.. Уходите, уходите!.. Я прошу вас... я требую... Уходите все... все до одного человека.

Ужас заползал по комнатам среди все еще неподвижно стоявшего молчания, среди судорожно неподвижных людских фигур; неподвижно стояла Наташа, озираясь, ничего не понимая и не зная, чей это страшный голос пронесся в багровой темноте. Она старалась понять и вглядывалась в лица людей, но не видела их, а видела только десятки глаз, страшно тянувшихся из орбит в одном направлении. Наташа обернулась по этому направ-

лению и увидела женщину с повелительно протянутой рукой, с исковерканным лицом, но это не была мать: глаза у нее провалились, а сведенные судорогой губы низко опустились углами.

Опять скрипуче-пронзительно пронеслось:

— Уходите... уходите, очистите квартиру!.. Все, все... ведь дети... мои дети!..

Все упали на колени.

— Не гоните, не гоните нас... там смерть... там смерть нам и детям нашим... Не гоните нас, добрая госпожа!..

— Нет, нет... уходите...

Цыганков, весь красный, не смотря ни на кого, говорил:

— Господа, пожалуйста... сами видите... я вас прошу... у нас дети...

Поднялся старик, неподвижно сидевший на стуле посреди комнаты.

— Погодите, я скажу.

Все смолкли.

— Жену задушили на моих глазах, а прежде на ее глазах зарезали сына, а дочь...

Он закрыл лицо и стоял с минуту.

— Меня отпустили, чтоб было хуже, чем им... У меня нет детей, нет семьи, я — нищий, но... я не заслужил еще права на милостыню...

Он пошел к выходу, высокий, согнутый, с большой багровой бородой.

С минуту стояла тишина, и, разрушая ее ревущим воем, заметалось в красных окнах чудовище, и, как крик хищной птицы, пронеслось:

— Уходите сию минуту... все, все до одного... Мои дети... понимаете вы?!

А они в смертельной муке ползали за ней, ползали на коленях, хватали ее руки, целовали края одежды. Она отступала, отмахиваясь с гадливой ненавистью, и только страшные, пощады не знающие слова «дети... мои дети...», как коршуны реяли над распростертыми по полу людьми. Они не кричали, а шептали ласково-ласково, и заглядывали ей в глаза, и улыбались, страшно улыбались мертвыми лицами, синими губами, улыбались и шептали:

— Добрая госпожа... сударыня... все хорошо... отлично... деточки... у вас деточки... двое деточек... хоро-

шие, отличные деточки... вырастут умные деточки... хорошо — деточки... это отлично — деточки...

И этот страшный шепот покрывал собою стоявший в багровых окнах рев.

Цыганков тоже легонько поталкивал и говорил, заикаясь:

— Господа, будьте добры... пожалуйста... Сами видите... Вы на нашем месте так же поступили бы...

Наташа металась, ломая руки, от отца к матери, от матери к отцу.

— Мамочка... папочка... что же это... что же это такое!.. Это не то, постой, все сейчас поправится...

И вдруг, плача и смеясь, захлопала в ладоши.

— Я придумала!.. Я придумала!..

Она бросилась в свою комнату и выбежала со шляпой.

— Скорей, скорей одевайтесь... Борис, где твоя шапка?.. Скорей, скорей... выйдемте, квартиру запрем, станем в воротах, будем говорить, что у нас никого нет... Их никто, никто не тронет...

— Оставь! — резко крикнула Цыганкова голосом, которым она никогда не говорила с дочерью и который Наташа не узнала.— Ступай в свою комнату.

Ворвалась Анисья.

— Близко уж, у Хайцкеля бьют...

— Анисья, выводите их!..

Крик, вопли, плач... Анисья тащила старуху. Та вырвалась и, как девочка, резво бросилась через комнату. Анисья поймала и опять потащила. Старуха уцепилась за притолоку. Анисья оторвала одну руку, другую, некоторое время они боролись. Пришел дворник, стал помогать, но ничего нельзя было сделать. Забирались под столы, под рояль, хватались за ножки стульев, валили мебель.

Тогда схватили несколько детей и побежали с ними в переднюю. Путаясь в тюфяках, в коврах, с воплем бросились матери. Плакали, молили, проклинали, ломали руки. Кто-то по-еврейски молился в углу. Две женщины неподвижно лежали на полу, разметав косы. Иные тупо сидели, не шевелясь.

Молодая еврейка с диким воплем, исступленно разорвала на обнажившейся груди сорочку, и крик ее пронесся по всей квартире. Она схватила ребенка, потрясая над

головой, и руки, ножонки, голова беспомощно мотались у него, кричавшего изо всех сил.

— Вы!.. Пейте кровь... пейте нашу кровь... вы — звери!.. Я перегрызу ему горло... Я перегрызу горло ему, моему Хаимке, моему маленькому дорогому Хаимке... Я перегрызу ему, чтоб никому не достался... Вы не разобьете ему голову о камни, я задушу его своими руками, вы жадные звери!.. И чтоб дети детей ваших...

С ее криком слился другой исступленный крик. Борис кинулся к дверям и замахнулся стулом.

— Не смейте... не смейте выходить... не смейте выходить никто, ни один человек — или я раздроблю голову!..

Наташа, удерживая неподавимую мелкую дрожь, вцепившись матери в плечо, дико расширенными глазами глядела ей в неузнаваемое, чужое лицо, и страшное слово готово было сорваться:

— Мать!.. Ты...

Все поплыло в густую красную темноту. Стало холодно, неподвижно, спокойно . . . .

. . . .

Когда Наташа открыла глаза, было утро.

Тихо. Сидели отец и мать.

Отец наклонился и сказал:

— Ну что, девочка? Будь покойна, все кончилось благополучно. Погром прекращен. Нашу квартиру не тронули, и все спасены.

И, задумчиво глядя в окно, добавил как бы про себя:

— Кроме старика... напрасно он ушел!

Отец как-то смотрел вкось, и Наташа никак не могла заглянуть ему в глаза.

Она перевела глаза на мать. Та наклонилась, поцеловала в лоб. Наташа с напряжением вглядывалась: то же гордое, красивое, немного побледневшее лицо. Но, заслоняя его, нестираемым призраком стояли судорогой сведенные губы, провалившиеся глаза и исковерканное злобой лицо.

Испытывая мучительный холод, Наташа хрустнула тонкими пальцами, закрыла глаза.

Безумно захотелось воротить вчерашнее утро: синевато косые длинные тени, чутко дремлющий воздух, нешевелящийся лист на тополях и весело перекинувшееся между домами эхо:

— Эй, тетка, не надо ль воды?

ГЛАВНАЯ ТЕМА — ТРУД И БОРЬБА

«...Бороться, бороться во имя тех, кто молча с каплями пота на челе несет на своем хребте всю тягость жизни и общественных неустройств» — в этих словах А. С. Серафимовича, сказанных в первом году нашего XX столетия, как бы сформулирована основная направленность его творчества тех лет.

О нелегкой жизни тружеников на русском севере писатель знал не понаслышке. Находясь в мезенской ссылке, студент А. С. Попов собственными глазами видел бескрайние снега тундры и угрюмые берега студеного моря с караванами льдин. Впечатления от суровой природы, от тяжелого, изнурительного труда и неприхотливого быта рыбаков-поморов, от их спокойного, уверенного, надежного мужества были столь ярки, а северная природа и человек в ней столь выразительны, что многое из увиденного и услышанного здесь как бы само просилось на бумагу. Уже на склоне лет в «Рассказе о первом рассказе» А. С. Серафимович вспоминал: «Писал с необыкновенным трудом. Хотелось описать громадное впечатление от северного сияния... А на бумаге не выразишь... Днями, ночами сидел. Пишешь, пишешь, глядь, а к концу дня только строк пять-шесть напишешь... работал целый год. Рассказ был небольшой, размером на газетный подвал». Так рождался его первый рассказ «На льдине». Один из самых демократичных писателей той поры, В. Г. Короленко, высоко оценил северные рассказы молодого прозаика, отметив «прекрасный язык, образный, сжатый и сильный, яркие, свежие описания» [1].

Начиная с самых первых своих рассказов, А. С. Серафимович на всю жизнь остался бескорыстно верен теме труда, рабочему человеку. Никогда не порывал он самых живых и тесных связей с трудящимися и постоянно был озабочен поисками путей активной борьбы — именно борьбы — против взбесившегося собственника или утратившего человеческий облик мещанина, борьбы за облегчение участи труженика, будь то рабочий, крестьянин или интеллигент. Но особую, братскую привязанность питал писатель-реалист к рабочему, сделав его главным героем своего творчества. И всегда, даже в самую черную пору реакции, Серафимович верил в победу людей труда над силами зла, над теми, кто исповедует аморальную идею эксплуатации человека человеком.

Так на переломе XIX и XX столетий на арену открытой литературной борьбы одновременно с молодым Горьким выступил еще один самобытный певец рабочего класса России.

---

[1] В. Г. Короленко. Собр. соч., т. 8, М., ГИХЛ, 1955, стр. 313.

Впечатляющие картины тяжкой жизни русского труженика благодаря творчеству Серафимовича стали достоянием широкой читающей публики из демократических кругов России. В «Стрелочнике», «Маленьком шахтере» и других рассказах, давно уже ставших хрестоматийными, с беспощадной правдивостью и художественной убедительностью были раскрыты кабальные, по существу, рабские условия труда и быта рабочих на капиталистических предприятиях. А в таких рассказах и очерках, как «На льдине», «В лапах амбарщика», «Большой двор», писатель-демократ, марксист со всей беспощадностью разоблачает уродливость, бездуховность, бесчеловечность буржуазных отношений, хищническую сущность самодержавно-помещичьего строя и идущего ему на смену капитализма.

Особое место в творчестве Серафимовича занимали фельетоны и корреспонденции. По тематике они нередко перекликались с рассказами и очерками, о которых говорилось выше, но были написаны «на злобу дня» и всегда имели твердую и точную документальную основу. С рассказами их связывала ясная, четкая и бескомпромиссная позиция автора — защита интересов трудового люда. Явно революционная направленность авторского поиска порой не могла быть реализована полностью иа страницах органов печати, где «властителями дум» и, что еще важнее, издателями были представители либеральной интеллигенции, хранившей верность своим хозяевам — промышленникам или помещикам. Нельзя сбрасывать со счетов и тяжелый груз цензуры. Беря животрепещущие темы из сельской или городской жизни, А. С. Серафимович сначала в провинциальных газетах — «Приазовский край» и «Донская речь», — а затем в московском «Курьере» раскрывает социальный смысл происходящего. И будь то корреспонденция о том, как амбарщики объегоривают мужика, или повествование о злополучной доле бедняков, живущих «в людях» — всё одинаково остро, сатирично, точно бьет по цели — по «господам хорошим».

В московском «Курьере» Серафимовичу работалось не менее трудно, нежели в «Приазовском крае» и «Донской речи». Здесь господствовало то же осторожно-умеренное, в меру либеральное ведение всех дел. Только требовательность к сотрудникам была, пожалуй, намного выше. В Москве выходили «Русские ведомости», давно снискавшие популярность у множества своих постоянных подписчиков. Острая конкуренция с солидным органом печати, наконец, большой объем «Курьера» вынуждали руководителей газеты выжимать из своих сотрудников как можно больше интересных материалов. Редакторы настойчиво требовали от сотрудников постановки все новых и новых проблем, которые смогли бы удовлетворить запросы уже сложившегося круга читателей и вместе с тем помогали от номера к номеру увеличивать контингент подписчиков самых разных сословных групп. От газеты постоянно ждали сенсационных выступлений на потребу массового читателя из обывательских слоев. Чтобы создать впечатление о неограниченных возможностях газеты, приходилось давать разнообразную, будоражащую воображение информацию, поэтому многое даже из удачно задуманного Серафимовичем и, по мнению его редакторов, удовлетворяющего запросы публики сильно урезывалось. Серафимович каждый день без устали бегал

по городу в поисках «самого-самого», а затем работал до позднего вечера, чтобы какой-либо особо броский кусочек из горы собранного и написанного попал на страницы очередного номера. От «этой белиберды голова становится как пустой бочонок»,— жаловался как-то Серафимович на свою горькую долю газетчика в письме от 26 сентября 1902 года Виктору Миролюбову, редактору петербургского «Журнала для всех», с которым познакомился на телешовских «Средах». По склонностям и творческой манере Серафимович был беллетрист, а работа в «Курьере» оставляла ему на художественное творчество лишь ночные часы. Однако он ревностно и с полной отдачей сил трудился, чтобы насытить бездонную утробу газетной полосы, где публиковались его репортажи, фельетоны, очерки, а изредка и рассказы.

Путь Серафимовича в большую литературу был особенно нелегким еще и потому, что он настойчиво и неустанно прорывался в самую гущу жизни, ибо был убежден в том, что настоящий писатель должен познать на собственном опыте тяжесть быта и труда людей самых разных профессий, общественного положения, званий.

Серьезно, с полной ответственностью относился Серафимович и к познанию природы, этой вечной среды, в которой живет и работает человечество. Прирожденный писатель-пейзажист, он с большой реалистической силой рисует картины природы, очень точен в передаче повадок и характера животных. Но на первый план у него все равно выступают человеческие, чаще всего социальные отношения. Скажем, в рассказе «Со зверями» он, по собственному признанию, главным героем сделал «опытного охотника и опытного пройдоху».

На природе писатель отдыхал, а в городе его нервы были постоянно напряжены, ибо изо дня в день Серафимович-газетчик наблюдал картины социального неравенства и бесправия. Особенно острой болью полнилось сердце писателя, когда он видел, в какой нищете, заброшенности, горьком одиночестве живут дети бедняков. Яркие, запоминающиеся картины несчастной жизни ребятишек Серафимович раскрывает со всей глубиной подлинного демократизма в «Заметках обо всем» («Маленькие рабы», «Малолетние бродяги», «Золотушные, малокровные» и др.).

О писателях нередко говорят: «часто общался с простым народом» или «его постоянно интересовали жизнь и думы простых людей». Серафимович не «общался», не «интересовался», а жил жизнью народа. Он вырос среди казаков глухой донской станицы, сам испытал на себе, особенно в долгие годы ссылки, все тяготы работы столяра, таежного охотника, рыбака-помора, затем провинциального журналиста-поденщика. А в Москве писатель долгое время обитал в рабочем районе, на Пресне, вместе с трудовым людом, населявшим здесь бараки, собственные ветхие домишки, доходные дома (в каком жил и Серафимович), — вместе с мастеровыми и разнорабочими огромного капиталистического предприятия старой России — Прохоровской мануфактуры. Словом, Серафимович был костью от кости, плотью от плоти русского пролетариата и крестьянства.

По-рабочему стойко, по-солдатски безропотно и терпеливо прошел писатель славный революционный путь рука об руку с пресненскими рабочими на баррикадах 1905 года. И перед рево-

люцией, приехав в 1902 году по приглашению Леонида Андреева в Москву и став корреспондентом либеральной газеты «Курьер», и в дни самой революции, и после ее поражения, когда идеи упадочничества захлестнули умы и сердца многих интеллигентов России и Запада, А. С. Серафимович оставался верен одной цели — идти вместе с рабочим классом до победного конца!

В произведениях, созданных буквально в огне баррикадных боев («На Пресне», «Похоронный марш», «Бомбы») и по горячим следам этих боев — в 1906—1908 годах («У обрыва», «Оцененная голова», «Мертвые на улицах», «Зарева»), писатель стремится предельно ясно и эмоционально показать наиболее сильные стороны революционной борьбы. Вместе с тем он стремится обнажить и ее слабые места, выступая прежде всего против отступничества и неверия в силы рабочего класса части интеллигенции и определенных слоев крестьянства. Сурово и страстно осудил пролетарский художник всех отступников и маловеров, исхитрившись в обход жестоких цензурных рогаток «протащить» в своем ярком рассказе «Мертвые на улицах» прямые и резкие строки: «Кто-то умирает за них в пустынных улицах, а они бегут, об одном думая — о жизни в подвалах, в грязи, в нищете, в неустанной бычачьей работе, в беспросветном рабстве. Они бегут, ненавидя тех, кто умирает за них в пустынно-молчаливых улицах, ибо бьется в них великая любовь к жизни, постылой, проклятой, а теперь ставшей вдруг прекрасной жизни».

Уже в декабре 1905 года Максим Горький, прочитавший в рукописи рассказ Серафимовича «Похоронный марш», писал: «Славно написано, ярко и сильно». Горькому импонировала неистребимая вера в будущее революции, в светлое будущее русского народа, вера, которою был преисполнен Александр Серафимович.

И еще одну особенность бескомпромиссной борьбы российского пролетариата понял Серафимович: огромное значение для великого революционного движения тех женщин-работниц, которые осознали хотя бы изначальные задачи классовой борьбы. Эта мысль развита в рассказе «Бомбы».

В дни жестокой расправы царизма над восставшими пролетариями, рабочий-маляр, у которого убили сына («Мертвые на улицах»), угрюмо говорит: «...это ничего... ничего, еще будет дело...» — так в дни поражения первой русской революции писатель-марксист внушал народу уверенность в торжество продолжающейся борьбы с самодержавием.

Позже А. С. Серафимович говорил о своих рассказах, посвященных первой русской революции: «...Основной задачей я ставил себе: запечатлеть хотя бы в беглых очерковых чертах жестокость усмирителей и хотя бы в скрытой, «косвенной» форме показать «безумство храбрых», мужество горстки бойцов, сражавшихся на Пресне. В те мрачные дни, когда пушками беспощадно сметали «преступников», никак нельзя было выражать открытое сочувствие пресненским мятежникам» [1]. Нелегко было в ту пору обойти рогатки царской цензуры, но Серафимович прилагал к тому все усилия, нарочито представляя себя в рассказах рядовым обывателем, который «случайно» оказывается в самой гуще схватки.

---

[1] А. С. Серафимович. Собр. соч., т. III, М., ГИХЛ, 1947, стр. 383.

По пяти главным направлениям удалось пролетарскому писателю исследовать пульс первой русской революции. Это — борьба РСДРП за революцию («Оцененная голова», «Стена» и др.); ход самого восстания 1905 года в Москве («На Пресне», «Снег и кровь», «Бомбы» и др.); события, последовавшие непосредственно за подавлением восстания на Пресне и в московских пригородах («Мертвые на улицах», «У обрыва»); революционное движение в деревне в 1905—1907 годах («Зарева»); наконец, отношение армии к революции («Похоронный марш»).

В рассказе «У обрыва» есть такой эпизод: мудрый старик крестьянин и его товарищи захватывают двух казаков, пущенных в погоню за участниками подавленного царскими войсками восстания. Захватывают, а потом отпускают пленных на волю. И вслед за тем один из казаков докладывает о случившемся командиру сотни, а другой спешит предупредить об опасности тех, кто его отпустил с миром. Умение писателя, несмотря на смерть и кровь, на ужасы, чинимые реакцией, именно в эти дни увидеть ростки настоящей, революционной гуманности с особой силой подчеркивает главную мысль рассказа: если революция способна внести раскол в сознание матерых служителей царя и престола, значит, будут у нее союзники и среди солдатской массы, этих крестьян в шинелях, и, значит, русская революция продолжается.

По рассказу «У обрыва» Петроградский комитет по делам печати вынес такое «определение»: «...автор проповедует революционные идеи. Он доказывает, что революцию *необходимо продолжать* и что ее *благополучный исход* вполне *обеспечен* тем, что *народу уже невмоготу* выносить *правительственный гнет*» (Выделено мною.— *Г. Е.*).

Крах самодержавия помешал совершить расправу над А. С. Серафимовичем. Сегодня «определение» царских чиновников звучит для нас как неоспоримое свидетельство той огромной революционной силы, которая была заключена в его творчестве вообще и особенно в рассказах об исторических событиях 1905 года.

Г. Ершов

ПРИМЕЧАНИЯ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

На льдине. Впервые, с подзаголовком «Из жизни на далеком Севере»,— газ. «Русские ведомости», 1889, 26 февраля, № 56, и 1 марта, № 59. Рассказ появился под псевдонимом «Серафимович», который стал фамилией писателя. Написан в 1888 году во время пребывания студента А. С. Попова в ссылке в г. Мезень, Архангельской губернии. Для сборника своих рассказов в издательстве «Знание» автор значительно сократил рассказ и внес в него существенные изменения. Во всех последующих изданиях «На льдине» печатается в последней редакции.

На плотах. Впервые, с подзаголовком «Из жизни на далеком Севере»,— газ. «Русские ведомости», 1890, 1 июня, № 148 и 6 июня, № 153, за подписью С. Написан во время пребывания в ссылке в Пинеге. Готовя рассказ к отдельному изданию в серии «Дешевая библиотека для семьи и школы» (изд. «Юная Россия», М., 1915), автор вдвое сократил его и переписал начало.

Стрелочник. Впервые — газ. «Русские ведомости», 1891, 21 июля, № 198. Написан по возвращении писателя из ссылки на Дон под гласный надзор полиции. Позже рассказ был значительно переработан автором. Для сб. «Очерки и рассказы», изданного в 1901 году, автор почти заново написал всю первую часть (четыре главы), включив линию использования начальником станции труда стрелочника для собственных нужд. За основу взят реальный факт, о котором автор узнал за год до публикации рассказа в его окончательной редакции, из заметки «Стрелочник», напечатанной в газете «Донская речь» от 22 декабря 1900 года.

Месть. Впервые — газ. «Приазовский край», 1897, 16 декабря, № 330 и 17 декабря, № 331, с подзаголовком «Из жизни приазовских рыбаков».

В камышах. Впервые — журнал «Жизнь», 1901, январь, кн. 1, под заглавием «На лимане», с подзаголовком «Очерк».

Прогулка. Впервые — газ. «Приазовский край», 1897, 19 октября, № 274 и 20 октября, № 275, за подписью А. С-ч, с подзаголовком «На Азовском море». В этой газете писатель сотрудничал с 15 декабря 1896 г. по 18 января 1898 г. Газета издавалась в Ростове-на-Дону, а Серафимович заведовал ее Мариупольским отделением, живя в этом городе, и вел отдел «Мариуполь». Под такой рубрикой печатались многие корреспонденции А. С. Серафимовича. Один из разносчиков газеты познакомил писателя со своим отцом, судьба которого и легла в основу «Прогулки». «Этот рыбак,— вспоминал Серафимович,— рассказал мне много интересных случаев из жизни рыбаков, между прочим он рассказал и о расправах, вроде той, которая излагается в рассказе «Месть» (А. С. Серафимович. Полное собр. соч., изд. «Федерация», 1931, т. 1, стр. 347).

Маленький шахтер. Впервые, под заглавием «Под праздник», — журн. «Новое слово», 1895, декабрь, кн. 3. В

окончательном варианте автор сократил конец рассказа (сон мальчика в шахте).

Рабочий день. Впервые — газ. «Приазовский край», 1897, 12 октября, № 267 и 13 октября, № 268, за подписью А. С-ч, с подзаголовком «Из жизни в аптеке».

СТАРАЯ РОССИЯ

Предложение. Впервые — газ. «Донская речь», 1900, 9 апреля, № 93.

Большой двор. Впервые — газ. «Речь», 1911, 24 апреля, № 110. «Я хотел вылепить представителя класса уходящего, обреченного историей. Буржуазия считала себя «цветом нации», а я выдвинул здесь проблему буржуазного заката, буржуазного загнивания. Из соображений цензурных это пришлось сделать замаскированно, помягче» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. II, М., ГИХЛ, 1947, стр. 437).

Мариупольские картинки

На помощь беспризорным. Впервые, под рубрикой «Мариуполь»,— газ. «Приазовский край», 1897, 6 апреля, № 91, без подписи.

В лапах амбарщика. Впервые, под рубрикой «Мариуполь», — газ. «Приазовский край», 1897, 10 августа, № 210, без подписи.

В пяти верстах от Мариуполя. Впервые, под рубрикой «Мариуполь», — газ. «Приазовский край», 1897, 13 мая, № 125, без подписи.

Заметки обо всем

Даровой труд. Впервые — газ. «Курьер», 1902, 22 августа, № 231.

Еще о даровых работниках. Впервые — газ. «Курьер», 1902, 1 сентября, № 241.

Война с прислугой. Впервые — газ. «Курьер», 1902, 8 сентября, № 248.

Женская доля. Впервые — газ. «Курьер», 1902, 15 сентября, № 255.

Золотой телец. Впервые — газ. «Курьер», 1902, 18 ноября, № 319.

Маленькие рабы. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 20 марта, № 22.

Выставка и балаган. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 13 апреля, № 45.

Фокусники. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 19 апреля, № 51.

Малолетние бродяги. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 8 мая, № 70.

Золотушные, малокровные. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 11 мая, № 73.

Разумные развлечения. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 11 мая, № 73.

Белошвейки. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 13 мая, № 75.

Обыкновенная история. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 19 мая, № 81.

Недогадливый мужик. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 29 мая, № 90.

Отравители. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 30 мая, № 91.

Троглодиты. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 7 июня, № 99.

Увеселительный сад. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 22 июня, № 114.

Человек второго сорта. Впервые — газ. «Курьер», 1903, 25 июня, № 117.

Светочи. Впервые — газ. «Донская речь», 1901, 28 октября, № 285, в серии «Беседы с читателем».

СУМЕРКИ БУРЖУАЗИИ

Утро. Впервые — Собрание сочинений, «Книгоиздательство писателей в Москве», т. X, год не указан, «Галина».

По воспоминаниям А. С. Серафимовича, рассказ предназначался им для сборника «Утро», который издавался И. А. Белоусовым. Но рассказ в сборник не попал, по-видимому, из-за того, что больно задел эсеров, представленных писателем в невыгодном свете.

В горах Кавказа писатель как-то натолкнулся на колонию эсеров, которые с подложными паспортами укрывались от жандармов в ущелье и довольно быстро обжились там и стали бездушными хозяйчиками-эксплуататорами. Один из них и выведен в этом рассказе.

Со зверями. Впервые — журн. «Русское богатство», 1913, № 7.

Холодная равнина. Впервые — газ. «Речь», СПб, 1910, 12 декабря, № 341.

1905 ГОД

По следам. Впервые — сб. «Сполохи», кн. III, М., 1908. Рассказ написан в 1906 году и, по словам Серафимовича, был «подстрижен под цензурную гребенку». Цензурные изъятия, к сожалению, восстановить не удалось, т. к. копии рассказа не сохранилось.

Оцененная голова. Впервые, под заглавием «Он пришел»,— сб. «Знание», кн. 15, СПб, 1907.

Стена. Впервые, под заглавием «Живая тюрьма»,— журн. «Современный мир», 1907, кн. 1. Цензурные купюры и «сглаживания», к сожалению, остались, т. к. не сохранилось ни подлинника, ни копии первоначального текста.

Среди ночи. Впервые — сб. «Знание», кн. 9, Спб, 1906. Рассказ редактировал А. М. Горький. Огромное мужество проявили и автор и редактор этого рассказа, сохранив, несмотря на спад революции и начало жестокой расправы над любым «вольнодумством», всю революционную терминологию: «Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!», «Вставай, по-ды-ма-а-ай-ся, ру-у-сский нар-ррод!», «Хозяева давят... нас таскают, избивают по участкам, гноят в тюрьмах, гонят в Сибирь...» Вскоре цензура стала еще более жесткой, и во всех последующих изданиях рассказ публиковался в иной редакции — с купюрами и цензурными «смягчениями» социальной и революционной остроты.

Бомбы. Впервые, под названием «Дома», — журн. «Русская мысль», 1906, № 9.

Похоронный марш. Впервые — сб. «Знание», кн. 9, СПб, 1906.

На Пресне. Впервые — сб. «Знание», кн. 10, СПб, 1906.

Серафимович работал над очерком в своей квартире на шестом этаже доходного дома. Очерк создавался под аккомпанемент артиллерийской канонады: дубасовцы били из орудий по рабочим баррикадам. Ночью пуля, продырявив два оконных стекла, ударила в стену, а в квартиру этажом ниже попала граната. Серафимович, схватив сонных сыновей, спустился по лестнице, где то и дело «чокали» пули и «сыпалась штукатурка», и укрыл мальчишек в подвале в котельной. Под утро, когда писатель вернулся домой, он увидел, что толстая кирпичная стена в его комнате пробита артиллерийским снарядом.

Снег и кровь. Впервые, под названием «Десять лет назад»,— в петербургской газете «Биржевые ведомости», 1916 (дата неизвестна).

Мать. Впервые — журн. «Русская мысль», 1906, № 6, июнь. Максим Горький не понял авторского замысла и, считая, что тема рассказа — совместный уход сына и матери в революцию, строго покритиковал Серафимовича в письме к нему, упрекая за недостаточную образность и за усложненность сюжета. Видимо, в связи с этим в последнем прижизненном издании Серафимович обстоятельно разъясняет замысел, воплощенный в рассказе «Мать».

Наряду с работницами, безоговорочно принявшими революцию и участвовавшими в Декабрьском восстании, Серафимович знал и женщин из интеллигентного круга, которых революция напугала и озлобила. «Это были женщины-гусыни, женщины-мещанки, ушедшие целиком и без остатка в свою гнездышевскую семейную скорлупу. Дальше семьи они ничего не видели... И как только революция потребовала от них жертв — жертв кровью,— они сразу становились резко враждебны ей и проклинали ее. Наиболее полно отражали психологию таких женщин меньшевички. Черты враждебности революции и измены ей они воплотили в себе наиболее выпукло и ярко. Почему? Меньшевики всегда отличались маловерием.

...Я вывел в рассказе «Мать» одну такую меньшевичку. Она кичится своим прошлым, прошлыми заслугами, а теперь, в дни восстания, воет на восставших, воет на революцию, во имя которой льется кровь за окном. Когда сын ее ушел к восставшим, она завопила: «Убийцы!» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. III, М., ГИХЛ, 1947, стр. 376—377).

Мертвые на улицах. Впервые, под названием «Два старика»,— журн. «Вестник жизни», 1907, № 3. Многое из описанного в очерке А. С. Серафимович видел «на улицах Москвы» и «наблюдал» из своей квартиры в Волковом переулке. После

Октябрьской революции читатели-рабочие на встречах с писателем говорили ему: «Ваши рассказы об участниках первой революции толкнули нас на революционную деятельность. Почитаешь, как люди кровь проливали, как боролись,— и самого за сердце хватает: неужто оставаться в стороне и вечно терпеть на своей шее этих палачей?.. Бросались тоже вперед, в огонь... Только у нас в 1917 году вышло легче, шли по проторенной дорожке, и с полной удачей» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. III, М., ГИХЛ, 1947, стр. 386).

Как вешали. Впервые, под названием «Как было», — сб. «Знание», кн. 21, 1908. Рассказ вызвал негодующие вопли меньшевистской критики. Сам писатель по поводу этих отзывов позже говорил: «Я уже тогда отдавал себе ясный отчет, что тут я имею дело с определенной «классовой линией» буржуазно-меньшевистского лагеря, и не огорчался...» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. IV, М., ГИХЛ, 1947, стр. 490).

У обрыва. Впервые — литературно-художественный альманах, изд. «Шиповник», кн. 1, СПб, 1907. Вскоре вышел в общедоступной библиотеке «Свобода и культура» под названием «Светает».

Незадолго до своего 75-летия в начале января 1938 года А. С. Серафимович сделал такую запись в блокноте:

«Лет десять назад на одном собрании ко мне подошел рабочий, сказал:

— Серафимович?

— Да.

Он схватил меня за руку, крепко сжал:

— Вот хорошо! Хорошо, что повстречался. Я был еще мальчишка, ну лет семнадцати. Замучился, скитаешься с фабрики на фабрику... безработица, голодный, да попались ваши книжки, дешевые издания. Стал читать, хоть и плохо читал. Да как глаза раскрылись: что же это, думаю, за жизнь, за муки! Надо из нее вылазить. От товарищей слыхал, есть такие люди, путь-дорогу указывают от этой смертной жизни. Ну, нашел. Ну, с тех пор — революционер. Спасибо, большое спасибо. И вашим товарищам спасибо, которые писали.— И опять крепко пожал руку своей мозолистой рукой.

Это врезалось мне на всю жизнь, и тепло вспоминаешь об этом» (А. С. Серафимович. «Сборник неопубликованных произведений и материалов», М., ГИХЛ, 1958, стр. 452—453).

Зарева. Впервые — журн. «Трудовой путь», 1907, № 7. Серафимович позже писал, что «...в революцию 1905 года я не придавал крестьянскому движению того значения, которого оно заслуживало. Я смотрел на него, как на движение чисто стихийное, анархически-бунтарское... Я... удовольствовался «общими местами». Впрочем, время тогда было каторжное: над писателем неотступно висел дамоклов меч цензуры» (А. С. Серафимович. Собр. соч., т. III, М., ГИХЛ, 1947, стр. 387—389).

Погром. Впервые, под названием «В семье»,— сб. «Знание», кн. 12, 1906.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Александр Серафи́мович
СЕРАФИМОВИЧ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том II

Редактор тома М. Г. Гринева

Оформление художника Е. В. Шворака

Технический редактор А. И. Шагарнна

Сдано в набор 11.02.79. Подписано к печати 23.04.80.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 22,26. Уч.-изд. л. 22,56. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 808. Заказ № 1973. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70685